

ИВАН
НОВИКОВ



ИВАН
НОВИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ.
ЛИТЕРАТУРЫ

И. А. НОВИКОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

•
В ТРЕХ
ТОМАХ

*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Москва 1955

И. А. НОВИКОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ



ТОМ ТРЕТИЙ



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
ВОСПОМИНАНИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ
ТУРГЕНЕВ-ХУДОЖНИК
СЛОВА



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

П О В Е С Т И
Р А С С К А З Ы
В О С П О М И Н А Н И Я



К ВОЗРОЖДЕНИЮ

I

Нестеров сидел на лавочке в своей обычной позе, несколько сгорбившись, с бессильно опущенными на колени руками, и глядел прямо перед собою, широко открыв глаза. Гуляющие внимательно осматривали его задумчивую фигуру в пожелтевшем от солнца летнем пальто, больших сапогах, ситцевой рубашке и очень старой студенческой фуражке, зеленый околыш которой давно стал походить на парусинный. Многие при взгляде на него оживленно перешептывались, оглядывались и весело улыбались.

Рядом с ним сидела молодая девушка, очень изящно одетая, крепкая, красивая, и что-то говорила ему. Нестеров встретился с нею совершенно случайно. Он только что приехал в этот день с поездом железной дороги и намеревался отправиться тотчас же дальше на пароходе в один из уездов, откуда приходили самые тяжелые вести и писались отчаянные корреспонденции об отсутствии помощи голодающим и больным. Но на пристани приходилось ждать до двух часов ночи, так как пароход запоздал, и Нестеров отправился в город. Здесь в маленьком городском саду он и повстречал старую свою знакомую, Марию Гавриловну Черницину. Он познакомился с нею в одном из отдаленных северных городов, куда его выслали и где ему, студенту-второкурснику, пришлось провести целых два года. Теперь, давно не видавшись, она чувствовала, что кто-то из них сильно переменялся.

«Конечно, он», — думала Марья Гавриловна, глядя на согнутую фигуру Нестерова и вспоминая интересного, стройного, всегда оживленного «юношу-изгнанника», как его звали в городе. Ей очень хотелось расспросить, что с ним и отчего он так изменился, но она не решалась, а сам он молчал, и девушка говорила больше о себе и о своих планах будущей жизни.

— Я мечтаю поехать в Брюссельский университет. Еще лето пробуду здесь на работе, и я — совсем свободный человек! Буду слушать талантливых профессоров, заниматься любимой наукой и главное — жить, жить, а не прозябать, как здесь. Вы не поверите, Николай Константинович, как здесь тяжело жить, все равно что у нас там — помните? Живых людей совсем нет. Ведь есть же и студенты, и профессора, и курсистки, а кажется, что все это не то, не настоящее. Может быть, у вас в Москве и не так, но я уж решила прямо за границу... Там-то, наверное, другая жизнь, полная бодрости, силы, нервов...

Марья Гавриловна понемногу и сама увлеклась тем, что говорила, и голос ее звучал оживленно, весело, но, взглянув на Нестерова, она вдруг ясно ощутила, что он ее не слушает и не разделяет ее оживления. Ей сделалось скучно и немного обидно. «Что с ним? Он совсем не тот — прежний». Она замолчала и стала смотреть на разряженную толпу, медленно двигавшуюся перед ними, изредка кивая знакомым.

Гуляющих было много, они о чем-то довольно громко между собою разговаривали, шаркали ногами по песку, усыпанному дорожки, но спускающийся весенний вечер делал звуки все более нежными и гармоничными, и они сливались в один сплошной гул, колеблющийся и ласкающий.

За этой движущейся толпой на отдалении рисовались стройные линии церквей и домов, а ветви деревьев, еще голые, с клейкими, только что распускающимися почками, бесшумно покачивались над самыми головами и говорили что-то своею неслышной мерною речью. И Нестерову казалось, что кто-то мягко, но настойчиво отводит в сторону все тяжелые мысли, томившие его, а на их место вместе с вечерним воздухом вливается струя бодрящей свежести и покоя.

— Смотрите, вон там на повороте... Это моя знакомая старушка с дочками. Удивительно милая, столько в ней

еще жизни и бодрости. Вот это действительно живой человек! Хотя и не очень далекая, по правде сказать, но иной раз приятно поговорить... Хотите, я вас познакомлю, пойдемте чай пить — она очень простая... Вам ведь все равно, куда идти?

Нестерову действительно было все равно, и он молчаливо согласился.

— Плывет точно уточка с двумя утятами. Правда, похоже? Она ужасно любящая мать и дочек не выпускает из-под крылышка, да они, кажется, и сами не хотят уходить. Тепло, уютно!.. Совсем ведь девочки на вид? А старшей уже девятнадцать лет, в прошлом году гимназию кончила.

Марья Гавриловна быстро поднялась и, красивым жестом оправив платье, улыбаясь, направилась к старушке, которая еще издали говорила:

— И вы подышать вышли? Воздух-то какой дивный! Благодать божья...

— Позвольте познакомить вас, Анна Андреевна: мой хороший знакомый, Николай Константинович Нестеров, студент, которому голову некуда преклонить до двух часов ночи. И оба мы очень хотим чаю, особенно с вашим вареньем...

— Что ж, очень, очень буду рада, мы и сами домой уже направлялись. Это мои дочери, девочки еще, вы их строго не судите.

Нестеров, несколько смутившись, пробормотал что-то невнятное. Марья Гавриловна, улыбаясь, смотрела на него и говорила смеющимися глазами: «Не бойтесь, не съедят, они тоже овечки... как и вы», потом она взяла старушку под руку, и обе пошли вперед. Нестеров остался один, позади всех. Он шел маленькими шагами и думал о том, что неловко так идти, одному, что нужно что-нибудь говорить, но положительно не мог ничего придумать и продолжал идти молча. Он наблюдал, как Марья Гавриловна ведет оживленный разговор со своей собеседницей, а одна из девушек, идущих впереди него, вероятно младшая, сдерживает смех, над ним, конечно. «Все равно, — подумал Нестеров, — не выдумывать же разговора!»

Ему было приятно, что можно не говорить и не думать, а только куда-то идти.

«Как чудно, — думал он, — куда-то, зачем-то идешь в большом чужом городе, с людьми, еще за минуту перед

тем незнакомыми, не имеющими никакого отношения ко мне, к моим мыслям и делу...»

Идти пришлось недолго, и Нестеров так и промолчал всю дорогу.

II

Анна Андреевна занимала весь свой небольшой домик. Он стоял на углу улицы, а с двух других сторон к нему примыкал двор, тоже небольшой и обнесенный высоким плотным забором, по которому снизу ползли тонкие стебельки дикого винограда. Вдоль стен и посреди двора были разбиты клумбочки, и в воздухе стоял запах свежей земли.

— Я называю это своим царством, — говорила старушка,водя гостя от одной грядки к другой и рассказывая, где что будет посажено. Она ходила совсем молодой походкой и говорила таким свежим грудным голосом, что, отвернувшись и не видя ее низенькой, очень полной фигуры и седых волос, можно было представить себе образ молодой, стройной, живой девушки. Она как бы угадывала мысли Нестерова и говорила, улыбаясь:

— Мне уж в могилу пора глядеть, а я все еще ребячествую... Вы удивляетесь? А я думаю, что жить радуясь можно до самой смерти, только не надо закрывать глаз на божий мир. Ведь все так дивно хорошо и полно, полно жизни! Впрочем, вы, молодые люди, над этим только посмеиваетесь, я это знаю...

— Нет, отчего же? — сказал Нестеров, чувствуя, что несколько краснеет и отвечает не совсем на вопрос. — Всякий думает так, как велит ему совесть. И никто не знает всей правды.

Он окончательно смутился и замолчал.

— Идемте наверх, там девочки чай приготовили, — сказала Анна Андреевна и молча стала подниматься по лестнице.

В комнатах было так же уютно, как и на дворе. Необыкновенно чистые полы, лампадка перед образом, мебель вдоль стен и большой, покрытый клеенкой стол с самоваром. Окна и дверь на балкон открыты настежь, и воздух тот же, что на дворе, свежий, успокаивающий. Нестеров прошел на балкон к Марье Гавриловне.

— Ну что, нравится вам моя старушка? Правда, совсем особый мирок, чистый, спокойный, но и ограниченный. От всего, что волнует, беспокоит, заставляет страдать, здесь отгорожены таким же высоким забором, как и двор. А девочки воспитываются, как цветы на том же дворежке...

Нестеров молчал, а Марья Гавриловна продолжала:

— Что с ними будет в жизни? Она раздавит их при первом же шаге, они ничего не знают. Вы поговорите с ними — совсем дети...

— Да, жизнь ломает многое...

Нестеров сказал это так просто и грустно, что вся неловкость, тяготившая девушку, сразу исчезла. Она невольно подвинулась ближе к нему, и голос ее сделался задушевным и тихим.

— Что с вами, скажите? Вы страшно изменились... Что было с вами за эти два года? Мы были так близко знакомы, а теперь встретились, точно чужие...

— Трудно рассказать... Может быть, я устал, может быть стал больше понимать... Понимать, как непонятна жизнь. Я и раньше знал это, и ничего нового в этом нет, но теперь это чувство владеет мной, я не могу жить, как прежде. Вам это непонятно, в вас так много жизни, она не дает вам остановиться, и посмотреть вокруг, и разобраться, вы сами — часть жизни. А я ушел от нее, и, раз уйдя, вернуться трудно... Я говорю непонятно, сбивчиво... Это оттого, что я не говорю об этом ни с кем. Да, может быть, так и лучше...

Нестеров взглянул на Марию Гавриловну и встретился с ее глазами. В них было много сочувствия, теплоты и жалости. Он замолчал, и обоим опять стало неловко.

«Да, мы далеки друг от друга... Что я могу сказать ему?» — думала девушка, и ей стало по-настоящему больно за этого человека, взглянувшего на нее с такою тоской. Помочь ему она не может, а жалость должна быть обидна, и она молчала, боясь выдать это словами.

Быстро темнело, становилось свежо и хотелось в комнаты, присесть к самовару, пить теплый душистый чай, видеть милую, полную жизни старушку, славных, простых девушек, сидеть с ними и слушать их бесхитростные, спокойные речи...

III

За чаем разговор шел сначала о жизни в провинции и столицах, причем Анна Андреевна спорила с Марьей Гавриловной и доказывала, что жить можно одинаково хорошо везде, что надо принимать жизнь, как благо, что в одном этом сознании много светлого и радостного. Потом заговорили о писателях. Анна Андреевна с восторгом говорила о Пушкине, Тургеневе, Гоголе и недолюбливала Лермонтова, Достоевского, Толстого.

— Я не могу понять, — говорила она, — как люди ухитряются из жизни делать муку, тщательно выискивают все томящее и беспокойное, страдают сами и мучают других. Всякое животное живет радостнее, чем мы. Для них все полно значения и смысла, которого мы не улавливаем, — каждый солнечный луч, каждая капелька росы... Они живут вместе с природой.

Марья Гавриловна откровенно улыбалась и, не стесняясь, называла это детским лепетом.

— Вы совершенный ребенок, милая Анна Андреевна, для вас не существует никаких проклятых вопросов, никакого исторического прогресса, который идет мимо всяких солнечных лучей и капелек росы. Вы не знаете жизни...

Нестеров говорил мало, хотя чувствовал себя совершенно свободно, точно давно бывал в этом зеленом уголке, отгороженном от всего мира. К нему обращались за его мнением, называли по имени и отчеству, заботились, как бы не надуло ему из окна, предлагали попробовать то того, то другого. Когда спор особенно оживился, Нестерову почудилось, что перед ним воскресает что-то давно-давно прошедшее, когда и он так же волновался и так же горячо говорил. Ему казалось, что теперь его тяжелые и скорбные мысли, которые он всегда таил про себя, съели в нем всю живость и непосредственность, что он вечно осужден смотреть на жизнь только издали и что все женщины со своими оживленными разговорами за чайным столом, в уютной комнатке страшно далеки от него. Но в то же время он чувствовал в себе какую-то смутную тревогу. Ему одновременно и уйти хотелось от этого разговора, от ярко освещенной комнаты в темную ночь, на пристань, и все сильнее нарастало желание говорить, рассказать про болезнь души, сделавшую его таким.

Желание замкнуться и не растравлять старых ран боролось с жадной теплой женского участия и ласки. Нестеров вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и, подняв голову, увидел бледное, внимательное лицо дочери Анны Андреевны, вероятно старшей, — не той, которая смеялась над ним дорогой. Она очень смутилась, но мать как раз в это время сказала ей:

— Люба, принеси еще сахару! Вера опять занялась своим мазаньем...

Люба вышла в другую комнату и через минуту вернулась уже совсем спокойная. Нестеров только теперь как следует разглядел обеих сестер. Вера очень походила на мать — тот же небольшой рост, живость движений и веселый открытый взгляд. Она что-то рисовала, низко наклонившись и быстро чертя карандашом по бумаге. Любовь была тоньше, стройнее, и глаза ее глядели печально и вопросительно. За все время она едва сказала несколько слов, но все, что говорили другие, внимательно слушала. Нестеров решил, что еще подождет уходить.

Все как-то примолкли, и стало совсем тихо, точно задумались над чем-то глубоким и важным, требующим полной тишины.

Вдруг в дверях послышался чей-то голос:

— Я к вам без звонка, у вас все двери настежь!

Все невольно обернулись, а Анна Андреевна тотчас же заговорила своим молодым голосом:

— А, Агриппина Петровна, только вас и не хватало... Видите, сколько молодежи, а я одна старуха с ними — обижают!

Агриппина Петровна была очень худая высокая женщина с большими глазами, которые казались совершенно потухшими и мертвыми.

Нестеров редко бывал в женском обществе и мало знал женщин, а теперь смотрел и думал: «Какие они все разные». Он даже разделил их мысленно, как хозяйка писателей, — на одной стороне сама она с Верой, на другой — новая гостя и Люба. «Марья Гавриловна? Она тоже скорей все-таки туда, к старушке. Что, если сказать это сейчас?» Он сам удивился, почему так разделил, и, задумавшись, уловил только последние слова хозяйки, относившиеся, вероятно, к нему:

— Завтра утром уже на месте будет.

— Вы не боитесь заразиться и умереть? Там ведь тиф, — сказала гостья, обращаясь к Нестерову.

Эта мысль не приходила ему в голову, и поэтому он ответил не сразу:

— Заразиться везде можно, вероятность почти та же.

Гостья глядела на него в упор своими темными живыми глазами и быстро говорила:

— У вас есть отец, мать? Может быть, невеста?..

— Отец есть.

— Будьте осторожны! Ради бога, слышите! — Она вскочила с места и нервно заходила по комнате. Нестеров заметил, что все относилось к ней как-то особенно и молчали, а гостья продолжала отрывисто и волнуясь: — Вы не переживали этого, вы не поймете... Да... А я пережила. Вам этого не понять... Умереть тоже было нельзя.

Она говорила быстро и несвязно, близко подходила к Нестерову и смотрела ему в глаза.

— У нее недавно умерли муж и ребенок как раз от тифа... Она осталась совершенно одна, — успела шепнуть Нестерову Марья Гавриловна.

— Успокойтесь!.. Дорогая Агриппина Петровна, успокойтесь. Сядьте! Хотите чаю? — говорила хозяйка. Но гостья ее не слушала.

— Вы едете к голодным, к больным, там много умирают... Что вы им везете? Вы утешите их, вы дадите им возможность жить? Не телу, а душе! Вы отгоните мрачное отчаяние? С вами придет ясность и покой для души?

Нестерова смущал и волновал ее тяжелый, пристальный взгляд и голос, который говорил о горечи и тяжести обиды, нанесенной ей жизнью.

— Я еду устраивать столовые и помогать, сколько могу и как умею. А лечить душу я не умею. Я не могу дать того, чего у меня нет.

— А!.. Вы банкрот и сознаете это... Это хорошо, что сознаете. Вы искренни! Если бы с вами было то же, что со мной, вы, может быть, и поняли бы, а теперь вам еще не понять...

Анна Андреевна с тревогой поглядывала на Любовь, которая так же, как и Нестеров, сильно волновалась. «Как она до сих пор к ней не привыкнет», — думала мать.

— Что это у тебя? — спросила она у младшей дочери.

Верочка, улыбаясь и говоря, что ничего не вышло, подала рисунок.

— А ведь как похоже! Смотрите, Николай Константинович, ведь это же вы! — И Анна Андреевна передвинула ему рисунок.

Каждый раз, когда Нестеров брал в руки свою новую карточку, ему хотелось спросить: «Да неужели я такой?» Он плохо знал свое лицо, но теперь сразу почувствовал, что на этом рисунке он похож, и невольно подумал: «Так вот я какой!» С небольшого листа картона на него глядело худое, грустное лицо с небольшой русой бородкой. Такие глаза, как здесь, — печальные, глубокие и красивые, — он помнил у своей покойной матери. Вера хорошо уловила их выражение, и весь портрет вышел очень похожим.

Все посмотрели и похвалили Верочку. Агриппина Петровна подошла к Нестерову и крепко пожала ему руку.

— Спасибо вам за вашу серьезность... — тихо сказала она. — Меня здесь очень любят, но так не слушают. Не желаю вам пережить моего горя... Не надо... — На глазах ее навернулись слезы, она еще раз пожала ему руку — крепко, изо всех сил, и, быстро отвернувшись, стала прощаться с остальными.

Все пошли проводить ее в переднюю. Нестеров остался один и вышел на балкон.

IV

После яркого света ночь сразу показалась совершенно темной, но скоро вслед за тем стали выступать силуэты зданий и узловатые линии деревьев. Когда же Нестеров взглянул вверх, ему ответно замигали слабо теплившиеся неяркие звезды. Он присел на перила и прислонился щекой к темному отсыревшему столбу. Он не мог сказать, о чем же он собственно думает. Случайные знакомства сегодняшнего вечера оставили в нем какой-то след, как бы исходную точку, от которой можно пойти куда-то дальше. Все впечатления вечера целиком ложились одно на другое и теперь двигались в душе, не выраженные словами.

— Вы здесь?

Нестеров сразу по голосу узнал Любовь и не удивился, что она тут, возле него.

— Да, — ответил он просто.

— Простите, может быть, это нехорошо, не надо так делать... то есть то, что я пришла... Нет, вы ведь ничего такого не подумаете?— Она очень волновалась, но вскоре оправилась и заговорила спокойнее. — Мы, верно, не увидимся, так что можно быть откровенной, ведь да? Я совсем почти не знаю мужчин, а кого знаю, те не похожи на вас, а ведь мужчины должны быть серьезней, умнее нас?.. Ну вот, я все думаю о многом и не могу ни в чем разобраться, а жить так, как живется, я не могу, не могу! Я никому не говорю этого, а по ночам рыдаю и кусаю подушку, чтобы меня не услышали. Я не знаю, что делать, во что верить, как жить... Вы не думайте, что я прошу у вас ответа, рецепта!.. Я знаю, что его нельзя дать. Я просто увидела вас..

— А где же Николай Константинович? — послышалось из комнаты.

— Он с Любочкой на балконе, — ответил голос Марьи Гавриловны.

— Увидела вас, — продолжала быстро девушка, — и поняла, что вы также серьезно относитесь к жизни и много страдаете... И вот мне стало легче, как-то увереннее, я почувствовала, что я не идиотка, не сумасшедшая. А то ведь я и в этом сомневалась... Вот Агриппину Петровну, ее все сумасшедшей зовут. Я ее одну знала, из таких... но она как-то дальше, чем вы, вы ближе... Вы простите, что я так говорю...

Люба стояла рядом с ним, опершись о перила. Сначала она белела неясным пятном, потом обозначилась фигура, тоненькая и хрупкая, а потом и лицо, бледное, матовое, с большими спрашивающими глазами. Нестеров всегда избегал женщин и даже немного боялся их, но Любочка была ему в этот момент такую близкою, родною... Он положил свою руку на ее и молча, осторожно водил ею по этой маленькой холодной ручке, как бы лаская и утешая дорогого, родного ребенка. Ни ему, ни ей это не казалось странным, а только еще больше сближало их настроение. Он молчал, сознавая, что она понимает его и без слов. Стало слышно, как в комнате разговаривают, а Верочка берет на рояле громкие, отчетливые аккорды. Несколько минут оба стояли молча, потом Любочка сказала уверенно и спокойно:

— А еще я увидела, что вы не отдаетесь тоске, что в вас есть мужество, вы смотрите всему прямо в глаза, и

вот едете туда... И я почувствовала себя бодрей. Не я, так вы, более крепкий и сильный, совладаете с жизнью... Спасибо вам.

— Во мне так мало силы, — медленно проговорил Нестеров, — я только все думаю и ищу, ищу... Может быть, сама жизнь даст то, что нужно...

Помолчав, он добавил:

— И вам спасибо.

Через минуту их окликнула Верочка. Марья Гавриловна собиралась идти и хотела проститься.

Нестеров уходил вместе с нею. На прощанье Анна Андреевна звала его заезжать на обратном пути в их «женский монастырь».

— Вы всех очаровали, — шутливо говорила она, — даже Любочка разговорилась, а Верочка ни за что не отдает ваш портрет Марье Гавриловне, которая тоже, кажется, не прочь его получить... А уж об нас, старушках, и говорить нечего...

Сразу не простились и пришлось еще раз всем пожать руки.

— Не опоздайте на пароход, — говорила Верочка, — скоро час.

— Час?

— Да, вам придется взять извозчика.

Выйдя из дому, Нестеров вскоре простился с Марьей Гавриловной, так как им нужно было идти в разные стороны, а он действительно мог опоздать. Он плохо слышал то, что она говорила дорогой про Анну Андреевну и Агриппину Петровну, и совершенно машинально ответил «да» на вопрос, понравилась ли ему Любочка. На прощанье Марья Гавриловна пристально поглядела на него и крепко пожала руку.

Извозчик попался хороший, и Нестеров весь отдался приятному чувству быстрой езды. Возница постегивал лошадь и время от времени говорил:

— Поспеем, барин, не бойсь...

Прямо в лицо с реки дул порывами довольно крепкий ветерок, омывая свежей струей лицо Нестерова. Это ощущение было очень приятно, и он думал о том, что давно уже не было ему так хорошо. Все осталось по-старому, но на душе словно проясняется и намечается что-то

новое. Легче, уверенней, когда знаешь, что не один...
Нужно мужество... Да, и знаешь еще, что где-то ты
нужен и что ждут тебя люди, которым ты можешь по-
мочь в лихой их беде.

И Нестерову вдруг страстно захотелось скорее туда,
в далекий неизвестный уезд, приложить теперь, сейчас
же, все свои силы, которых, может быть, хватит и на
многое. Он даже приподнялся к извозчику:

— Скорей! Скорей!

— Поспеем, барин, не бойсь...

1900 г.

ВАРЕНЬКА ИЗ ПРИЛЕП

Но бури севера не вредны русской розе.

Пушкин.

I

Телеграмма была послана, кажется, во-время, но лошадей на станции не было. Игнатий Петрович был в недоумении, как ему поступить. Он стоял на станционной площадке и глядел вниз на оставленный поезд. Раздался свисток обер-кондуктора: «Ехать!» — и ответный свисток паровоза: «Слушаюсь!» — и вагоны, дрогнув, поплыли в ранних сумерках мягкого зимнего вечера. «Точно гусеница проползает у ног, — подумал он со скупой улыбкой, — словно отыскивает среди зимы свое лето».

Игнатий Петрович был человек педантичный и аккуратный, питавший органическое отвращение ко всякому беспорядку; к тому же годы и чин его были не маленькие, что еще осложняло положение. «Сестра так сама просила заехать, — думал он, сдержанно досадуя, — и не могла озаботиться высылкой лошадей».

Он возвращался теперь в Петербург из командировки с Кавказа и по пути решил заехать к сестре, которую давно не видал после крупной размолвки с покойным зятем, мужем сестры.

— Так точно, телеграмма была послана еще утром, с нарочным, — ответил на его вопрос дежурный по станции, прикладывая перед важным барином руку к козырьку фуражки.

— А далеко до Оболенского?

— Верст шесть или семь — разное считают. Здесь можно достать лошадей на деревне.

Игнатий Петрович задумался. Ждать деревенских саней и потом тащиться на них — это представлялось ему весьма невеселым.

— Впрочем, лесом дорога короче, непроезжая только тропа, через Прилепы. Конечно, вы не изволите знать... А впрочем... Варенька!

Игнатий Петрович не успел запротестовать против этого возгласа, как помощник начальника станции скрылся. Он пошел вслед за ним.

На маленькой станции было по-праздничному чисто и весело, лампа горела светло. Ни досадовать, ни сердиться было неловко. От топившейся печки, полной жарких углей, дышало приятным теплом, располагавшим к покорности; было тихо. Игнатий Петрович достал папироску и закурил. «Будь что будет, — подумал он, — подожду». Его чемодан лежал на диванчике, принесенный сторожем, также куда-то ушедшим.

Игнатий Петрович сверил часы, походил взад и вперед и стал глядеть на стене объявления. В это самое время кто-то рассмеялся за дверью; смех был быстрый, короткий, из тех, что, обрываясь, переходит в глаза и живет в них еще долго спустя. Так и было: в отворенных дверях стояла в крытом тулупчике и смеялась глазами — наверное, Варенька.

Игнатий Петрович, обернувшись, глядел на нее.

Ей было не больше шестнадцати лет; в своем мягком тулупчике она казалась крепкой и сильной, но стройность ее и легкость фигуры угадывались неуловимо и безошибочно; лица, точно рамкой очерченного темным платком, нельзя было сразу понять, как нельзя разобрать в первый момент, обернувшись внезапно из тьмы, залитого светом фасада, или схватить рисунок пейзажа, взглянув на низкое полное солнце; видеть лицо мешали глаза.

Однако Игнатий Петрович скоро оправился и не без видимой холодности, как бы предупреждая всякую неуместную фамильярность, вторично взглянул на вошедшую. Лицо ее оказалось простым и милым, с чуть расплывающимися по-русски чертами и исполненным той изумительной свежести, которая возбуждает и зависть и смутное чувство снисхождения к ее обладателю.

Варенька, помедлив минуту, подошла к Игнатию Петровичу и протянула, к его изумлению, руку, сказав:

— Мне Николай Васильевич сказал, что нам по дороге. Хотите, я с вами пойду?

Не успев подумать и подчиняясь невольно ее простодушию, Игнатий Петрович ответил тоном согласия:

— Благодарю вас, вы очень любезны. — При этом он рассмеялся своей излишней, как ему показалось, изысканности.

— Ну, так идем!

И Варенька направилась к выходу.

Вошедшему Николаю Васильевичу передана была благодарность и просьба сохранить багаж до приезда лошадей от сестры.

II

Хорошо в вечерних зимних полях. Идет тихий снег. Едва заметно покачиваясь, стоят пережившие лето былинки, иные из них так изукрашены зимним убором, что, кажется, и грустить им не надо бы. Вот высокая травка из зонтичных, надломившись, как люстру в засохшем соцветии, полную, бледного в сумерках света, держит узорчатый ком хрупкого снега. Кое-где видны следы быстрых ног, близкие сердцу охотника. Пересечет невдалеке дорогу лиса с темной ношей в зубах (неосторожный петух из деревни), поведет головой, окинет вас боковым зорким взглядом и, не спеша, протрусит, невзирая на ваш пугающий крик, в ближний лес на покое полакомиться петушиной свежей кровью. Снег мягок и бел, спит под ровным покровом земля, и дыхание ее глубоко и покойно. Недалеко от тропинки, ведущей в лес, по косогору, возвышаются угловатые камни, старики из Скандинавии, за много тысячелетий до варягов пришедшие на Русь: валуны; они вылезают из-под оседающей почвы, и поверхность их сохранила следы северных раковин. Камни поменьше попадают и возле тропы; среди них есть и совсем небольшие, но каждый, как венчиком, отделен от снежных пластов пустотой: как если бы воздухом дышат самые камни. Хорошо в вечерних зимних полях.

По дороге взметается снежная пыль: запоздавшая тройка на станцию. Игнатий Петрович остановился и, улыбаясь, говорит своей спутнице:

-- Это за мной.

Оба стоят и глядят.

— Да, это лошади Натальи Петровны.

— Вы узнаете?

— Еще бы мне их не знать, — говорит, смеясь, Варенька.

Опять ее быстрый, оборванный смех, но Игнатий Петрович не видит смеющихся глаз, сознавая с недоумением и стыдливою радостью, как ему хотелось бы видеть их.

Дорогой они говорили немного; кружащийся медленно снег, тишина и поля располагают к молчанию. Инстинктивно хотел сохранить в себе Игнатий Петрович нетронутым тихое очарование, охватившее сердце и истекавшее от шедшей впереди фигуры в тулупчике. Он не хотел укорять сегодня себя за внезапную сентиментальность души, это чувство не посещало его долгие годы, и от него веяло детством.

Кто была Варенька? Это было загадкой; она не крестьянская девушка, как ему показалось сначала, она не была и тем, глубоко неприятным ему в своей тривиальности типом, что слывет под именем барышни. Он всею душой презирал этот собирательный тип; синонимом беспощадной, тоскливой и отвратительной пошлости были для него эти девицы, породы барышень, равно столичные и провинциальные. Когда подавал он им руку, то чувство брезгливости овладевало им, точно трогал лягушку или скверную мышь. Игнатию Петровичу теми, кому надлежит это ведать, был давно и бесповоротно вынесен приговор: этого не женить!

Варенька сама в разговор не вступала, но все же они обменялись за дорогу несколько раз короткими репликами.

— А вы также с поезда?

— Нет.

«Нелепый вопрос, — была в гостях у кого-то на станции».

— Вам не холодно?

— Нет. Лошади будут, наверное; у них часы всегда врут, — говорит она, помолчав, и вдруг, нагибаясь, мимоходом ловит горсть снега и ест.

Он пожимает плечами, но ему это мило.

— А нам по дороге?

— Да.

— Где вы живете?

— В лесу — в Прилепах.

Теперь Игнатий Петрович стоит и думает: «Я ее подвезу». Но Варенька говорит:

— Прощайте теперь, — и руки не протягивает.

— Я вас подвезу.

— Нет, нет.

— Почему?

— Тут и дороги нет в лес. Это надо в объезд.

Кучер подъехал, осадил лошадей, ломает нарядную шапку.

— Не вы ли к Наталье Петровне изволите ехать?

— Я. Отчего запоздал?

— Не могу знать. Пожалуйте.

— Съезди на станцию и возьми мои вещи. Я тебя подожду.

— Слушаю-с.

— Я вас провожу.

Варенька думает что-то и, наконец, говорит:

— Только до лесу.

— А там?

— Нет, нет, я сама.

Когда коснется ее что-нибудь ближе, Варенька говорит два раза нет, и так быстро и коротко это «нет, нет», как ее смех.

Игнатий Петрович не спорит.

Кудрявый лес подступил им навстречу; здесь еще словно бы тише: место, куда не каждый достоин ступить.

Ручка Вареньки, когда она протянула ее, наконец, для прощания, хранит еще влажность от снега; она горяча и мала, на ней один перстенок с синим камнем.

Было весьма хорошо, что на прощание она ничего не сказала: можно думать, что было сказано больше того, что могла бы произнести. Вот тулупчик ее замелькал между деревьями: лес ей родной. Что же, однако, сказать? Нечего. Конечно, просто ей нечего было сказать; это так невесело ясно.

Лес молчит, в полях идет снег. Игнатий Петрович возвращается тихо к проезжей дороге. Лошадей еще нет, и он садится на камень, отойдя к сторонке. «Ракушки эти также хранили когда-то скромную жизнь», — думает он. И эта волна тихой задумчивости не покидает его и в санях.

Игнатий Петрович в Оболенском гостит третий день.

Дом у сестры большой, старый, склад жизни весьма беспорядочный, часов в доме семь, и разница в их показаниях доходит до двух часов и более (причина запоздания лошадей); встают поздно, день протекает в смене еды и питья, хозяйственных распоряжений, приема гостей. Последних в праздничные дни великое множество и состав их крайне смешанный; на свежего человека, слегка скептического и холодного, как Игнатий Петрович, каждый из них производит впечатление живой карикатуры. Один, высокий и черный, с жилистой темной шеей, выступает по паркету, как гусь, а смех его — изумительная имитация лошадиного ржания, и весь он — странная смесь лапчатой птицы, коня и смышленного человека; другой безмолвно сидит в течение пяти-шести часов, коптя свои седые усы, и без того уже под носом янтарного цвета, из коротенькой трубочки с египетским табаком Бостанжогло, за ужином напивается и обретает дар слова; тридцать или сорок минут болтовни и отборных любезностей дамам истощают его до крайних пределов, и он засыпает на старом турецком диване в одной из отдаленнейших комнат, пробравшись туда потихоньку; до утра его не тревожат, и на ранней зорьке он уезжает домой; он холостяк и прелестнейший человек, говорят; еще один — кавалер, о котором вздыхают, трубчевский помещик, с усами колечком и с французским произношением, напоминающим лай зарвавшейся гончей; у него голубые в полоску носки, пестрый жилет с подпалинами, красные загонки и галстук цвета перезревшей оливки, с горошком; и таких посетителей богатый подбор. О дамах и думать не хочется.

У каждого из мужчин свои поговорки, неизменные, повторяемые из года в год; оселком остроумия является выпивка, один зовет водку молоком от бешеной коровы, другой возглашает каждый раз с точностью механизма, держа рюмку перед собою: «Здоровье ваше — горло наше», и выпивает ее, вытирая салфеткою губы перед закуской; ему вторит сосед, любезный сорокалетний толстяк: «Посторонись, душа: оболью!»

Впрочем, все они, может быть, превосходные люди, нельзя судить о них с высоты птичьего полета, но и

отказать себе в этом не слишком веселом удовольствии жаль: оно любопытно. Кроме того, так легче забыть о себе. Станным образом в эти последние дни Игнатий Петрович почувствовал, точно бы вновь, свое одиночество. Не здесь, в Оболенском, а вообще меж людей. Служба, бумаги, дела — пока жизнь течет в этом русле, она полна по-своему, но стоит отойти от нее и взглянуть на себя со стороны, как на других, и вот горькое чувство заполняет, вливаясь, пустоту освободившихся дней.

Игнатий Петрович сидит у окна и смотрит на двор. Снег не идет, но выпавший — свеж и приятен для глаза; деревья гнутся под тяжестью белых пластов; на раките у кухни черными комами взмохнулись индейки на ранний ночлег; видно налево, как рубят для топки дрова, проходит кто-нибудь по двору время от времени: ленивой походкой работник, женщина с кухни, раздетая, перебегает в рабочую избу; проскачет, лая на ветер, собака; трое детей лепят огромную бабу; она похожа на идола с пучком вихрастой соломы на голове, черными углями глаз и алым ртом из моркови; каждый вечер забава одна: бабу рушить; в этом деле принимает участие большая ватага людей, причем достается изрядно всем участникам свалки: грубоватая, веселая баталия, смех, жизнь.

На пороге людской стоит старый пес, он часто хворает, шерсть стала плоха, еду отбивают здоровые, молодые и наглые; избыток сил в них кипит, много бегают, много едят, лают зря, но в них нет никакого почтения к старости и прежним заслугам. Пес смотрит уныло и долго на двор, на снег, на возню ребят; потом так же уныло и виновато поворачивает тощее тело и идет с крылечка в холодные сени. Он выглянет еще раз или два до наступающей ночи, которая обещает быть долгой и невеселой. Игнатий Петрович понимает его.

Но вдруг пес поднимает на полпути старую, но еще не утратившую чутья умную морду и заливается хриплым, простуженным лаем, в котором сквозит явная гордость, что он первым открыл приближение подвезжающих. Лай дружно подхвачен, все обитатели дома, кухни, людской прильнули к прохладе стекла; здесь тот же инстинкт, что у собаки: увидеть приехавших первому.

Скоро из-за поворота, скользя, подбежали и санки, они были красивы, расписны и легки; за кучера сидел мальчик в красном шарфе с желтыми полосками, в

самых же санках в белых платках поверх шапочек — две женские фигуры; лиц не разобрать, видно лишь: что-то там розовеет; похоже, будто цветы, щедро и густо завернутые, как умеют это делать с любовью в больших магазинах, в мягкую белую бумагу, густо смятую наверху, но она растрепалась, и цветы розовели; розы в снегу.

Двор и дом оживились, все были рады приехавшим, собаки виляли хвостами и толкались мордами в нарядные шубки, мешая высаживаться: они разделяли общую радость.

Мимо Игнатия Петровича спешно проходит сестра; она седа, но еще молода, высока и стройна; после мужа она для всех неожиданно начала жизнь как бы вновь. Братнин приезд также радовал ее: он был у нее в первый раз в этом поместье.

— Теперь ты не будешь скучать, — говорит она, проходя мимо него и с легкой лаской касаясь волос. — Седеют. Да что с тобой?

— Ничего, ничего, — спешно отвечает ей брат. — Иди себе, иди...

О Вареньке у сестры он не спрашивал и не называл ее имени вовсе, так что она вряд ли что и поняла.

— Это Варенька, — сказала она. — Ты увидишь, какая она. Я рада. — И, уже уходя, добавила: — С Сашей, сестрой...

В передней уже слышны приветствия, поцелуи.

Игнатий Петрович не двигался с места; он не узнавал себя, он чувствовал, как сердце его, приостановившись, часто забилось, и горячая краска обожгла лицо: «Старый дурак», — подумал он про себя и разгладил усы.

IV

Было изумительно, как все люди теперь казались другими. Со старичком в наполовину янтарных усах, подойдя к нему первый, заговорил Игнатий Петрович и открыл в нем трезвый и умный взгляд на жизнь и судьбу; молодой человек с лошадиной шеей обнаружил, кроме смывленности, начитанность в области агрономии; даже помещик с галстуком цвета оливы был приятен сегодня Игнатию Петровичу — впрочем, лишь тем, что Варенька

не скрывала своего пренебрежительного отношения к его испытанным чарам.

«Умница, умница», — не переставал, мысленно обращаясь к себе, хвалить ее Игнатий Петрович. Он любовался ею весь вечер.

Варенька была одета прелестно; низко открытая шея ее, гордая и грациозная, была того теплого золотистого цвета, который, кажется, сам по себе издает аромат; вся она так хрупка и сильна одновременно, что напоминает и этим свежую розу. В этом цветке есть как бы что-то банальное, но эта банальность вся от людей, затаскавших эмблему: сам цветок в первобытной невинности свеж и прелестен.

В обращении ее с Игнатием Петровичем было нечто, что доставляло ему неизъяснимую отраду. По тому, как знакомили их, Варенька догадалась, что Игнатий Петрович не говорил ничего об их путешествии, и она умолчала также об этом перед другими. Таким образом, возникла сама собой меж ними небольшая их общая тайна; и из этой-то тайны, как истоки из озера, скрытого от взора людей, обильно струилось очарование.

«Умница, умница, — не уставал еще и еще повторять Игнатий Петрович. — И откуда в ней этот такт? Или это не только такт?» Последнее не сознавалось словами, но жило как смутное и отрадное ощущение в сердце.

Было шумно и весело, много играли; сестра Вареньки, Саша, старше ее и, может быть, много красивее, пела за роялью романсы Чайковского и Гречанинова; голос ее был приятен, ибо он напоминал голос сестры. Игнатий Петрович слышал короткий смех, быстрые чьи-то «нет, нет», и ему было неизъяснимо хорошо. Иногда он встречал глаза Вареньки через комнату, и она не отводила их, предоставляя во взгляде прочесть все, что угодно. И Игнатий Петрович жадно читал до сей поры ему незнакомую книгу.

Варенька в доме держалась свободно, говорила и с ним, но и за теми простыми словами, что она говорила, Игнатий Петрович давал себе волю читать все то же, сокрытое, что так тревожно и упойтельно было отгадывать.

После того как Наталья Петровна, улучив минуту и подойдя близко к брату, сказала ему тихо и, как тому показалось, значительно: «Ну что, как тебе моя

Варенька?» — он стал следить за собой. Всякий взгляд извне на то необычное, что в нем совершалось, был ему просто мучителен.

Вечер шел хорошо, и одно небольшое событие еще больше одушевило и развеселило всех.

В соседней с залом комнате играли люди почтенного возраста в винт. Между другими сидел и начальник станции из соседнего города, полковник в отставке в баках николаевского образца. В зале играли в «набор». Входившие из-за закрытых дверей кавалеры кланялись даме, стараясь отгадать, кто его выбрал. Не угадавшим свистали и хлопали; большое одушевление вызвал поклон оливкового щеголя Вареньке, на что она не только мотнула головой отрицательно, но и так экспансивно воскликнула свое «нет, нет», что поднялся стон. Игнатий Петрович также хлопал в ладоши. В это самое время старичок в отставке побледнел за столом и, встав из-за карт, ринулся вон, потрясая руками. Все переполошились, но оказалось, что ему представилось в поднявшемся шуме крушение поезда. Он выпил стакан холодного квасу и успокоился.

Впрочем, как обнаружилось впоследствии, ему, кроме того, сильно не повезло в этой сдаче.

В поднявшейся суматохе куда-то исчезла Варенька. Во время игры она избрала Игнатия Петровича, и теперь он искал ее. Но Вареньки нигде не было. Игнатий Петрович вошел в темную комнату, выходившую в сад, на террасу. Дверь туда и зимою не забивалась; это была одна из причуд Натальи Петровны. Он инстинктивно заглянул в окно и тотчас увидел стоящую Вареньку; дверь была слегка приоткрыта, в нее тянуло ночным холодом, морозом. Девушка вышла, как была в зале. Свет лампы, падавший из окна кабинета, освещал ее сбоку; она стояла, откинув лицо, и глубоко дышала; видны были ее наполовину открытые руки. Первым движением Игнатия Петровича было последовать за Варенькой: она могла простудиться. Однако он замедлил, очарованный. Стихи Пушкина пришли ему в голову:

Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

И он стоял, любуясь ею и чувствуя, что готов сделать сейчас великую глупость. Вдруг, двинув рукой у

стекла, он ощутил укол: на окне был газон с комнатной розой. Странная фантазия пришла ему в голову; он быстро ошупал рукою растение и, найдя цветущую розу, сломал ее стебель.

В тот же момент, как он решил толкнуть дверь и выйти за Варенькой, он увидел, что она была не одна.

Какой-то человек был возле нее, и Варенька, склонясь, обняла его и крепко поцеловала.

Игнатий Петрович круто повернулся и вышел из комнаты; рука его, дрожа, опустилась в карман вместе с розой.

— Кто этот парень? — спросил он, как бы шутя и мимоходом, с кривою улыбкой, полчаса спустя у сестры про скромно одетого молодого человека с ясным и простоватым лицом, которого до сей поры и не замечал среди гостей: Варенькин кучер. Сегодня он также был в первый раз.

— Это Варенькин жених, — с той же деланною беспечною ответила Наталья Петровна и тотчас же добавила, спрашивая и отвечая: — А как тебе понравилась сестра ее, Саша? Не девушка — прелесть!

Несмотря на все уговоры сестры, Игнатий Петрович выехал из Оболенского этой же ночью.

До поезда времени было достаточно, и незадолго до станции он велел кучеру пустить тройку шагом. Недовольство собою, досада на Вареньку и сознание неправоты своей в этой досаде томили его. Об оставленной службе, делах думать было, как он испробовал, невыносимо. Всю свою горечь теперь он изливал на себя. Ему вспомнился старый покинутый пес, глядевший на двор. Он сделал всем телом движение, как бы желая найти себя. Теперь проезжали мимо тропинки, ведущей в Прилепы; это название было наивно и мило, и ему себя стало жалко до слез. Вернуться, сделать ей предложение, увезти... Боже мой, боже мой, куда же жизнь протекла?..

Кучер был изумлен, когда барин остановил лошадей и вылез из санок.

— Поезжай, я пройду, — сказал он ему.

Были видны по снегу чьи-то следы. Конечно, не те уже. Лес, ее дом, спокойно темнел в стороне. Камни дышали. Здесь все были дома, каждый на месте. Вот там

он сидел. Игнатий Петрович наклонился к земле: тесная горсточка стеблей подорожника в белом снегу, и каждый — как свечка. Ночное моление, благодарность. Вернуться?

Он распахнул свою шубу и быстро достал смятый цветок. Он был тепел и нежен, как чья-то ладонь. Невольно, стыдясь самого себя и, как обновлению, радуясь мгновенной и быстрой слезе, он поднес к губам этот душистый сонм лепестков, благоухающих и обреченных, и благодарно, прощая, прощаясь, кинул цветок по направлению к лесу; роза легла на снегу.

Кучер стоял невдалеке, поджидая, и Игнатий Петрович пошел к нему, все ускоряя шаги.

1911 г.

КАЛИНА В ПАЛИСАДНИКЕ

Повесть

I

После трех дней непрерывных дождей и холодного ветра высокий берег реки, круто повертывавший ниже мельницы по течению, походил на огромную полуковригу черствого хлеба, глубоко источенную мышами. Впрочем, воскресное солнце, первый день после дождей весело заигравшее на мутноватых еще, быстрых всплесках воды, уже слегка подсушило и берег; и лошади, тройка, спускаясь с горы, отфыркивались в разные стороны от тепловатого, их охватившего, пара. Кучер, не отпуская вожжей, левой рукою поправил шляпу с сизозеленым пером и крепко разгладил усы с мелкими, на них осевшими, каплями: слобода была позади, впереди — как-никак город.

— Касатку-то попридержи, — сказал господин из тарангаса немного ленивым и еще густым, по-утреннему, голосом.

Ничего не ответив, кучер для вида шевельнул правой вожжой. Касатка еще раз досадливо фыркнула и получила короткий удар ремненным кнутом.

Барин достал папиросу и закурил. На вид ему было не более сорока, на самом же деле сорок седьмой. Он был моложав и, кроме того, молодился. Усы были круто закручены и двумя полусерпиками кидали легкую тень на свежие щеки; коричневая борода, густая и мелко

вьющаяся, была аккуратно подстрижена и небольшою лопатой выдавалась вперед. От груди ненакрахмаленной мягкой рубашки под бородой слабо дышало ароматом фиалок; белье по старинке нянюшка Василида перекладывала свежими фиалками, и Валентин Петрович с детства привык к этому запаху. Височки его серебрились заметно и давно уже, но он устоял перед искушением и к красящим гробешкам не прибегал. «Что, друг Валентин, — сказала ему однажды жена, — и у тебя?..» — «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник», — отшутился тогда Валентин Петрович, и эта шутка почему-то и самого его освежила. «Пусть, — подумал он, — и это не так уже плохо... при молодом лице», — и купил себе шляпу для осени и для весны из темного бархата; она к нему действительно шла.

В широком разливе реки, выше мельницы, отражались ближние мещанские домики с мохнатой листвою деревьев, синими ставнями с вырезанным посередине сердечком, с неуклюжими трубами над стареньким протекающим тесом; кое-где уходил в глубину синеватый прерывистый дым, разорванный дважды: и ветерком и зыбью самих крутящихся струек. Глубже всего уходил длинный шпиг колокольни, под ним расстилались белыми пятнами одни облака. Впрочем, одно из них белело совсем неглубоко.

Смутная грусть на минуту заволокла лицо Валентина Петровича; он не отдавал себе в ней ясного отчета, но несомненно, что шла она именно от этого отражения улицы уездного городка в тихом течении речки, — было оно; как и всякое отражение, чем-то психологически родственно воспоминанию и говорило о зыбкости и преходящести жизни. Но когда он попригляделся к этому странному облаку между домов, даже сощурился и подавшись вперед, то не мог не рассмеяться: это была отраженная калина в цвету.

Валентин Петрович поднял глаза и увидел направо, не так далеко от плотины, низенький домик в несколько окон; во всю длину его шел палисадник, густо набитый сплошными кустами калины; она цвела, и цветущие ветви ее, узловатые, пышно и кругло раскинутые, лились застывающей пеной через края загородки. Крепким здоровьем и изобилием жизни была налита она в холодноватых купах своих снежных цветов.

«Какая краса», — подумал Валентин Петрович и, сняв шляпу, пробежал привычным движением пальцев по волосам. Они проезжали плотину. На стоке вода, стесненная с боков, густо сбегала по откосу досок и падала, звонко крутясь и посвечивая острыми спинками струй, между крупных, мокро блестящих камней. Речка ниже плотины сразу делалась бедной, но не унылой, быстрыми рукавами растекалась она между островков, зеленых и каменных, а дальше, на повороте, уже отражала соборную гору и храм на верхушке ее, залитый солнцем. Мальчишки и девочки, с подмокшими штанишками и юбочками выше колен, с увлечением плескались в воде и рылись в песке.

Как самодельный лук, круто и неровно натянутый со стороны города, была эта, блестящая серебром, полоса реки, а сам городок, зеленый, дремотный, негусто теснился невысокими скромными домиками на низком неправильном полукруге на том берегу. «Лук направлен против меня, — подумалось Валентину Петровичу, — да кто же из него выстрелит?» Эта мысль, однако, тихонько его кольнула. Он надел свою шляпу и опять откинулся в кузовок тарантаса. От полосатой старой материи шел слабый, несколько затхлый запах пыли и тления, приятно освеженный воздухом утра.

Между тем Федор тронул коней; упруго и сильно натянулись постромки, упряжь слилась с лошадьми, и колеса, приятно и сочно похлипывая свежими, влажными колеями, быстро покатались по сырой еще от дождей, заросшей гусятником и кудрявой птичьей гречихой, широкой, вдоль реки загибающей улице. Быстро мелькнули ветки калины за палисадником серого домика, и в лицо Валентина Петровича пахнуло от них холодком, а несколько брызг, как ему показалось, упали на лоб, бороду, щеки и даже рубашку. «Вот и я промелькнул там в реке, в этом плывущем и неуплывающем облаке», — подумал он смутно и опять улынулся неопределенной улыбкой.

II

Валентин Петрович Алтухов не был богат, но его имение, около двухсот десятин хорошего чернозема, было в полном порядке, дела велись образцово, во все он

вникал самолично и ежедневно на беговых дрожках объезжал поля. Образование его было небольшим: он кончил реальное училище да всего один год пробыл в сельскохозяйственной академии в Петровско-Разумовском. Политикой он никогда не увлекался, но был добрым товарищем, ходил в косоворотке и с изрядной сучковатой дубинкой, курил из трубочки дешевой табак, пел песни и при случае выпивал; на Бутырках в трактирах знали его хорошо и отпускали в кредит. Ему было жаль оставить свою студенческую вольную жизнь, но смерть отца и несколько запущенные дела по имени заставили его возвратиться домой и заняться хозяйством.

Этим новым делом недавний студент занялся прилежно: по зимам усердно читал агрономические фолианты, а летом приглядывался ко всему у соседей, что могло ему пригодиться и что не мешало бы перенять, и он добился-таки того, что Ясенки стали давать доход, с каждым годом все возрастающий. Одним из первых в губернии он стал культивировать клевер на семена, и дела его пошли превосходно. Он был единственный сын у отца и видный в уезде жених. Долго, однако, предпочитал Валентин Петрович свободную холостяцкую жизнь, уезжая на зиму месяцев на пять в Москву. Часто и многими он увлекался, но настоящей страсти не знал, и даже женитьба его на тридцать девятом году на молоденькой двадцатидвухлетней девушке, дочери известного в Москве хирурга-профессора, была наполовину случайной и во всяком случае внезапной и неожиданной для него самого. Невесту свою он видел (не будучи с нею знаком) всего два раза, на концерте и на балу в Благородном собрании; она чрезвычайно любила общество, танцы и музыку и сама была музыкантшей. Валентина Петровича молодая девушка очаровала с первого взгляда; она была тонка, стройна и гибка; волосы ее были удивительного перламутрово-пепельного оттенка, а в глазах были смешаны грусть и веселость. Ему, человеку довольно бывалому, казалось невозможным к ней подойти, взять ее за руку, как просто делали другие, сказать несколько слов. И, однако, когда он встретил ее в третий раз у своей московской тетушки в ее особнячке в Лиховом переулке, он здесь же сделал ей предложение. Теперь этот день вспоминался Валентину Петровичу, как

очаровательное, никогда в действительности не бывшее сновидение.

Агния зашла с прогулки к своей подруге-консерваторке, кухне Валентина Петровича. Той не было дома, и тетюшка познакомила ее со своим деревенским племянником. Он неловко откланялся ей и сел в углу. Девушка была чем-то, видимо, сильно взволнована, расстроена и огорчена. Она попросила разрешения сесть за рояль и, быстрыми движениями сняв, как бы отрывая пальчик за пальчиком, длинные черные перчатки и кинув их на блестящую крышку инструмента, стала играть. Валентин Петрович сидел насупротив, молчал и слушал, не отрывая глаз. Агния также, казалось, не обращала на него ни малейшего внимания, играя то наизусть, то раскрывая первое попавшееся; звуки были ей совершенно необходимы и говорили что-то свое, слушателю же — свое. Не говорили (Валентин Петрович в музыке был совершеннейший профан), но странно сливались с его чувством почти неземного восхищения к девушке, которое охватило его с небывалою силой; он отдавался им (и ей) безвозвратно. Вся жизнь его, прошедшее и будущее, без резкой разделительной грани, как море с набегающими волнами, колыхаясь в нем, и каждая волна звенела, звала и утверждала.

Порою перед глазами его вставала Агния между белых колонн собрания, живая и изменчивая, окруженная мелодыми людьми, которые все (о, наверное!) были от нее без ума, и ему становилось страшно. Каждый из них мог взять ее и похитить. «Да, я сделаю это», — говорил он себе и, весь красный от волнения, встал, когда она поднялась.

Тетюшка несколько раз входила и выходила во время игры.

— Ну, что же, не дождетесь Наташи? — спросила она теперь, когда гостя, не глядя, взяла с рояля перчатки; одна из них, скользнув по платью, легла на паркет, Агния ее не заметила.

Она хрустнула пальцами и отвернулась. Валентин Петрович заметил светлые слезы в уголках ее глаз; вид этих слез глубоко его поразил.

— Нет, не дождусь, — ответила она и быстро, заторопившись, попрощалась и вышла в переднюю.

Валентин Петрович нагнулся и поднял перчатку, от нее сильно пахло духами; он также вышел за дамами.

Агния уже надела левую, когда заметила, что другой перчатки нет. Вернувшись, искали второе и не нашли.

— Я думаю, тетушка, что ваш кот стащил, — сказал Валентин Петрович посмеиваясь.

— И то правда, — ответила тетушка. — Степа у нас большой безобразник (Степаном звали кота), — и вышла в столовую.

Они остались вдвоем. Агния стояла, полуопершись у рояля, и глядела в окно, где падал медленный снег. Валентин Петрович ждал ее взгляда. Он до сих пор не проронил еще ни слова, но теперь совершенно овладел собой; глаза его сияли решимостью и любовью. Внезапная мысль, раз зародившись, не уходила и, как живая сила, толкала его на мальчишество, на жуткий и завлекательный риск; но все это было бесконечно серьезно. Девушка перевела глаза, наконец, на него и не отвела их, остановив, глядела, пораженная общим его выражением; уже в молчании, может быть, передалось ей его необычайное состояние.

Тетушка в поисках безобразника Степы была не слышна, слабым отсветом ложились на паркет залы переплеты окон, за ними на улице падали все гуще, бесшумно кружась, снежные хлопья, в глянцевитой крышке рояля отражалась милая, печальная и изумленная головка Агнии.

— Ваша перчатка у меня, и она моя, — сказал Валентин Петрович не двигаясь.

Агния слабо ему улыбнулась, но тон его слов был таков, что тотчас лицо ее стало серьезным.

— Пусть так, — сказала она и продолжала глядеть.

Тогда Валентин Петрович взял ее руку, правую, в свою и, наклонившись, твердо и с силой проговорил:

— А кто владеет перчаткой, тому должна принадлежать и рука.

Девушка вспыхнула, ничего не сказала, но руки не отняла; все это так странно совпало с ее, неизвестными Валентину Петровичу, переживаниями.

Когда вошла тетушка, Валентин Петрович пошатывался; голова его кружилась, а сердце ныло, как бы изнемогая под бременем счастья, хотя она ничего не сказала и только не отняла руки.

Были потом и еще свидания, встречи и разговоры, беседа с профессором, но этот час зимнего вечера, четыре часа пополудни восемнадцатого января, в пятницу, остался самым волнующим и самым диковинным воспоминанием.

Сама она ни о чем из прошлого своего не говорила, но позже, когда Агния, после полутора лет жизни в деревне, оставила мужа, он, перебирая и сопоставляя на печальном досуге своего одиночества все самые мелкие факты, уяснил для себя, что у нее была крупная и роковая неприятность с человеком, которого любила, и в особенно горькие минуты он не уставал повторять себе, что она вышла за него «с досады» и «на зло» кому-то. Теперь он знал даже кому, — в одном из писем своих она назвала его имя; знал его почерк по адресам на письмах, которые Агния часто от него получала и никогда не показывала; знал, что ей нравилось в нем, сообщая об этом по тому, что ей не нравилось в муже.

Полтора эти года они прожили, впрочем, дружно и нежно, с редкими размолвками, но было в чувстве обоих нечто как бы недовершенное; захвата и полноты чисто человеческой страсти Валентин Петрович за время своей супружеской жизни так и не узнал. Со стороны на него глядя, этому трудно было поверить, но у души есть и иные законы, чем те, которые на первый взгляд читаемы людьми в фигуре, в чертах лица, внешнем характере.

Отъезд Агнии, вернее побег, за границу со скрипачом-виртуозом Дубовским (он выступал и на том самом концерте, когда Валентин Петрович впервые Агнию увидел) произвел на него впечатление чрезвычайное. Крошечный мальчик Борис остался отцу и выросал на попечении няни.

Около трех лет провел Валентин Петрович в строгом уединении, запершись от соседей, которым дал пищу для разговоров и пересудов на долгие месяцы; даже хозяйство перестало его, казалось, вовсе интересоваться. Он выписывал в эту пору много книг, больше по философии и преимущественно по древней. Была зима, когда засел было даже за греческие учебники, но как следует их не одолел, а в одну чудесную весну с вечно живой ее философией, из самых недр земных подымающейся в запахе талой, отогревшейся земли, в желтых и теплых закатах, в движении зелени и вод, сложил свои книги в дубовый

высокий шкаф и выехал в поле. Он не махнул рукою на прошлое, оно не умерло в нем, но для других он сделался вновь общительным и приятным хозяином и собеседником, прежним, знакомым всем Валентином Петровичем.

Время от времени на расспросы знакомых он сообщал краткие сведения о жене, — Агния изредка писала ему о своих успехах в музыке, о даваемых ею концертах. Но за последние годы эти письма становились все реже, и уже более полутора лет Валентин Петрович принужден был говорить, что новостей нет никаких. Делал он это с обычною простотою и видимым спокойствием, так что судить о том, остался ли все же в душе его какой-нибудь след, никто не решился бы наверняка.

III

Заехав на почту и рассеянно сунув в карман пальто газеты и письма — корреспонденция у него была почти исключительно деловая, — Валентин Петрович отправился в банк, в управу и по другим обычным делам, а пообедать, уже чаю в шестом, зашел к голове, старому товарищу по реальному училищу.

В доме у головы, Аркадия Андреевича Струкова, настроение было не совсем обычное. Веселый гомон, напоминающий предвечернее щебетание птиц, прилетевших на ранний ночлег и гомозящихся на верхушках старых берез, был слышен и с улицы. В раскрытые окна было заметно, как кто-то несколько раз взмахивал, встряхивая или расправляя, полотнища легкой белой материи. Из-за горшков кактусов, фуксии и болотной, сбившейся густо, травы, похожей на крохотные пальмочки, выглянуло сразу четыре или пять девических лиц, послышался смех и возня быстрой уборки. Вылезая из тарантаса, Валентин Петрович припомнил, что близился срок выхода замуж Сонечки, старшей дочери Аркадия Андреевича: вероятно, шла спешка в приготовлениях к свадьбе.

Так это и было. В дверях, на пороге, встретил его сам хозяин. Он был по-домашнему — в поношенном персидском халате с широчайшими расшитыми рукавами. Распахнув его на груди и закрыв, как занавесью, всю дверь, Струков покрикивал весело и хриповато, будто

спросонья, и как бы перебрасывая слова через голову:

— Живо, живо! Пришел! Глядит! Убирайтесь!

Валентин Петрович остановился улыбаясь.

— Ты нас застал, как на бивуаке. Они меня прямо из спальни вытолкнули прикрыть им отступление.

— Кто?

— А девчонки! Целый полк. С утра до вечера восточный базар. Ну, бог с ними!.. Здравствуй.

Он протянул с приветствием пухлые руки вошедшему.

Звонкий вскрик раздался из комнаты. Кого-то все же застали врасплох. Валентин Петрович заметил беглую руку, обнаженную, кусочек кружева с коротенького рукава; несколько каштановых, сильно вьющихся прядей метнулись в просвете дверей, слегка ударяясь о плечо.

В зале был беспорядок, не все успели убрать.

— Примерки все, к свадьбе. Целый содом, — сказал Струков, позевывая и расправляясь в плечах; обширный живот его под рубашкой мягко поколыхивался.

— Шьют всем гуртом, и портниха сороковой нынче день как в дому. А свадьба-то уже в воскресенье.

— Папочка, дай мне там... на кресле в углу.

— И мне у рояля...

— И мне на диване...

— И мне...

Отец замотал головой и закричал под девичий смех, возобновившийся с новою силой:

— Мы лучше уйдем! Мы лучше уйдем! Как будет обед готов, позовите!

— Ну и прекрасно, давно бы пора догадаться, — ответили из-за двери.

— Тут ведь не только мон, — пошлепывая стоптанными вышитыми туфлями, продолжал Аркадий Андреич разъяснять положение дел. — Я уж теперь и не разберусь, кто свои, кто чужие, подруги, да родственницы, да портнихи, да еще какие-то девы... Ну, как клеверок, бушует после дождей?

Они вошли в кабинет и стали раскуривать по сигаретке.

— Обед у нас нынче, милый друг мой, с опозданием.

Обед действительно начался при свечах. Валентин Петрович подумывал было уже и уехать, пока Аркадий Андреич ходил переодеваться, но тот его отговорил, призвав на помощь жену.

— Ночь видная, месячная куда вам спешить, дети не плачут ведь; — говорила Ольга Григорьевна — и жена не ждет, — добавила она и немного смутилась.

Но Валентин Петрович сам повторил за нею:

— Да, и жена не ждет, — и вздохнул.

Веселая беготня в струковском доме, смех за стеной, много раз начатая и тотчас оборванная короткая чья-то мелодия, царапанье веток из сада, как будто кто постукивал розовым ноготком, поддразнивая, — все это странно действовало на него сегодня; не мог он забыть и кружевной узкой полосочки над смуглым чьим-то плечом. Разговаривая о последних городских и газетных новостях; он слабо, однако, отзывался на них, опять привычная грусть обволакивала его все еще красивую голову, но в грустном чувстве этом не было покоя примиренности, и не была она широкой объемлющей стихией, словно бы сгущалась и затвердевала она, как куполом тонкого стекла отгораживая его от молодых бьющихся голосов за стеной; как резвые касатки, задевали они крылом о стекло, и в сердце болезненно отзывался уколом всякий вскрик.

— Пойдемте, пойдемте, — тащила его между тем Ольга Григорьевна, — а впрочем... Аркаша, он ведь не знает еще... — И она убежала с мягкой живостью уже полнеющей, но еще подвижной сорокалетней женщины.

Валентин Петрович вопросительно взглянул на Струкова, который, переодевшись, поправлял мягкий коричневатый галстук и улыбался.

— А вот увидишь! — ответил тот добродушно и с оттенком извинительной отцовской гордости.

Через минуту двери открылись опять, и вошла двухлетняя Ирочка, последняя дочка Аркадия Андреича. Смеющимися глазками посмотрела она на отца и на гостя.

— А-едасть, — пролепетала девочка и одной ручонкой схватила палец отца, другой — Валентина Петровича; оба последовали за ней.

— Славная тройка, не правда ли? — сказал, улыбаясь, отец. — Особенно коренной; не уступит и твоему. Ты ведь не знал, что она уже говорит?

Валентин Петрович вздохнул.

Обед был накрыт на террасе; горели свечи под стеклянными колпаками, летние мошки кружились вокруг, а сад уходил в темноту и казался очень большим.

Старшая, Сонечка, поздоровалась перемая, покрасневшись в качестве невесты; другие встретили его также весело.

— А где же Оля? А Нина? А Катя?

— Все разбежались, папочка!

— Одна храбрая Настенька здесь? Молодец! Вы не знакомы?

Пока Валентин Петрович оглядывался, ища, о ком говорят, Струков взял его за плечи и повел, подталкивая, в угол террасы:

— Видишь, где она спряталась?

Из полутьмы, в ветках орешника, росшего над балюстрадой, на Валентина Петровича сверкнули смеющиеся глаза, и оттуда же протянулась рука в суровой вышитой кофточке, открытая выше локтя.

— Это она вас боится, она вас боится! — запрыгали хором, топоча ножками, струковские девочки.

— И ни капельки не боюсь, — сказала Настенька смущенно-вызывающе и выступая из темноты. — Я тут шелкала листьями. — И она на ходу еще сдернула несколько листков с ветки орешника и, приложив к губам, звонко и мастерски, по-мальчишечьи, шелкнула.

— Ну и прекрасно, что не боитесь, хотя он у нас хват, возьмет так, в обнимку, хлоп и увез! — Струков хлопнул в ладоши, и все стали рассаживаться. — А почему же те ушли?

— Они придут после обеда, — ответила Сонечка.

— Они пошли за Колей и Васей и за Андрюшей, — добавила Лиза.

— И за Гусиком, — закончила Лида.

— Ну ты молчи, — хлопнула ее Сонечка салфеткой и опять покраснелась. — Какой еще такой Гусик!..

— Гусик — это не что-нибудь. Гусев Василий Никитич, мой будущий зять, — пояснил отец Валентину Петровичу, — молодой инженер, голова! И красавец. Они все тут в него влюблены. Не правда ли, Настенька?

Девушка энергично тряхнула своими короткими волосами, так что они разлетелись веером в стороны, и сжала неумело презрительно губы.

— И ни капли, — сказала она.

— Все ни капли да ни капли, — возразил, передразнивая, Аркадий Андрееч и затолкнул салфетку за мягкий

ворот рубашки. — А мы с тобой, брат, по рюмочке, а? Рябиновой, что ль?

Глаза Валентина Петровича встретились с насмешливо веселыми, но не укрывшими и смущения глазами Настеньки, и он весело согласился выпить рюмку рябиновой.

Девочки звонко смеялись, постукивая ножами и вилками. Все были на две косы, у всех кое-как подвязаны ленточки, у всех розовые щеки и аппетит завидный.

— Ешь, ешь. Неизвестно, как муж еще будет кормить; — говорил отец Сонечке. — Ух, сколько их! — И он с шутливым отчаянием покрутил головой. — А наследника ни одного... Беда, всех пристраивай! Жаль, ты не холост... (Опять поймал Валентин Петрович на этот раз несколько нахмуренный Настенькин взгляд.)

— Аркаша, — перебила жена, — ты, кажется, пягую?

— Ничего, на каждую дочь по паре и крышка, — ответил муж, наливая шестую. — Первый круг еще обхожу.

Он сделался разговорчив и весел. Валентин Петрович был очень ему благодарен в душе за эту его разговорчивость. Сам он чувствовал сегодня странное смущение, вообще ему мало свойственное.

Едва ли не впервые за это последнее время ощущал он опять с особенной тоской свою бездомную жизнь. Пока Боря был маленький, хоть он-то был ближе ему. Теперь рядом с нянькой появилась еще гувернантка; недалеко время, когда надо будет отдавать в гимназию. Агния... О ней сегодня вскользь помянули два раза, и, точно тронули соты давно покинутого улья, сквозь кору затвердевшего, побуревшего воска тяжелыми крепкими каплями выступил мед старательно запечатанных воспоминаний, а аромат его, старый и отстоявшийся, заволакивал грудь. Молодое веселье пенилось здесь еще беззаботнее над белою длинною скатертью; мило пунцовилась Сонечка при каждом намеке на жениха, усердно толкались коленками и локтями средние девочки. Ирочка клала отцу в рот листочки салата, а он целовал ее пальчики; мать с серебряной разливательной ложкой похожа была на Юнону. А он? А его жизнь в прадедовском доме? Хозяйство и книги, тишина кабинета и уныние других, более десяти, пустующих комнат?.. Даже Боря, и тот так редко смеется, и Валентин Петрович не раз задумывался о том, как это может отозваться на характере

мальчика — впечатления детства единственно неизгладимы... Но сейчас ему не хотелось останавливаться в мыслях на этом. Было нечто мешающее, и такое простенькое, деревенское имя носило оно — имя Настеньки.

Красивую девушку назвать было нельзя, для этого лицо ее не было прежде всего достаточно тонко. Лоб был высок и открыт, а нос несколько широк, как и все лицо, веснушки теснились у глаз в изобилии. Но глаза и рот были хороши несколько дикою красотой. Глаза темносерые, с очень большими ресницами, блестящи и влажны, они должны бы быть особенно хороши в запущенном старом лесу, где в сумерки пробегают, принагнув несколько спины, осторожные пары волков, один за другим, и где на заре из лисьей норы, подобной небольшому кургану, раздается полуписк, полулай проснувшихся и вечно голодных многочисленных лисенят; рот мал, но губы яркие и полны и походили на вишню-двоешку, надрезанную посередине. Вся головка Настеньки была невелика, но коротенькие кудри, откидываясь при поворотах, частых и неожиданно резких, окрыляли ее. Румянец лица сильно разнился от нежной розовости девочек Струковых; он был матово густ и подернут крепким загаром, слегка оттененным золотистыми волосками на щеках; шея крепкая, смуглая очень.

Валентин Петрович при первом взгляде на Настеньку безошибочно отгадал, что рука из-за двери и спустившаяся кружевная перекидочка рубашки через плечо, такое же смуглое, как и шея, чуть угловатое, принадлежали ей. Все это вместе произвело на Валентина Петровича несколько волнующее впечатление. Но от него не ускользнуло и то, что она чувствовала себя здесь, как и он сегодня, недостаточно просто и своими резковатыми движениями как бы хотела порвать невольную и досадную связанность. И это ему было почему-то приятно и странным образом сближало с нею. И вообще от присутствия Настеньки за столом давно забытое ощущение стесненности, ощущение молодое, откуда-то подымалось, все возрастая, в нем. Будто старому пепелищу, навстречу задымившим его воспоминаниям, говорила душа «прости» и открывала, крохотную пока, дверку навстречу повеявшей молодости. Встретились одновременно два ощущения, оба достаточно сильные: сожаление о неудавшемся прошлом, просторный гул от одиноких шагов в

просторном доме, и острые иглы пробившейся между бревен зеленой травы, еще не зацветшей, но по-весеннему ароматной и свежей.

Валентин Петрович не знал, как этому столкновению чувств суждено было обостриться и осложниться еще в самые ближайшие дни; сейчас он чувствовал себя немногим смущенно, ему было и печально и радостно одновременно. Он мало ел и не был особенно оживлен за столом; но за сдержанностью его приходила в движение новая жизнь.

IV

Почти тотчас после обеда, пока старшие сидели еще за столом, самых маленьких отправили спать, а подростки и девушки вышли встречать Олю, Нину, Катю, Андрюшу, Колю, Васю и Гусика... Все они быстро вернулись, столкнувшись с подходившими у самых ворот. Поздоровавшись с Валентином Петровичем, вся эта молодая компания, включая сюда и Гусика, очень милого молодого человека с еще юношескими, но уже гладко выбритыми щеками, в очках, сквозь которые глядели его голубые молодые глаза, все эти девочки и мальчики очень скоро, один по одному, со ступеньки на ступеньку скатились в темный сад. Они догоняли друг друга, были слышны удары ладоней по спине и общий топот ног. Валентину Петровичу показалось, однако, что он различает Настенькин бег, особенный среди других, и, поймав себя на этом, он слегка покраснел. Это последнее смутило его окончательно. «Я уж теперь и не разберусь, кто свои, кто чужие», — вспомнились ему слова Аркадия Андреича, сам он, однакоже, разбирал, отчетливо выбирая одну.

— Посмотришь на молодежь, — говорил между тем Аркадий Андреич, стряхивая широко расставленными пальцами последние крошки с бороды, — и сам делаешься как-то посвежее, что ли... Право... Мне вот сегодня еще в управу идти, чепуха такая... — Он легонько зевнул. — Хотим увеличить базарный сбор со скотины... Сюжетец веселенький!

— Аркаша, ты совсем неприлично зеваешь, — заметила Ольга Григорьевна. — Хорош ты будешь на заседании...

Струков встал, потягиваясь; поднялся и Валентин Петрович.

— Нет, уж без чаю я вас не отпущу, — задержала его Ольга Григорьевна. — Месяц взойдет, и поедете. Поскучайте полчаса, а я тут порядок пока наведу. Может быть, в сад хотите пройтись, к этим сорокам? Напугайте-ка их!

Валентин Петрович поколебался, но ехать домой ему не хотелось, и он уступил, а через пять минут, простившись с Аркадием Андреичем, сходил по ступенькам в темный, слабо подрагивавший от внезапных налетов ветерка струковский сад. Едва он сделал несколько шагов в темноте, как споткнулся о брошенные у террасы кегли. Это его немного смутило. «Куда я пойду? Довольно глупое положение, — подумал он, — никуда не пойду. Кажется, там у сирени есть лавочка, посижу и покурю». С помощью спички он отыскал скамью и закурил папиросу. «Сорочье пугало, — подумалось ему, — в самом деле похоже...»

Со стола быстро убрали и свечи унесли, чай готовился в доме. Теперь окна светились за переплетом дикого винограда, окидывавшего перила сквозящими пятнами лапчатых листьев. Куст орешника, откуда вышла кобеду Настенька, темнел плотною массой. Сад казался большим и незнакомым. Ни смеха, ни напеванья не было слышно, доносился издали короткий обрывистый разговор, необщий и редкий. Им хорошо и молчалось. Что они делали там и почему так притихли?

Валентин Петрович, покуривая, сидел, несколько скорбившись, и водил концом сапога по песку. Его радовал огонек папироски, то приближавшийся к лицу, то вновь отдаляемый; с ним не было так одиноко. Вдруг он услышал шаги позади себя, они возникли из темноты совершенно внезапно и приближались к нему; легкий песок поскрипывал под ногами. Валентин Петрович инстинктивно затушил папиросу.

— Должно быть, он в доме, — услышал он чей-то негромкий голос.

— Ну, и глупо, — ответил другой. — Не чай же он там собирает? Я побегу, в окно постучу.

— Ну, ну!

Две тени, уже заходя на носочках, стали прокрадываться мимо террасы.

«Что это со мной? — соображал между тем Валентин Петрович, не выдавая себя. — Отчего мне вдруг так радостен самый голос ее и вдвойне занимает, что она меня вспомнила?»

Он видел из своего убежища фигуры двух девушек и то, как Настенька, подойдя к окну и встав на карниз, заглянула вглубь дома и потом, помедлив и не увидев его, все-таки крепко, несколько раз стукнула в стекло и отскочила, взметнув волосами.

— Шалите вы там, — нараспев сказала, выглянув, Ольга Григорьевна. — Чай еще не готов. — И окошко захлопнулось.

— Знаешь, Анюта, а что, если он тут? Где-нибудь спрятался? Ты знаешь, а он мне...

— Что?

— Нет... Не скажу!

Затем обе вскрикнули: «ай!», схватились за уши и побежали.

Они только что миновали скамью, когда Валентин Петрович, и для себя самого неожиданно, хлопнул в ладоши за самыми их головами. И Настенька и Анюта Струкова быстро бежали в потемках, хохоча и спотыкаясь и уже схватившись за руки; Анюта повизгивала время от времени. Ветки хлестали им головы и еще больней ударяли следом в лицо Валентина Петровича. Он, однако, настигнул бежавших и с разбегу разнял их сжатые руки.

— Что, испугал? Испугал? — говорил он, неловко преодолевая смущение и не отпуская их рук, крепко сжимая холодную Анютину и горячую Настенькину.

— И ни капли.

Валентин Петрович весело рассмеялся, эти три знакомых словечка совсем развязали его. Он высоко взмахнул руками и коротко притянул обеих к себе.

— Слушайте, тогда мы давайте их напугаем.

И дальше они пошли таясь, как заговорщики. Напугать удалось; какие-то таинственные листы опускались в потемках на головы сидевших в кружок, что-то щекотало у шеи и по рукам. Все повскакали и, вооружившись также сначала короткими, а потом и побольше безжалостно наломанными ветками, стали отражать нападение из темноты. Поднялась веселая возня, гомон и неразбериха. Все перепутались, и теперь инстинктивно только держали

мальчики сторону мальчиков, девочки девочек, как и быть подобаает в настоящей первобытной игре. Валентину Петровичу, как неожиданному зачинщику, доставалось больше других. Мальчики, увлекаясь, ополчились вплотную, удары сделались крепче; девицы не отставали. Когда начали вырывать ветки из рук, подростки перешли уже в невинную, но все-таки бо́льшую рукопашную. Тут уж действительно трудно было различить, кто и где. Однако горячие Настенькины руки, очень сильные, взмах кудрей ее, задевавших лицо, особенно энергичные удары веткой, сопровождаемые щелканьем языка, как будто бы хлопали листом орешника, — Валентин Петрович их узнавал.

Давно уже кликали к чаю, и все, наконец, двинулись к дому, но приближение это было все же радостно-длительным; битва ветвями и встречи рук продолжались.

— Наконец, я поймал и вас... (Настенька долго и ловко увертывалась.)

— А кто я? — спросила она.

Валентин Петрович только сжал ее руку; она вопроса не повторила.

— «А он...» Что вы начали: «Ты знаешь, он?..» Что вы хотели сказать? — Валентин Петрович не решился напомнить: «А он м н е...»

— Когда?

— А там, у террасы.

— «А он...» Ах, да, я хотела сказать: «А он веселый, я и не знала...»

Настенька вырвала руки и убежала.

— Мы! Мы! Чай пить! — кричала она уже на террасе.

V

Все возвратились в столовую подозрительно красные и растрепанные. Ольга Григорьевна навстречу им улыбалась.

— Посмотрите-ка, каковы! Да где вы? — проговорила она, обращаясь к Валентину Петровичу и не видя его хорошенько между другими.

— Да, да... Я здесь, — ответил он, трогая волосы и напуская их на височки.

Он был красен не меньше, если не больше других; борода была смята несколько в сторону, галстук в другую, а из-за борта пиджака торчала тонкая веточка сухой прошлогодней березы.

— Батюшки мои! — ахнула Ольга Григорьевна. — Да что ж это они с вами наделали?

Она даже хлопнула себя по бедрам руками и, опустившись в плетеное кресло, надолго расхохоталась. Рассмеялись и все, и сам Валентин Петрович стоял в образовавшемся полукруге и улыбался смущенно и счастливо. Настенька была позади других, и Валентин Петрович видел только ее смеющиеся, задорные и ласковые глаза.

Чай прошел очень весело, со сменявшимися одно за другим с поразительной быстротой и неожиданностью незначительными, но всех очень смешившими маленькими происшествиями. Мальчики, казалось, очень подружились с Валентином Петровичем и поминутно брали у него папиросы; было очень забавно и весело, что этот важный помещик с бородой и поднятыми кверху усами совсем между ними как свой.

Когда было истреблено полторы коробки печенья, не считая хлеба, ватрушек и пряников, и самовар подогревали два раза, стали прощаться. Это заняло еще с полчаса. Валентин Петрович, взяв слово со всей веселой компании приехать к нему еще до свадьбы «справлять девичник», предложил пока подвезти, кому по дороге. Оказалось, что всем, кому и вовсе не по дороге. Но всех усадить, конечно, не было возможности; Федор на козлах кряхтел, охал и злился и что-то настойчиво, но невразумительно повторял о ненадежной шине и колесе. Поместилось все же семь человек.

Федор тронул демонстративно медлительно и продолжал неясно ворчать. Но, должно быть, и он под конец заразился общим весельем, да и лошади застоялись и просили вожжей, и смеющийся тарантас покатил резво и бойко по улицам сонного городка. Следом за ним просыпались собаки, и их лай крутился в отдалении за тарантасом, как волны за лопастями парохода, прорезавшего спокойную водную гладь. Одно, на чем Федор все-таки настоял (и справедливо), — это не ехать по главной, единственной мощеной улице города: в ее невероятных выбоинах шина, конечно, погибла бы.

Гусик и Настенька оставались последними. Они жили на двух разных концах городка и вовсе, казалось, не хотели слезать. Валентин Петрович примолкнул, а Гусик рассказывал Настеньке, сам оживленно смеясь, различные случаи из своей недавней еще студенческой жизни. Настенька сидела теперь, перебравшись с козел, рядом с Валентином Петровичем, Гусик напротив нее. Оживляясь, он наклонялся к девушке, касался ее рукава. Настенька беспечно и звонко смеялась. «Они все тут в него влюблены», — вспомнились Валентину Петровичу слова Струкова. — И ничего в этом нет удивительного, — добавлял он, вздыхая про себя меланхолически: ему самому, почти против воли, Василий Никитич был привлекателен; в нем было много нетронутого, простодушно веселого. Но от этого сознания Валентину Петровичу не было легче.

Всходила луна, красным щитом поднялась она на востоке и стала над городом, еще низкая и таинственная. Все вокруг странно переменялось, и город показался иным, далеким и старым. Почему-то произвольно припоминались теперь давно минувшие времена, татары, поле битвы, может быть и луна, освещавшая трупы, воткнутые стрелы и перебитые копья. Настенька стала смеяться все реже и раз даже тронула руку Валентина Петровича, придвинулась ближе к нему. Василий Никитич также скоро замолк; в лунном отсвете блестела оправа его очков, когда он повертывал голову.

Подъезжали к реке с другого конца от мельницы; здесь был проезд на шоссе. Василий Никитич поблагодарил и слез. Настенька простилась с ним равнодушно.

— Ну, теперь трогать на мост? — обернулся Федор с козел, искоса поглядывая на барышню.

— Нет, назад поворачивай, — отозвался Валентин Петрович, — барышне надо туда, — он махнул рукой. — Мы поедem опять через плотину.

— Тогда спервоначалу было надо туда, а то не порядок, не путь ночью порой через мельницу. — Недовольно и круто Федор стал повертывать лошадей.

Валентин Петрович ничего ему не сказал. «Много ты понимаешь», — подумал он про себя, а на вопросительный Настенькин взгляд повторил и вслух, негромко, сразу повеселев:

— Много он понимает, не правда ли?

Настенька задумчиво и важно кивнула ему головой. Новое, вместе с поднявшимся месяцем охватившее ее настроение не покидало девушки. Они ехали теперь в медленной тишине. Дома казались покинутыми и неживыми. Таинственно поблескивали купола и кресты церквей в отдалении, слабо серел старенький тес на крышах домов. Валентин Петрович тоже молчал, но уже не от смущения, не от неловкости. Он понимал, что и Настенька молчит не оттого, что они остались вдвоем и им не о чем говорить, она стала слушать что-то в себе еще раньше, и молчание ее казалось знаменательным. Валентин Петрович невольно покорялся ему, и странное ощущение постепенно возникало в нем, подчиняя себе ум, волю и воображение. Это было ощущение спокойного, важного течения жизни, где все имеет свое место и свою значительность. Настенька, безмолвная рядом, уже не была для него случайной веселой спутницей; казалось, они давно уже едут так в тишине между домов, и душа ее, таинственная и большая, не чужая ему.

Вдруг он почувствовал, как девушка с силой сжала его пальцы; теперь рука ее была холодна. Валентин Петрович, встрепенувшись, взглянул на нее и не узнал Настенькиного лица. Оно было бледно, губы слегка закушены, а глаза глядели остро и жутко. Он невольно подался к ней.

— В такую же ночь... — начала Настенька и замолчала, но через минуту Валентин Петрович услышал, как тихо и отчетливо она договорила: — В такую же ночь я потеряла его. — И пальцы ее, крепко сжимавшие руку Валентина Петровича, медленно стали разжиматься, а сама Настенька так же медленно отводила лицо; было заметно, как дрогнули ее губы.

Валентин Петрович ничего не сказал, не спросил, но не дал ей отнять свою руку. Он ответно сжимал теперь ее холодные пальцы, и горькая жалость и нежность заливали его грудь. Так вот откуда шла его внезапная и властная симпатия к ней, вот почему молчание было таким полным и роднившим их между собой! Она больше, чем кажется, и раны их — близкие раны. Стоило лишь отойти теплым домашним огням и растаять узору теней, как на место свечей зажглись в вышине далекие серебряные звезды и месяц поплыл по обширному полному куполу небес; то же самое совершилось и в душе человеческой:

говор, игра, блеск глаз и улыбка ушли, осталось сердце и рана, дума и жизнь, огромная колесница, важно катящаяся между миров.

— Спасибо вам, — сказала Настенька, когда, прощаясь, Валентин Петрович коснулся губами ее руки. — Нет, подождите!

Она соскочила с подножки и подбежала к палисаднику.

«Как странно, — думал между тем Валентин Петрович, — что она живет именно здесь, точно я чувствовал». Калина сплошным серебром заливала весь палисадник, казалось, сама луна пролилась здесь у дома; в окнах было темно. Руки купались в белых цветах, медля, казалось, расстаться с веселой работой.

— Ну, вот вам. Я очень вам благодарна, — сказала она, вкладывая какое-то свое, значительное содержание в эти слова и передавая ему небольшую охапку холодных, трепещущих веток; цветы и листва, вздрагивая, коснулись щеки и бороды Валентина Петровича. Он принял их также обеими руками, охватив и руки Настеньки. Губы ее опять были закушены, но глаза блестели, и в них была внезапная удаля.

— Так вы приедете? — спросил Валентин Петрович.

Настенька молчала; зубы ее влажно блестели, а от рук, через холод цветов, шла опять теплота.

— Так вы приедете ко мне? — повторил он вопрос.

— Хоть сейчас, — ответила Настенька с таким же внезапным лукавством, вызовом и чуть заметной усмешкой.

Валентин Петрович потянул ее и крикнул Федору:

— Пошел!

Настенька едва успела вскочить.

— Во весь дух! — прошептала она. — До первой версты!

— А потом?

— Не к вам же? До первой версты, а потом я добегу.

— Ночью? Одна? Я вас опять доведу!

— Ни за что! Или я сейчас соскочу! — И Настенька даже приподнялась.

— Сумасшедшая, — сказал, мягко беря ее руки, Валентин Петрович. — Сядьте же.

— Так принимаете мой уговор?

— А вы не боитесь?

Настенька только покривила губами.

— Ни капли! — ответил за нее, передразнивая, Валентин Петрович; она кивнула головой и рассмеялась.

Лунный свет дробился в воде, как будто серебряную муку просеивала мельница, и она звенела, упадая и распаясь.

— Я люблю, я люблю... — неизвестно о чем говорила Настенька, ловя воздух рукой и кидая его впереди себя. — Я хотела бы править сама, лететь, ах!.. — И, без всякой логики, наклонилась низко за тарантас и, как бы зачерпнув воды, плеснула ею в лицо Валентину Петровичу; шляпа Настеньки сдвинулась набок, она совсем смахнула ее.

Неизвестно, что думал Федор на козлах, но он пустил лошадей в гору всюю; впрочем, он не ворчал, и лицо его, всегда немного суровое, было мягким.

От внезапных Настенькиных переходов — точно она всю себя кидала, безжалостно, целиком в самые острые и разнородные чувства — сердце Валентина Петровича щемила странная музыка; резкая острая скорбь и звонкая радость звучали в одинаково высоком строю. Но было и нечто простое, странное и естественное одновременно. Холодноватое белое облако, кусок луны, бог знает что — неужели ветки калины? — трепетало между Валентином Петровичем и Настенькой: оно и разъединяло и сливало их; четыре руки не разлучались, они перекладывались одна над другой, прижимались, теплели и ютились друг к другу, как кучка щенят, которым несознаваемо хорошо от близости, от теплоты. Сорок шесть лет было Валентину Петровичу, но в нем был жив и ребенок, как может он жить и до ста лет (дал бы бог веку!), если его преступно в себе не убили.

До первой версты — это было мгновение, и это же было длительно, полно, волшебю. Свое страстное: «а-а», резковатое, как крик летящей зигзагами чайки, Настенька несколько раз испускала из груди, и каждый раз видел Валентин Петрович дикое блистание в глазах ее. А веселая игра шла своим чередом (удивительные смешения знает и любит жизнь), они шутя целовали цветы, и Валентин Петрович так поспешно хотел коснуться губами того самого места, где касалась она, что не раз лбы их сталкивались и путались на мгновение волосы.

Настенька соскочила на ходу, не попрощавшись. Федор остановил лошадей. Но она закричала:

— Не надо! Не надо! — и побежала, взмахивая руками, опять ловя воздух и, как мячик, кидая перед собой.

Валентин Петрович приказал Федору ехать тихо и, обернувшись, долго глядел на быстро бежавшую под месяцем девушку, слышал звон ее бега. Он не хотел думать о том, что творилось в груди, он отдавался пришедшему безраздумно. Одно мелькнуло в его голове: серебряный луж реки, опоясавшей город, невидный уже, был спущен, и стрела... ему не хотелось ее вынимать из сладко нывшего сердца.

VI

Валентин Петрович долго не мог уснуть. Дом был погружен в темноту, но все его огромные комнаты заливал месячный свет. Он лежал, уткнувшись в подушку, мысли его не были отчетливы, они удивительно приятным образом смешивались и переплетались, почти сливаясь, с отрывочными зыбкими воспоминаниями и непосредственными ощущениями, даже с самыми примитивными, первобытными из них, коренившимися в теле, в крови, в теплоте рук под головой. На короткий миг он забылся. Блестела крышка рояля или отсвет мокрого теса под месяцем, и в блестящей поверхности отражались колеи гладкой дороги, а может быть, и переплет окна. Кажется, падал снег медленными белыми хлопьями, но он был похож на цветы, крупные шапки соцветий, угловато неправильных. «А кто владеет перчаткой...» — начинал Валентин Петрович и не доканчивал. Чьи-то другие глаза с острым и прерывистом блеском глядели на него. «И ни капли не так», — слышал он шепот. Потом уже не было ни снега, похожего на цветы, ни цветов, падавших медленным снегом, а дробилась, играя в лучах, и звенела серебряная сыпучая и текучая река у плотины и далеко кто-то кричал в степи: «а-а! — а-а!»

Валентин Петрович поднял голову. Резкими тенями был вычерчен переплет окна на стене, и какая-то широкая серая полоса пересекала его. Он поглядел в окно. Через стекла наискось, расширяясь, шла полоса серого дыма, она чуть заметно изменяла свои очертания, но тянулась не прерываясь. «Дым», — подумал Валентин Петрович и приподнялся на локте. Смутное и легкое удивле-

ние не потревожило, однако, его, не подняло с места. Может быть, это всего лишь продолжался сон? «Какой широкой легкой струей проходит он», — подумалось Валентину Петровичу, и точно бы было это мыслью о самом себе.

Так он провел, опершись локтем о подушку, минуты две, но холодная струя воздуха из чуть приоткрытого окна освежила его. Он взгляделся еще и рассмеялся. То, что он принял за дым, было ответвление вяза, росшего в некотором отдалении перед окном. Огромная ветвь с побочными сучьями, одетыми листвою, странно серела в лунных лучах. Нет, не дым, не мимолетный вздох о призрачном невоплотившемся бытии — дни нашей жизни, они подобны могучему дереву, и корни их глубоко уходят в темную землю.

Смех был короткий, произвольный, но тотчас следом за ним Валентином Петровичем овладело странное волнение; оно заставило его подняться и сесть у окна.

Птицы спали еще, в саду стояла торжественная холодноватая тишина, но утро уже белело смутно, и дрожала листва, предчувствуя зарю. Роса блестела кое-где на траве, и крупными прерывистыми петлями была раскинута по низам лунная сеть.

Валентин Петрович накинул халат и остался сидеть у окна. Голова его стала ясней, мысли отчетливее. «Да, жизнь коротка и быстро проходит, — раздумывал он, — ну что же, и пусть, это вне нашей власти и воли, но эти короткие дни, они должны быть нашими. Не поздно ли, однакоже, мне?» Он взглянул на вяз, уже отчетливо вырезавшийся листьями на белеющем небе, переплел и хрустнул пальцами рук и решительно сказал себе вслух:

— Нет. Поздно — глупое слово.

Утро все прибывало, переменились воздушные токи, и облака побежали быстрее, одна за другой подавали голос невидимые птицы, розовый пар подымался в отдалении над прудом, посветлели аллеи, и чей-то человеческий голос донесся с деревьев.

Валентин Петрович поднял глаза, и на лицо его упал золотой красноватый отсвет: верхушка вяза была увенчана сверкающей, еще небольшою кроной. Он следил, поднявшись и не опуская головы, как все шире, полнее раздвигалась она над двухсотлетней вершиной. Он знал это дерево неизменным с раннего детства, но лет пятнадцать

назад в большую грозу ударом молнии вяз был полурасколот, и одну из двух главных ветвей пришлось отпилить; дерево было изуродовано, и огромная пустота зияла на месте погибшей, полнившей его неотъемлемой части. Это было больное и тяжелое зрелище. Но годы шли, и молодые ветви тянулись во вновь открывшийся простор. С каждой весной они поворачивали и изгибались, заполняя живой, колеблемой массой огромную пустоту; жизнь пополняла утрату. Стоял теперь и глядел Валентин Петрович на эту стихийную, упрямую и мудрую жизнь, и какая-то решимость все подымалась и крепла в нем. «Да, да...» — шептал он тихонько и неизвестно о чем и о чем-то очень определенном.

Он хотел уже одеваться и выйти дать распоряжения по хозяйству, когда взгляд его упал на высокую стопку почты, оставленной им вчера на столе. Между газет и деловых, большого формата, конвертов, выпав, лежал небольшой, с золотым ободком, серый конверт. Он так не ждал его, что не заметил вчера.

И теперь не заметил Валентин Петрович, как сердце, сжавшись, застучало сильно и крупно. «Вяз, дым, жизнь...» На пороге, через который решал он переступить, вдруг встала жена. Письмо было от Агнии.

Оно не было длинно и было необычайно по содержанию. Агния возвращалась. «Не думай, что я приеду к тебе с тем, чтобы жить у тебя. У меня нет никаких прав на это. Но ты должен знать, что здесь все кончено и навсегда. У меня одна теперь мысль, одна моя жизнь и страсть — вернуться туда, где я была счастлива. Да, я была счастлива в жизни с тобой. Со мной тогда были мечты и мое страдание и надежды. Боже мой, я опять несправедлива к тебе и знаю, как больно прочесть тебе эти строки (если ты не вовсе еще забыл меня), и тут я вспоминаю будто не о тебе... Но это не так, не так! Я просто не умею писать, не умею и не смею сказать самого главного, что мне только теперь — так поздно, увы! — прояснилось. Нет, ты все-таки знай, что ты для меня остался один-единственный во всем мире человек. Но ты поступи со мною сурово, не надо, не надо мне жалости, она слишком больна мне. Валентин, милый мой, и все-таки ты прости меня! Может быть, ты сделаешь это, может быть, ты и поймешь так... мимо слов. А мне надо одно, об одной отраде мечтаю: видеть тебя и

Бориса. Приеду в начале августа, раньше с духом не соберусь. Пробуду неделю, а потом к отцу. Агния».

— Делай, что хочешь, сам распорядишься, — сказал Валентин Петрович вошедшему за хозяйственными распоряжениями старосте; он свернул письмо, вложил в конверт и прошел на другой конец дома.

Борис еще спал. Губы его были полуоткрыты и едва заметно пошевеливались; шея у раскрытого ворота была тепла и по-детски влажна; щеки свежо розовели, и волосенки спутались на лбу. Валентин Петрович сел в кресло возле кровати, подпер голову обеими руками и крепко задумался.

VII

Стояли жаркие и долгие июньские дни; сенокос закончился сегодня. Три огромных стога вики и клевера уже стояли завершенные, доваживали в сарай запоздавшее сено с лужков около старого леса. Пряный, слегка опьяняющий запах шел от высоких валов, и пестрели, переливаясь по лугу, яркие наряды поденщиц. Досадная туча, грозившая с запада, прошла стороной. Работа шла полным размахом: каждый день был дорог. Валентин Петрович просыпался с зарей и возвращался домой только к позднему обеду. Он сам брался за грабли и вилы, навивал возы, а устав, ложился на отдых в тени копны, раскидывая руки и ноги и прикрыв разгоряченное лицо шляпой. Так лежал он час или два без мыслей, довольный этой возможностью не думать. Но все же внутри его все было напряжено и томительно, как бывает перед грозой.

И в самом деле, грозы, кажется, было сегодня не миновать. Окончив объезд и оставив дрожки на рубеже в тени у дубков, кудрявых и молодых, как бы вышедших из лесу поглядеть на людскую работу, Валентин Петрович, сняв шляпу и помахивая ею в пылающее лицо, вступил в свежую лесную сень. Лес был смешанный, старый, густой, порой попадались и молодые веселые заросли, приходилось идти, раздвигая ветви руками.

Здесь было тихо, прохладно и отдохновенно; птицы пели негромко, бодро и сдержанно-весело. Немного уставшие от однообразного положения на дрожках запыленные ноги было приятно поразмять в ходьбе. Ва-

лентин Петрович расстегнул ворот русской рубахи и начал тихонько насвистывать, но скоро замолк. Он никак не мог уловить той отрывочной короткой мелодии, которую слышал у Струковых. Со времени этой поездки прошло уже четыре дня, но в душевном состоянии Валентина Петровича мало что прояснилось.

«Что собственно произошло? — спрашивал он себя уже в который раз, нагибаясь время от времени, чтобы сорвать кисточку ягод, сверкавшую между зеленой листвою. — Самое важное — это, конечно, письмо... Она придет сюда... Она придет сюда...» Это был все-таки самый неясный пункт, то есть как это выйдет, самый приезд. О, конечно, он примет ее, как жену, ни одного слова упрека не должно-быть и никакой речи об отъезде. Он сделает все, чтобы ей было легко и просто с ним. Обида и ревность (он усмехнулся)... их не было. Случись это раньше, какой-нибудь... нет, даже не месяц, неделю назад, он подумал бы: как хорошо! Вот и пришло, настало спокойное, немного печальное завершение, дом перестанет быть пуст, в нем потекут опять мирные годы семейной их жизни, и если не будет в них всей полноты молодой, все покрывающей собой любви, то и что же? Пусть это будет похоже на вечер, но и вечер в природе благословен. Довольно себя обольщать, да и самые годы его... и о них не надобно забывать... Но отчего же их нет, этих вечерне-умиротворяющих мыслей? «Я сделаю все» — какие сухие слова, и эта ссылка на годы звучит так нестерпимо фальшиво... Нет, никогда еще (или так страшно давно!) не чувствовал себя Валентин Петрович таким молодым и исполненным сил, только им тесно и страшно найти себе выход...

О Настеньке Валентин Петрович старался не думать. Это не было легко и требовало большого усилия воли. «Что может из этого выйти? — заставлял он себя размышлять, пресекая глухие и страстные мечтания в самом начале. — Настенька молода, полна жизни и страсти. Пусть она испытала какое-то тяжелое, ему неизвестное горе, но юность умеет все пережить и переработать в себе чисто стихийно, горячим потоком крови, ростом, кипучестью. Уже и сейчас ее обаяние по-новому волшебным засверкало под лунными лучами, родившись из горечи. Да и откуда я взял, что она меня... что я ей хоть сколько-нибудь нравлюсь?» Валентин Петрович краснел и зами-

нался, отгоняя произвольно набегавшие мысли. Но чем добросовестнее делал он это, тем больше томило его внутреннее беспокойство, близкое почти к физическому недомоганию. В кабинете его стояли еще, в большом кувшине, правда слегка уже осыпаясь, но все еще крепкие ветки калины, наломанные Настенькиными руками; очертания венчиков были неправильны, угловаты, и едва различимый, горьковатый запах шел от них, и месячная ночь стояла в душе Валентина Петровича живая.

Каждый день просыпался он с мыслью о том, что сегодня могут приехать Струковы и с ними Настенька, но теперь перестал и ждать. Он злился на них и на себя, зачем злился, за непростительное это мальчишество.

«А вдруг приедут все-таки?» — неожиданно подумал он и сам удивился внезапному молодому удару брызнувших где-то в нем таинственных сил. Он засмеялся, сделал прыжок и выпрямил спину; в ней ощущалась необычайная упругость. Небольшое сухое дерево стояло перед ним. Он охватил его, чувствуя в руках большой прилив крепости, и потянул к себе, где-то внизу оно хрустнуло и подалось. Тогда он подскочил, чтобы схватить повыше, и рванул еще... Это оказалось веселой работой, и, провозившись минуты две-три, Валентин Петрович стоял уже над сухою осинкой, вывернутой из земли, с коротко оборванными корнями, и лопирал ее ногой. Сделав это как нужное дело, он почувствовал некоторое облегчение и повернул назад.

Солнце было уже невысоко, тянуло первой передвечерней прохладой. Облака опять собирались на западе и, кровавясь, клубясь, громоздились одно на другое. Зыбко золотились и разбегались, словно бы расчесывал их ветерок, остистые колосья пшеницы. Лошадь, ритмично отдергивая голову и обмахиваясь хвостом, щипала зеленую траву; слабо проезженные колеи терялись в низенькой гладкой зелени рубежа. Где-то вдали, по шоссе, погромыхивали, дребезжа, вперебивку, колеса, и этот звук Валентину Петровичу был невнятно приятен. Да, Агния приедет и будет здесь, как и все в жизни приходит в свой черед. Но вот *это* мгновение... Да живет и оно! Тогда не будет уже ни этой июньской волнуемой рбзмыви мягких пшеничных волос с золотистыми нитями солнца, тонко вплетенными в них, ни душистых в руках его ягод еще полуспелой, но тяжелой и ароматной клубники, ни

всего того, что живет только эту минуту: ни заходящего солнца, на которое можно уже глядеть, не щуря глаз, ни нагнувшей привычно свою голову сытой, его поджидавшей лошадки, ни прозрачного сияния от низких лучей вокруг заднего колеса, ни изогнутых, как сухонькое тело насекомого, самих черненьких дрожек на горизонте, ни этого далекого, первобытного, провинциального и странно волнующего дребезжания далеких колес по шоссе.

Ему вздохнулось легко и легко зашагалось. Да будет в жизни всему свое вольное место... «А-ах!» — сказал он и, хрустнув пальцами, закрыл глаза. И тотчас же увидел Настеньку, бежавшую под месяцем, она ловила воздух руками, кидая перед собой; серебряная мука дробилась под легким бегом ее. «Я люблю... я люблю...» — повторяла она, не называя что. «Хлоп — и увез», — ответил он громко, и лицо его было серьезно.

Когда Валентин Петрович сел в дрожки и тронул отдохнувшую лошадь, она побежала, поматывая головой и спешно дожевывая последние травинки, а он все прислушивался к замиравшему по шоссе дребезжанию разбитых колес.

Борис выбежал к нему навстречу на лужок у сажалки. Валентин Петрович, попридержав лошадь, подхватил его подмышки и посадил впереди себя между колен. На мальчишке была матросская шапочка, волосы немного вились и падали на загорелую открытую шею. Валентин Петрович почувствовал неудержимое желание наклониться к ней и поцеловать; от кожи пахло загаром и летом. Мальчик поднял плечи, ежась, и засмеялся. Он уже успел завладеть клубникой и кусал ягоды прямо с веточек, рот его был занят, чтобы сразу сказать что-нибудь отцу, и, обернувшись, он в ответ поцеловал его в губы своими, невинными и душистыми, — это была редкая у мальчишка ласка.

— Щекотно было тебе? — спросил отец.

— Да, папочка, — ответил он, облизав свои губы, и принялся рассказывать о проведенном дне.

Слушая ребячий лепет Бориса, непрестанно похлопывавшего вожжами, отчего лошадь, почувствовав слабую руку, пошла совсем шагом, Валентин Петрович хранил на лице странное выражение. Было двойственное, шемящее и стыдное, и ласкающее ощущение: Борис походил на мать с каждым годом все больше, но у него были

длинные локоны над загорелую шею и говорили они о другой... «В руки твои предаю мою жизнь, и дыхание, и течение дней». В чьи? Вечер янтарным теплом и прозрачною тишиной стоял над землей. Помедли, помедли, солнечный бог, благословенный и в самом закате своем!..

Когда Валентин Петрович стоял уже на ступеньках крыльца и лошадь уводили отпрячь, он явственно различил на дороге за садом неуклюжее многоголосое гromыхание старого, потертого экипажа. Он остановился прислушиваясь.

— Кто-то к нам едет, — сказал Борис.

Через минуту скрипнула дверь, и нянюшка Василида, появившись, сказала:

— Кого-то к нам бог послал, к нам повернули.

Она пошла по ступенькам и, от света насунив темный платок и прикрывшись рукой, стала глядеть через очки. Вдруг из-за кухни выбежали со стремительным лаем Буян и Волчок. За ними, прихрамывая, плелся и старый Танцор, похожий на больного белого медведя и еще, странным образом, на доброго пожилого монаха. В ответ на собачий лай раздалось оживленные, уже близкие возгласы. Танцор остановился на полдороге и вдруг, не успев закончить ленивый свой лай, свел скулы и сладко, устало зевнул.

— Посмейся, посмейся, Танцор! — попросил Борис, и пес, знавший эту науку, оскалил желтые зубы, высоко сморщив верхнюю губу, и, преданно изгибаясь, подошел к крыльцу.

— Как гороху насыпано, — сказала Василида, поднимаясь опять на крыльцо, — не знаю, чашек хватит ли.

— Папа, кто? Папа, кто? — приставал Борис.

— Не знаю, — ответил отец, охваченный молодым волнением и не трогаясь с места.

Няня была права: как горох. Одна за другой две длиннейших старомодных ободранных линейки с комическим шиком выкатились из-за поворота и остановились у подъезда барского дома. По обе стороны, как горошины в раскрытом стручке, были набиты девицы и мальчики. Точно выронили кого по дороге, две щербинки были в одной из линеек. Валентин Петрович беглым, но зорким взглядом увидел сразу, что Настеньки нет.

Шумной гурьбой, смутив даже собак, повысыпались все из линеек. Валентин Петрович едва успевал отве-

чать на рокот веселых приветствий и пожимать быстрые руки.

Борис, оробев, держался за его спиной, искоса с любопытством выглядывая. Вышла мадам и увела его с собой.

— А отчего же Аркадий Андреевич? — спросил Валентин Петрович у Сонечки, когда вошли уже в дом.

— Папа? — Сонечка засмеялась. — У него нынче много занятий.

— Каких? Где? Перед свадьбой?

— Каких? С Настенькой!

Валентин Петрович ничего не мог понять; он видел только, что, и войдя уже в дом, все смеялись и переминались с ноги на ногу, словно ожидая чего.

— Да, мы очень заняты здесь, — раздался вдруг вкусный струковский голос.

Широкая фигура Аркадия Андреича смотрела с террасы, заняв собой почти все окно; из-за плеча его выглядывала Настенька. Валентину Петровичу вспомнились две щербинки в стручке; он распахнул окно и с чувством расцеловался со Струковым; Настенька, смеясь, откинулась. Но Аркадий Андреич, взяв ее за плечи, полуотцовски, полухотливо подтолкнул к Валентину Петровичу.

— «И в дом мой смело и свободно...» — продекламировал он. — Как это там? «Хозяйкой полною...» Вы не обидитесь, Настенька, что я вас так «полною» именую? А впрочем, в окно все-таки неудобно.

Но Настенька уже вырвалась и стояла в дверях.

Валентин Петрович был очень смущен нескромным вздором приятеля, но ему самому хотелось закончить: «Войди!» — взять Настеньку за руки и закружить по паркету, давно не выдававшему веселья.

— Входите же, — сказал он девушке и протянул ей руки.

Она ответила ему быстрым, смешливым и очень радостным взором.

— Все-таки ты, брат, хозяин, да не совсем, — говорил между тем, отирая лоб клетчатым синим платком, Аркадий Андреич. — Мы к тебе с Настенькой махнули через забор, слабоват твой заборец! Она-то, положим, хоть в щель, ну, а я не пролез и обрушил, уж извини!

В столовой был слышен звон чайной посуды.

-- Молодцы, — мотнул головой Аркадий Андреич. — Ни минуты промедления! На войну бы их! Ты думаешь что?.. В провинтский обоз. — И он потрясся негромким смешком.

Валентин Петрович скупой взглядывал на Настеньку, ему было неловко за этот блеск благодарных и радостных глаз, который он чувствовал сам. Он успел, однако, заметить, как Настенька несколько возбужденно и будто бы жадно, любопытствуя сразу все охватить, оглядывала стены, портреты и вещи, пока они шли.

Когда были все трое в дверях столовой и мужчины несколько приостановились, улыбаясь на молодую вольницу, уже рассевающую, как птицы на морском берегу, вокруг стола, случилось маленькое происшествие. Кто-то из мальчиков, передавая через головы чашку, уронил ее на пол. Валентин Петрович услышал рядом с собой, как Настенька слабо вскрикнула; все невольно притихли.

— Ничего! — воскликнул Аркадий Андреич. — Мир дому сему! Это примета веселая — к счастью! И кто-то, наверное, спешит. Не сегодня, так скоро.

Но Настенька была бледна. А впрочем, и она скоро разошлась вместе с другими. Вечер вступил и покатился веселою колеей.

«Чашек хватило, хватило бы самоваров», — думала между тем нянюшка Василида посмеиваясь.

VIII

После быстрого чая заторопились все на сенокос. Теперь работа шла у самого леса — последний этап. Несколько крупных капель упало из темного облака и, как пчелы, гудя, торопятся в улей под набежавшую тучкой, так зашумела и здесь спешная, веселая работа. Теснясь и толкаясь, зарываясь лицом в душистое сено, дружные гости, за неимением грабель и вил, подтаскивали охапки к последним возам. Но тревога оказалась напрасной, низкое облако быстро свалило, не разрешившись дождем, и только на закате зловещим, красноватым отсветом подернулась огромная синяя туча. Солнце, кажется, село уже, но лучи его, прорываясь меж облаков, заливали еще багровым сиянием запад, широкий, странно раздвинувшийся.

— Теперь бы костерчик в лесу да яншенку на воль-

ном воздухе соорудить, — сказал, томно вздохнув, Аркадий Андреич.

Все его поддержали, а Валентин Петрович распорядился, чтобы на одной из телег Василица прислала к камням в лугу хлеба, яиц, вина и самовар.

В лесу уже сумрак заливал низины и лощинки, кусты сливались в голубовато-серые массы, и только наверху сквозь кроны деревьев широким шатром светило вечернее небо. На покойном мягком фоне его трепетали угловатые простые листья тесных осин и узкие березовые веточки. Легкою сыростью, неусыхающей влагой тянуло от главной ветви оврага, где пробивался извилистый, перемежающийся ручей. Местами он выбивал себе огромные ямы, полные лягушек, головастика и тонких ткачей-водомеров.

На месте схождения двух лесных овражков несколько диких больших камней образовывали своеобразное подобие амфитеатра. Это было когда-то излюбленным местом прогулок и пикников. Теперь все рассыпались по склонам, собирая сушь для костра, наталкиваясь с разбегу на пни и гулко, на разные голоса, перекликаясь: кто-то попал в огромную муравьиную кочку, кто-то в яму с водой, вымочив ноги до колен.

Аркадий Андреич скинул пиджак и, пыхтя, подсел разводить огонь. Это не сразу ему удалось. Листва была отсыревшая, снизу выбранная из ям. Тогда он стал доставать из карманов жилета мелко свернутые бумажки, старые билеты, кажется даже, в увлечении, какие-то, быть может, еще не погашенные счета, и дело пошло веселей. Живой огонек быстро стал прикипать к корявым дубовым сучкам и взбираться все выше, мелко треща и ныряя между ветвей. Густой и тяжелый дым потянул от влажной листвы, слепя и щекоча в глазах.

В костер все подваливали и с боков, и сверху, и теперь он высоко взметывал длинные языки; пышало жаром. Порой отрывалась в горячем течении тонкая связочка листьев, уже затлевших и испещренных частыми красными точками. Ее выкидывало высоко, но потом она останавливалась и, медленно кружась, упала, погасая и исчезая где-то в сгущенных потемках, в черном кольце вокруг костра.

Лица все время менялись в этом прерывистом, изменчивом освещении, но неизменною у всех была странная

важность, бог знает откуда сошедшая. Веселье умолкло. Горячие языки костра и особенно его сердцевина, золотая, медленно рушившаяся с тайным внутренним шумом, притягивали к себе все глаза, гипнотизируя волю. Точно вдруг перестало это быть просто причудой, деревенским беззаботным развлечением перед наступающей ночью и сделалось каким-то мистически важным обрядом, переносившим в очень древние времена. Почти первобытные черты, чудесно затлевшие жизнью, проступали сквозь юные, замороженные лица, словно глядела через них первоначальная душа человека, много видевшая и мудрая, знавшая первое появление огня на земле. Сквозною дрожащею кроной ветви высокого дуба окидывали собою костер и группу им освещенных людей, стоявших в молчании.

Солнце зашло, и теперь светила земля своим сокровенным, таинственным светом. Первые звезды, еще не видные людям, засияли уже в вышине, сверкая и прячась, над зыбкою сеткой ветвей. И их влияние, незримое, но могущественное, подобное тому, как луна движет изменчивой поверхностью моря; начинало проявлять себя и оно: совершенно отпадали и истлевали мелкие чувства зависти, недовольства, усталости и неудач, одиночество переставало быть индивидуальным, и если сохранялось, то вырастало в одиночество мира, огромное чувство со своими корнями, оплетавшими всю темную землю, и кроной, терявшейся в пространствах небес; любовь, странно сгущаясь и тяжелея, становясь почти осязаемой физически, переставала быть только одной умиленностью и нежным взаимопроникновением. Сонечка и Василий Никитич стояли бледные, крепко сжимая руки, забыв о других.

Тяжелые, томно и придушенно страстные, докатились с запада первые удары еще далекой, но неизбежной грозы.

Они заставили прозвучать и человеческий голос. Кто-то сказал:

— Гроза идет.

И все зашевелились пробудясь.

Общее молчание до этого не было длительным, но оно казалось теперь таким, ибо было полно до краев. Да и не дана человеку излишняя длительность подобных состояний мудро и справедливо: жизнь должна наполнять свою сегодняшнюю чашу, в короткие дни надо вместить

всю полноту бытия, но во мгновения, подобные миновавшим, обретаем мы силу и могущество жить, в них познаем нашу значительность, изначальность и наше бессмертие — здесь на земле.

Валентин Петрович не знал, что ощущала рядом с ним Настенька. Она была несколько впереди, и ему был виден вскользь лишь ее затененный щекой и как бы укороченный профиль, но малейшее движение лица ее, вздрагивание кожи на щеке, упругие качания коротких тяжелых волос, уже чувствующих электрическое напряжение, все тотчас отзывалось в нем. Он стоял к ней несколько под углом, и плечо его слегка касалось кофточки на ее спине. Настенька оставалась неподвижною, ни на волос не отклоняясь, а Валентин Петрович, не думая, не замечая сам; как влекомый магнитом, медленно к ней пригибался. Вдруг он почувствовал теплоту ее тела. Коротенькая, мгновенная мысль попыталась его отклонить, откинуть, но тотчас умерла: приближалась гроза, покоряя себе.

И как странник в пустынных местах, увидя у ног внезапный источник, повергается на землю и окунает знойное лицо в студеную воду; как ребенок, наголодавшись и накричавшись, найдя материнскую грудь, припадает к ней жадными губками и от блаженного упоения потирает пухлые ножки одну о другую и шевелит даже крохотными виноградинами пальчиков — подобно этому и Валентин Петрович, испив раз Настенькиной теплоты, не отклонялся уже. Душистый и теплый ток проникал все его существо. Нельзя было точно определить, шел ли лицо обжигающий жар от костра, или от шеи Настеньки, близкой и смугло золотящейся; и опять лицо Валентина Петровича произвольно никло к ней, и не было в его существе того маленького осторожного человека, который подумал бы, не следит ли кто за ним, не видит ли... Только сердце шумело глухо, как лес перед бурей. И когда донесся первый глухой, как бы изнутри, в земной, туго натянутый барабан ударивший гром, Валентин Петрович быстро склонился, плохо сознавая, что делает, и поцеловал Настенькину горячую шею.

Никто не видал этого, все обернулись на запад на чьи-то слова:

— Гроза идет.

Валентин Петрович крепко оперся о плечо Настеньки (и было в этом движении нечто большое и властное),

а она, обернувшись к нему, немного откинула голову, и темные веки ее были полуопущены, а губы, маленькие и красно надрезанные, непроизвольным движением, словно бы ей не хватало воздуха, сделали короткий, быстрый и жадный, и сдавленный глоток.

IX

Телеги с припасами, кстати запоздавшей, решили не ждать, хотя было и жаль покинуть костер. Когда стал огонь немного пониже и уже начали трогаться, Анюта Струкова, разбежавшись и подобрав свою короткую юбочку, скакнула через него, за ней и другие; задержались еще с этой новой забавой. Было весело прыгать, страшно, но и задорно. Мальчики также скакали, только навстречу друг другу. Это усиливало и опасность, можно столкнуться, но и утворяло отвагу. Надо было встретиться над костром и успеть пожать руки друг другу. Как бабочки, над огнем мелькали веселые пары, а в отдалении, и не думая останавливаться, покрикивал и любовался Аркадий Андреич. Волосы его отдельными прядками пристали к потному лбу, жилет был полурасстегнут, и распахнувшаяся немного рубашка слегка обнажала волосатую широкую грудь.

— Черт возьми, я бы их всех обвенчал, — сказал он, внезапным рывком обняв стоявшего рядом Валентина Петровича. — Где ты, молодость, ау? Что скажешь, брат Валентин? — Он так и не отпустил плеча Валентина Петровича.

Настенька села на камне насупротив. Она участия в игре не принимала. Порой на нее падали быстрые, беглые тени, то и дело к ней обращались, но она сидела не шевелясь, высоко подняв колени и крепко опершись головой на сжатые руки.

Молния блистала все чаще и чаще, тучи ощутимо и тяжело продвигались над головами, листва шумела тревожно и свежо. Пора, наконец, и домой.

Когда все бегом взобрались по откосу оврага и, поглядев в последний раз на костер, уже полускрытый кустами орешника, устремились в черную тьму леса, в которой ничего нельзя было разобрать, прошумели важно и гулко первые тяжелые капли.

— Начинается! — провозгласил Аркадий Андреич. — Славный дождик накроет. Барышни, ножки купать!

И дождь не замедлил. Первые минуты словно кто брал пробные аккорды, бегло пробегая невидимой и легкой рукой по верхушкам дерев, потом сразу ударил верно и полно, зашумели и заскакали полновесные капли с листа на лист, прядая в веселой вступительной мелодии.

Вдруг послышался навстречу глухой и скачущий шум. Гром заглушал его, но в паузах он снова был слышен. Кто-то скрипел и щелкал, и из темноты кашлял в грязи, приближаясь и не показываясь. Девочки поменьше схватились руками и, кажется, начинали бояться не в шутку. Потом у невидимого до сей поры чудовища показался один мутножелтый глаз, запрыгали призрачно огромные очертания, и оно сразу появилось перед бегущими: теплая, совсем не страшная лошадиная морда заколыхалась у человеческих лиц. Телега остановилась. Стекло фонаря было матовым от дождя, а по бокам самовара текли желтые глянцевиные струи.

— Ты, Василий?

— Я-с, Валентин Петрович. Так что прикажете поворачивать?

— Да, только где здесь повернешь?

— Повернем за милую душу. Благодать господь послал, дождичок.

Белобородый курчавый мужик в мокрой рубахе и пиджаке, плотно прилипшем к плечам, соскочил с передка, босые ноги его звонко шлепнулись в мокрую, скользкую землю. Началась возня с поворачиванием; пришлось относить задок телеги руками, причем особенно усердствовал, крепко вымазавшись в грязи, Аркадий Андреич.

И на этот раз, как тогда в тарантасе, физически невозможно было всем поместиться. Остались Валентин Петрович, Настенька да длинноногий, как комар, неловкий и очень нежной души гимназист, только что окончивший, по прозванию Тараканьи Мощи; он явно для всех к Настеньке был неравнодушен.

Все гомозились, сидя чуть не друг на друге, но всем непременно хотелось, чтобы поместились и оставшиеся трое. Настенька ни за что не хотела сесть и на все хитрости и уловки мальчиков не поддавалась. Между тем дождь поливал.

— Ну, ехать так ехать, — сказал Валентин Петрович, внутренне радуясь непреклонности Настеньки, хотя и сам сильно ее уговаривал. — Трогай, Василий!

— Стой, — крикнул Аркадий Андреич, когда лошадь уже с натугою тронулась, — господин святитель, или как вас там... Слушайте, садитесь на лошадь верхом!

На телеге все рассмеялись:

— Ноги будут болтаться!

— Нет, ничего! Мощи на случай помóщи!

— Вы оградите нас от несчастья!

Сами Тараканьи Мощи помалкивали, но потом вдруг гимназист, покосившись на Настеньку и, должно быть, прочтя во взгляде ее одобрение, одну за другой поставил ноги свои на подножку колеса и завернул зачем-то брюки; затем стал на оглоблю и молодцевато, ко всеобщему удивлению, перемахнул одной ногой, едва не перекатившись весь через скользкую спину лошади. Со скрипом и стоном телега тронулась в путь. Настенька хохотала навзрыд, крепко схватив рукав Валентина Петровича и прижимаясь головой к его плечу.

— С богом!

— С Мощами! — ответили хором несколько голосов из телеги.

— Самовар приготовьте! — крикнул еще раз вслед им Валентин Петрович.

Лица Настеньки не было видно, они шли рядом, поскользываясь и сталкиваясь.

— Хорошо... — сказала Настенька, помолчав.

— А мне... — начал он и не договорил.

— У вас и с вами, — быстро закончила Настенька и, вырвав руку, побежала вперед.

— Пойдите, пойдите, Настенька! — крикнул он ей вдогонку. — Вы упадете, нельзя так!

Он подоспел как раз во-время. Настенька действительно поскользнулась, Валентин Петрович подхватил ее; поскользнувшись и сам, он едва удержался и должен был крепко обнять ее. Кофточка Настеньки была мокра, и под мокрой рукой Валентин Петрович почувствовал крепкий, молодой стан девушки. Не размыкая рук, он только поднял их выше и, сжав ее плечи, наклонил к себе. Огромная, зигзагами, молния на мгновение ослепила глаза; четкие строгие стволы, теснясь, обступали их. Настенька опять откинула голову и полускрыла под поцелуями

глаза. Лицо ее было мокро, нежно и холодно, но губы горячи, хотя и безответны, и от шеи шел сырой и густой, почти смолистый запах загара.

— Будет, — сказала она, наконец, и, тряхнув головой, отступила от Валентина Петровича.

Он пошел рядом, не смея ближе к ней подойти. Лицо его пылало, руки немного дрожали, а в голове и в сердце, сливая их воедино, плыл смутный, острый и нежный страх.

«Боже мой, что я наделал... И почему она идет опять далеко?..» Руки его не переставали вздрагивать, все помня, но не смея снова приблизиться; голос не повиновался, да и что было сказать?.. Но он сделал над собою усилие.

— Настенька, — начал он, запинаясь, — вы на меня не сердитесь? — Она не отвечала. — Я говорю глупости, но это потому, что... потому что...

— Будет, — повторила она свое короткое слово. — Не надо.

Она шла теперь ближе, и Валентин Петрович отчетливо различал ее силуэт между деревьев. Дождь несколько притих. Гром стал реже, и воздух очистился; дышалось озоном легко и возбужденно.

— Отчего вы ничего не спросите обо мне? — сказала вдруг Настенька. — Вы даже не знаете, кажется, кто я.

— Я знаю только, — проговорил Валентин Петрович застенчиво потупившись, — что вы подруга Сонечки.

Настенька рассмеялась.

— Подруга! — воскликнула она. — Да ведь мне уже двадцать два года! И я вовсе ей не подруга. Я здесь гошу, я не здешняя.

— Уже двадцать два! — повторил он ласково и горько, вспоминая свои сорок шесть. — Кто же вы?

— А зачем вам? — Настенька вдруг повернулась к нему. — То и хорошо, что вы не знаете и не узнавали. Вот она — я, вот и все. Я с вами иду в лесу, ну и будет. Гроза пришла и ушла, уходит. Так и люди должны. Что спрашивать! Это неволя. А я люблю...

— Что?

— А вот пришла и ушла. Вот и все. Вот и вся я. — Настенька, помолчав, продолжала: — Помните, Аркадий Андреевич сказал про вас: «Хлоп — и увез!» Это мне понравилось. А больше я ничего не хочу и о вас знать. Слышите? Мне все равно, что там у вас! Совсем все

равно! И к чему говорят мне об этом, как будто... Нет, может быть, и не так... От этого во мне еще... Ну да, еще больше. Не говорите со мной. Помолчим.

Настенька словно устала от непривычно длинной тирады. Она шла, помахивая головой и о чем-то про себя думая. Между тем дождь снова усилился, сгустился мрак, и молнии стали все чаще и изломанней. Гром не гремел теперь с ударами и раскатами, он ниспадал вниз сухой, прерывистый и едкий. Сверкания молнии имели фиолетовый, тревожащий цвет; и казалось, внизу фосфорилась трава, очертания деревьев становились двойными, с темно отороченным контуром, и вода под ногами, в широко растекшихся лужах, как раскаленное серебро, покрытое сквозистой дымкой, колола глаза. Дождь лил сплошными потоками, но странная сухость пронизывала воздух, и порою казалось, что действительно пахнет фосфором.

— Вы не боитесь? — спросил Валентин Петрович; Настенька промолчала. — А если бы мы заблудились?

— Я была бы рада, — отвечала она с коротким, также сухим смешком.

Однако лес кончился. В отдалении через лужок были видны уже и огни господского дома; Валентин Петрович сделал все-таки крюк, выходили теперь стороной; хлюпая, булькался дождь в воду пруда. У дикой яблони Настенька остановилась.

— Пойдите, — сказала она и, помолчав, вдруг внезапно и крепко до боли обвила руками шею Валентина Петровича.

Она всего раз поцеловала его, но сама, и сделала это с дикой безудержностью.

— За то, что ты... За то, что ты... — начинала Настенька и ни разу не договаривала. — Ну, а теперь бежим!

Они взялись за руки и побежали под ударами дождя, бившего здесь, без прикрытия леса, с особенной силой.

Однако и их по пути нагнала телега. Она давно уже, вторично блуждала в лесу, но разминулась с Валентином Петровичем и Настенькой. Василий теперь возвращался. Сам он был все в той же рубахе и пиджаке, окончательно слипшихся с телом, но им привез плащи.

Обоим хватило и одного. Настенька сидела, сжавшись в комочек и прикинув к Валентину Петровичу, а он целовал ее мокрую голову и с осторожной нежностью дышал, отогревая, на ее холодные пальцы.

Прошла гроза, прошел и этот вечер, смешной и мокрый, когда отогревались в самых фантастических костюмах, опустошив все гардеробы, комоды и сундуки (домой возвращались наутро), минула и свадьба Сонечки с Гусиком, отпразднованная на славу, не один раз еще опрокидывались песочные мировые часы, сменяя день на ночь и мрак на зарю; уже от Сонечки Гусевой получились первые открытки из Италии с фресками Гирляндайо из Санта Мариа Новелла и с головою Давида из Академии; уже успело завязаться и новое сватовство с другой, ближайшей по очереди девочкой Струковой, Лизой, за которую, ко всеобщему хохоту, присватался гимназист, влюбленный до той поры в Настеньку и из молодчества перед ней в ночь грозы болтавшийся верхом на мокрой лошадиной спине, и дело, смех смехом, уже налаживалось, а Аркадий Андреич говорил с озабоченным видом, что пора, пожалуй, приглядывать жениха и Ирочке. Уже созрела пшеница и был на исходе июль. Лето стояло жаркое, полное гроз, удачи в работе. Крутой дугой подымалось оно и в жизни Валентина Петровича; событий особенных не было, и в то же время было оно полно событий, хотя и были они совсем особого рода, подобные событиям в природе: грозе, дождю и гулявшему над деревьями ветру, полуденному томлению, когда воздух, накаляясь, охваченный ленью, дрожит и мреет над желтыми полями, а листва никнет в изнемогающе сладкой истоме; и многое другое, причудливое и простое, и величественное в своем разнообразии и полноте, проходило чередой в душе Валентина Петровича, неизменно связанное с частыми теперь свиданиями с Настенькой. Точно какой-то затвор был снят, и шумно бежала река, отражая всю полноту бытия.

Валентин Петрович стал бывать и у Настеньки, и дорога через мельницу становилась излюбленной.

Жила она у бабушки и двух ее дочерей, обеих рано овдовевших и не имевших детей; мужчин в доме не было, и Настенька среди молчаливых старушек одна наполняла его кипением жизни. Из отрывочных слов этих женщин, сам не спрашивая, Валентин Петрович узнал только, что отец Настеньки служит в Москве, в Крестьянском банке, что у нее есть брат гимназист, а сама Настенька

учится на Екатерининских курсах; об этом она ему ни разу не заикнулась. Был у Настеньки и жених, офицер, да «с ним вышло несчастье», какое именно, об этом не говорили, да и вообще упомянули о нем только раз и мельком.

Впрочем, история эта не была особенно сложной. Аркадий Андреич, знавший давно бабушку Настеньки, еще до приезда внучки погостить в это лето знал от нее обо всем и раз передал Валентину Петровичу. У Настенькина жениха была другая семья, незаконная, о которой Настенька не знала. Но раз эта женщина, мать двух детей, отыскав Настеньку, пришла к ней. О чем они говорили, хорошо неизвестно, но Настенька в слезах вышла проводить свою гостью, и еще всю ночь пробродили они по улицам Москвы, а наутро она не приняла жениха. Он нелегко отнесся к разрыву, начал кутить и проводить ночи за картами. Было и еще одно свидание у них, и Настенька, кажется (хотя бабушка с ужасом только полунамекала об этом), предлагала ему повенчаться с тою (не жить, он ее уже не любил, а лишь узаконить ее и всей семьи положение), и тогда она будто бы станет опять любить его, даже крепче, чем прежде. Но он отказался, — низкого происхождения была эта женщина, — так все и расстроилось.

Валентин Петрович с тайным волнением выслушал этот рассказ Аркадия Андреича, так тесно переплеталась эта история с самыми скрытыми и глубокими собственными его переживаниями.

Изю всей струковской молодежи бывал у Настеньки изредка один теперешний жених Лизы Струковой. Он приходил к ней и молча просиживал (всегда на одном и том же потертом синеньком креслице) по нескольку часов у окна, выставив вперед через комнату свои тощие ноги и глядя, как Настенька сидит за вышиванием. Потом брал у нее полотенце, выщипывал самыми кончиками, «всегда в трауре», грязных ногтей канву и уходил, длинно вздыхая. «Такой блаженненький, не дай бог, — говорила бабушка Валентину Петровичу, покачивая головой, — ну, а все-таки был жених...» — «И дядя у него с состоянием, лучшую москательную лавку имеет, — подхватывала первая тетушка, — да только Настенька все того не может забыть, хоть и сумасшедший он...» — «Настеньке будто грозил...» — добавляла вторая, а бабушка со вздохом

кратко заканчивала: «Ну и то сказать, офицер...» — «А что же, он предложение делал?» — спрашивал с запинкой Валентин Петрович. «Кто? Москательщик-то? А как же, честь честью, и нам говорил. Мы к ней, а она только рукой махнула, так и отпустила ни с чем. Теперь к Лизаньке Струковой присватывается, что ж, дай ему бог...»

Старушки собрались однажды и в Ясенки. Валентин Петрович водил их по хозяйству; они одобрили сад, молотилку, скотный двор с симменталами, кузню и мельницу и отнеслись скептически почему-то только к плодовой сушилке, которую в этом году заводил Валентин Петрович; съездили утром к обедне (в Ясенки приехали с вечера), с удовольствием ели пирог с рисом и рыбой, после обеда сладко уснули часика на два. Настенька хозяйничала за чаем и за обедом, рассудительная и спокойная, как бы принимавшая гостей у себя; у Валентина Петровича, глядя на нее, сердце ныло тоскою и умилением.

Она вообще бывала теперь нередко гостью в Ясенках. Приходила обыкновенно пешком, с утра, а вечером отвозил ее Валентин Петрович в двухместной тележке, правя сам лошаадьми. Изредка объезжала Настенька с ним и поля, но чаще оставалась дома, брала из библиотеки книгу и уходила читать в сад или на пруд. Она подружилась с Борисом, с мадам (гуляла и играла с ними) и даже с нянюшкой Василидой, женщиной очень строгого нрава и поначалу отнесшейся к ней далеко не дружелюбно. Настенька вовсе, казалось, не думала (равно как и Валентин Петрович), что могли говорить и придумывать в округе о частых ее посещениях.

Раза три пришлось Настеньке даже заночевать. Раз из-за грозы, другой раз занездоровилось, а последний осталась сама: за Борисом недоглядели, он выкупался под вечер в пруду с пастухами, и у него сделался (небольшой, правда) жар. Мальчик он был некрепкий, и Валентин Петрович не на шутку обеспокоился. Он хотел сейчас же посылать в город за доктором (единственным), но Настенька знала, что тот был в этот день в отъезде, и сама осталась с больным.

К вечеру Боре стало как будто бы хуже. Он лежал у себя в кроватке в большой детской комнате, окнами выходявшей в сад, и, разметавшись, пытался о чем-то рассказывать, несвязно и поминутно сбиваясь. Настенька сидела возле него, держа его руку. На шкафчике,

в изголовье, стояли лекарства, недопитая чашка с заваренною сухою малиной и затененная книгою лампа. Француженка на цыпочках собирала вечерний свой туалет, так как ее на сегодня (по крайней мере на время) переселяли в соседнюю комнату, рядом.

На другом конце дома нянюшка Василида сидела за покрытым скатертью, уже прибранным чайным столом и, надев очки, читала библию, единственную свою книгу, которую перечитывала уже в шестой раз. Все двери, соединяющие комнаты огромного дома, были открыты, и Валентин Петрович, закинув руки за спину и переплетя пальцы, ходил по просторной их анфиладе. Дойдя до дверей детской, он останавливался на минуту и глядел на Бориса и строгое лицо Настеньки, в полутени склоненное к мальчику, улавливал два-три отрывистых несвязных его лепетания и, круто повернувшись, шагал назад. Слева был сад, слабо шумевший кое-где вырванной светом из окон блестящей листвою, справа второй ряд комнат, неосвещенных, выходявших во двор. Оттуда еще доносились кое-какие звуки затихавшей, но не отошедшей еще на покой хозяйственной жизни.

Когда доходил он до столовой и видел нянюшку Василиду, неспешным движением старческих губ читавшую строки Ветхого завета, улавливал напряжение морщин у очков, толстой перекрученной ниткой опоясывавших сзади ее маленькую голову, к вечеру освобожденную от платка, с тонким слоем гладких, еще не вполне седых волос, он замедлял свой шаг, хотя и не останавливался. Становилось похоже на жизнь — от детской кроватки и склоненной над ней молодой внимательной женщины и до этих старческих шевелящихся губ над страницами ветхой книги.

Путь одному через длинные молчаливые комнаты с зеркалами в простенках и старыми, в старых, тусклым золотом мерцающих рамах, портретами предков кажется длинным и пространство слишком большим, чтобы наполнить его одному; крайние полюсы есть, а середина? Настенька сидит возле мальчика, как молодая мать около своего ребенка. Как мать и жена?

Валентин Петрович остановился снова у двери. Мадам ушла, а Настенька, привстав и наклонясь над Борисом, старалась расслушать, что он ей говорил. Вдруг Валентин Петрович услышал отчетливый шепот.

Мальчик полупривстал и, охватив Настеньку за шею руками и не отрывая глаз, прямо в ухо сказал ей:

— Мамочка, дай мне попить!

Валентин Петрович видел, как вспыхнула Настенькина шея и откинулась голова, но вслед за тем она, не отнимая его руки, потянулась своей к чашке с малиной. Мальчик напился и лег, смолкнув, а девушка села опять, не обернувшись к Валентину Петровичу.

Бесшумно и тихо повернул Валентин Петрович назад, но не к няне, а, отворив дверь, на террасу; тут сел он на ступеньках лестницы, расстегнув себе ворот, и, достав папирасу, засветил огонек. Слова Бориса в бреду, не переставая, звучали в ушах. О, как все теперь было гораздо сложнее! В его отношениях собственно к Настеньке все было просто, но простота эта рядом с той неизбежной сложностью, которая вот-вот вступит опять в его жизнь, грозила сама стать усугубленной сложностью. И все возникал короткий рассказ Аркадия Андреича, испуганное недоумение бабушки и странный намек о каких-то угрозах...

История Иакова с женами его и служанками жен — «пусть она родит на колена мои» — вспомнилась ему из первой книги Моисеевой, как раз той, что перечитывает на ночь нянюшка Василида. Но разве же Агния неплодна в супружестве и он — какой же Иаков? Одна Настенька, в обаятельной своей непосредственности, разве одна она не была бы немислимой в роли служанки Рахилиной Валлы? Валентин Петрович почувствовал, как неудержимо краснеет. Что, если бы подойти сейчас к няне и спросить мудрого ее совета? Она качала его в колыбели, заменяла ему рано умершую мать, она прожила восемь десятков лет и знает его лучше, чем знает себя он сам...

И Валентин Петрович едва не поднялся, чтобы пойти к ней, сесть у ее ног, как в старину, или стать на колени и, подождав, пока она сдвинет на лоб очки, положить к ней голову на старенький фартук и спросить по-детски совета... Но он удержался. Он и сам, слава богу, не маленький и мужчина, отец и муж.

Настенька?.. Разве она?.. Разве с ней не поискать ли вместе исхода, в четыре руки не разобрать ли запутанный узор причудливых ног, не дожидаясь прихода самих событий? Но и это представлялось совсем невозможным. Настенька прежде всего не любила слов и разговоров (хотя и проговорила когда-то, в Москве, целую ночь — о,

это, наверное, была лунная видная ночь! — с женою любимого!..). С ним же единственный раз, тогда в лесу, сказала она что-то о себе самой, и то отклоняя возможность самой попытки что-нибудь еще разузнать о ней. «Пришла и ушла», — сказала она, и как правдивы и обещающе горьки эти слова!

Конечно, сама про себя она не раз, а много раз думала об этом же. Иногда Валентин Петрович ловил на себе ее взгляд, полный немого вопроса, который тотчас же она тушила беглым движением крутых ресниц своих, а разговор заводила о пустяках. Бывало и так, что он видел ее случайно, идя мимо окна, как она быстрым шагом ходила из угла в угол комнаты, заложив, как любил и он, за спину руки, и лоб ее был наморщен, а выражение лица почти суровое и напряженное. И еще один раз застал, невиденный ею, за внимательным вглядыванием в большой портрет Агнии в его кабинете. Но она никогда, ни полунамеком ничего не спрашивала его о жене (хотя, кажется, многое хотела бы знать...) и держала себя так, словно бы и не знала о ее существовании. Молчал и он...

Но и помимо этой всегдашней Настенькиной скрытности, разве не должен был именно он что-то решить? Он был в центре узла, и всю ответственность надо уметь брать на себя, не малодушествовать. Должен решить... Но что же?

Валентин Петрович был сильно взволнован и курил одну папиросу за другой.

Пусть это было в бреду, но и в самом деле Борис не отозвался ли лишь на ток ее чисто материнской любви? Такой еще не видал Настеньку и Валентин Петрович, он замечал только привязанность Бориса к ней и то, что мальчик с Настенькой переставал быть хмурым и задумчивым, и он простодушно радовался, глядя на них, этим веселым детским минутам. Но сейчас девушка, сидевшая у больного, была вся иная, и еще небывало острое чувство какой-то безнадежной нежности томило грудь Валентина Петровича.

Он пробовал думать об Агнии, о предстоящем приезде ее, но мысли его быстро путались и соскальзывали опять на Настеньку, на сегодняшний вечер, уже перешедший в темную ночь, на то, как сидит она у Бориса, как мать... Только одно, нечто широкое и общее, наполнило грудь от всех размышлений. Это не было мыслью ни о себе, ни о

жене, ни даже о Настеньке, а скорей вообще — о человеке, кто бы он ни был и под какой бы широтой ни проводил свои дни, об его оторванности и разрыве с единой гармонией мира. Вот и сейчас он, мужчина, отец и любящий, перед лицом этой благоухающей ночи — как детский беспомощен он в своем одиночестве!

Валентин Петрович встал со ступенек, прошелся и, смяв папиросу, хрустнул руками.

Света не было в окнах, кто-то распорядился потушить лампы. Он не знал, сколько времени здесь просидел, — может быть, и очень долго уже. Только из окон Бориса падал слабый отсвет и освещал на песке забытое полосатое колечко серсо. «Спит ли она? — подумал Валентин Петрович. — Или сидит и... может быть... ждет».

Он ощущал усталость в груди и незаметно подкраившуюся за мыслями сладостную истому. Только теперь осознал он это томящее чувство и испугался его, ибо знал, что оно предвещало, и отдавался ему одновременно: ум отходил, усталый и ничего не разрешивший, дыхание ночи, на смену ему, стало слышной. Где-то в ракетах резко, протяжно и с перегибами кричала далекая иволга. Безлунная ночь, бесшестная, еще не вовсе остывшая от зноя, покоилась над садом, деревья полудремали, стояла глубокая, теплая, безмолвно призывающая, душистая тишина. Отдаленные, но все же терпкие и крепкие запахи конопли и мяты поили собою темное, полное неопределенных желаний, беспокойство и ожидание. И в доме была тишина, ни звука не доносилось из-за темного четырехугольника открытой двери. Было похоже на то, как если бы была скрыта она черным, сплошным, непроницаемым пологом.

Вдруг Валентин Петрович коснулся глаз. По мимолетной ассоциации образов ему показалось, что в дверях, раскинув полы халата, стоит Аркадий Андреич, а за ним, за на мгновение откинутой темной полой мелькнула округлость девичьей нежной руки, и узкое кружево скользнуло с угловатого смугло белеющего плеча. Он сделал шаг к двери и остановился, схватившись руками за косяки. Перед ним в двух шагах была Настенька. Она спешно накидывала что-то белое на плечи.

— Три часа, — сказала она. — Боря уснул и жара нет, лобик холодный.

— А мадам? — произнес первое попавшееся слово Валентин Петрович.

— Я разбудила ее, она перешла туда. Все прошло, — ответила Настенька и повторила опять: — Три часа.

— Три часа, — повторил за нею и он, как эхо, и не двигаясь, следя, как Настенька застегивала пуговицы на груди; теперь он уже наверное знал, что только и ждал, когда она выйдет, и думал только об этом.

— Я хочу лечь, — добавила она тише и, дрогнув плечами, протянула Валентину Петровичу издали высоко обнаженную руку.

«Лечь... лечь...» — опять повторил он, но уже про себя, и все не двигался с места; у него кружилась голова, и казалось, что если он оторвется от спасительных дверных косяков и сделает хотя шаг к Настеньке, то ноги его не выдержат и он упадет.

— До свиданья!

— До свиданья, — едва прошептал он в ответ и протянул Настеньке руку, слабо и непроизвольно притягивая девушку к себе. — Посмотрите, какая ночь!

Они стояли в дверях и глядели в сад, уже смутно белевший. Рука его была на плече Настеньки, и он все крепче обнимал ее, медленно привлекая к себе. Настенька молчала, дыхание ее было тяжело и прерывисто и волосы касались лица Валентина Петровича. Она безвольно и медленно поникла к нему, точно рушась и отдаваясь его широкой груди. Потом она вскинула руки, как тогда у яблони под дождем, и вся прижалась к нему, обвив его шею.

Но не совсем и так, как тогда. Это уже не был порыв грозы, быстро пронесшейся и миновавшей, и не было свежей влажности капель дождя на волосах и лице, это была безвозвратность, безлунная душная ночь, и от лица и тела пышало жаром, и поцелуи были жадные, пересохшие и неутолимые, и была тишина и темнота и пахло коноплею и мятой...

XI

Под утро небо заволокло облаками, но дождь не сразу собрался, и денек стоял серый и мягкий. После завтрака Валентин Петрович отправился в поле, а Настенька сидела в саду. Мадам писала письмо на родину, няня то-

мила себе в горшочке дикие груши на кухне, любимое свое лакомство, а Борис, как после ванны окрепший после своей кратковременной хвори, катал желтый старенький обруч по узкой и длинной кленовой аллее; он был весело настроен и что-то покрикивал на ходу, отдельные фразы из фантастической истории, разыгрывавшейся в самой тесной связи с бегом обруча под его крепкой ореховой палочкой. Каждый раз, как он, возвращаясь, добегал до Настеньки, он брал один из ее пальцев и, осторожно поднося к губам, быстро целовал его и кидал всю руку назад, смеясь и опять подпрыгивая и гоня обруч перед собой.

Когда он только что поцеловал седьмой и побежал было дальше (счет пальцев тоже был звенем в его путешествии), залаяли собаки и кинулись навстречу завернувшему за угол сада экипажу. Борис остановился и на цыпочках, продолжая игру, по-новому обернувшуюся, и радуясь нечаянному и непредвиденному приключению, которое надобно было как-то включить в круг событий, стал придвигаться к дому, прячась и пригибаясь в зарослях рябины, орешника и молодых кленков и серебристого тополя, густо заполнивших канаву вдоль плетня.

Настенька только скользнула рассеянным взглядом по промелькнувшей через сетку листвы рыженькой паре, запряженной в тарантас с откинутым кузовом; какая-то дама в коричневой дымной вуали сидела там, но Настенька равнодушно отвела голову и стала смотреть в мягкую, весь сад покрывавшую тень. Девушка рада была серому дню, приносившему ей отдохновение; он помогал мыслям ее не углубляться слишком и обволакивал все ее существо убаюкивающей, миротворною тишиной. Она слабо улыбалась Борису с его ритмически возвращающимся обручем, каждый раз как он осторожно брал ее руку и шаловливо кидал назад. Время от времени она, однако, вздыхала и пошевеливала произвольно кончиками пальцев.

Ей было, кажется, вовсе не интересно, кто там приехал. Она подумала было, что надо пойти встретить раннюю гостью (дом был пуст), но осталась сидеть. И только когда Борис вприпрыжку бросился к ней и закричал, не рассчитав по-детски голоса, так что, пожалуй, и приезжая дама могла услышать его слова: «Там тетя какая-то приехала! Чужая!» — она поднялась и пошла навстречу приехавшей.

Дама стояла, обойдя дом вслед Борису, у края крокетной площадки и глядела на них. Старые собаки Буян и Танцор, радостно повизгивая, очевидно узнав, терлись вокруг нее и старались лизнуть правую руку, с которой перчатка была снята. Больной Танцор, всегда меланхолический, так извивался, словно хотел вылезти из своей обзетшавшей и облезавшей кожи, и только Волчок недоуменно и отрывисто потягивал издали, да и то все реже и реже.

Настенька шла с Борисом, уцепившимся за ее фартучек, который она надела с утра, и, словно на нее нашло какое-то странное оцепение, почти не видела гости. Та стояла не двигаясь, и беглые блики, подобные зарницам, набегавшим одна на другую, проносились по ее затененному лишь слегка откинутой вуалью лицу; руки, опущенные, туго натягивали узкую лайковую перчатку. Такою увидела ее Настенька, тонкую и стройную; изменчивую и напряженную, вдруг разглядев и сразу узнав по портрету. Остановилась теперь и она на мгновение, и глаза Агнии, не отрывавшиеся от них обоих, различили, конечно, смертельную бледность на лице молодой девушки, к которой прижался, также вдруг испугавшись, хорошенький мальчик. Боря? Но странное сходство, конечно, больше всего в общем их выражении, было в эту минуту между ним и тою, за фартучек которой он уцепился, словно ища защиты от непонятной опасности.

Невероятная короткая мысль пробежала в ней, что живут здесь, быть может, уже другие, что муж, на последнее письмо не ответивший (впрочем, она не давала и адреса), уехал куда-нибудь, продал имение или даже...

Агния невольно хотела поднести руку к бровям, — привычка, появившаяся у нее в последние месяцы, — но опустила ее с полудороги. А Настенька быстро пошла к ней вперед и, овладев собою, спросила:

— Агния Львовна?

— Да, я.

Тогда Настенька, опустив углы губ, сказала еще:

— Это Борис, ваш сын, он вас не узнал. Я пойду... пойду... распорядюсь... скажу... — И, не подав руки Агнии, оторвав от себя Бориса, повернулась и, преувеличенно крепко ступая, прошла в дом.

Через пять минут няня, покинувши груши, прибежала, поковыливая, в сад и не отрываясь начала целовать Агнины руки, щеки и волосы, а молодая женщина пла-

кала, уткнувшись в ее плечо, от которого еще несло свежим дымком. Борис был тут же. Он казался растерянным и, уступив мать объятиям няни, отодвинулся на два шага в сторону и оглядывался, ища Настеньку.

Когда все втроем пошли в дом и няня хотела распорядиться послать за Валентином Петровичем в поле, гувернантка шепнула ей, что Настенька уже сказала об этом одному из пастухов, пришедшему на обед, да и сама куда-то пошла. На старую француженку пахнуло неотразимым обаянием давно уже покинутой родины, от Агнии шел неуловимый запах Парижа, одета она была очень скромно и просто по-дорожному, но от этой изящной простоты, от самих волос приехавшей, легко заложенных на уши, шло на мадам неизъяснимое очарование, щекотавшее самые ноздри и патриотически сантиментально трогавшее сердце ее, тугим высоким корсетом забронированное от всяческих волнений на чужбине уже тридцать без малого лет. Об одном жалела она, что Настеньки не было и она не видала их встречи своим хитроватым и падким на все пикантное французским глазком.

Пока няня хлопотала о чае, Агния отпустила Бориса с француженкой, а сама осталась одна. Ей хотелось этого. С минуты на минуту ждала она Валентина Петровича, а чувствовала себя разбитой и слабой и от дороги, сделанной ею без всякого перерыва и, по внезапному побуждению, ранее срока, и от первых волнующих впечатлений Ясенюк.

Самый разрыв с человеком, которому она отдала несколько лет жизни, такой тяжелый и открывший ей глаза на весь тот обман, в котором жила и который был скрыт с таким виртуозным искусством все это время от ее слепо любящих глаз, это роковое ее прозрение, даже оно, кажется, не было так истомляюще тяжело, как последние месяцы, когда все думала Агния собрать себя, укрепиться и набраться мужества перед возвращением; они истощили силы ее окончательно. А она умела быть безжалостной и даже жестокой к себе! Даже сон не приносил ей с собою ни отдыха, ни освежения, и она вставала разбитую для нового дня. Но особенно тягостны были часы вечеров, когда на бульварах, в кафе и ресторанах зажигались огни и летний Париж начинал жить своей таинственной и такую чуждой, пугающей жизнью. Все жалило душу — огни и голоса, рожки автомобилей, глаза парижанок, похожие на бархатные ночные цветы, и боль ее походила

на то, как если бы изо дня в день заставляли ее идти босыми ногами по острым и накаленным солнцем камням.

Потерянным раем представлялись тогда для Агнии покинутые Ясенки и их немудреные поля и перелески, пруд и луг, старый с аллеями сад. Она не родилась и не выросла в миротворящем их лоне, но, странное дело, точно там действительно начинала она, хотя и с надломленными силами, новое детство, и если не стала вовсе родной, то деревня, с ее простором и тишиной, готова была назвать ее приемною дочерью. Муж и Борис (о них она боялась и думать столько, как бы хотелось) представлялись ей издали не иначе, как частью чего-то великого целого, простого и исцеляющего там, на родине. И самое это слово впервые стало для нее живо и полно чарующего обаяния.

Была в эти дни Агния как глубоко больная, и если не смела надеяться на исцеление, то мечтала хоть умереть на родной земле. Порой она падала духом до совершенного ко всему безразличия, когда уже не было ни мыслей, ни чувств, ни хотя бы отдаленных надежд, но иногда вскакивала, как от толчка, и начинала спешно укладывать вещи, брала дрожащими руками шляпу, перчатки, подходила к зеркалу и застывала так, не видя себя. Наконец, это стало свыше всякой меры и сил, и почти в каком-то припадке она собралась в один вечер, кое-как рассовала по корзинам и чемоданам самые необходимые вещи и поехала на вокзал. Поезда ждать пришлось три часа, но она терпеливо выждала их, не сойдя с места и не пошевелившись. Дорогой она была как немая, не отвечала ни на один к ней обращенный вопрос, ничего не ела и пила только кофе на коротеньких остановках. Всю последнюю силу она собрала и устремила на самый процесс передвижения, приближения, и когда села, наконец, после трех ночей, проведенных в вагоне, на ямщицкую пару и, назвав имение Ясенки, уронила левую руку на локоть правой, так и просидела, не изменяя позы, все одиннадцать верст, и были они полны разнообразнейших, но одинаково мучительно волнующих чувств. В последний раз вспыхнули в ней и давние те очарования — томления и мечты, которые с такой магической силой владели когда-то ее живую душою. Только, быть может, теперь хоронила она их навсегда.

И когда показался ясенский сад, серебрясь и седея верхушками тополей, все это было покончено, умерло,

чтобы не воскресать, и осталось одно ощущение рокового молниеносного приближения к страшному и дорогому последнему месту, которое скажет ей: жить ли еще? Она писала Валентину Петровичу, что пробудет здесь несколько дней, но теперь знала с твердостью, что ей некуда ехать, это было именно так — последнее место. О, пусть она хрупка и слаба, пусть истомлена артистической перетонченностью, но в ней есть и иная стихия: мужество, смелость и решимость; есть, быть может, какая-то еще непочатая Агния, еще молодая, полная сил, она сумела бы зацвести этими здоровыми соками и, ширясь, ветвясь, наполнить и этот просторный дом или же... или... — чем плохо и это? — небольшой холмик земли и вечное отдохновение в той тишине, где шумят только деревья вверх, да сельские птицы поют свою несложную песню.

И вот она сидит здесь, в своей бывшей комнате, одна — как хорошо, что некоторое время одна еще! — и напряжение слабеет в ней и отходит печальную жалобой сердце: так темная туча, долго томившаяся, вдруг, не прогредев, исходит мелким и частым, долгим дождем. Одной, самой по себе, силе ее не развернуть своих крыльев! О, если бы чье-то сердце, крупное, крупно бьющееся, застучало у ее груди, сердце всепрощающее, возрождающее, истинно человеческое!

Но собственное ее, усталое, устало шептало: поздно пришла, поздно вернулась! Настенька была перед нею, и в глазах ее было столько сжатого, уплотненного блеска, почти получавшего самостоятельное бытие, и Борис держался за ее фартучек, крепко прижавшись к ней и напругая шею, как бы упираясь. Она знала, что не ошиблась, но так было горько сказать себе это горькое слово в последнем убежище: чужая!

Агния сидела так, уронив голову, сжав губы и руки, пока, наконец, не пришли и слезы. Она не противилась им и, раз заплакав, плакала долго, лишь изредка вспоминая приложить платок к мокрым глазам. Они не сразу облегчили ее. Было смутное ощущение как бы дождя, начала которого она не заметила; эта частая сеть льющихся прядей, словно само небо в изнеможении разметало косы свои, заполнила собою и сад, и дом, и поля, и душу, все пространства вокруг и внутри. Неопределенная смутная жалоба, вина, тоска, не чающая разрешения, плакали в ней. Ощущения ее походили сейчас на хаотическое

кажущееся бесцельным движение облаков, будто не знающих куда себя деть. Слезы капали с длинных ресниц, и вся она была как одна большая дождевая слеза, дрожащая на черном кончике узловатой и мокрой березовой ветки. Дождь и в самом деле пошел, точно такой, и в самом деле начала его Агния не уследила.

ХИ

Валентин Петрович между тем, бывший довольно далеко и не сразу отысканный пастухом, то нетерпеливо топил лошадь вожжами, то сдерживал ее слишком быстрый бег. В том же порывисто сменяющемся темпе беспорядочно и напряженно теснились в голове его мысли, то рождая причудливо фантастические и необычно смелые решения, то спадая до странного физического замиранья в груди, когда всякая отчетливость сознания исчезала.

Но по мере приближения к дому мысли его становились все сжатей, энергичнее и сильнее. Он окончательно овладевал собой. Какая-то глубокая перемена произошла в нем, кажется, именно сегодня. В его руках была теперь судьба и своя и их обеих, — это было ответственно. Чувства и мысли и самая жизнь так тесно сливались, как конь с седоком, в непрерывном одном устремлении. И только где-то, как пыль за тем всадником, крутилась и поднималась целая туча других житейских отрывочных представлений, и среди них неотвязней других: как они там... обе... сейчас? И это было первое, что он спросил у встретившей его няни:

— Где Настенька?

— Жена приехала, — строго глядя через очки, ответила нянюшка Василида.

«Вот она нянина, народная мудрость...» — мелькнуло в его голове, пока он скидывал плащ, блестящий дождем.

В доме была тишина, ни звука, точно все вымерло. С забившимся сердцем быстро пошел он, почти побежал, звонко стуча по паркету. В столовой был чай, не тронутый еще. Где же она? Теперь «она» не была уже Настенькой; где-то в двух шагах от него, еще невидимая, была и дышала в этих стенах, не видевших ее долгие годы, Агния — жена.

На минуту он приостановился и даже закрыл глаза от охватившего грудь его трепета. Все его мысли были полны, как удар здорового пульса, а необычная активность, переполнявшая его душу, настоятельно требовала своего проявления; точно после длительного сидения он встал во весь рост и, подняв голову, увидел мир лицом к лицу. И, увидев, принял первый удар, проникший ему в самое сердце; с такой молниеносной быстротой и почти страшным ясновидением он ощутил сердце Агнии и проник в него. Это оно стучало теперь в груди его, и мимо слов, вне их, одним этим биением, открыло и осияло все: приезд, встречу здесь Настеньки, всю прошлую жизнь и это томительное ожидание его возвращения. Такая острая боль, какой еще не знал Валентин Петрович, и слитный с нею почти огневой восторг охватили его с силою бури. Он не только готов был теперь идти навстречу всему, ни перед чем не отступать и глядеть пришедшей судьбе в глаза открыто и мужественно, но больше и ярче того: была какая-то радость и гордость, что вот предстоит душе человека труднейший экзамен, и она не отступает, а рвется навстречу всем трудностям, вставшим ей на пути. И не одной его душе этот экзамен, и они обе стоят перед судом, любовь — нет, не только любовь, — достоинство человека должно быть оправдано.

Агния встала навстречу. Она быстро отерла глаза, и лицо кружевным маленьким платочком, крепко зажатым в руке, зрачки ее были расширены и углублены. Прежняя гибкость и упругая твердость, давние, еще девические, сами собою и с непостижимою быстротой вернулись к ней в это решающее мгновение, и она стояла так, прекрасная своей внезапною красотой. Возле глаз ее наметило время легкие, лучиками, морщинки, такие же лежали и над бровями, но черты лица стали еще тоньше, углы губ, слегка опущенные, дрожали, и волосы, несколько в беспорядке, были похожи на облако, пролетающее и задевшее голову дымным крылом.

Верно, и вид Валентина Петровича также был странным, — исключительно редко можно увидеть лицо человека, когда почти дикое вдохновение, как гром, ударивший с высоты, венчает его своим единственно достойным человека венцом, и увидишь тогда, когда в самом все напряжено навстречу, — Агния сделала шаг и остановилась, и новое волшебное изменение преобразило черты ее:

слишком сильно и неожиданно было это явление. Она слегка вскрикнула, тем самым вскриком, должно быть, с каким срывает, склонясь, ветер верхушку пены со вставшей и устремленной волны, и, как та же волна рушится неудержимо вперед, она упала на грудь Валентина Петровича в отдающемся изнеможении чувств.

В дверях была нянюшка Василида; вопреки всем приличиям, она не могла не появиться на этот вскрик, услышанный ею, и восьмидесятилетнее женское сердце остается все тем же женским порывистым сердцем, пока только бьется, и есть звуки, не отозваться на которые оно не в состоянии. Губы старушки стали вдруг широки и влажны, а на конец платочка, засыпанного рыжею нюхательною пылью, упала живая слеза. Коричневым скрюченным мизинцем отерла ее нянюшка Василида и отошла на цыпочках прочь.

Немногими словами приветая обменялись муж и жена; все уже было дано и на слова перевода не требовалось. Оба вместе шли в детскую.

Теперь ни одной секунды не забывал Валентин Петрович и Настеньку. Сердце его, точно в одном фантастически огромном биении, расширилось так, что вмещало весь мир от полюса до полюса, то есть Агнию и Настеньку вместе, но Настенька стояла где-то вдали, еще не зная о происшедшем; одиноко стояла она, не отводя, казалось, от них блистающих глаз, а сердце Валентина Петровича уже томительно жаждало сжаться, чтобы вместить и заключить их обеих совсем, навсегда, толкнуть и спаять их между собой в одном навеки объятии.

По какому-то особому, порывисто сильному сжатию своей руки рукой Валентина Петровича, как по угаданному сигналу, Агния остановилась; она поняла, что это было мыслью о Настеньке.

— Слушай, — спросила она, крепко взяв его руки (теперь все, что, может быть, было бы дико и страшно и невероятно сложно спросить во всякое другое время, было не то чтобы легко, но единственно нужно, необходимо и естественно), — слушай, ты любишь ее?

— Да, — ответил Валентин Петрович.

Наступило молчание. В этих коротких словах было многое; уже в самом вопросе, в возможности и необходимости его было заключено для нее знание того, что ответит, а для него также и то, что Агния все уже поняла и

приняла в самой сущности проникновенно и верно, то есть минуту их встречи не только как её прощение, или забвение, или все равно как сказать, и не только как порыв чистой радости свидания и любви к ней одной, а выше и чище, человечнее и мудрее, ибо и она уже знала, что в этой же их встрече, *такой*, включается третья. Но Валентин Петрович еще не знал всего, как в эту минуту просветления и подъема думала Агния. Он пока только знал, не раздумыванием, а постижением, что это не кто иной, как Настенька, творец такой встречи, это она ввела его в круг настоящего мужества, в крепящие волны стихий, где душа свободна, вольна, горда и могущественна, где природа ее, не скованная, знает движения, по силе равные океанским течениям, точнее — что именно Настенька провела его, сама проходя, через подлинную стихийную и закаляющую страсть, которая одна способна в мужчине выковать настоящего мужа. Ему открывалась теперь, хотя и не вполне еще, и та глубина постигания, которая далась Агнии длинным рядом ее скитальческих лет. Не только ему не пришлось что-нибудь «делать», как когда-то он думал (а теперь вспоминал со стыдом), не только не было той больной и унижающей жалости, о которой писала она, но точно огнем испепелило самую возможность всяких обид, ревности, обоюдных недоразумений, на распутывание (и еще горшее запутывание) которых не хватило бы жизни. Это было подобно чарам костра, но действенней, глубже и окрыленнее. То, что ковало их вместе в эту минуту безмолвного нерушимого объятия, это было выше любви и крепче, чем самая верность.

Но предвидеть, как будет дальше, Валентин Петрович еще не мог.

— Где же она? — спросила Агния после молчания.

— Я не знаю, — ответил он.

— И она должна быть с нами сейчас, — сказала Агния твердо.

Борис, увидя вошедших, подошел к отцу, неловко косясь на мать. Он теперь уже верил во все то чудесное и неожиданное, во что обернулась его игра с обручем, и хотя удивление длилось еще, робкая нежность, стыдливость и радость побеждали недоумение, и когда Агния, присев на корточки, вровень с ним, обняла его шею и смочила ее горькими и счастливыми материнскими сле-

зами, мальчик недолго крепился и вдруг, изо всех сил обвив ее шею, заплакал сам и прижался к ней с солеными поцелуями. Не только поверил теперь, но и признал, даже узнал отдаленным каким-то воспоминанием.

Немного спустя отец спросил его:

— А где ж Настенька?

— Не знаю, — ответил мальчик и беспокойными какими-то, тревожными глазами поглядел на обоих.

Но кто был поражен совершенно простым этим вопросом, так это мадам. «Впрочем, в этой дикой стране можно всего ожидать», — все же с недоумением и уж, конечно, с горделивым сознанием собственной врожденной культурности подумала она, пожав даже плечами, так, однакоже, чтобы это было не слишком заметно.

— Где она может быть? — спросила Агния, взяв мужа за руку, и в голосе ее было столько живой, непосредственной тревоги, почти безотчетного страха, что он сразу заразил и с удвоенной силой охватил Валентина Петровича. На столе, на Бориных тетрадах, сачках и удочках, наваленных в беспорядке, лежала простенькая, из желтой соломки, Настенькина шляпка.

— Я сейчас узнаю, папочка, от няни, — сказал Борис и убежал, бегло и с внезапно родившимся обожанием взглянув на мать.

— Она где-нибудь здесь, — возразил самому себе; возникшим сомнениям Валентин Петрович, — вот ее шляпа.

— А что, если нет?

Оба посмотрели друг другу в глаза и прочли одно и то же страшное подозрение.

— Пойдем, пойдем... — сказала Агния и вышла первая. Борис уже бежал им навстречу.

— Васичка (так он звал Василиду) сказала... — мальчик запнулся и, посмотрев на мать, договорил, обращаясь к ней, — что Настенька... что она ушла в лес, то есть на пруд... к яблоньке... одна.

— Ты меня подождешь?

— Нет, — ответила Агния, — и я с тобой.

Они оба накинули плащи и, забыв о калошах, направились к пруду почти бегом.

Дождь шел, но не сильный, кое-где уже были видны просветы синего неба, они влажно поблескивали и исчезали. Трава на рубеже к пруду была мокра и высока.

— Ты без калош, — рассеянно-заботливо произнес Валентин Петрович; сердце его падало, как с горы; Агния ничего не ответила.

Дойдя до пруда, они поняли сразу тщету своих поисков. Были следы, но дождь все покрыл серою сеткой на травах, и нельзя было понять, старые эти следы или недавние. Пруд спокойно рябил под дождем, и лес отзвучивался на оклики невнятным, неопределенным эхом, спутанно сливавшимся с шумом листвы. Настеньки не было.

На обратном пути оба молчали, Валентин Петрович сумрачно что-то соображал; дома отчаянно заливались собаки.

— Твой ямщик, — сказал Валентин Петрович. — Она ушла в город.

— И я о том же, — отозвалась Агния. — Едем сейчас.

Старенький тарантас на окрики их остановился. Ямщик обернулся с козел и ждал.

Француженка со все возрастающим недоумением видела через окно, как господа сели, не заходя домой, в экипаж, и ямщик, повернув лошадей, погнал их по направлению к лесу, по летней дороге на город. Она даже присвистнула носом и, тонко поведя верхней губой, отправилась в столовую пить чай с кипячеными сливками.

XIII

Путь через лес протекал в глубоком молчании. Агния куталась в мокрый холодный плащ и поминутно взглядывала то вперед, то по сторонам. Ямщику приказано было гнать лошадей, время от времени Валентин Петрович давал ему указания, где нужно свертывать; лесные дороги хитры, их надо знать да знать.

Дождик переставал. Уже весело посвистывали птицы в кустах и деревья отряхивались от пригибавших их капель. В просветах к оврагу свежо блестела мокрая трава; звук от копыт лошадей был мягок и сочен, беловатый пар подымался над их залоснившимися спинами и боками, ямщик покрякивал и посвистывал, впрочем сдержанно, догадываясь о чем-то неладном. Ехали быстро, но тревога, все возрастающая, бежала далеко впереди.

Все было теперь сосредоточено в этой езде: сомнения, надежды, в тысячный раз подымавшиеся тяжелые мысли

о том, что, быть может, там, под серым дождем, вздувшим мелкие пузыри на пруде, покоится Настенька, чуждая уже и этой погоне за ней и всем высоким их недавним переживаниям... Ее-то в конце концов все-таки и недосмотрели, все решено и все устроено — без нее!.. Надо было остаться там и искать... багры... Нет, нет! Ужели смерть? Боже мой! И не мочь ничего предпринять, кроме этого медлительного передвижения, имевшего сомнительный смысл! Какая неправда, тлен, и... позор, и во всяком случае полное поражение...

Порой казалось все конченным и безнадежным. Не все ли равно, бегут ли лошади быстро, или, устав, потащились бы шагом, или вовсе повернули назад? Какой роковой, сокрушающий размах сделал их маятник! Огонь и восторг — и мертвое преступное отчаяние, а по пути скошена жизнь. Жить с преступлением?..

Лес кончился. В низкой ложбине гляделась спасская церковь, а дальше на горизонте, серовато-лиловые, виднелись главы уже городских церквей. Купол собора и шпиг колокольни горели, как желтая луковка и золотая игла. Там уже падало солнце, а повернув голову вправо, Валентин Петрович увидел широкою, мягко сиявшую радугу.

Охваченный внезапным, таящим откровение волнением, Валентин Петрович взял руку жены в первый раз за все это время и с силою сжал. Он хотел что-то сказать, но Агния сама приподнялась, наклонилась и вдруг прошептала:

— Смотри! Она?

На большом белом камне (от города пятая верста) сидела Настенька. По лицу Валентина Петровича Агния прочла ответ на свой нетерпеливый вопрос, и оба так и остались стоять. Солнца все еще не было, но и вправо от них на быстро синеющем и шевелящемся небе и в глазах Валентина Петровича, слегка увлажненных, а через глаза и в синем просторе души, поверившей в чудо, сияла мягкая и полная радостная дуга обещания — радуга. О, как торжественно хорошо было бы полностью принять многоцветные дары ее!

Агния... Глаз жены не видал Валентин Петрович, как не видал и мгновенного, произвольно большого движения ее губ; он неотступно глядел вперед.

Найдя пастуха и приказав ему бежать к Валентину Петровичу, Настенька, сама не зная еще куда, вышла из дому. Она направилась прямо по рубежу; влажные стебли травы сочно ложились под ее быстрыми шагами; серели невдалеке лес и пруд. Девушка едва различала их, но, дойдя до дикой яблони с просыпанной под нею мокрой желтою падалицей, она остановилась у опушки леса и обернулась на дом. Он выступал большим мокро-серым пятном, влево от служб, на таком знакомом мягком фоне седых тополей. Она стояла и глядела, запечатлевая все подробности; казалось, только сейчас она поняла, как все это дорого ей до нестерпимости, до боли в глазах. Потом она сделала какое-то неопределенное движение рукою, полуподняла ее и уронила и, повернувшись, быстро пошла по лесной дороге, а потом и побежала, словно гонимая ветром судьбы.

Теперь Настенька сидела на камне. Она с трудом переводила дыхание, волосы ее были мокры и тяжелы, руки уронены на колени; лицо, хотя и разгоряченное бегом, хранило всю строгую сосредоточенность мысли. Башмаки были полны воды, и ныла слегка натертая нога, доставляя этим болезненным ощущением некоторую отвлекающую отраду.

Настенька сидела так и глядела на радугу. Была у нее одна любимая в детстве картинка. Такая же крутая высокая радуга и дымно бегущие тучи за нею, а на радуге ангелы сидят и играют живою и легкой гирляндой, и только один, отделившись, летит вниз, а под ним темная и глухая река, но игра остальных не нарушена. Что это была за книжка, Настенька не могла как следует вспомнить, в ней было двенадцать в красках картин, но поразила воображение эта одна, а в ней, главное, то, что сорвавшийся не мешал общей гармонии. Про себя решала тогда Настенька с первою дрожью рано просыпавшейся гордости, что ему суждена иная судьба: пройдя темную реку, огонь, покинутость одиночества, он взойдет по ту сторону радуги и будет там один, полновластный. Бог весть почему, на усталую голову, ожило в ней это воспоминание детства. Она не отводила взора от цветной череды полос, а зоркий глаз ее произвольно замечал, что правый конец дуги лежит ближе крайнего склона леска: на темной зелени дерев усиленно ярко горел зеленый кусок, остальные давали затуманенно измененные оттенки.

Одно усилилось, другое побледнело и изменилось, и все как-то по-новому сдвинулось с места. Или все осталось как было, и только она сама скользит под крутизну и раненый взор ее воспринимает вокруг все иначе? И не упала ли уже, и вот сидит, покинутая, на распутье у камня большой дороги?

Валентин Петрович стоял в тарантасе и махал ей шляпой. Голоса его не было слышно, но Настенька все же, наконец, обернулась, тяжело повертывая голову на этот еще далекий призыв, сдвинула брови и поднялась. Первым побуждением ее было вскочить и бежать, но она осталась из-за гордости и из-за невозможности скрыться; лошади приближались с большой быстротой, и тарантас, легко подскакивая и наваливаясь, казалось, сам подталкивал их. Лицо Настеньки было сурово; эта погоня за нею была, кажется, воспринята в первую минуту, как что-то похожее на оскорбление, и ощущение это еще возросло, когда она различила и Агнию, также напряженно наклонившую голову вперед. Что было им нужно от нее? И зачем первые часы свидания, теперь, очевидно, такого нежного и примиренного, они посвящают ненужным тревогам о ней? Настенька стояла, крепилась и взвинчивала себя. Теперь в глазах ее заиграл новый, еще скрытый огонь, точно она задумала и нечто иное. «А, ты этого хочешь, — говорили, казалось, глаза, — ты сама идешь мне навстречу, признаешь мое право, так будь настороже — признаю ли еще твое...» Когда-то готова была она сама подарить это право несчастной другой, но взять милость из чьих-нибудь рук, — о, Настенька слишком горда!

С таким вызывающим видом стояла и глядела девушка, когда с разных сторон экипажа соскочили к ней одновременно Агния и Валентин Петрович. Он ближе был к Настеньке и первый взял ее руки. Сердце Настеньки будто окаменело, холодными, почти презрительными глазами встретила она его загоревшийся, стремящийся и убеждающий взор. Она ничего не ответила и на горячее восклицание Агнии.

— Мы так измучились оба, пока увидели вас! Отчего вы ушли? Настенька!.. Позвольте вас так назвать... Мы должны все преодолеть, и чем труднее... Все мы много страдали, Настенька!

Настеньку жгло каждое слово, и особенно это, соединяющее их, такое естественное: «Мы так измучились

оба...» «Какое мне дело до *ваших* мук!» — можно было прочесть в ее засверкавших глазах.

Но уже и сейчас в этих порывистых, призывающих словах Агнии ухо ее уловило ту тайную, скрытую женскую боль, которую не воспринимал, видимо, вовсе Валентин Петрович через полог своей, ослепившей его мечты; она видела острее и глубже, чем он, она безошибочно слышала в восклицании Агнии что-то шедшее через силу, надрывное и дребезжащее. Но, может быть, именно это, такое понятное и самой Настеньке, такое женское, смягчало ее и тушило обжигавший пламень оскорбления. И где-то на очень большой глубине дрогнула в душе ее золотая точка; ей еще не было имени, но в ней было зерно последнего решения Настеньки.

Как издали видела она отступившего на шаг Валентина Петровича; лоб его был высок, общее выражение лица сдержанно и полно напряженной игры столкновения чувств; в самой фигуре его, в изгибе плеч и талии было опять то почти фантастическое с покинутым ее женихом сходство, о котором она ни одним словом ни разу не поминала...

Одновременно была в душе Настеньки и досада, почти злость на его слепоту, на это благородно-наивное мужество, и оно же пленяло ее. И поверх всего то, что она в первый раз понимала во всей роковой полноте, как полюбила его безраздельно и как тяжела, непереносима будет потеря. На минуту захотелось ей закрыть глаза и, кинувшись, как во сне, отдаться ему на полную волю. Но видела и Агнию, вдруг сразу примолкшую, с опустившимися углами губ, как двенадцатилетняя девочка притулившуюся на том самом камне у ног ее, где сидела и Настенька.

И оба они точно отступили перед ее внешне холодной твердостью, отступили и ждали... с новым, робким перед нею раздумьем. Слово опять было за Настенькой, и Валентин Петрович стоял и ждал, и она быстро, быстро решала. Она уже знала теперь: нет, бороться не станет, вытеснить... кого? — эту несчастную, всю исстрадавшуюся женщину-девочку у ног ее?.. Нет, нет! У нее не вид дающей победительницы...

Настенька смутно угадывала теперь по лицу Валентина Петровича, по их спешной за нею погоне, по затаенному, но явному, вопреки словам, живому страданию

Агнии, угадывала и самую встречу их, и боязнь за нее, и, когда отыскивали, это щемящее раздвоение Агниных чувств... Но — тем более надо уйти. Почему? Настенька даже головою тряхнула; так решила, так будет. Самое трудное — это уйти, ничего не показав, не потревожив, а, если бы только возможно, еще укрепив. Они перед нею, как дети... О, трудно! Но и трудное не невозможно, и в самой трудности, в преодолении — высокая радость.

И только дошла Настенька в мыслях до последнего этого сознания, горячие силы опять пробудились в ней и золотыми искрами пробежали по жилам. О, любовь убивать — преступление, но поставить ей любую задачу, дать силам ее какой угодно исход — этого никто не в силах отнять у любящего, это его священное и вольное право!

Настенька порывисто присела и, обняв голову Агнии, крепко поцеловала ее в губы, но, сокращая всячески длительность этой минуты, тотчас вскочила и протянула обе руки Валентину Петровичу; он притянул к себе ее голову и коснулся губами виска.

— Нет, нет! — каким-то разорванным голосом, почти со слезами воскликнула Агния.

И когда Валентин Петрович склонился, послушный этому «нет», к близким Настенькиным губам, он явственно ощутил, как энергично они были сомкнуты.

Настенька покорно села с ними в тарантас, и ямщик повернул коней. Агния и Настенька сидели молчаливо и внешне спокойно и сдержанно, но всю дорогу шел между ними безмолвный их разговор, и они понимали друг друга острее и больнее, чем понимал их обеих сидевший напротив Валентин Петрович.

Француженка встретила их с полным недоумением и, зорко приглядываясь, прилежно копила материал для длинного и ядовитого письма.

Остаток вечера был сокращен. Агния села сыграть, по просьбе Валентина Петровича, григовское «Сердце поэта», но оборвала, не докончив: слезы томили ее.

Спать отправились рано, и на прощанье Настенька попросила себе лошадей на заре, обещав скоро приехать опять, но запретив Валентину Петровичу встать проводить ее утром. Весь вечер она казалась спокойною и почти веселой; украдкой, зная, что расстанется совсем, нежно ласкала Бориса.

Но когда все разошлись, наконец, Настеньку охватил настоящий озноб, зубы стучали, и волосы шевелились на висках. Она укуталась в платок, но согреться не могла. Наконец, дрожь она пересилила, но время от времени все еще вздрагивала.

— Настенька, вы? — услышала она голос Валентина Петровича.

Она сидела на подоконнике, выходявшем в сад (недавно еще разошлись), и кивнула молча в ответ: я; да; я; вся тут.

Валентин Петрович стал целовать ее руки, отданные ему; потом приложился к ним щекой и глазами. Настенька вздрогнула опять. Он поднял голову и посмотрел на нее.

— Что это? — спросил он тихонько. — Вы вздрагиваете?

— Да, — ответила Настенька, — это кто-нибудь прошел по тому месту, где я буду лежать. — И на его вопросительно-тревожный взгляд, полный любви, пояснила со слабой улыбкой: — В могиле. Ну да, такая примета есть.

Она поднялась и стала закрывать окно.

— Идите, все хорошо.

Валентин Петрович постоял с минуту еще перед закрытым окном и медленно отошел. Настенька издали следила шаги его, кутаясь в шаль. Вот он и исчез...

XIV

Время шло; уже золотясь, тяжелели леса, и вяз перед домом шумел, как чаша, полная золотых ниспадающих искр дорогого вина.

Была середина ясного, погожего октября. Как молодое чувство жизни с годами, не погасая, делается, однакоже, тоньше, четче и глубже, так что становится видимым как бы самый скрытый план нашего бытия, так и осень, пролив на землю червонное золото и обнажив узловатый узор освобожденного тела стволов и ветвей в замолкшем лесу, не потеряла в своем очаровании. Четкость, строгость, законченность, без единого лишнего штриха в очертаниях, холодноватое небо, целомудренно чистое, но не бесстрастное, звонкая, еще бесснежная дорога и ровные,

вдаль бегущие колеи, полный и мерный завершительный труд молотьбы и свежий, уже морозный скрип мельницы, отдававшей вкус нового хлеба, тяжелые струи воды, медлительно огибающей город, — такова была эта поездка Валентина Петровича.

Настенька уехала в Москву в самый день отъезда из Ясенок, не повидавшись больше с Алтуховыми. Писем она не писала, и только бабушка вскользь сообщила Валентину Петровичу, что «офицер к ней опять пристает». Это известие, как и самый отъезд Настеньки, больно его укололо, и неясное предчувствие утраты стеснило грудь.

Жизнь в Ясенках шла своим чередом. Не была похожа она ни на ту, как была до отъезда Агнии за границу, ни на представлявшуюся Валентину Петровичу не раз, когда он думал о возможном возвращении жены домой. Сам он попрежнему много бывал на работах. Агния почти весь день проводила с Борисом, и необходимость в доме мадам становилась все более сомнительной. Осень стояла на редкость погожая, и почти каждый вечер оба они выходили гулять среди пустующих, уже затканых осеннею паутиной полей; они говорили немного, а о Настеньке почти никогда. Но никогда — только словами, оба чутко отгадывали мысли о ней в произвольных движениях, жестах, зазвучавшей вдруг по-иному интонации голоса, по всем этим вторичным обертонам души, часто едва уловимым, но тем больше характерным и говорящим.

Агния слегка пополнела, окрепла, реже плакала теперь, оставаясь одна, но смутная тяжесть ее не покидала. Иногда она, долго перед этим раздумывая, решалась, наконец, на какой-то большой разговор; но с полуслова сбивалась и замолкала, только крепко опираясь на мужнину руку, как бы пробуя, может ли она *насовсем* опереть на него и свою жизнь. Он отвечал на это движение прижиманием локтя к себе, и ответ этот не был исчерпывающе ясен и успокоителен.

Но дни протекали, не останавливаясь, один за другим, и время незаметно налагало свои целующие и связывающие узы. Однажды заговорил Валентин Петрович о поездке зимою в Москву. Агния коротко согласилась; ей было больно и страшно и хотелось вместе с тем неизбежного полного выяснения. Валентин Петрович написал письмо Настеньке, и теперь ждали ответа.

Но сегодня на почту он запоздал и от нечего делать, пережидая, зашел к Аркадию Андреичу. Его еще не было дома, детвора была также в отъезде, у тетки в губернском городе Т., где все учились в гимназии. Ольга Григорьевна с Лизочкой оказались в Москве за спешной покупкой приданого: новая свадьба была не за горами. По дому бродила одна маленькая Ирочка, рыжеватые легкие кудерки ее золотым сквозным облачком сияли на солнце, а толстая нянюшка едва попевала вразвалку за ней.

Не раздеваясь, в пальто прошел Валентин Петрович на террасу. Осыпавшиеся листья покрывали собою слегка подгнившие доски в углу, где голые ветки орешника глядели из сада. Весь сад теперь был виден насквозь и походил на покинутый дом. Только кое-где запоздавшая паутина серебрилась в кустарниках.

Раздумье, глубокое, поглощающее, охватило Валентина Петровича. Точно из отдаления, с вершины холма, обозревал он минувшее лето, начавшееся именно здесь... нет, еще раньше — при переезде через плотину у мельницы, где отразилась калина за палисадником. «Вот и я промелькнул там в реке, в этом плывущем и неуплывающем облаке», — припомнилось ему тогдашнее беглое ощущение. Какой большой и сжатый, какой значительный кусок его жизни, как все было тогда просто и полно, и... человечно. Да, именно так. Далекая Настенька, не подававшая голоса, оставалась в душе непрестанно живою. Выходило ли утро, громоздились ли тучи на небосклоне, или кровавый закат раздвигал волшебные страны на западе — незримая, во всем дышала она. Была какая-то тайная связь, органическая, нерасторжимая, между нею и всепроникающим и объемлющим всякую жизнь лоном природы, включавшим их краткие жизни. Она была как гроза, набежавшая и отошедшая, как солнце меж туч, как высокая радуга на дымном склоне небес, как лёт быстрого ветра. Пришла и ушла. Но разве может пройти то, что единое вечно?

Валентин Петрович не слышал, как Струков вернулся. Он вошел без обычного шума и всегда сопутствующей ему веселой суеты. Узнав, что Валентин Петрович был здесь, он прошел к нему на террасу, ступая замедленно и осторожно.

Увидев сидевшего к нему спиною товарища детских лет, Аркадий Андреич остановился, и лицо его отразило старание подавить необычное, внезапное волнение.

— Ты уже знаешь? — спросил он негромко, подойдя и положив на плечо Валентина Петровича руку.

Валентин Петрович, вздрогнув, поднялся и ничего не ответил. Он понял одно, что случилось нечто непоправимое.

— Неизбежность... Всем на роду написано. Но только страшно и горько... обидная смерть... Ты не думай, я знаю и понимаю... — быстро и бессвязно заговорил Струков, и мелкие слезы покатались по его пухлым щекам.

— Настенька?.. — прерывистым голосом спросил Валентин Петрович. — Ты... о ней?

— Так ты не знал еще?.. Не читал?.. Но ты знаешь, Валентин, она всегда носила в себе нечто трагическое. И для нее это была неизбежность.

В руках Аркадия Андреича был свежеполученный последний номер московской газеты.

— И все кончено? — глухо спросил Валентин Петрович, протягивая руку.

Струков кивнул головой. Наступила минута молчания. Валентин Петрович взял газетный лист, мелко свернутый, и сразу увидел то, что искал. Развязным и хлестким тоном, с подзаголовками, в заметке была изложена «загадочная драма» об убийстве офицером молодой девушки. Причины глухо были названы романическими, намекалось на какой-то отказ с ее стороны. Убийца покушался и на себя, но неудачно.

Валентин Петрович прочел внимательно все от начала и до конца и сунул газету в карман пальто.

— Ты прости меня, — машинально сказал он и направился к выходу.

Аркадий Андреич его не удерживал.

Пришла и смерть и могильной плитой прикрыла цветы, свежие и своевольные, с прихотливыми крепкими очертаниями. По ветру бились несколько уцелевших кисточек горькой темнокровавой калины; окна домика были полужакрыты синими ставнями с вырезанным темным сердечком.

Валентин Петрович сказал Федору ехать шагом. Он слез с тарантаса и бережно сломил несколько хрупких

веточек; горьковатый, холодный запах, как тогда от цветов, шел от слегка замороженных ягод. Смерть! Жить с преступлением? Ему припомнилось, как тогда они с Агнией ощутили эту томительную, убивающую тяжесть, когда Настенька бежала от них.

Преступления, может быть, и нет, конечно нет, но есть грозные силы, что движут наши пути, да еще горечь и горечь о том, что минули дни, когда души людей были сильнее и поступь их по земле тверже. Они были сильны и высоки и жили по сотням лет: Валентин Петрович вспомнил опять нянину библию. Но и теперь случаются люди и встречи на тесных путях нашей жизни — как рок (прав Аркадий Андренч), как перст судьбы, как указание. Им суждено еще жить свои короткие дни вольно и погибать трагически. Так возникла в жизни Валентина Петровича девушка Настенька и так ушла она, почти в полном безмолвии, почти ничего о себе не сказав. Но тем глубже оставленный ею след.

И все же: «Это кто-нибудь пршел по тому месту, где я буду лежать...» Валентин Петрович закрыл рукою глаза и горько заплакал.

Большой серый камень на пятой версте был одинок и дико красив. Было в нем нечто языческое, седое и первобытное. Но заходящее солнце окаймляло края его золотым ободком.

Да, прощальный дар Настеньки — горечь, но только она, золотая эта капля, дает последнюю крепость вину. Еще долгие годы, со сменою весен и зим, впереди у Валентина Петровича и Агнии, но путь их отныне — совместный, скрепленный страданием, виною, любовью, утратой. И их скромная жизнь коснулась вечных истоков, а только не оставаясь чужими и в стороне в могучем, разрушительно-творческом столкновении стихий, можем мы обрести и настоящую нашу силу.

И уже с мыслью об Агнии осторожно подымался Валентин Петрович на ступеньки крыльца, неся ей последнюю о Настеньке весть.

1913 г.

ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ

I

От этой зимы Наташа Степная ждала для себя много; впервые она была приглашена определенно на первые роли, а город был не из маленьких, и театр в нем был в своем роде замечательный: за последние восемь лет дал он столицам две знаменитых артистки. Это было ответственно и волновало Наташу.

Приехав сюда, она отыскала небольшую квартирку в три комнаты, во дворе. Собственно это было крыло главного дома, выходявшего фасадом на улицу; комнаты ее соединялись через коридор с квартирою домовладельца, старенького и добродушного доктора Семена Максимовича, где она и обедала. Прислуги особой не требовалось, но у нее было свое отдельное крылечко, и входила Наташа к себе, никого не беспокоя; это особенно ей нравилось.

Было в теперешней жизни ее нечто студенческое, тихое, рабочее, по крайней мере так началась эта зима. Комнаты свои она убрала не слишком нарядно, но гармонично, светло; главное, было просторно. В первый раз еще жила Наташа на такую широкую ногу — одна в трех комнатах! По осени догорели в ее палисаднике оранжевые огни георгин и увяли разноцветные астры на клумбах, но теперь, когда в окно глядело зимнее белое солнце и подвижными, легкими зайчиками ложились на линолеуме отсветы его от зеркала и от застекленных гравюр, радовали глаз теперь пестрые краски платков, в изобилии накиданных всюду, — невинная слабость Наташи.

От главной улицы города вплоть до театра проложен был недлинный, но широкий и старый уже тенистый бульвар. Липы чередовались в нем с кленом, а при концах его и на других пересечениях с улицами были посажены пирамидальные тополя; росли они скупно, верхушки их сильно страдали при крепких морозах, но Наташе приятен был их говоривший о юге, о родине вид: вставала далекая степь, раннее детство, первые мечты ее, радости, горе, любовь...

Про Наташу шел слух, что она нелюдимка и что вовсе она лишена не только что страстных каких-нибудь чувств, но и просто увлечься вряд ли способна; особенно твердо стояли на этом «любовники» трупп, где ей доводилось служить. Наташа глядела не раз на их почему-то у всех одинаково узенький лоб, блестящий, как лак на ботинке, пробор, на красный цветок, вдетый в петличку, и думала про себя не без иронии и печали: «Не я, а вы все — не те».

II

То же было и здесь, хоть и был Павел Иванович Сатин актером даровитым и умным. Но уже после первых двух с ним прогулок к реке и потом по бульвару, прогулок товарищеских, с разговорами об искусстве и авторах, Наташа почувствовала привычно все те же печаль и иронию и про себя решила тотчас, что за спокойными и обдуманнами словами его все же был только подход, осторожный и умный, может быть даже на этот раз и приятный — тем, что была налицо необычайная эта оценка ее: не просто актрисы, но и человека.

Ей тогда стало досадно: зачем это? И захотелось дать сразу почувствовать внутреннюю его неправоту.

— Посидим здесь немного, — сказала Наташа Сатину и опустилась на скамейку бульвара.

Некоторое волнение, на минутку овладевшее ею, видимо, окрасило простые эти слова, потому что Сатин послушно сел и замолчал.

Деревья стояли уже обнаженные; две-три звезды горели над их головами; внизу у реки сквозь черные ветки тепло зажигались огни; легкий мороз делал все звуки, достигавшие уха, сухими и четкими. Наташа поглядела сбоку на Сатина, и он ей в эту минуту понравился.

Черный цилиндр на его голове (над чем еще утром, умываясь холодной водой, Наташа весело, нечаянно вспомнив, вслух рассмеялась) — он был теперь совсем не смешон и давал всей фигуре сидевшего сухие и несколько строгие очертания; он с ожиданием глядел на нее, и темные глаза его были умны.

— Признавайтесь, — сказала Наташа, сделав к нему легкое движение (досада в ней улеглась, и сейчас, напротив того, было доверие), — признавайтесь: вот вы гуляли со мной, говорили о разных высоких вещах, а ведь на сердце у вас все вовсе другое.

— Может быть, — ответил ей Сатин спокойно.

— Другое и нехорошее. Скажите, милый, что так, и не сердитесь. Я буду вам благодарна за прямоту.

Сатин ответил не сразу, и Наташа успела бегло подумать, что ей скоро надо идти в театр.

— Другое, вы правы, — промолвил он после молчания, — но что именно это другое, в этом вы, может быть, и ошибаетесь, — и слегка повел рукою в перчатке.

Наташа, следя это движение, невольно представила: будь мы на сцене, за этим жестом руки, не без красоты выправляющим манжету на ней, неспешно и неизбежно последовал бы и второй: достал бы актер, откинувши полу, серебряный свой портсигар с монограммами и, словно считая лежащие в нем папиросы, с достоинством взял бы одну, методически сухо закрыл портсигар, папиросой постучал о крышку, слегка поразмял ее кончик и, наконец, так же неторопливо ее закурил бы; вот это называется настоящая пауза, и как полна она содержания!

Он уловил по ее лицу этот насмешливый ход насмешливых мыслей и сказал не без раздражения:

— Умейте же быть хоть иногда не актрисой. Не портите минут... хороших и человеческих.

Наташе стало смешно: это он говорит — не будьте актрисой... а сам!

Этим некстати Наташиным смехом все окончательно было испорчено. Сатин полуподнялся и действительно достал портсигар. Наташа уже не заметила, что это вышло вовсе не театрально; смех совсем одолел ее.

Когда они встали вслед за тем и пошли по бульвару к театру, Сатин молчал; молчала, затихая, и Наташа. Ей смутно становилось неловко и чего-то жаль, но слов

для выражения этого своего состояния она не нашла. А он уже перед входом сказал ей с обидой и горечью:

— При таком отношении к жизни... да, из вас никогда не выйдет великой артистки. Все настоящее приходит к нам через боль и понимание, а не через это... голое ремесло наше... или, если хотите... искусство.

Это было так неожиданно, что Наташа даже остановилась; поднялось в ней в ответ на эти слова нечто такое волнующее и беспокойное... И беспокойство это не было мелко; сразу она поняла, что ей сказали, — быть может с обиды, это неважно, — нечто значительное, какую-то суровую правду. И было еще, через боль, ощущение благодарности к этому человеку, причинившему боль... Она невольным движением взяла рукав его пальто и хотела что-то сказать.

Но теперь он уже не дал ей возразить, а, поддаваясь охватившему его раздражению, зло и коротко бросил ей:

— И притом с этой фамилией! Нет, таких знаменитых артисток на свете нет и не может быть!

Наташа отдернула руку, как от укуса пчелы, и, ничего не видя перед собой, вошла в открытую Сатинным дверь. С этой минуты они оба в театр вступили врагами.

III

Наташа много думала после об этом их разговоре; она видела ясно, как и она и он были в нервических своих раздражениях равно неправы и как оба ненужно испортили то нечто хорошее, что могло бы возникнуть у них, но твердо стояла, однако, и на этой первой обиде и на последовавших многих других — с обеих сторон.

Это в первое время несколько портило ее настроение, но не настолько, впрочем, чтобы мешать ежедневной работе, а потом и вовсе стало восприниматься как неизбежное нечто и слишком обычное. Но главное, что тогда так ее поразило, невольно влекло к себе ее мысль. «Конечно, он прав, — размышляла она немного по-своему. — Великое горе или великая радость, вообще то свое, человеческое, от чего и во имя искусства грех отмежевываться, оно-то и дает искусству настоящую силу...»

Лежа в постели, когда не спалось и свет от луны, холодный, отчетливый, четко вырисовывал в соседней

со спальнею комнате рамы окна, она не раз задавала вопрос: есть ли в ней этот запас подпочвенных сил, это богатство, откуда на долгую жизнь хватило бы черпать его. И когда вспоминалось ей детство, она отвечала «да»; и юность, особенно, может быть, юность с ее горячею жизнью — опять-таки «да». А позже?.. Точно зарыты в ней эти богатства, и на великое (сердце Наташино билось)... — нет, на великое ее не хватило бы. Доступа нет. В чем же дело, однако?

Знала Наташа, что она не плохая актриса, спокойная, четкая, с ровным и единственно правильным в каждом отдельном случае тоном, с настоящей правдивой душевностью, которые ставили ее и выделяли на голову выше многих искусниц. Но все же чего-то ей недоставало.

И когда припоминала она жизнь свою там, в глухом городке, среди лиловых степей; откуда бежала, гонимая мукой горькой любви, больной и тревожною своею неудачей, она постигала теперь, что, может быть, именно эта сердечная боль открыла тогда источник в груди, давший ей право быть на подмостках. Здоровая юность точно ждала этого в сердце удара, чтобы пришли в движение силы и забродило в смятении и преодолении молодое ее дарование. Но теперь это было давно позади и в последние годы казалось уже милой и мирною, не волновавшей легендой, подернутой той же сиреневой дымкою, как и ее родимая степь.

Но одинокие ночи, лежанье в постели без сна, лунный, квадратами замкнутый свет и эти вновь и вновь пробужденные думы о себе самой, о своем призвании в жизни, о каких-то новых, таких необходимых душе ее, так остро желанных в искусстве своем достижениях, все еще не дававшихся ей, — все это не проходило бесследно. И всего чаще это случалось, когда она бывала нервна и раздражительна; порою бесцельное это томление отзывалось и на работе, хотя неизменно она имела успех, ровный и крепкий, а в зрительном зале самый теплый прием. Но она была сама к себе значительно строже.

«Мне уже двадцать восемь лет, — думала она иногда не без горечи, стоя у зеркала и глядя на светлые, немного выхощие волосы, привычные черты лица, в темные свои красивые глаза, в которых сейчас отражалась печаль. — Это не мало. Женский век короток. Что же успела я сделать?» И опять припомнился ей необыкновенный тот

человек, который заставил переменить всю ее жизнь, из-за которого вот она здесь — артистка Степная.

Был ли действительно он тем исключительным человеком, каким казался в дни ее юности? Наташе хотелось бы и сейчас ответить с такою же твердостью, как и когда-то: «Да». Правда, он был только учитель гимназии, словесник, но даровитый, живой и увлекающий. Было в этом, конечно, и нечто банальное: нет на Руси женской гимназии, где не сидел бы такой уездный кумир гимназисток. Но Волохов Виктор Андреевич оправдал себя и потом. Наташа читала время от времени статьи его в разных журналах; он не плыл по течению, и были в этих статьях всегда острота и независимость мысли.

Вспоминая свое объяснение с ним, такое нечаянное и бурно-самозабвенное, Наташа и теперь неизменно краснела, а сердце ее повышенно билось. Он ей отвечал. О, это были блаженные дни, остро волнующие!.. Но что-то случилось, и на самом пороге возможного счастья он резко остановился. Наташа не знает и до сих пор с полной отчетливостью, что это собственно было, и только в журнальных статьях его, в каких-то волнующих недомолвках, смутно угадывала она ход его мыслей и чувств, ведущих словно бы к отречению от личного счастья... Во имя чего?.. А как могло бы быть все иначе и... хорошо.

Как бы то ни было, всю эту зиму Наташа опять жила мыслями с ним, и сердце ее отвечало с горячей готовностью на всякое живое о нем воспоминание.

IV

Для своего бенефиса, незадолго до святок, Наташа выбрала новую пьесу, только что шедшую в обеих столицах. Пьеса была не из легких и вызвала множество противоречивых оценок и всяких сопутствующих им криво толков. Но трудностей Наташа не избегала; напротив того, в теперешнем ее состоянии были они ей по душе. Хотелось найти какой-то исход из томившего ее в последние дни, также исполненного противоречий душевного ее состояния.

В театре встретили пьесу сухо и неодобрительно, но Наташа твердо стояла на ней. Особенно резко отозвался о Наташином выборе Сатин. Он находил роль героини

туманной, нелепой и даже противоестественной. Таковой же казалась ему и его — вторая в пьесе главная роль.

Неважная была атмосфера и на репетициях. Вторые актрисы, равно и расположенные к Наташе и враждебные ей, согласно твердили, что это рискованный шаг и что артистке Степной легко погубить себя.

С утра в день представления валил густой и мягкий хлопьями снег. «Наша Наташа счастливая, — думал в то утро помощник режиссера Прокудин, к Наташе немного неравнодушный, — для публики хорошо, когда снег: мягкость в душе». У него была больная жена и куча ребят, сам он потерял несколько лет тому назад голос и на сцене не мог выступать, но театр любил горячо и бескорыстно.

Наташа пришла на репетицию рано, после прогулки; настоящей репетиции собственно быть не должно, но хотели пройти только те сцены, массовые, где надобно было еще подтянуть вторых исполнителей.

Она не прошла за кулисы, а вошла через боковую дверь в зрительный зал, где сегодня будет решаться ее судьба. Занавес был сдвинут, и партер, безмолвный, пустой, лежал перед ней; со сцены были слышны отдельные голоса рабочих и служащих; кое-что еще не было закончено с постановкой.

Остановившись у рампы, Наташа глядела перед собою на пустые ряды кресел и стульев. Одна из лож наверху не была заперта, и свет, падая вниз, выделял из темноты неровной косою металлические таблички с номерами на креслах. Наташе это показалось похоже на рябь от луны на волнах морского залива. Славно, таинственно. Она перешла на новое место, и золотистые блики, качнувшись, также переместились. Машинально в кармане пальто, еще осыпанного не вовсе растаявшим снегом, нащупала Наташа коробочку спичек; ей захотелось немного пошалить. Она зажгла одну, другую, и радостно было глядеть, как ярко загорались, рябя по темному залу, золотые, веселые, там и сям в отсвете загоравшиеся зайчики на волнах. Потом безотчетно стало ей грустно и так одиноко, что она села в кресло и прижала платок к глазам.

Море, луна, темный партер, ее бенефис, одиночество — все это было как отдельные разбитые куски чего-то единого, цельного, чего ей не дано. Чего же? «Счастья, На-

таша милая, несчастная ты моя...» — отвечала она сама себе в слезах.

На репетиции подъема особого не было; казалось, что все шло очень нескладно. Сатин был зол, что его потревожили, нервничал, и все, что он говорил, обращаясь к Наташе, было несправедливо и грубо; сама она путалась не только в переживаниях своей героини, но даже в словах; плохо слушала реплики.

Только один момент вывел ее нечаянно из смутного этого бытия.

За сценой должен быть выстрел. Пока его делали просто хлопком пьесой о стол. Так было сделано и сегодня. Но, стоя у правой кулисы и входя, по пьесе, в мучительнейшие переживания героини, увидела Наташа, как, сделав хлопок, появился в просвете между неплотно сдвинутых декораций помощник режиссера Прокудин, сухой, испитой, но, как всегда, в белом жилете. Лицо его выражало в эту минуту истинное вдохновение; он глядел перед собой невидящим взором, в пустой театр (занавес был раздвинут, чтобы дать голос актерам), и вид у него был такой, точно играл он по меньшей мере Наполеона. Он был участник спектакля, и это был его миг, и он был герой этого мига.

Наташа и удивилась в душе и рассмеялась, и потеплело как-то на сердце; на сцене было — искусство, да, а когда оно взглянет в глаза, душе хорошо.

V

Обед в этот день Наташа просила подать к себе: ей не хотелось видеть людей. От болтушки Дуняши, горничной доктора, она узнала, что домохозяин еще с утра заказал ей большую корзину цветов. Она об этом догадывалась и сама еще раньше: милейший Семен Максимович третьего дня, будто бы между прочим, допытывался у нее, какие цветы она любит больше других. Но и этот знак внимания как-то лишь слабо тронул Наташу. Смутное ее состояние, затушенная тревога и возбуждение не покидали ее.

Тот же Семен Максимович, шутя, вчера ей сказал:

— Если бы мог, я поднес бы вам в бенефис подарок особый.

— Какой же? — спросила Наташа.

— А вы не рассердитесь?

— Нет.

— Жениха хорошего, милая барышня.

Наташа не рассердилась, но шутка эта не показалась ей веселой.

Странная слабость одолевала ее; закутаться бы в оренбургский белый платок и сидеть так, не двигаясь, в кресле. И чтобы печи топились... И никуда не идти. «Не простудилась ли я?» И впрямь легкий озноб охватывал тело Наташи, а сердце сжималось каким-то нелегким предчувствием. Где теперь он? И неужели ничто не достигает до него хотя бы сейчас, из вечерних Наташиных томлений? Совсем ли забыл ее? Возможно ли это?

Будь Наташа сегодня в состоянии ровном, ее только радовал бы и весело возбуждал шумный гул голосов по коридорам театра и в зрительном зале, достигавший неопределенно даже кулис; было опять похоже на море и темный, невидный прибор. Но сейчас; пока сидела она, наклеивая перед зеркалом черные густые ресницы поверх своих и отдавая голову во власть горячих щипцов, она не чувствовала доброты и расположения тех, кто заливал густою толпою весело освещенный зал. Еще с утра был аншлаг, и только после звонков померкнут огни, все притаится там и насторожится. Если думать о море, то это как стая птиц, густо усеявших берег, — темных и неизвестных, а когда сдвинется занавес, заплещут они крылами, и бог знает, что еще будет: ибо творят они суд и расправу по своим неисповедимым законам.

Бывает так в жизни: Наташа чего-то ждала и была совершенно права в этом своем ожидании. Неясною тяжестью тяготило оно и мешало играть, пока, наконец, не разрешилось.

Первый акт прошел у Наташи смутно и плохо; в этом она не могла ошибиться. И дружные аплодисменты при встрече и горячие вызовы были ей больны; она не заслужила их, а если и заслужила, то в прошлом. Сегодня же от нее еще ждут. От Наташи не ускользнул и тот особенный взгляд Сатина, с которым он взял ее руку и провел до кулис. Был он сейчас по-необычайному кроток, а в глазах явно сквозила тревога: он за нее волновался, не понимал и... жалел.

Это последнее было непереносимее всего. Наташа вошла к себе и, не удержавшись, заплакала. В эту самую минуту к ней постучались и подали карточку: Виктор Андреевич Волохов.

Наташа быстро закрыла руками лицо, встала и села опять.

— Просите, — сказала она и отняла руки от глаз; лицо ее было счастливым, взволнованно-озаренным.

VI

Виктор Андреевич еще возмужал и похудел. Была теперь у него небольшая темная бородка, кое-где седина на висках. Глаза глядели попрежнему молодо и остро, минутами ласково и печально.

Они говорили немного, живет он теперь в соседнем, губернском же городе, много работает; на пьесу приехал нарочно, узнав, что Степная — это она. О прошлом, интимном, своем не сказали ни слова; да было и мудро говорить: к Наташе входили и поздравляли; она ответно дарила цветы. Но другое все это было, как в полусне; жадно только читала она, не отрываясь, строку за строкой на лице его, как забытую книгу, вдруг ей открывшуюся — в выражении глаз, легкой сети морщин, в самом звуке простых его, незначащих к ней обращений, в милых, опять для нее воскресавших манерах.

И теперь она понимала отчетливо, как это было тогда. Вся сложность души его и непостижимость тогдашнего чудесно теперь открывались ей и волновали светлым подъемом. Да, он запутался, бедный... Запутался в мудрых своих философствованиях, но — хорошо. Этим же самым, однако, он дал и ей настоящую жизнь, и вот пришел, приехал все тот же, но и другой, жизни не убегающий.

И вся эта быстрая смена рождаемых чувств таинственным образом переливалась и наполняла собою тот образ, который Наташа должна была дать и на сцене. Ничего не осталось в нем ни смутного, ни неясного; ни томящего неполным его постижением.

Сатин широко открыл глаза уже на один ее выход во втором акте, еще до слов. А когда они сошли вместе со сцены, чтобы потом опять еще появиться, он снова был

холоден с Наташей и сух; она же невольно при этом подумала: «Опять мы на равных правах».

После третьего акта Наташа спросила:

— Ну что?

— Хорошо, — ответил он коротко.

— Буду я знаменита?

Он поглядел остро, внимательно и, помолчав, очень серьезно сказал:

— Не знаю. Нет, это еще не то.

А Наташа возбужденно и радостно думала, идя до уборной: «Нет, нет, это вершина, это — то самое».

Во втором антракте Волохов к ней не заходил, он обещал прийти в третьем. Наташа значения этому не придавала. Она знала: Виктор Андреевич здесь для нее; она по глазам его видела и читала в них ясно любовь. О, какая теперь придет для нее новая жизнь!

В третьем антракте он постучался. В дверях разглядела Наташа чье-то еще позади его молодое лицо; значительным Наташе оно не показалось.

— Я не один, — мягко сказал Виктор Андреевич, — вы разрешите? — и он пропустил даму вперед. Хорошенькое личико ее, слегка смущенное, сияло восхищением. — Позвольте представить, мы вместе приехали, чтобы вас видеть. Лиза в полном восторге от вас.

Улучив момент, немного спустя, он наклонился к Наташе и тихо сказал:

— Порадуйтесь вместе со мною: Лиза — невеста моя.

Наташа насколько могла сократила этот визит и приказала к себе никого не пускать: ей надо переодеться.

Но вслед за тем отослала и горничную: переодеться сейчас она не могла. Она забыла о пьесе, о сцене, о платье и сидела, открыв глаза и не мигая, неподвижная. Вся жестокая сложность пережитого ею в этот короткий срок: душевный восторг ее и вслед за ним катастрофа, радость успеха и недомогание — все это плавилось в ней в одном горячем огне.

Когда к ней постучали на выход, она, так и не переодевшись, встала тотчас и машинально пошла. Впереди шел Прокудин, осторожно ступая на цыпочках. Наташа приостановилась: перед взором ее стало вдруг явственно, точно видение — о, не Виктор Андреевич; она перед этим открыла глаза и увидела его, как он есть, и вот его нет для нее вовсе; встало другое лицо: лицо Наполеона,

сыгравшего выстрел. «Искусство... искусство...» Она точно хватала воздух руками. «Вот оно... вот она боль... Как это Сатин сказал ей тогда... Вот и вершина; пришло...»

Невероятным усилием воли Наташа вернула себе обладание и вышла на сцену.

VII

— Два человека в театре в отчаянии, — суетился и бегал Прокудин после бесчисленных вызовов по окончании пьесы: — в третьем антракте у дамы (в пятом ряду, желтое платье...) вытащили портмоне, а в нем, говорят, было пятьсот рублей (мне бы найти...), а второй человек — Кудин Андрияныч — вопит, говорят, на весь кабинет: «Что за несчастный я антрепренер — убежит и эта в столицу. За девять лет три знаменитости!»

Наташа слышала смех в ответ на веселые шутки Прокудина и торопилась домой. Эти последние аплодисменты — она знала — шли от потрясенных сердец. Одной пришла сегодня в театр, уходит другим человеком. Ей тяжело, но и гордо; это не радость, но нечто, может быть, выше; это рождение... да, великого дара.

Ей сообщили, что много народа ждет ее выхода, но она попросила зайти к себе Сатина.

— Павел Иванович, — сказала она, — проводите меня, выйдем вместе с малого хода.

Он поклонился ей молча; ни жалости к ней, ни грубости, ни остроты не было в этом его молчаливом поклоне. Наташа прочла, наконец, в нем признание — полное и без оговорок. Она поняла это и раньше: в самой игре его с нею, в этом последнем, венчающем акте, поднявшем ее на новую высоту. И было во взгляде его нечто еще, похожее на безнадежное чувство, уже не к артистке, а к ней самой — Наташе, живой. Она протянула Сатину руку, он крепко пожал ее и, наклонившись, поцеловал.

В стороне стояла, поджидая артистку, темная кучка людей, но они благополучно ее обошли. Впереди, уже на повороте, были только две дамы и мужчина с воротником, поднятым кверху.

Наташа услышала, как одна из них негромко и с непроизвольною тихою радостью сказала другой:

— А я не горюю. Правда, что деньги не маленькие, но ведь не любимого же человека я потеряла.

Когда Наташа и Сатин минули их, обернулась Наташа и поглядела на даму; и на лице ее та же была тихая радость, что и в словах.

«Милая, — подумала Наташа о ней со внезапною душевною теплотой, — как хорошо ты сказала и как по-настоящему любишь», а на глаза навернулись слезы.

Сатин шел тихо, молчал. Наташа взяла его под руку. «А я что скажу, — продолжала она медленно думать. И вдруг сердце ее сильно забилося. — Да, потерять любимого человека, но у меня осталось искусство. Больше того: по-настоящему я его только сегодня нашла». Продолжал еще падать легкий снежок, плавно крутясь и щекоча ресницы Наташи.

— Я не домой! Я раздумала, — сказала она вслух и остановилась. — Павел Иванович, поедem кататься!

1917 г.

ВОР

Летом в Москве скучно и пыльно, бездеятельно; нечем дышать. Стены раскалены, нога утопает в смолистом асфальте, походка теряет упругость, неинтересно становится жить. Барышни вялы на улицах, кислы на бульварах, и у всех от жары неопрятные кофточки. Изодня в день режет глаза пыль от известки и мусора, а ночью, во время работы, только откроешь сундук и сдернешь покрывки, как по всем на лето покинутым комнатам густо струей поплывет пронзительный запах нафталина. Веселое и дерзкое ремесло воровское теряет всю прелесть и становится скучной чиновничьей службой: разницы мало — рыться в архивной пыли или перетряхать нафталинную дрянь.

Миша, по прозвищу Щеголь, был существом молодым, жадным до риска и приключений, любил хорошие книги, выставки, острый театр, жил скромно, уютно, в двух комнатах, был склонен к работе изящной; ценил мастерство, все свои предприятия обдумывал тщательно, до мелочей, как если бы работал над небольшой, но цепкою пьесой, и разыгрывать их любил без партнеров, один.

К середине июня оставаться в Москве стало невыносимо, и, подсчитав свою небольшую наличность, Миша решил прокатиться по Волге. Две эти недели весьма освежили его: есть что-то крепящее душу в этом согармоничном с темными водами размерном движении между то плоских, то круто взъерошенных, но равно медленно проплывающих мимо вас берегов — похоже на жизнь.

Тут он душой отдыхал. Великая простота полей и воды, свежие токи ветров и прохладная близость звездных ночей давали покой, рождали раздумье.

Миша стал вором отчасти по случаю, отчасти по смутному влечению, которому немного недоставало, чтобы стать настоящим призванием. Гимназии он не окончил, весь его независимый дух был глубоко враждебен общему строю этой маленькой предварительной фабрики для будущих чинов разных ведомств. Его изъятие из журнального списка совершилось столь просто, необходимо и безболезненно, как сама собою выталкивается пробка на поверхность воды. Миша оставил старого дядю, у которого и своих детей была куча, и уехал в Москву. Здесь он, одно за другим, прошел шоферские курсы, месяца два проработал на заводе Бромлей, потом на Мясницкой в одном иностранном электротехническом предприятии; все эти знания, навыки позже очень ему пригодились.

Первая кража почти не была собственно кражей. Зимой на Кузнецком, в фешенебельный час, остановился он у Дациаро рядом с молоденькой дамой; свежо у нее были подведены губы, ресницы изогнуты столь же лукаво, как был лукаво-насмешлив и взор. На руке, которой она касалась легко время от времени где-то у уха, неопределенно, у завитков, глухо шумели звенья браслета; когда она ее опускала, то магический этот предмет и для глаза тускло блестел, широкий, чешуйчатый, поверх узенькой, обливающей руку блеклозеленой перчатки; мизинец изящно, с горбившимися через лайку перстнями отведен был в сторону.

Миша был голоден, в конторе едва с управляющим не произошло столкновения, придется, быть может, покинуть ее, хотелось какого-то вольного жеста, равного молодости и красоте, о которой ему не раз давали понять кое-какие случайности его, с переборами, жизни. Он загляделся на даму, невольно и смутно — и на браслет.

Постояв, однакоже, дама пошла, чуть-чуть поведя на прощанье в Мишину сторону кончиком губ, как бы острием похожей на жало улыбки, взмахом тенистых ресниц. Миша тотчас пошел следом за ней и по походке угадывал, что она это знает и позволяет. Медленный снег огромными хлопьями падал на шубку идущей, на плечи ее, как бы их обнимая: так Миша чувствовал это и понимал. Вместе с движением в нем пробуждалась голодная жад-

ность. «Ты не уйдешь от меня», — говорил он себе и ступал следом за ней осторожно, внимательно.

И вдруг он увидел, как в ботике ножка ее, мохнатая, как у пчелы, отягощенной взятком, на белом предательском коврике скользнула, подбила другую, и все милое тело, вдруг обозначившееся в душистом просторе легкой коротенькой шубки, грациозно-беспомощно, как подсеченное, покосилось направо, блеснул на мгновение браслет, но еще не успела рука с инстинктивно все же отведенным пальчиком коснуться земли, как Миша схватил и ее, у запястья, и с этою нежною ручкою вместе принял легко упавшее тело. Одновременно почти два — и едва ли не одинаково острых — волнения были разрешены. Одно ощущение было жаркое, полное и утоляющее внезапно возникшую жажду касания — тому уже минуло два с половиною года, но живо оно, как если бы было вчера; вся его дрожь, все напряжение так сладостно были погашены, как погасил бы разбег упругой волны раскаленную жадную сталь. И почти вслед за тем ощутил он другое: холодная тяжесть, скользнув, как полновесная змейка, лежала у него на ладони; браслет разомкнулся, и полусознательно он его сунул в карман.

Дама смеялась, все обошлось благополучно, но он все же, крепко придерживая левой рукой, вопреки этикету, вел ее между людей; золото слабо отогревалось в правом кармане, и пальцы руки без перчатки произвольно ласкали глухо, казалось, шуршавшие, подвижно скрепленные между собою пластинки. Миша весело ей улыбался и говорил первый пришедший в голову вздор. «Ну, конечно, отдам, — думал он про себя, с некоторой все же неопределенностью. — Вот будет удивлена!» Он был неважно одет, она превосходно, но оба смеялись, шел снег, Кузнецкий и молодость — он ощутил к этому вкус, хорошо.

В сущности этим немногим все было уже предрешено, но и последний, завершающий штрих не замедлил последовать.

Дама укоротила шаг, потом повела, освобождаясь, рукой, он машинально отнял свою. Пожилой господин шел им навстречу, солидность его не возбуждала сомнений.

— Я очень вам благодарна, — сказала приветливо дама и заторопилась.

Глаза ее, кажется, что-то сказали теплей, пожалуй, лукавее, но Мишу это не тронуло. Он подождал короткой

их встречи и проводил глазами извозчика. Где же его, мелкого служащего, было узнать, но Миша узнал хорошо одного из директоров предприятия. Все было так просто, естественно, что Миша даже не огорчился, скорее напротив: теперь эта вещь, что осталась в руке, была его вещью по праву.

Было ему даже несколько весело, когда через четверть часа он спросил себе скромного кофе, однако в хорошем кафе, и стал пробегать вечерний листок, точно бы это было давним его и обычным препровождением времени. Машинально читая, он думал: «Контору похерить, конечно... Директор ей купит другой... Ювелир... Ювелир...» Оказалось тем временем, что газетный листок раскрыл перед ним свои объявления. Он наугад наметил себе ювелирную фирму. Как на свете все в сущности просто, удобно!

Позже не раз Миша раздумывал, специализировавшись на драгоценностях: в тогу рядиться, конечно, не нужно, но все ж таки мы, воры, хоть небольшой корректив к вопиющей социальной несправедливости.

И, однакож, на Волге спокойная ясность его и равновесие, сменившие было усталость от летной Москвы, заколебались в конце концов и затуманились. Смутно почувствовал он тщету одинокой своей, размеренной жизни, вернется домой — и что же? Опять все сначала?

И, завершив путешествие, он от Нижнего взял билет не на Москву, а несколько дальше: внезапная тяга в родные края полонила теперь воображение Миши. Несвойственно романтически глядел он в окошко вагона на дымящуюся по ветру рожь, на серые ленточки горькой полыни по рубежам; на станциях он выходил и насвистывал с мягкой задумчивостью грустный мотив. Здесь тишина не была такою кристально прозрачной, как на воде, была она больше весома, жива потаенною жизнью, тысячи звуков дышали в ней и копошились; скорее угадываемый, ни на минуту оркестр не оставлял играть под сурдинку... о чем?

Это была теплая, милая жизнь, единственно, как казалось ему, настоящая: птица в гнезде кормила птенцов, и шорох рождался при открывании клюва от мягкого движения передаваемой кашицы, в похлипывании едва оперившихся грудок, хрупкие веточки зыбкого птичьего дома похрустывали при перебирании крохотных ножек; пчелы, шмели, муравьи... мириады движений, дыхания, легкого

бега, трепета крыл; станционный начальник и барышни с ненужными зонтиками и все же столь обязательными к приходу каждого поезда, как потертый флажок у сигналиста, — и они едва ль отделимы от хлопотливой всей мелкоты, живущей по милости солнца... Мишино сердце ныло и билось с доселе ему незнакомой истомой.

Наутро он с истинным наслаждением шел от вокзала пешком; знакомые улицы, запахи, неизменные те же, заботливой пилкою вынутые сердечки на ставнях, неторопливая и добродушная летняя лень провинциального города... Точно бы и никуда не уезжал, и великий соблазн — взамен чемоданчика потряхнуть по-старинному кожаным ранцем, где завтрак, тетрадки, карандаши... Миша свистал теперь весело, бодро, и, предвкушая семейную сцену, радость свидания, радушные возгласы дяди, успевшего, надо надеяться, передохнуть от племянника, путешественник наш с веселою торопливостью дернул звонок. Все то же зеленое было крылечко с подгнившими досками теса, зацветшего мохом, с любимой его, изрезанной ножиком кленовой скамейкой, те же шумели из-за забора листья серебристого тополя, и облака, кажется, те же легко и широко плыли над садом к реке.

— Дядя что? Спит? Вещи возьмите! — выпалил Миша сразу одно за другим.

Девушка в простеньком клетчатом платье, которую принял он за прислугу, весело фыркнула и тотчас же рукою закрыла рот; привычный взгляд Миши отметил колечко с теплым топазом.

— Дядя? — переспросила она, смотря все еще полными смеха глазами. — У меня его нет, а тетушка цветы поливает в саду.

Миша глядел в недоумении; одною рукой держась за ручку дверей, другою опершись о притолоку, стояла девушка перед ним, как живая изгородь, а за изгородью оставался и дом и милый сад Мишин, родной, где незнакомая тетушка в утренний час поливала цветы и проникнуть куда, видимо, было нельзя.

Все это, кажется, со слишком явною ясностью пробежало по его лицу, потому что девушка через минутку молчания заколебалась.

— А впрочем, войдите, — сказала она, наконец. — Я проведу вас в сад.

— Как вы добры, — ответил ей Миша. — Я прямо с вокзала, пешком, и немного устал.

— Пойдемте вот так, — сказала девушка, когда они заперли дверь. — Оставьте тут чемодан. Зовут меня Катя.

— Да я знаю, как пройти, — отозвался с улыбкою Миша. — Я тут родился.

— Вот оно что... — протянула она, и грустное сочувствие глянуло из живых ее глаз. — А мы тоже... имение продали... за долги, — при этом она улыбнулась, — и только с прошлого года сюда переселились, купили. Верно, у вашего дяди... С бородкой? В очках? (Миша кивнул головой утвердительно.) Куда-то в Сибирь переехал.

Грустные нотки в словах этой девушки, смешливой и легкой, в свою очередь тронули Мишу. «Так дядюшка мой, стало быть, вовсе тю-тю! — подумал он между тем. — А впрочем, все это в порядке вещей, стоит ли думать, все на земле перемещается, и я сам тому соучастник — брошки, часы, люди... и — ничего!»

— Вот так, через столовую, — сказал он весело вслух и привычно толкнул перед собою дверь.

— Что вы, что вы! — воскликнула Катя со смехом и ужасом. — Боже избави!

Несколько все же секунд в изумлении Миша простоял перед открытою дверью. Шторы были опущены, и в полусвете, сизоватом и летнем, быстро, в веселом замешательстве скользнули под одеяла две легких фигурки; с непостижимой быстротой сделали ноги конвертик, изнутри, под одеялами, руки подоткнули края простыни и натянули ее на лицо; у одной прищемилась косичка горбиком около уха, другая осторожно приоткрыла черный глазок.

— Какой вы сумасшедший! — сказала Катя, от смеха давясь, и схватила за руку Мишу; он уже закрывал медленно дверь. — Тут подруги мои... И вообще теперь спальня... — Коричневые глазки ее от смеха блестели. — Пойдемте вот здесь.

И, чтобы обезопасить себя от возможной новой еще неожиданности, по коридору она повела его уже за руку.

С небольшой ветхой терраски Миша увидел знакомые с детства дорожки, беседку у склона к ручью и неожиданно маленький аккуратный стожок; полянки в саду были тщательно выкошены.

— Это у нас свой сенокос, — сказала с гордостью Катя, — и у нас есть коза. Пожалуй, я вам покажу. — Она все еще не отпускала руки.

— Пойдемте, — отозвался Миша охотно.

В маленьком сарайчике, в полутьме, коза посмотрела на них с интересом; шелковистая ее пахучая шерсть отливала матовым перламутром. Потом повела она, сморщивши ноздри, по направлению Миши и, переступив, как на каблучках, подняла свою острую мордочку к Кате и сухими губами, поймав, стала жевать ткань ее рукава. Миша невольно пожал холодные Катины пальцы, она поглядела на него серьезно, внимательно, потом, чуть-чуть ответив едва ощутимым пожатием, вынула руку и стала гладить животное по нежному его одеянию; оба они молчали.

— Ну, беги теперь, ты засиделась! — сказала вдруг с живостью девушка и, полуобняв шею козы, повлекла ее к выходу.

Миша, не двигаясь, глядел им вслед. Катя, казалось, вовсе забыла о нем. Солнечный свет, падавший в узкую дверь, вблизи был рассеян, дымился, теснясь у самого входа, и слепил глаза в глубине ликующим своим напряжением; кусочек земли, видимый в дверь, с группой деревьев, листвою и зеленью, казался отсюда юнорожденным, и в него, шаг за шагом, вступала незнакомая за полчаса до того девушка с шелковисто-серебряным послушным животным. Встречный им световой звенящий поток мягко скользил по ниспадающим прядкам гладко расчесанной шерсти и мириадами брызг дробился у завитков легких волос, золотя их и обдавая сияющей пеной нежную кожу щеки, полусерпиком загоралось и погасало девичье ухо. Миша забылся, словно восхищенный на эти мгновения от самого себя.

— Идите же к тетушке, — с простотой, полуобернувшись, промолвила Катя. — Вы вовсе забыли о ней.

Миша вздохнул и вышел на свет.

От ручья с кувшином в левой руке неспешно шла женщина. Она была совсем молода, голова ее была обвязана синим платком, на узеньких мочках ушей висели, длинно болтаясь, сережки.

— С кем это ты, Катюша? — звонко крикнула она, поднимаясь на горку, и свободной рукой затенила от света глаза.

Но вместо Катюши, смешно, французскими своими каблучками брыкнув, устремилась к ней, легко перескакивая через клумбы, коза; было издали видно, как она сунула любопытную мордочку прямо в кувшин; тонкий ее язычок, надобно думать, с жадностью заработал.

Не раз еще Мише в тот день приходило на память это изменчивое бегство козы и ласковые ее повторные перебежки от тетушки Агнии к Кате и снова назад: он понимал ее. В Агнии не было юной той непосредственности, которая переливалась в Катюше по всем молодым ее жилкам, была она несколько даже по виду строга, чем-то, может быть, и озабочена, но та простота, с которой она встретила Мишу и пригласила пить кофе, а потом приняла его предложение помочь ей в поливке цветов, такую прямую открывала в ней душу, что Миша снова был очарован. И когда Катя ушла поднимать сонливиц-подруг, а он раза три еще бегал за водою к ручью, каждый раз издали со смешанным чувством любования ею и невнятной заботы о ней следил он неспешные движения Агнии между цветов. Видимо, что-то ее беспокоило, но она не давала воли тревоге, серые внимательные глаза ее даже слегка улыбались при виде того, как Миша с одинаковым усердием поливал и цветы и желтые щегольские свои ботинки.

— Вчера у меня был вечер дурной, — говорила она с открытостью и простотой наполовину сама себе, — я получила письмо и расстроилась, и клумбы мои забыла полить, а девочки до ночи катались на лодке. Вы, может быть, не знаете даже, что цветы поливать надо с вечера? А я ведь жила всегда у себя, в деревне...

Мише хотелось спросить, что за письмо, помочь ей, но он не решался спросить, да и чем мог бы помочь?

В маленькой новой столовой, бывшем дядином кабинете, шумел самовар, под колпаком дожидался хозяйки кофейник; чашечки, коричневые, гарднеровские, с большой аккуратностью были расставлены; на масле лежал кусочек хрустального льда. Одна за другой появились и девочки; кусая губы и поблескивая из-под опущенных век: смешливыми глазками, присели они перед Мишей; Катя, как старая знакомая, улыбалась ему уже вовсе открыто.

— Ну, что за пустяки такие, — говорила она немного спустя, — поезд идет только ночью, куда ж вам деваться? Оставайтесь у нас, пойдете все за город.

Племянницу поддержала и Агния.

— Тем более что сегодня приедет Михайла Никифориич, — отнеслась она к Кате, — и мне приятно было бы, если б тебя не было дома. Я от него получила известие.

— Как, он приедет? — вспыхнула Катя. — Опять! Какой негодяй!

— Ну, Катя, довольно, я поговорю с ним сама, — ответила Агния.

Миша с жадностью слушал эти обрывки, клочки разговоров, стараясь проникнуть в их суть. Но это лишь только отчасти ему удалось в течение целого дня, который провел на былом своем пепелище, в прогулке за город, на реке в подвижной этой стайке резвых, щебечущих ласточек. Катя, впрочем, минутами становилась задумчива, и Мише казалось порой, что он ловит ее как бы вопросительный взор.

Под вечер встали над речкой синие тучи, ветер порывами набегал на поля, круто трепал ветви раки, девичьи шляпы; заторопились домой. Катя немного отстала, Миша шел рядом.

— Скажите, — спросил он внезапно, — я все равно нынче уеду, кто этот Михайло Никифориич?

— Мой бывший жених, — с такой же внезапною резкостью ответила девушка. — Я слышать о нем не хочу. Я знала, что вы меня спросите.

— Зачем он приедет?

— Он хочет купить меня.

Миша невольно поднял глаза.

— Он преследует нас. Мы разорились. Дедушка умер и оставил долги. Имение продали, кое-что взяли с собой. Да вы видели! Да я говорила уж вам!

Она с досадой замолкла и, бегом сорвав головку душистого тмина, растерла ее одною рукой и откинула в сторону. У Миши наморщились брови, он терпеливо ждал продолжения, но, не дождавшись, спросил:

— Как же... купить? — и голос его прозвучал неожиданно глухо.

— А вам зачем знать? — резко оборвала его Катя.

Одна половина небес была сине-темна; громоздились почти над головой и набегали, клубясь, одна на другую рьяные тучи; земля, одетая тенью, дышала уже ощутимой прохладой, и нежная была, мирная ясность, покой на другой стороне; город лежал на склоне долины, как на отдыхе милая пестрая кошечка.

— Я никогда не любила его, — начала опять Катя сама, — и это неверно, что он мой жених. Он негодай, хуже, чем вор или мошенник. (Миша тронул себя за висок и пальцем растер внезапный укол.) Ну, одним словом, у него вексель... А дедушка выплатил их. Это я знаю, знаю наверное! И тетя наверное знает! А он прижимает нас... Ну, и вот... меня хочет купить! Ах, зачем я вам рассказала! — И она сделала движение, чтоб побежать.

Миша поймал ее руки, крепко их сжал, потом отпустил, ничего не сказав, как бы опять что-то вспомнив. Да и обе подруги смеялись им издали, плескали руками.

Агния Мишу просила остаться переночевать, ему показалось, что ей было приятно, чтобы у них ночевал не один Михайла Никифорович.

— Это сосед наш по имению... бывшему, — сказала она, знакомя с ним Мишу. — Он не решается ехать в такую грозу.

— Да, уж вы разрешите мне, Агния Владимировна, по-добрососедски... — отозвался, тараща глаза, коротко остриженный, широколобый, с рыжиной в бороде человек. — Ведь ехать-то, сами вы знаете, без малого тридцать пять верст, а я... так засиделся. Барышень ваших хотелось мне поглядеть... Катерину Аркадьевну давно не видал.

Миша слушал его со сдержанной ненавистью и быстро что-то про себя соображал.

Вечер прошел несколько смутно. В саду разыгралась гроза, молнии блеск не тонул и при ламповом свете. Катя почти не выходила, ссылаясь на головную боль, на усталость, но Михайла Никифорович, видимо, не унывал, на что-то надеясь. По-деревенски, развалившись на кресле, бесцеремонно Агнию Владимировну он угощал деревенскими новостями. Она слушала сдержанно, устало и строго, подавая короткие реплики. Мишина ненависть против этого круглоголового накопилась с часу на час, что не помешало ему за столом показать беззаботным двум существам целую серию фокусов в карты.

Рано легли. В столовой на жестком диванчике Миша долго ворочался, и не помышляя о сне. Гроза отшумела, в окно густую струю вливались ночная прохлада, благоухания, но не было отпущения Мишиным думам.

Отдельные падали капли с ветвей среди тишины, потом послышался смех, сдержанный, девичий. Миша сообразил: через окно, пробежаться по саду после дождя... Ему послышался даже и бег, мягкий и мокрый по мокрым дорожкам. Там ли и Катя — он разобрать не сумел, ему сделалось грустно. Еще немного спустя услышал он стук в соседнюю комнату. «Можно?» — «Да, да». Скрип двери и пауза. «Ни за что и никогда», — раздельно сказала тетушка Агния. «Последнее слово?» — «Конечно, и не за чем вам было и приезжать. Вы должны были знать это и сами». — «Ну, нет, все-таки есть зачем: завтра я предъявлю векселя». — «Однажды оплаченные?» — «Это уж как вам угодно-с, а только они формальные и целехонькие-с». — «Вы все-таки гость, и сейчас уже ночь, но завтра я вас попрошу оставить мой дом... пораньше. Прощайте». Мише припомнилось: одна половина неба в грозе, а на другой нежный покой, безмятежность. Лежал он не шевелясь. Может быть, через четверть часа достигли его и звуки обратного бегства, столь же веселого, как весел в саду летний прерывистый дождь. И опять тишина, легкие шорохи в девичьей комнате, бывшей столовой. Потом один голос: «Олечка!» — «Что?» — «Я вешаю платье, думала гвоздик, а это... а это... кузнечик!» Шелест и смех. Сделали, верно, конвертики и подправили простыни. Катина голоса нет. Помаленьку уснули, а Миша, напротив, оделся и осторожно вылез в окно.

Дальше события ночи развернулись с быстротой феерической. Недаром был Миша мастер сих дел. Все векселя, не глядя и не читая, положил он в карман, прихватив и золотые часы, чтобы больше было похоже на постороннего вора, затем имитировал бегство к калитке, искусно меняя отпечаток ноги на влажной дорожке, и со всеми предосторожностями вернулся к себе.

Раздевшись, немного помедлив, он застучал в стену к соседу и на охрипший вопрос Михайлы Никифоровича поднял тревогу.

Скоро весь дом был на ногах. Миша организовал энергичнейший розыск. Встали и барышни. Кое-как запахнувшись, в ночных одеяниях, были они очень милы и, как

овечки, жались одна к другой. У Кати, напротив, сдержанный блеск сиял на лице, она была рада. Агния, кажется, несколько была смущена, но, как всегда, спокойна и сдержанна.

Толстяк шумно и глупо неистовствовал. На дворе запрягали мокрую его бричку. Он хотел ехать в полицию сам, а оттуда в гостиницу.

«Давно бы так», — с легкостью на душе и удовлетворением думал Миша.

— Ночь все равно уж теперь перебита, — сказал он почтительно Агнии, когда отшумели колеса помещицкой брички, — позвольте мне вас поблагодарить и откланяться, я все-таки тороплюсь. Гроза миновала, и поезд еще не пришел.

Девочки, Оля и Зоя, так мило его обе просили остаться, потому что им страшно, и так смешно у одной вылезала снова косичка, а у другой не без лукавства блеснул черный глазок, что, улыбаясь, полушутя, Миша подумал: «Нет, нет, надо ехать. А то еще тут вовсе запутаешься».

Катя ему ничего не сказала, но пошла проводить. Ждала теперь молча она.

— Да, это я, — сказал ей Миша в дверях. — Вы Агнии Владимировне не говорите, не надо смущать. А сами ко всему происшедшему отнеситесь здраво, прошу вас. Наказан всем этим только ведь человек, который, как вы же сказали, хуже... да, хуже вора.

Он взял ее руку и поцеловал. Катя упорно молчала.

— И вы уезжаете? — сказала она, наконец, когда после молчания, точно сам чего-то еще ожидая, Миша все же взял чемодан.

— Да, — ответил он грустно, — потому что я... потому что я настоящий вор и вас не достоин. Специальность моя — драгоценные вещи. Но вы не подумайте, эти часы, — добавил он с горечью, заметив, как тень пробежала по дорожному отныне лицу, — я подарю их первому нищему.

Когда он уже отошел по тротуару, Катя его негромко окликнула.

— Возьмите, — сказала она, стоя уже на крыльце, — возьмите... Нет, я вас прошу. На память... Я... Я...

Тускло блеснул в полутьме перстенок, снятый с мизинца.

— Спасибо вам, — тихо сказал растроганный Миша и поцеловал еще раз ее руку.

Была минута одна, когда могло, может быть, что-то произойти, одна из тех перекрестных минут, что бывают и в скромных делах и в больших — и на путях нашей маленькой жизни и в бытии целых народов, но... ничего не произошло.

И было, однако, волнение этой минуты так велико, что не могла тетюшка Агния, кажется, что-то подозревавшая, долго остановить обильных и страстных Катиных слез. А Миша шагал с чемоданчиком, не видя ни улиц, ни луж, и только уже недалеко от вокзала от быстрой ходьбы и от прохлады близкого утра стал понемногу находить сам себя.

— Сквознячок... — пробормотал он с усмешкой. — Сквознячок — это я. До грозы далеко. И все же... как сразу очистило воздух! Довелось бы пошире... — вот хорошо!..

И все-таки нежность, досада, любовь томили его и теплели на сердце, как неукраденный, теплый в руке его, милый топаз.

1918 г.

Посвящается О. М. Новиковой

ФЕОДОСИЯ

Повесть

I

15 мая 1905 года Татьяна Ганейзер, проснувшись по обыкновению рано, слушала звон московских колоколов, с радостью соображая, что нынче воскресенье и в гимназию не идти. Мысль эта выскочила по-детски первой, обогнав привычную за последние месяцы утреннюю думу: о старшем мичмане Владимире Гребенщикове и об эскадре Рождественского, в составе которой он следовал на своем миноносце вот уже несколько месяцев — целую вечность! — с октября прошлого года. Эта уже не детская, а девичья мысль и сейчас, как и вчера, и неделю, и месяцу тому назад, заставила ее внезапным движением далеко откинуть одеяло и немного так полежать на холоду.

Она не хотела, как многие московские дамы, подражать жене адмирала Того, спавшей вовсе без одеяла, чтобы хоть так — издали — делить лишения любимого человека. Ей это тоже сначала понравилось, но об этой японской даме и об ее одеяле столько шумели в Москве и столь неприкрито лицемерили, что самая мысль о ней ей опротивела; мешала еще и национальная гордость, не позволявшая ей пойти по следам какой-то японки, врага; да еще, по правде сказать, мурлыкала в ней и сладкая детская привычка — свернувшись, как кренделек, засыпать в пушистом тепле: это последнее сильно жило в Татьяне, чего она не сознавала, иначе все-таки что-нибудь выдумала бы, чтобы себя ущемить. И, однакоже,

это утреннее откидывание, результат разнохарактерных взаимодействий, к ней привилось.

Плохо соображая, который был час, помедлив лишь несколько коротких минут, пока цепочка холодных иголок добралась по спине до самого корня короткой тяжелой косы, быстро она опустила ноги на чуть захламленный в ночи вощеный паркет и так, босиком, чтобы никто не слышал, пробежала по коридору (целое путешествие через пустыню!) и заглянула во внутренний ящик для почты, куда совали снаружи, в дверную щель, корреспонденцию: ничего не было!

Писем она и не ждала, но не было пока и газеты. Письма были как чудо, их было всего только четыре за все семь долгих месяцев, из них последние два из Носибэ, на Мадагаскаре, где эскадра тщетно ждала присоединения южноамериканских кораблей, а то и Черноморского флота. Теперь Носибэ с его тропической сыростью и духотой был далеко позади, и эскадра, отяжеленная еще Небогатовым, плыла в неизвестное; сердце Татьяны Ганейзер гулко и тяжело билось в такт котельным машинам.

Она знала из писем Владимира (он сообщал осторожно и коротко), что Рожественский использовал Мадагаскар для боевой подготовки, в которой эскадра столь очевидно нуждалась, суда выходили в море для практической стрельбы и маневрирования. Все-таки это было кое-что, но, невзирая на свою крайнюю молодость, все же Татьяна чувствовала, как над эскадрой в чуждых морях нависло что-то трагическое, неизбежное. При ней иногда обрывался очередной разговор об авантюре «адмиралтейского шпица», но обрывания эти и умолчания бывали выразительнее самых выразительных слов.

Положение стало особенно ясным после падения Порт-Артура, и каждый номер газеты, который к ней попадал очень часто раньше, чем выйдет из спальни отец, раскрывала Татьяна с невольным биением сердца, привычно ища на среднем листе скупых военно-морских телеграмм. Порой она медлила и, прежде чем развернуть огромные простыни, механически — в который раз! — пробежала глазами условия подписки на газету «Московские ведомости»... «с доставкой и пересылкой 17 р.; рабочим, нижним воинским чинам, волостным правлениям и крестьянам (через волостные правления) 8 р. в год и 80 коп. в

месяц». Какая забота, подумаешь, о рабочих и крестьянах: вдвое дешевле! Татьяна могла бы об этом задуматься, но она не задумывалась: воздух, которым дышала она в родительском доме, окислял в ее легких горячую кровь, и во всем существе ее кровь тосковала, молилась и пенилась — о победе, победе, победе! А между тем воздух на улицах, химически тот же, психологически бил в обратную сторону. Даже в гимназии подруги Татьяны смеялись над ней и называли ее ура-патриоткой; Татьяна молчала и злилась.

В тех же «Московских ведомостях» после обеда, за кофе, вчера отец прочитал ей своим немного стеклянным, тускло поблескивающим, как и пенсне его на мертвенном холмике носа, судейски размеренным голосом передовую. «Корреспондент Кельнской газеты был сам свидетелем подобных случаев...» К дереву впереди позиций прикреплен был флажок. Послали солдата, он нашел там бутылку портвейна и тридцать прокламаций. Одна, конечно, еврейская («честное слово!») — там говорилось об уничтожении Варшавы пожаром, взрыве в Севастополе, общей революции и бегстве властей; во второй проповедовалось, что японцы являются истинными друзьями русской свободы.

Татьяна слушала чтение отца со стесненным сердцем. У него был крутой, воскового цвета лоб; рыжевато-седые, реденькие, но чистые пышные волосы на висках непосредственно падали в пену молочных, с синевою, бакенбард; подбородок ходил размеренно, невыразительно, колыхая увядшую немую губу, на которую ложились уже синеватые тени; и в полном несоответствии с этим лицо было розово, щеки пухлы, как у младенца, а скупно окрашенные голубые глаза напоминали стоявший в буфете фаянсовый старый сервиз, оставшийся еще от прабабушки. Татьяна знала тайны этого несоответствия, и оно смутно томило ее, а тайна была между тем очень проста. Антон Максимович (как он себя руссифицировал) был недалеко, вот и все.

«Ганейзер Оттон!» — как вызывали его в Петершуле на громоздкой Фурштадтской, пошел по юридической части. Отец его, Максимилиан Оттонович, теперь уже покоившийся на иноверческом кладбище, помнил еще времена морского генерал-аудиториата и обеспечил сыну карьеру в Главном военно-морском суде, но «Антон Мак-

симович» не любил Петербурга и выезжал туда из Москвы лишь на время сессий суда.

Татьяну томило, покачивало. Пахучие испарения кофе, поднимавшиеся над скатертью, были видимы в косом луче вечернего солнца. Эфирные эти масла, совершившие далекое путешествие: по знойным морям и не побежденные ими, не рассеявшиеся в пространствах, смешивались с запахом краски из Синодальной типографии, и что до того, что терпкий этот типографский запах не перенес дальнего путешествия, — именно он повествовал о протекшем дне земного шара, за последнее время переставшего быть простой географией, когда-то одного из скучнейших предметов для Татьяны Ганейзер.

Вдруг Антон Максимович прервал свое чтение, подбородок его окаменел и выехал далеко вперед.

— Повесить их! Расстрелять! — воскликнул он отрывисто, коротко, но так тяжело, как если б рукою клал пуговую гирию на деликатные весы богини Фемиды.

Татьяна приподнялась.

— Кого и за что? — спросила она, не замечая, как и ее голос стал металлическим.

— Японцы — враги, я их понимаю, — ответил отец, — хотя это и подлость. Нет, я говорю о наших, о доморощенных.

Разговор этот их — в молчащей огромной квартире (от матери у Татьяны Ганейзер осталось: скрип шелка, духи *Violette de Rome*, смешанные с запахом канареечного семени, и сквозные глаза, как будто за ними были другие — горячие и настоящие) — в квартире, напоминавшей порою пустыню; наступила минутная тишина. Взгляд отца изменился. Глаза его некоторое время бежали, как бы только сейчас заметив крошечную Татьяну на краю горизонта и устремившись к ней; нагнали; остановились. Отец разглядывал свою дочь.

— Отчего ты стоишь? — спросил он отрывисто. (Он привык, что перед ним стояли его подчиненные и еще... подсудимые; она не была его подчиненной.) — Что ты так строго на меня смотришь?

Татьяна не знала сама, почему она так смотрела, она не разбиралась в себе и из честности ничего отцу не ответила. В эту минуту она вспомнила другое — как тот же самый вопрос ей задал отец в пору ее раннего детства. Она разбила свою «головастенькую» — это была ее люби-

мая куколка — и с сухими глазами стояла над ней, отражаясь в паркете. Отец проходил и окликнул ее, она и на него перевела все тот же свой неморгающий взгляд. «Татьяна, что ты так строго на меня смотришь?» — точь-в-точь таким же тоном спросил он и тогда; и с этого случая он перестал ее звать Танюшей и Таней; еще тогда она стала маленькой Татьяной Ганейзер.

Должно быть, случайная (или уж не такая случайная) эта повторность окутала девушку на весь тот вечер туманом воспоминаний.

Во всяком доме свой воздух. Сухопутная жизнь в континентальной Москве не мешала Ганейзерам дышать про себя воздухом моря. Есть семьи (или, вернее, прежде бывали), где между живыми, не менее живые, дышали невидимые, не во плоти пребывающие герои и героини романов — Наташа Ростова или Эдварда из «Пана», лейтенант Глан или Андрей Болконский, а то еще (доселе не постаревший!) сам Григорий Александрович Печорин; судьбы их, думы, дыхание смешивались с судьбами, думами и дыханием молодого населения дома. В доме Ганейзеров домашними ларами были герои морей. Адмиралы Корнилов, Нахимов с самого раннего детства Татьяны были для нее живыми существами. В доме Ганейзеров поэзии было не много, в театр выезжали лишь изредка, сказок Татьяна вовсе не знала; все это вместе взятое заменялось медлительным, кабинетным изучением истории; и японская война была как глава, очередная в огромном многотомнике Российской державы.

Ощущение это — морей и сражений на них — каждое лето усиливалось поездками к дальней их родственнице, невестке адмирала Нахимова. Между лесов Смоленской губернии угрюмо, насупленно стоял ее сорокакомнатный дом с мрачными, как всякий фундамент истории, немymi подвалами.

В гостиной стояла на столике одиноко подзорная труба адмирала, и хотя ничего с террасы не было видно, кроме лужайки перед домом и в отдалении невысоких кустов по пригорку, но выдавшая море и флоты труба таила в себе для Татьяны особую магию. В сумерки по вечерам на диване становилось немного ей страшно; казалось, что улегченная комната вот-вот придет в движение, поплывут окна и двери, диванчик взметнется на высоту и с шумом рухнет вниз далекая, на обманно-спокойном

полу, неустойчивая этажерка с фарфоровыми безделушками. Тень в сюртуке возникла в углу, большой палец крепкой серой руки твердо ложился для большей устойчивости за пуговицу такого же сумеречного мундира, а другая рука держала, не отпуская, скупно поблескивавшую внимательную трубу. Тень эта странно двоилась, расслаивалась, за ней возникали другие, то вырастая за потолок и разрываясь внезапно, подобно пороховому дыму при выстреле, то резко снижаясь и уплотняясь; тогда отделялись другие — коренастые, плотные, порою (от груза истории) немного горбатые тени, и они занимали углы и простенки, громоздились на мебель.

Образы моря и кораблей, никогда Татьяной не виденных, знакомые ей лишь по гравюрам и литографиям, обитали всегда в сумерках ее внутреннего мира, и сухопутные массивы, ее окружавшие — Москва и Смоленск, — пергамент, испещренный историей, были, однако, всегда в детском ее воображении омываемы синими водами моря, и суша полей и лугов не казалась такою устойчивой и незыблемо прочной, как тем из подруг, из взрослых людей, жизнь которых в деревне и в городах круто была обведена каменным или глиняным горизонтом, видимым глазу.

Балтийское море, привычное, Татьяна не очень считала за море, хотя именно там, на низких его берегах, она дала слово Владимиру. Он снял ее в этот день, и простенькая карточка эта, где морской горизонт пересекал Татьянино сердце, очень ее передавала. Серые внимательные глаза девушки узнавали себя: они были стянуты по уголкам у виска, и они были просты и прямы; но эта особенность век — наследие матери — придавала им то своеобразие, которое заставляет насторожиться, она говорила о неожиданностях, о долгом покое и о возможности взрыва. Это от матери, в роду у которой значилась бабка монголка, сидевшая скрючившись за сквозной пеленой ее глаз. Лишь недавно узнала Татьяна (и через то многое ей осветилось как молнией!) — узнала, что бабка однажды проделала на глазах ее матери диковинный резкий прыжок с высокого берега в море. Все это было давно уже, на берегах Феодосии; в доме об этом не говорили. Но Феодосия, южное море — это мечты Татьяны Ганейзер.

И вот не найдя ни письма, ни газеты, Татьяна стояла у ящика, неизвестно чего поджидая. Писем она не ждала,

но поймала себя на мысли именно о письмеце — своем собственном. В Феодосии жила ее тетка, отцом не любимая; он опасался младшей сестры покойной жены своей. «Горячая женщина и сумасшедшая!» — это был его самый мягкий отзыв о ней. А тетка не раз Татьяну звала и неизменно получала отцовский отказ. «В этом году кончишь гимназию, может быть, можно будет поехать», — так осторожно гласило на днях, наконец, полуобещание, и Татьяна об этом настроила тете Евгении непривычно горячее письмецо.

«Ответ — еще рано, но я поеду, поеду!» — упрямо твердила она и не трогалась с места, как будто бы именно здесь, у почтового ящика, чем-то напоминавшего станцию или пароходную пристань, особенно важно было закрепить свою волю. Вдруг она услышала, как по коридору вдали заскользили шаги. В короткой рубашке, вытянув нос (из осторожности: чтобы ступать как можно тише), длинноногая, как цапля, хотела она ускользнуть: шаги были ей слишком знакомы.

— Что ты делаешь здесь? — спросил отец; голос его звучал привычной умеренной строгостью.

Он был в халате, малиновый пояс узеньким хвостиком волочился за ним, волосы на голове еще не проснулись. Детский испуг оставил ее, ей стало немного смешно, и она, усмехнувшись, ответила:

— Я за газетой охочусь — с утра.

— Ты весела и охотишься, а я с утра смотрел карту. Они должны теперь быть совсем близко...

На этот раз не было в словах его укоризны (укоризна почти механически всегда вызывает противодействие), в словах его было раздумье и важность, что-то он переживал про себя. Татьяна смолчала, усмешка ушла с ее губ.

— Хочешь, посмотрим? Но ты не одета...

— Нет, ничего, ничего...

Однако едва они тронулись с места, в ящике зашевелилось и зашуршало.

Антон Максимович с давно забытою живостью вынул газету, он даже нетерпеливо дернул ее, и уголок, полуоторвавшись, загнулся наподобие паруса. Татьяна затем услышала звук разрываемой бандероли; к слегка затяжелшему пальцу придвинулись остальные, и узенький сверток газеты раскинулся надвое. Все напряженное внимание Татьяны сосредоточилось на этих отцовских дви-

жениях, на кисти руки и как бы разломанной пополам узкой газете. Полусознательно в ней это ассоциировалось с видением моря и корабля. Листы зашумели, как волны, и пенсне устремилось на середину, на глубину. Девушка внутренне ждала в комок и устремилась туда же сама: что там лежало — на дне?

— «Нью-Йорк, 27 (14) мая. (Отец всегда читал место и даты.) Сюда дошел из Токио слух, что сегодня начался бой в Корейском проливе...»

К концу этой фразы голос Антона Максимовича, невзирая на всю его выдержку, несколько дрогнул, и в ту же минуту с ближайшей колокольни донесся маленький, дробный, ситцевый звон. Звон этот был весел и неуместен, Антон Максимович даже сделал рукою движение, как бы отсылая кого-то из комнаты. Этот звон, этот жест помешали ему сотворить крестное знамение.

— А еще что? Еще что? — сухими словами спросила Татьяна отца.

— А еще пойдем к карте, — сказал он, уже овладевая собою, и прочитал спокойно, как справку, еще одну телеграмму: — «Токио, 27 (14) мая. Рождественский находится вблизи острова Цусимы в Корейском проливе».

II

«Ваня! Первого сего февраля мы соединились с эскадрой Рождественского. Теперь стало не так опасно, да и веселее при такой массе судов. Красиво смотреть на морские маневры и весело быть среди таковых, хотя при всех трудностях службы. Соединение наше состоялось в открытом океане в одиннадцать часов утра. Встреча была радостна и весела».

«Уже третий раз: *веселее, весело, весела...* А как-то теперь? Как-то *сейчас?*» — думала, забравшись с ногами на диван, Татьяна. Это был фельетон в «Московских ведомостях» — матросское письмо, отправленное из Носибэ, откуда Владимир писал про духоту и жару. «Почему же так поздно его напечатали? А что-то сейчас?» У Татьяны болела голова, но она продолжала читать, жадно следя за самым перечислением эскадренных судов.

«К нам навстречу вышли по-боевому, боевыми колоннами броненосцы: «Орел», «Князь Суворов», «Бородино»

и «Император Александр III». Это первая боевая колонна шла навстречу. Справа от нее шла вторая из крейсеров «Аврора», «Алмаз», «Дмитрий Донской» и «Жемчуг». Впереди ее шла разведочная колонна из вспомогательных крейсеров: «Урал», «Кубань», «Терек» и по левую сторону главной колонны шла вторая броненосная колонна из броненосцев: «Ослябя»...

Татьяне вдруг представилось это перечисление как поминанье, и усталым говорком точно кто прочитал — в ней и не в ней: «Упокой, господи... Упокой, господи...» Впрочем, равно это было похоже и на баюканье утихомирных волн.

«...из броненосцев: «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин» и крейсера «Адмирал Нахимов». Миноносцы не участвовали...»

Тут не участвовали, а там? Боже мой, боже мой! А там идет бой! А там уже все, может быть, кончено. После вчерашнего первого известия и сегодня еще ничего определенного. Одна телеграмма из Токио, и стиль ее тот же, что и в матросском письме: «Главная часть эскадры Рожественского, идущая двумя колоннами — броненосцы с правой, канонерки и крейсера с левой стороны, появилась в заливе. Все остальные известия задерживаются».

«Макаров, Витгефт, Рожественский»... — это тоже звучало, как поминанье, в кабинете отца. К обеду зашел давний знакомый, и совсем не моряк, но разговор шел о бое возле Цусимы. Татьяна (она провалилась сегодня по математике и еще отцу не сказала; да и какие уж тут экзамены!) заглянула в столовую, будто проверить, все ли к обеду в порядке, и слушала между тем это гудение гостя:

— Сами судите, Антон Максимович: корабли совсем новые, только что выстроены, приемные испытания едва начались, но не закончены были, с места сорвали! И экипаж наскоро набран, на обучение не было времени! Что говорил сам адмирал? И я очень боюсь...

— Это все половина беды, — неспешно ответил Антон Максимович. — Главное — воинский дух! Еще счастье, что едут они и ничего из того, что у нас делается, не доходит до них.

Гость отозвался:

— Все это связано в узел, и узел разрубит судьба. Россию ждут испытания.

За обедом пришел и еще один гость. У него был дурной цвет лица, козлиная бородка танцевала под скривленными его полуулыбками. На Татьяну он обращал мало внимания и каждое блюдо обильно, как уксусом, поливал ядовитыми фразами:

— Усадьбы жгут — говорят? Это недурно, это мне нравится: прочищает мозги. Наш «святой мужичок» с бородкой Николы-угодника отлично работает. «Народ-богоседец» — пожалуйте! Вот он вам в натуральную свою величину.

Ножка цыпленка хрустела между его кривоватых зубов, и он с присвистом, не удержавшись, всасывал в себя сладкий крохотный мозг.

— А дворянство надо давно... надо его потрепать. Дурь надо выбить. Есть ужасная дрянь в дворянстве.

После обеда Татьяна ушла и легла на диване. Газета ее утомила и от газеты не могла оторваться.

Раздался звонок. Татьяна прислушалась, горничная пошла отворять. Какой это злой человек с козлиной бородкой. «Божья земля! Божья земля! Божьей земли полагается всего только три аршина на человека, да и за ту в городах платят!» Но почему же все о смерти, все около смерти?

Матреша к ней постучала.

— Да. Можно.

— Вам телеграмма.

— Отцу?

— Нет, собственно вам.

Татьяна не сразу ее вскрыла. Матреша глядела на барышню с недоумением и со страхом.

— Уйдите, Матреша! Оставьте меня.

Татьяне казалось, что телеграмму можно и не вскрывать. Даже в глазах у Матрешы она видела именно эту самую яму «божьей земли»... Владимир убит... Поминанье... Витгефт, Макаров, Рождественский, Гребенчиков... И даже не яма и не земля, а кусочек «божьего моря»... У Татьяны закружилась голова, и она присела на стул. Слабыми пальцами разорвала она ободок и мертво заглянула в серовато-голубую бумажку.

«Феодосия. Приезжай как можно скорей нездорова хочу тебя видеть люблю жду непременно тетка Евгения».

Уже первое слово «Феодосия» мелькнуло в глазах как голубая полоска в окутавшем ее мраке. Больна? Ничего!

Поеду, поеду! Владимир... он жив! Не о нем! И сразу вспомнила формулу, умершую для нее на экзамене. Провалилась... Неважно! Я выдержу там экстерном... у тети! Отец сейчас спит... «Миноносцы не участвовали...» Ей на минуту показалось, что миноносцы не участвовали при Цусиме. Глаза ее упали на эту фразу из матросского письма, и она вернулась к нему. Наивная бодрость его в эту минуту была ей нужна.

«...Радостно было смотреть на все это, и хорошо было чувствовать себя при встрече своих собратий и звуках «ура!» и музыке. Я страшно доволен, что приходится переживать такие счастливые и редкие жизненные, а также и нашей истории минуты, хотя...»

Это «хотя» преследовало теперь ее всюду. В эту минуту, после резкого колебания чувств, быть может впервые Татьяне представилась жизнь во всех ее суровых противоречиях. Она не знала, конечно, что ей предстоял еще целый ряд лет, которые будут никак не похожи на годы и дни ее предков, ибо и жизнь ее родины вступала в ущелье, где воды теснятся, густеют и пенятся, преодолевая один за другим густые преграды порогов. Татьяна не знала, но ощущение это уже зародилось в ней: наше сознание всегда открывает лишь то, что уже стало в нас самих живым кусочком нашего «я».

«...хотя временами все это оплачивается физическим трудом, бессонными ночами и т. п. Чем судьба благословит далее, пока закрыто мраком неизвестности, а покамест, слава богу, наш отряд от гор Либавы до Мадагаскара прошел 8 574 мили (15 004 версты), скорость хода в час...»

О телеграмме тети Евгении Татьяна решилась, однако, сказать только на следующий день. Отец уезжал вечером в клуб и вернулся оттуда в самом мрачном состоянии. Татьяна подумала: «Знает!», но понимала, что спрашивать его было бесцельно.

Однако же и во вторник парижские телеграммы передавали лишь смутные слухи из Америки о «фантастических» потерях русских, а от себя о больших потерях японцев.

— Что ж, поезжай, — сказал ей отец неожиданно кратко.

И опять в глазах его Татьяна прочла, что ему многое известно.

— А Владимир? — спросила она.

— Это не ясно. Но эскадры уже не существует.

— Ты знаешь наверное?

— Сегодня по телефону я получил подтверждение. —

И, повернувшись к столу, он показал ей листок с собственноручною записью: «Всеподаннейшая телеграмма главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии, генерала-от-инфантерии Линеви́ча. — 16 мая во Владивосток прибыл крейсер 2-го ранга «Алмаз». Командир крейсера донес...»

Все донесение в сущности укладывалось в два короткие слова: бой и гибель.

Татьяна взглянула на Антона Максимовича. Ей ли не знать отца? Но она никогда не могла бы подумать, что он такой глубокий старик.

— Рождественский ранен, — сказал он внезапно, и голос его странно окреп. — Но если он сдался и если он жив и в плену, то мы его будем судить. Я его буду судить.

И еще раз Татьяна отца не узнала. Она видела его суровым, сердитым, даже во гневе, но она никогда не видела его говорящею статуей с опущенным долу желтым мрамором век.

Ей, однакоже, было не до наблюдений: Уж если Рождественского будут судить, то что же Владимир? Значит, одно из двух: смерть или суд. И ее отец будет судить его. За что же? И кого собственно надо судить? «...хотя временами все это оплачивается физическим трудом, бессонными ночами и т. п.». Что собственно *это* оплачивается? И кому *это* нужно?

Но Татьяне было и не до размышлений. В сердце ее поднялся горячий вал и залил все ее существо. Еще минута, и она бы упала. Но странная гордость перед отцом удержала ее, она крепко сомкнула горевшие губы и вышла к себе.

III

До сих пор внешний мир досягал до Татьяны Ганейзер (если не считать крохотного ее гимназического мирка в одной из самых строгих гимназий да недомолвок отцовских гостей) — досягал через газеты, теперь, уже в

поезде, она окунулась в живой и пестрый поток впечатлений, и сложная явь была далека от специфической стилизации московской газеты.

Когда уезжала Татьяна, все уже было ясно. Рождественский сам доносил императору, что он в плену в Сасебо. Владимир Гребенщиков разделял судьбу адмирала. Он был ранен в бою, но не тяжело. Обо всем этом были наведены чрезвычайные справки.

У Татьяны было такое ощущение, как если бы сама она была ранена или подверглась опасной операции и теперь медленно поправлялась. И, как бывает с серьезно больным, наряду с настоящей болью сопровождала ее мелкая боль, подобная раздражающему покалыванию волоска из тюфяка или твердой подушки. Это была мысль о неудачных экзаменах и о том, что она это долго скрывала, вопреки всей своей натуре, от отца. Когда она призналась ему, наконец, он спокойно сказал:

— Ты — моя дочь. Я давно уже знал от начальницы и все ждал, когда же ты скажешь. Со мной было в юности нечто подобное — я тоже трусил.

— Ты мне никогда ничего такого не говорил.

— А теперь вот сказал! — И старик так задорно повел увядающим носом, точно у него на стриженной голове торчал еще непокорный вихор, не поддающийся ни холодной воде, ни теплomu маслу.

На вокзале они расцеловались. Отец не допускал сантиментов и скользнул по щеке ее обычным своим прохладным поцелуем.

— Я выдержу там... в Феодосии... экстерном... — сказала Татьяна с площадки.

— Ну-ну, не храбись. Отдыхай! — ответил он весело.

Однакож Татьяна, уже косым взглядом, когда он не знал, что она видит, запечатлела (как быстрый рисунок карандашом), как он повернулся и внезапно весь сгорбился.

Она вошла и осталась стоять в коридоре у широкого, опущенного книзу окна.

Наступал тихий вечер, но ветерок бил Татьяну в лицо запросто, без церемонии. Свежеразорванный воздух был мягок, упруг. Он ничего не говорил (не умел), и он говорил: «Я ранен, разорван, и я здоровешенек. Лечу и лечу, и бью тебя по щекам». Татьяна не слышала, что он говорил (не умела услышать), а Татьянина кровь слы-

шала и отвечала: «Льюсь и лечу. Ранена и упиваюсь здоровьем».

Татьяна была молода. Мимо и мыслей и чувств, сквозь карандашный силуэт Антона Максимовича, запечатлевшийся в ней навсегда; омывая судьбу далекого пленника, жившего на другой половине планеты и обитавшего одновременно в сердце Татьяны; поверх исторически крепкого, вроде Кремля, понятия «родина», пустившего корни в самую подпочву ее бытия — над, через, под, все пронизывая, воздушно, легко, — бился в ней свой ветерок, кружился, играл и порхал. Одна, молода, воздух, движение — эти четыре врача, с четырех сторон ее света, смеясь, улегчали ее бытие.

Татьяна отнюдь не была в забвении. Глаза ее жадно, как из корца холодную воду ключа, пили поля и простор, пестреющий желтыми, лиловыми, белыми, синими, красными лоскутами цветов; крохотные, как островки в архипелаге на карте, но и важно задумчивые, мягко они колыхались на упругих зеленых стеблях — коротких, высоких, голых, пушистых, сливавшихся в целое море: от песчаной бегущей узкою лентой дороги до тонкой черты горизонта, воображаемого, но существующего более прочно, чем что-либо другое, из века в век и для каждой точки нашей земли.

На земле этой — там, где она была обнажена, чуть видимый глазу, лежал, легко подымаясь и опускаясь, фиолетовый коврик: влага земли и косой солнечный свет, взбитые вместе. Орешник стоял еще голый (весна запоздала), березки и тополя, обрызганные молодью, блестящей, душистою зеленью, тонко благоухали; порой налетали, как стайки порхающих бабочек, белые купы цветов, а когда, промчавшись, глянешь назад, то как белым платочком махали Татьяне аккуратные и тонконогие вишневые эти деревца, похожие на коричневых гимназисток. И только от времени до времени сосны вставали, как мрачные грозные тучи на небе. Да и действительно в небе, вопреки земному покою, было движение и заворошка, мобилизация.

Долго смотрела Татьяна и думала, на что походили эти серо-лиловые, с рыжим подпаленным брюхом, воздушные кони. Кони? Не только. Она различала и всадников, а косые, упрямые, узкие полосы с оборванным

верхом, развитым и ниспадающим, больше всего похожи они на склоненные древка знамен или на пики с обрывками знамени.

В Подольске, огромный и неопрятный, похожий на гигантские старые бани, прошумел перед Татьяной «Порландский цемент». На нее пахнуло жаром и потом, пыхтением машин и вязкими звуками, похожими на чавканье, как будто машины со стальным равнодушием пережёвывали там живых людей. Пышало скрытым огнем, но Татьяне вдруг сделалось холодно. Она поежилась, невольно рукою ища платок на плечах. Платка с нею не было. Надо идти в купе. Это значило: природу проехали, и начался новый ландшафт: люди и страсти.

В купе было два человека, оба мужчины. Один был чиновник в тужурке неизвестного Татьяне ведомства (и оттого ставший для нее «чиновником вообще»), он был молод, прилизан, коричневые глаза его блестели и маслялись, когда он поглядывал порой на Татьяну. Двуглавые орлики на золотых пуговицах не были штампованными, а вырезаны (не очень искусно) отдельно и привинчены к ним. Татьяна видала такие на парадных мундирах знакомых студентов белоподкладочников, но на простой дорожной тужурке и не у студента выглядели они и для нее подчеркнуто неумно. Другой был инженер, также в тужурке, но явно рабочей и немного засаленной. Лицо его было серо и беспорядочно, коротко заросло: две-три бородавки казались кочками между кустарника. Небольшие глаза от усталости переходили к большому напору и порою язвительно блестели.

— Россия всегда объедалась пространством, — услышала Татьяна, входя, — и ей просто-напросто необходима диета.

Инженер был худ и подвижен; казалось, что политические его взгляды в данном случае совпадали с простым физиологическим ощущением человека, которому противно громоздкое, сырое и сонное.

— Вы изволите говорить неисторично и негосударственно, — лойляно возразил чиновник, усеянный золотыми птицами. — Россия — гигант между двумя океанами, ей нужен простор.

— Вы это от кого-нибудь слышали, — быстро и не стеснительно, как бы коротко плюнул инженер.

При слове «неисторично» Татьяна насторожилась и бросила сочувственный взгляд на чиновника, но ей пришлось отвернуться: так нехорошо он покраснел при нескромной, презрительной реплике инженера; было видно, что тот угадал. Татьяна закуталась в платок и слушала дальше.

— Неисторично! — язвил инженер. — История не в одних только войнах и перераспределениях территорий. Настоящая история в том, как живетесь трудящимся. Поняли? И вот в этой области сдвига — они действительно историчны. А канцелярии ваши, — он, как булавкой, скользнул по орлам, — это, простите меня, навинчено сверху, это можно и скинуть.

— То есть как это скинуть? — загорячился чиновник.

— А как скидают: очень просто. — И он сделал едва уловимое движение пальцами; пальцы его были худые и нервные, ногти, пожалуй, и грязноваты.

— И потом, что это значит: *мои* канцелярии, ну, а ваши? (Инженер усмехнулся.) И что это значит: трудящиеся? Разве мы, например, с вами не трудимся?

Инженер не удостоил ответом ни одного из вопросов. Он продолжал по существу:

— Второе: «негосударственно». Но ведь давно уже сказано: не человек для субботы, а суббота для человека. Это прежде всего относится именно к государству, да, пожалуй, и к государственным — таким вот, как вы! Ведь не станете вы отрицать, что вы кормитесь при государстве?

— Это уж вы несколько слишком...

— А государство должно быть слугою для тех, кто действительно его создает. И, наконец..

— Вас слушает молодая девушка, — неожиданно произнес предостерегающе и даже как бы с обидой чиновник.

Он поджал свои полные губы, но им было тесно, и они плохо сжимались; Татьяна, заметивши это, не могла не улыбнуться.

— Да, я слушаю, — отозвалась она.

— А еще вы сказали: простор, — продолжал инженер, бегло взглянув на Татьяну и вряд ли, однако, видя ее. — Да, это верно, простор для России действительно нужен, только не тот, о котором вы думаете.

Он медленно и не спеша, как если б затягивался папирской, вдохнул и выдохнул воздух и замолчал.

Чиновник почувствовал, видимо, необходимость реванша. Во время длительной паузы он несколько раз перебирал, как бы ища в них вдохновения, свои золотые шершавые пуговицы и, наконец, разрешился.

— Все это, что вы говорите, философично и отвлеченно, а государство, империя (он выпрямил грудь) — это есть факт; и родина также (неловко добавил он это более теплое слово). И когда есть война и государство в опасности, то философией не побеждают. Мы и в тылу должны быть мобилизованы, и каждый из нас на своем посту — как солдат. А у нас, как известно, есть поражения, — позор! Воскликните вместе со мною: позор! — и, невзирая на все различие взглядов, мы пожмем руки друг другу и перейдем к чему-нибудь более (он мимоходом взглянул на Татьяну) — более, я бы сказал, приятному... интимному, да.

Инженер хотел ему что-то ответить, губы раскрылись уже, но он тотчас же их крепко замкнул. Через нос он опять, глубоко, с легоньким свистом, потянул в себя воздух и ладонью потом потер около сердца.

— Я подышу немножечко там, — сказал он Татьяне и вышел.

Татьяна молчала. Молодой человек с блестящим прибором был бы искренне огорчен, если б узнал, что лощеная его декламация не имела успеха. Но так как ему самому речь его очень понравилась, то он был спокойно уверен, что произвел и на соседку должное впечатление; он мило ей улыбнулся и розочкой приоткрыл свои полные губы.

«Неужели и в самом деле... — думала между тем про инженера Татьяна. — Неужели он хочет, чтобы японцы нас разгромили совсем?..»

— А вы далеко изволите ехать?

— Я в Феодосию.

— К солнцу и морю? — сказал собеседник с карамельною приторностью. — Я думаю, к вам загар очень пойдет. Я в этом отношении, как видите, прогрессивен... Да и еще кое в чем... — И он зашевелился на месте, передвинувшись к Татьяне на два-три вершка.

С его розовых губ «солнце и море» (дорогие, живые для Татьяны слова) сошли олеографией, и она это сразу почувствовала.

— Неинтересный для вас разговор, — продолжал между тем, не унывая, сосед и, еще придвинувшись ближе, конфиденциально добавил: — А какой неприятный, говоря между нами, наш спутник. Не правда ли?

— Напротив, — сказала Татьяна, вставая и крепко, обеими руками держась за платок на груди, — напротив, он мне очень понравился. И то, что он говорил, об этом мы все обязаны думать.

Тем же маршрутом, ходом улитки, молодой человек отодвинулся на прежнее место.

За минуту до этого Татьяна даже не подозревала, что надо думать о том, о чем говорил инженер, но мысль не всегда приходит до слов, нередко мысль свою мы слышим впервые и узнаем из собственных уст; это бывает всегда, когда родится она горячо.

Чиновник замолк, и Татьяна забыла о нем.

В первый раз в жизни путешествовала Татьяна Ганейзер одна. С этой своею свободой она скоро освоилась и выходила на станциях. Ей доставляла большое и свежее удовольствие сутолока и пестрота вокзальной толпы. Это была смесь города и деревни: чемоданов, картонов, узлов и мешков; шляпок, вуалей, деревенских платков и мещанских косыночек; котелок и картуз, китель и свитка. Стремительно бегали за кипятком и неторопливо лущили подсолнухи; ели бифштекс и очищали зубами жирную воблу; разбавляли мадеру холодной струею сифона и опрыскивали у стойки граненый стаканчик очищенной. На станциях были большие киоты с лампадками и с редкими одиночными свечками, напоминавшими почему-то фигуры солдат на лубочных картинках: где-нибудь далеко — «на сопках Маньчжурии»; весьма вероятно, что и ставили их старушки матери, молясь за своих далеких сыновей. Несколько раненых — костыли и бинты — выбирались на площадку: хоть издали полюбоваться на мирную и богатую жизнь, которая и отражалась в начищенных кирпичом медных блестящих боках самовара и как бы воплощалась в жарком его монументальном чреве.

Воздушные песенки жаворонка, несущие в себе росистое утро, и свежая мгла вечерних хлебов с проворными стежками перепелиного крика, дающими ощущение земного простора, сменялись кипящим движением людей, горячими выкриками, где восковая французская фраза переплеталась с рассыпчатой русскою руганью. Лощеный

чиновник, сделавший через окно раза два глазки хорошенькой дамочке с родственной пухлостью губок, перебрался в соседний вагон, бежав с поля битвы; с инженером Татьяне трудно было разговориться. Он возбуждал к себе большой интерес, но было в нем что-то, похожее на глубокое место; Татьяну манило, но плавать она не умела.

На какой-то большой ночной остановке Татьяна открыла глаза и тотчас же полуспустила ресницы, еще отяжеленные сном и темнотой. Неизвестный человек вошел к ним в купе. С инженером тихо они переговаривались, и Татьянин сосед передал вошедшему сверток — пакетик бумаг, который тот глубоко засунул себе, почти на плечо, под суровую куртку, напомиनावшую смоленый брезент.

Татьяна сначала подумала, что это новый пассажир; ее немного смущало все-таки, что она оставалась в купе вдвоем с инженером. Но скоро она догадалась, что встреча эта была условленной заранее.

— У нас ничего, организация крепкая, — ответил вошедший на какой-то вопрос инженера.

Сквозь частокол ресниц Татьяна увидела, как он закивал головой и как у него пресмешно, как у лошадки, задвигались рыжие уши. Инженер его взял за плечо.

— Главное — помни: никаких преждевременных выступлений. Не надо мариновать, но и швыряться народом нельзя. Организованность и одновременность — это главное.

— А ты далеко теперь?

— К Стамболи, на фабрику. Для осмотра машин.

Татьяна удивилась, что и брезентовый человек говорил с инженером на «ты». А Стамболи — это ведь, кажется, в Феодосии: отец ее курил табачок от Стамболи. По-детски представились они ей контрабандистами, а непонятный ночной разговор — свиданьем разбойников у костра. Свет бил прямо в лицо, и, полусонная, Татьяна зашевелилась под своим одеялом.

Когда поезд тронулся и инженер вернулся с площадки, расставшись с приятелем, он развернул газету и полез наверх к фонарю. Это последнее совсем уже было в стиле разбойников. Едва преодолевая сон, Татьяна приоткрыла уголок глаза и увидела, что инженер затеняет свет, чтобы он ей не мешал. На сердце Татьяны стало совсем спокойно, и она сама расслышала мирное

свое посапывание. «Разбойники в сказках — они всегда добрые», — это было последнее, что она еще успела подумать, и тотчас увидала равнину, подернутую синевою, и на горизонте ветвистое коричневое дерево.

Приглядевшись к равнине, она поняла, что это была не земля, а вода. Стало быть, море: какое оно непохожее! И Татьяна нагнулась, чтобы подобрать платье. Тогда к ней подскочил чиновник с орлами и руку согнул крендельком. «Надо бежать! — сказал он и улыбнулся. — Бежимте со мной! Они вас погубят!» И улыбка была у него мертвая, страшная, и синие губы, как у утопленника. Татьяна закрыла глаза и с силой оттолкнула его, а когда она их снова открыла, то увидала себя в маленькой лодке, и с ней инженер, а на носу человек, и уши у него шевелятся, а у плеча сильно приподнято. Они подвигаются к дереву, а дерево уплывает от них, и Татьяна не страшно ничуть, но сердце щемит непонятною болью.

Проснувшись, Татьяна забыла свой сон.

И опять перед нею замелькали станции, избы, поля, а когда, как усталость от солнца, засветился под вечер молодой зеленоватый на небе серп полумесяца, Татьяне показалось, что воздух — соленый и непонятный, томящий грудь неутолимою жаждой. И вдруг она увидала не так далеко от пути сплошную равнину — ни единого дерева на горизонте. Тоненький месяц, как ножик бумагу, прорезал своим острием легкое облачко. Татьяна следила за ним, а когда он вырвался, наконец, на свободу, она невольно как бы окунула глаза: месяц лежал перевернутый в синеватой равнине, как если б упал и упал глубоко. Татьяна стояла, внезапно запыхавшаяся, как будто бежала на обгонки и, наконец, прибежала. Она прижала обе руки к груди, как всегда это делала, когда волновалась, и сказала сама себе, едва переводя дух:

— Но ведь это же море!

IV

На большой карте генерального штаба в кабинете отца Татьяна глядела не раз на этот черный кружок, именуемый Феодосией. Москва была центром, Феодосия, море — окраиной.

Теперь Татьяна лежала в кровати, в сером с колоннами доме, с деревянным парадным крылечком и флигелями. За окном шумят дождь и каштаны; окно не закрыто, и занавеска колеблется, умеряя порывы теплого влажного воздуха. Отдаленный фонарь кидает на стену отраженный и слабый отсвет, и на стене колышутся тени, набегаая одна на другую: безмолвные всплески листвы; похоже на море. И весь этот город, раскинутый около вод легким, немного взъерошенным полумесяцем, с небольшим и убегающим горбиком гор, и эти деревья, и сероголубая гимназия, и дождь за занавеской, и бег листвы, и сама Татьяна Ганейзер, *путешественница*, — все это заключено в небольшом черном кружке (в кабинете отца) на разделенной квадратами штабной карте России. И теперь этот кружок уже не окраина, к которой, чтобы ее поглядеть, надо было нагнуться, теперь это центр бытия, и уже отсюда, из центра, располагается весь другой мир.

Татьяну немного с дороги качает, и это приятно: как если бы приехала на корабле. Впечатления этого первого дня бегут в беспорядке, но и в гармонии, они — как эта листва, играющая на стене, перекатываясь и переливаясь: она убегает и остается и, оставаясь, не пребывает в покое.

После Джанкоя Татьяна считала: восьмая остановка; кто говорил Феодосия, а местный люд ее называл: Сары-Голь. Этого местного люда, без стеснения забившего площадки и буфера, было множество: тут были евреи и караймы, греки, армяне-торговцы, рабочие, портовики; их перекличка между собой в утреннем воздухе — как солнце на гребешках мелкой волны или как в неводе рыба пестрая чешуя. Все они сильно горланили и порывисто жестикулировали. Поезд, однако, тронулся дальше, и когда он уже тронулся, входная дверь с шумом открылась, и боком оттуда влетело красное шелковое солнце зонта. Одновременно чья-то за солнцем рука с целою связкой серебряных тонких браслетов сдвигала его, и из-за него на Татьяну устремились два черных глаза:

— Танька! Нашла! Это ты? Наконец-то! Там целый базар, едва пробралась!

За тетей Евгенией в открытую дверь было видно Татьяне целое скопище белых двойных полосок зубов: все было залито смехом! Невольно она и сама рассмеялась,

но на улыбку ее горячим дождем обрушились быстрые поцелуи. Красная, со взбитой прической, наконец, и она схватила тетю за руки повыше локтей и отодвинула ее от себя.

— Как ваше здоровье? — спросила она. — Откуда вы взялись?

— Какое здоровье? — недоуменно возразила Евгения и тотчас догадалась. — Ах, это ты про телеграмму! Да я ж наврала! А то бы тебя не отпустили.

И обе они принялись хохотать.

— Девочка тоже, гляди, хороша: как цветок! — услышала Татьяна из-за дверей и залилась ярким румянцем.

— Поздравляю! — воскликнула тетя, ничуть не смущаясь. — У моряков, я всегда говорила, есть вкус. И *одинаковый* вкус!

— Пойдемте в купе!

Но и входя в купе, Татьяна вносила с собою в зрачках молодого матроса, протянувшего крепкую руку поперек входной двери: у него были немного озорные смеющиеся глаза и белые неровные зубы; тоненькая серебряная цепочка уходила по обожженной груди за воротник.

В купе Евгения Васильевна, к изумлению Татьяны, радушнейшим образом кинула обе руки навстречу инженеру.

— Григорий Григорьевич, здравствуйте! Вот уж не думала застать вас с племянницей в тет-а-тете! Вы всю дорогу вдвоем? И не увлеклись моей Таней? Впрочем, куда вам, безнадежно, ведь вы сухопутный экземпляр! Надолго ли? Ну что в Петербурге? У нас тут кипит, как в котле. Одесса, слышали?

Инженер улыбнулся, но на слова был несколько скуп.

За обедом Евгения Васильевна опять его вспоминала, но уже называла его сокращенно «Гри-Гри».

— Этот Гри-Гри ни-чего, ни-чего не понимает, кроме своих прокламаций, массовок, кружков! Я сама это очень люблю, то есть, ты понимаешь, это огромное дело! Каждый из нас обязан принять в этом участие! В последнем номере «Овобождения»... Ты знаешь, я его получаю на библиотеку в каталогах книгопродавческой фирмы в Берлине... Мне, как начальнице гимназии, их доставляют безо всякой цензуры...

— Тетя, и вы пораженка?—спросила Татьяна, серьезно взглянув на нее; это слово в вагоне ее поразило, и она впервые сейчас, даже с заминкой, употребила его.

— Откуда ты знаешь?—воскликнула с живостью тетя Евгения. — Конечно же, да! Царизм осужден на гибель, и все это надо ускорить! И эти Гри-Гри и Ершов...

— Я не знаю Ершова, — ответила с некоторой суховатостью в тоне Татьяна.

— А этот матрос, что в вагоне! Ты уж забыла! Ваня Ершов.

Татьяна его не забыла. Пока они ехали от Сары-Голя (Феодосия тож) и Татьяна глядела на море и дачи, а тетя Евгения ей перечисляла: «Это Куломзиной... а вот Филадельфина... А это Суворин — терпеть ненавижу! А это милейшего Крыма... а это Ламзи!» — и пока мелькали дома и купальщики, Татьяна сердилась и... нет русского точного слова, чтобы передать, как сквозь сердце, как из развороченной пашни, прорастает молодая острая зелень, буравя пласты, и ничего с ней не поделать; так вот: и сердилась и одновременно это зеленое безыменное «не!» А когда сходили на «городской Феодосии» и с нее стали требовать смешную доплату в тринадцать копеек, а она не могла сразу найти у себя в сумочке такой маленькой мелочи, Ершов еще раз созорничал.

— С меня семь копеек, — сказал он посмеиваясь, — семь да тринадцать — ровно двугривенный. На получи!

Он кинул монету ждавшему сборщику, повел, направляя, плечами и скрылся в толпе.

Татьяна тогда растерялась и не успела его остановить; тетка беседовала с худенькой простенькой дамой в пенсне.

— Я зову ее «милый акафист» — толстовка! Она уж всегда за кого-нибудь просит. Туберкулез у нее, сельская учительница... Живет теперь здесь...

Татьяна от тетки скрыла свой странный, похожий на ветерок, мимолетный роман с Ваней Ершовым. Не ему ли писал этот матрос из Носи-Бэ?

— Так я говорю: и Гри-Гри и Ершов, — продолжала, мешая ложечкой кофе, Евгения Васильевна, — но только Ершов... Он уезжает нынче же ночью, — жаль тебе? Он

удивительный парень, он понимает! У него тут роман, я тебе расскажу...

— Тетя, зачем мне романы Ершова? Ну посудите вы сами!

Тетя Евгения немного опешила. Она опустила глаза и задумалась.

— Видишь... — сказала она неопределенно и не продолжала.

Со старенькой деревенской терраски, куда они перешли, виден был порт и корабли. Небольшой зеленый бульвар казался игрушечным; такой же забытою кем-то игрушкой стоял на бульваре памятник Александру III. Генуэзская башня, изгрызанная веками, рядом с ним была как ихтиозавр рядом с дельфином; эти два памятника на крохотном кусочке земли создавали густое ощущение времени. Татьяна легонько вздохнула; это был полуосознанный вздох о краткости человеческой жизни; юности свойственно импульсивное это сжимание сердца. Тетя Евгения называла племяннице горы; дома.

— Это *форпост*, — говорила она, звеня серебром на руке по направлению как бы нарисованных, одна над другой, черепичных крыш. — А это гора Митридат. Там между колоннами — видишь?.. это музей, по проекту самого Ивана Константиновича...

— Вы, тетя, всех знаете, а я никого. Какой Иван Константинович?

— Ах, Айвазовский! Ну как же не знать! Он умер. Я повезу тебя в его галерею... — И она начала распространяться об Айвазовском.

— Так что же там между колоннами? Вы начали и не досказали.

— Фанагорийские львы! — воскликнула с новым одушевлением Евгения Васильевна. — Их привезли на пароходе из Керчи. Там тоже гора Митридат и раскопки. Хочешь, поедем? У меня есть оттуда слезницы, я тебе покажу! Я часто думаю о женской судьбе того времени...

И Евгения Васильевна вдруг перешла к истории Татьяниной матери. У нее была своя логика.

— Ты уж большая теперь, тебе это можно... Да и ничего в этом постыдного нет. Все это наше подлое время с условностями и предрассудками. Вот почему я всею,

всею душой за эмансипацию женщин! Жизнь, дорогая Танюша, одна, и жизнь коротка!

Это последнее восклицание тети Евгении тронуло девушку, оно тайно совпало со смутным ее ощущением, вызвавшим вздох.

— Он не был матрос, он был музыкант и певец, то есть рыбак. Он был красив, очень, Татьяна, красив! Я девчонкой была и его целовала во сне, и не стыжусь! Он приносил к нашему дяде — мы жили у дяди — свежую рыбу и там на кухне болтал. Он был и суров, не был болтун, но у нас он любил расположиться... И он пел и играл на окарине, он был очень беден, ну, знаешь, как в сказке... а мы как принцессы, и Ольга так хорошела, так хорошела при нем! Она ведь немножко всегда была подмороженная, а тут — не узнать, и глаза становились, как бархат... А львов-то тебе, пожалуй, не видать. Возьми-ка бинокль! — И тетя Евгения, как девочка, побежала в комнату.

На пороге она споткнулась и упала, проехавшись руками по полу; серебряные обручи глухо зазвенели, как если бы кто неосторожно потревожил сокровища в гробнице самого Митридата. Татьяна испуганно бросилась к ней и, обняв, подняла ее с пола. Она увидела смеющееся лицо и слезы, смочившие щеки. Слезы не капали, и Татьяна сообразила, что и побежала-то ее неугомонная тетя только затем, чтобы там незаметно вытереть их. Она обняла и с искренним чувством ее поцеловала.

— Да вот он, на столике, — сказала Евгения и вместе с биноклем прихватила кружевной свой скомканный платочек.

— Ну что там долго рассказывать! Ах, да! Он еще был канарейщик! (Татьяна тотчас ощутила знакомый ей с детства запах канареечного семени и увидела мать у тонюсенькой клетки; там над чашечкой свежей воды нахохлился желтый пушок канарейки Мимозы, — бедная мама!) И вот раз в воскресенье... дядя уехал к себе на плантации — он поставлял для Стамболи! — мы убежали к Евстафию... ну, рыбаку, и он нас угощал: сам зажарил нам рыбу, а потом мы пили чай без ложечек и с баранками. Ах! Не знаю, поймешь ли ты! На солнце плавала пыль, и пахло рыбой, а канарейка пела, как солнечный луч. Я была очень мала и глупа, но я

догадалась, я увидела подсолнух на огороде и сказала, что хочу его поглядеть. «Пусть они поцелуются, — подумала я, — а потом, когда уходить, и я его поцелую...»

Позже Татьяна разглядывала слезницы из Керчи; это были узенькие слюдяные, мутносерого цвета фиалчики, в которые плакальщицы собирали, идя за гробом, слезные капли и хрупкие эти сосуды оставляли в гробнице; смутно возник образ прабабки монголки. Тяжелые, грузные, полные перемен, проходили века, слезы усохли и въелись серыми пятнами в стенки. У тети Евгении в двух из слезниц стояли гвоздички, и, невзирая на всю алую их жизнерадостность, невольно этот цветок стал для Татьяны скорбным цветком. Слезницы сейчас у нее не было, и слезы свободно катились одна за другой из-под бинокля. Она слушала повесть о матери, о канарейке и глядела сама на узких бокастеньких львов, головастых и гладко облизанных временем; их было два, в каждом стекле по одному. Они были влажны и зыбко туманились, как и глаза, как и стекла бинокля. Непривычно ей плакать, но она этих слез не замечала.

— А потом... Это уж было совсем романтично. Это придумала сама Ольга. Мы вместе удрали из дому — на рыбную ловлю, на ночевку! Ах, рыбы какие под месяцем! Я даже и про влюбленных забыла. Морская вода так и хлещет по голым коленкам, юбка мокра, и море необыкновенное. Ольга нагнется ко мне и шепчет: «Я уйду! У меня ожерелье... Прямо в Константинополь... Честное слово!» И знаю, что никуда не убежит, а сладко и жутко. «Я, говорит, не могу больше жить с этим сводом законов!» Ты извини, ты не обижайся, я очень твоего отца уважаю, но ведь он же... реакционер! Терпеть ненавижу!

Татьяна опустила бинокль, слезы ее остановились; карандашный горбатый силуэт реакционера возник на дне ее глаз.

— Да, да! Я не говорю... Конечно, муж и все прочее. Ему донесли, кто-то из обывателей поусердствовал. Мать твою вызвали по телеграфу. Ну все это пусть! Но ты знаешь, что музыкант тоже исчез из Феодосии... административным порядком.

— Это не может быть! — вскипела Татьяна.

— Танечка, это был факт.

Надо было прийти Дмитрию Ивановичу Пискаренку, художнику, чтобы этот острый укол немного затих. Это был бородатый мужчина изрядного роста, широкоплечий, в толстовке. Незаросшим у него оставался только нос. Глаза маленькие, хитро-добродушные, к тому же он щурил их немилосердно.

Тоненьким голоском, как только вошел, он попросил себе водочки:

— На улице пыль и в горле запорошило. Чтобы про-чистить, надобно маленький шкалик: водочки шкалик!— И он засмеялся своей прибаутке.

Тетя Евгения вынесла водочки, а он заложил за спину руки (руки огромные) и весь изогнулся и запрокинул винтом голову кверху, чтобы в ладонь, снизу, на воздухе, поцеловать «благословенную, дароносящую ручку».

Выпил он «по-христиански», как он сам определил: нагнулся, понюхал, откинулся, повел, в ниточку сощурил, глаза на тетку и на племянницу и медленно стал подносить рюмку ко рту, одновременно вытягивая еще более медленным темпом заросли нижней губы; когда ж, наконец, стекло с нею встретилось, он вовсе сомкнул свои веки, вовсе над рюмкой навис и одновременным движением руки и головы отправил горячий напиток в якобы пыльную глотку.

— Здорово, Митрий, губы не забудь вытри! — хихикнул он, подмигивая одновременно глазами и мелко кудрявой растительностью дремучих усов: губ не было видно. Потом он горбиком сдвинул всю кисть руки вправо, а влево отвел, круто согнув; большой палец, сразу ставший култышкой, и крепко им, в обе стороны, вытерся.

Потом появилось винцо и печенье: Евгения Васильевна знала вкусы бородатого гостя.

— Тоже, как вы, ре-во-лю-цио-нер-ка? — протянул он лукаво, кивнув на Татьяну.

— А вы ре-ак-цио-онер? — отшутилась Татьяна сама, уже к гостю привыкшая и так же, как он, растягивая слоги.

Дмитрий Иванович шутил и смеялся, но тут стал серьезен.

— Ни то и ни то, — сказал он увесисто. — Я только художник.

— «Добру и злу, внимая равнодушно»? — попробовала подсмеяться над ним Евгения Васильевна.

— Зачем равнодушно? Равнодушны только коровы, — невозмутимо отозвался художник. — Нет, мне все интересно.

— Интересно?

— Вот именно. Жизнь есть движение, а значит рисунок. Вы видали когда-нибудь, как рисовал Леонардо?

— Вы говорите так запросто, как будто это один из ваших друзей!

— Он и есть лучший мой друг, если не считать вот этого. — И он поглядел на свет рюмку.

— А я думала, вы скажете: не считая меня!

— Евгения Васильевна! — патетически воскликнул художник и стал в театральную позу.

В полном противоречии с этой его декоративной позой оказались ботинки, они были рыжи, и с ужасом Татьяна увидела, что он был без носков.

— Евгения Васильевна! Дружба мужчины и женщины вещь проблематическая! Чувства мои к вам собственно вовсе иного рода...

— А что же без прибаутки?

Художник подумал и отдельно продекламировал, скандируя строки:

Со дней мироздания
Не было труднее задания:
Найти в миротворении
Что-нибудь лучше Евгении!

Впрочем, сказав этот экспромт, он и сам немного смутился и потребовал ручку.

— Вы тут посидите, — обратилась к нему Евгения Васильевна, — у меня нынче совет, и мне надо переодеться. С Таней вы не соскучитесь, а сейчас... Танечка, на минутку!

— Я не знаю, удобно ли, тетя, — смутилась Татьяна, когда они в спальней заговорили об экзаменах. — Станут говорить, что все это слишком по-родственному!

— Вот пустяки! — загорячилась Евгения. — Всего не переслушаешь, что говорят. Ты видишь, как я себя ни в чем не стесняю — в знакомствах... и в убеждениях! Вся эта казенщина очень мне надоела, и все это скоро... скоро... «Зачем мне романы Ершова?» — кажется, так ты

спросила. Видишь, теперь я скажу тебе... Я, может быть, только сейчас поняла. Я всегда думаю несколько позже... Тетя Евгения сбросила платье, на тонких руках ее тихо, как дождевые капли, позвякивали серебряные обручи. Признавшись, что «думает позже», она улыбнулась, как бы извиняясь, что с этим уж, видно, ничего не поделаешь. Татьяна глядела и думала: «Она — как подруга. И еще неизвестно, кто из нас старше».

— Видишь... это же жизнь! Надо, не знаю, надо — все, понимаешь? Все живо, и все бежит, и нельзя сидеть... в канареечной клетке! Ну вот!

«Она как морской ветерок!» — подумала про себя Татьяна, но ничего не сказала.

— А об экзаменах я на совете скажу!

— Не надо.

— Не спорь!

Когда Татьяна вышла к художнику, она сразу заметила, что бутылка вина была как пустая слезница; художник дремал. Однако шаги человека он тотчас услышал, как чуткий зверь.

— А я без вас думал... о вас, — сказал он, приоткрывая глаза. — Вы очень молоды и, конечно, обуреваемы чувством... понятием несправедливости в мире. Но справедливости нет. Каждый ее понимает по-своему, и, чтобы нечаянно не ошибиться, я ничего... так я решил: я ничего не знаю о справедливости! Я знаю и вижу борьбу, а борьба есть движение, а движение есть красота.

Татьяна необычайно заволновалась. День этот был для нее пестрый и яркий, как восточный платок на ветру.

— Что вы скажете о человеке, — внезапно спросила она, — который, воспользовавшись силой, причиняет другому зло?

— А именно?

— Не все ли равно? Ну, высылают, положим... за пределы губернии. А тот совсем невинный!

— Он генерал — высылающий?

— Допустим.

— Война. Генерала убьют. Не на войне, а в карете. Скрещение двух справедливостей. Обижаться не надо.

Проговорив это, как Пифия, он опять призакрыл один глаз.

«Что за человек!» — подумала Татьяна. То, что он сказал, было жестоко, даже, быть может, цинично, но в

то же самое время у нее было такое ощущение, что с этим нельзя не считаться.

— Вы знаете, я засыпаю, — пробормотал между тем Пискаренко. — Это, должно быть, от пыли. Проводите меня.

Евгения Васильевна, смеясь, отпустила племянницу. Она была во всем черном, и даже строга, невзирая на смех.

— Ты очень, Татьяна, права. Я устрою тебя в другом месте. Я поговорю с Иваном Ивановичем.

Желтый, палевый вечер дохнул им в лицо. В маленьком городском саду с полуоткрытою сценой тихонько настраивали скрипку. Скрипач был похож между зелени на сухощавое насекомое неведомой породы.

— Это он просит пить! — сказал художник и взял Татьяну под руку; походка его была неверна. — Пройдемте немного повыше. Не хочется в город.

Они направились вверх переулками и закоулками.

«К. И. Ведмедь, — прочитала Татьяна фамилию домовладельца. — На дворе есть собака. Стучите!» И собака, для большей убедительности словесного предостережения, была нарисована на воротах, ноги у нее были раскинуты в разные стороны и уши болтались.

— Смотрите! Смотрите! — закричала она. — Хозяин «ведмедь», и собачка немного похожа на медведя!

Дмитрий Иванович растрогался и поцеловал ее руку.

— Оставь! Негодяй! — закричал он внезапно и, бросив Татьяну, кинулся за мальчишкой, который целился в птичку.

Мальчик оторопел на минуту, но тотчас припустился бежать, а художник не сохранил равновесия и упал. И сам, как медведь, поднялся он и поглядел на свою руку сначала, потом на Татьяну; ладонь была исцарапана в кровь.

— Нет, это совсем не скрещение справедливостей, — ответил он на тайную Татьянину мысль. — Тут справедливость одна.

«Что это нынче все падают! — подумала между тем Татьяна. — Точно незвидимое землетрясение». И она попросила показать ей фанаторийских львов.

Это были уже окраины города. Налево серели остатки

Генуэзской стены; издали она была похожа на гигантскую челюсть, брошенную вниз по откосу; от времени или от сотрясения в разных местах у нее выпали зубы. Монастырь св. Ильи маячил высоко на горе.

Музей был закрыт, и львы молчаливо глядели на подошедших.

— У них такие же узелки вот тут, как у вас, — сказал Пискаренко, делая движение рукой к глазам Татьяны, и добавил, подумав: — Я их очень за это люблю.

Татьяна почувствовала, что это последнее относилось немножко и к ней.

И, лежа в постели теперь, перебирала она длинный свой день — фразу за фразой и человека за человеком. До нее доносилась глухая переключка собак. Возвращаясь с горы, они видели еще много таких же портретных изображений на воротах, как и у К. И. Ведмеда.

— Это не вы рисовали? — спросила она шутя художника.

— Нет, это не я, но я уважаю того, кто их рисовал. Я хотел бы с ним познакомиться.

Дмитрий Иванович жил далеко — у тюремного замка, против сенного и дровяного базара. Назад шла Татьяна одна, ей захотелось увидеть вечернее море. На улицах уже зажгли фонари, в порту вспыхнуло электричество, и за этой световой завесой пароходы и лодки сразу ушли в синеватую тьму. Они теперь поколыхивались, как смутные остовы гигантских неведомых рыб.

На бульваре был щебет, гулянье. Гимназистки прогуливались здесь с офицерами, — для Татьяны это было непривычно и ново.

— Пойдем-ка отсюда, — говорил длинный гимназист в очках. — Свои надоели!

— К стамболийским гимназисточкам, что ль? — отозвался другой. — Пожалуй, оно веселей.

На Итальянской, куда за ними вышла Татьяна, было еще болеелюдно, чем на бульваре. У табачной фабрики она увидела группу девиц. «Должно быть, это и есть стамболийские гимназистки!» — догадалась она и не ошиблась.

— Убирайся от нас, черт долговязый! — крикнула одна из них и ударила по рукам гимназиста; остальные его подняли на смех.

Внезапно Татьяна увидела утреннего своего матроса. Он стоял к ней спиной, в обеих руках держа руки невысокой красивой девушки.

— Ты нынче уедешь, — говорила, смотря снизу вверх, эта «стамболийская гимназистка», — а завтра табак мне все очи выест.

Она говорила как будто печальное, а черные глаза ее смеялись, и губы прыгали в улыбке. Руки ее были, должно быть, горячие, упругие и плотные, — такой она была крепышок. Около уха в черных ее волосах воткнул был веселый красный цветок. Татьяне очень понравилась эта феодосийская Кармен. Задорная, крепкая бодрость шла от нее, юг и загар заражали московскую девушку. «Ага, — подумала она, внутренне засмеявшись и с озорством в свою очередь, — вот когда я тебя, Ершов, припеку!» Из серебряной сумочки достала она маленький свой кошелек и с радостью отсчитала ровно тринадцать копеек. И только когда подошла и тронула его за плечо и сказала, только тогда сама себе удивилась, как развязал ее теплый вечер у моря.

— Вы за меня заплатили: возьмите мой долг.

Он обернулся и отпустил одну руку возлюбленной. Рука у нее заболталась по воздуху, но тотчас же она ее подняла и поправила красный цветок в волосах. Никакого смущения не отразилось на ее открытом лице, одно любопытство.

— Ты с кем это спутался? — спросила она, и грубый этот вопрос в ее интонации прозвучал нимало не грубо.

— А я знал, что вы будете помнить, — засмеялся Ершов. — Кабы не нынче мы отпльвали, зашел бы и сам к тетушке вашей. Я за веселость очень ее уважаю.

— Ну вот и прекрасно, — сказала Татьяна смущенно. — Берите же!

Вместе с деньгами он прихватил и пальцы ее; одна из монет прижалась неловко и больно, но девушка руки не отняла.

— Кабы не Катя, — нынче прощанье у нас! — так, ей-богу, пошел бы вас проводить, вечерок погуляли бы.

— Вот дурак-то! — воскликнула Катя. — Да чего ж ты ей про меня объясняешь?

— А может, я и ее тоже люблю...

Катя весело ударила его по руке, и он отпустил

Татьянину кисть. В эту минуту все тот же длинный, в очках гимназист задел, проходя, локтем Татьяну.

— Нехорошо с матросами, — проворчал он негромко. — Лучше бы... Ай! — и отскочил, схватившись за бок.

— Эй, бабушка.. А ну-ка сюда! — крикнул Ершов старухе цветочнице как ни в чем не бывало, словно бы кулак его не проделал только что движения мины в бок гимназиста. — Ну что же ты, божья старушка!

Сморщенная, будто залежавшийся в подвале лимон, коротенькая старушка цветочница продвинула вдрут между людей целый маленький сад. Ершов кинул ей Татьянины деньги, точь-в-точь как там, на вокзале: жестом богатого человека, привыкшего раскидывать целые состояния направо и налево. Катя окунула лицо в цветы и приняла живейшее участие в выборе.

— Вот этот возьми, — говорила она, вытаскивая лохматый серо-голубой ирис, — он будет поделикатней... Или вот этот!

Татьяна спокойно могла бы уйти, но, когда они оба стали копать в цветах, она почувствовала себя побежденной.

— И повихрастей, — добавил, мотнув головою, Ершов.

Они не спешили, как будто вовсе забыв про Татьяну; знали, должно быть, что не уйдет.

— Ну и опять же памятка будет у вас! — с весельем и торжеством обернулся Ершов.

Татьяна взяла два торжественных ириса и поблагодарила; она была смущена.

— А вы куда уезжаете?

— Прямо в Одессу, — ответил Ершов и, подумав, добавил: — Нынче там жарко!

Татьяна не поняла. Она думала о другом и, лишь отойдя шагов на двадцать, сообразила, что хорошо бы самой купить у старушки и передать цветы... не ему, а ей! Она в замешательстве остановилась, поколебалась и решила, что нет, что теперь уже поздно.

Тетя Евгения еще не возвращалась. Татьяна устала, легла. Как странно он любит, и как у них это все хорошо! «Вечерок погуляли бы...» И погуляли бы! И не побоялась бы с ним! Это не то что с лоценым чиновником из

купе. С этим — коричневым? Да ни за что в мире! И, однакоже, это он сказал: всякий на своем посту! Где же мой пост? А ведь Гри-Гри передал прокламации... Это наверно. А отец говорит... расстрелять или повесить! «Я не хочу жить *со сводом законов!*» Бедная, бедная канарейка Мимоза... В нем что-то общее с тем — с рыбаком, с музыкантом... И цветы все-таки надо было купить! Нет, нет, вовсе не надо. И справедливости нет. А если нет справедливости, то нет и любви, и ничего вообще нет. И зачем тогда жить? Татьяне хотелось заплакать. Но она уже и без того нынче плакала, это ей непривычно, и глаза ее, точившие слезы, узелки ее глаз были похожи на узелки у львов. Но львы ведь способны к прыжку, она же лежит крендельком под набегающей тенью листы и, кажется, уже засыпала и просыпалась. Однакоже, как это нет справедливости? Как это нет любви? Надо, чтобы было *все!*

— Ты уже спишь?

— Да, тетя Евгения! Нет, я не сплю!

— Ты знаешь, Одесса...

Одесса — такая же черная точка на карте отца. Туда едет Ершов. Быть может, как раз сейчас отплывает его пароход. Что он сказал про Одессу?

— Тетя, в Одессе — там жарко?

— Откуда ты знаешь? Да, да... Там как будто утихло, а теперь закипает опять. Я после совета... Завтра садись заниматься; мы это сожжем в несколько дней, чтобы потом отдыхать, отдыхать! Я после совета видела Гри. Но он, удивляюсь, он чего-то колеблется, а я уже вижу порох и дым. А впрочем, касатик мой, спи! Спи, моя сладкая крошечка!

Вместо дыма и пороха пахнуло духами, и тетя Евгения растаяла облаком; осталась Одесса, и слово *Одесса* стало живым. Сначала оно шуршало надкрыльями, подобно большому жуку. Потом, на глазах, внезапно оно загорбатилось и задымило высокой трубой: уже настоящий порох и дым, и зацепило за месяц; месяц упал и разбрызгал белую воду, а за месяцем тетя Евгения, а за тетей Евгенией Дмитрий Иванович Пискаренко, художник... Отчего они падают? Но уже много людей, один за другим, падали, падали и, упавая, шумели дождем в листьях каштана. Но Пискаренко поднялся, и рука у него была в крови.

— Нет, это совсем не скрещение справедливостей, — строго сказал он Татьяне. — Тут справедливость — одна.

И опять они вместе поплыли, кучка людей, и опять у костлявого рыжего человека с приподнятым левым плечом шевелились мохнатые рыжие уши.

После длительного путешествия по морю листвы и жидкого месяца, где на них лаяли целым архипелагом морские собаки, судно, наконец, прибыло в гавань; раннее утро и солнце. Татьяна раскрыла глаза и подбежала к окну. После ночного дождя море было как выстиранное — блеклое, ситцевое; только огромный столб крови, след от ядра, бежал по воде: это било горячее феодосийское солнце — с востока.

VI

Когда-то над Феодосией господствовала громоздкая Генуэзская крепость, теперь феодосийская современная крепость скромно приютилась в большом сером доме обычного типа на Итальянской: это табачная фабрика Стамболи. Огромное производство это, подавлявшее более мелкие — Майкоп, Крым, Самсон, — выросло не сразу, как и самый дом из жилого старого дома постепенно приспособлялся под фабрику, пристранвался и расширялся: каждый прибавок инвентаря, всякая новая площадь, создаваемая для табака, были биографическими событиями в жизни ее владельца.

Вениамин Стамболи, основатель этого самого крупного в Феодосии табачного предприятия и счастливый конкурент другого табачного магната, керченского Месахсуди, начал свою блистательную карьеру, не думая о том, что когда-нибудь его сыновья выстроят себе, пусть аляповатые, но тем более дорогие, дворцы по набережной, перед которыми скромно должен будет посторониться и сам Алексей Сергеевич Суворин, такой же, как и они, фабрикант, но только еще более крепкого зелья.

Маленький Вениамин жил и ютился кое-как, зарабатывая пропитание мелкой торговлей на улицах. Он из мешочка деревянную ложкой продавал портовым рабочим табачок — на копейку, на две, на три. Потом понемножку, подростком, начал соображать и, через целый ряд ступеней, дошел до ручного станка, старенького, по дешевке и в долг приобретенного в компании с двумя-тремя такими же, как и он сам, капиталистами, потом он это орудие производства выкупил в единоличную собствен-

ность, потом принимал кое-кого себе в помощь и понемножку стал обрывать. Он был неприхотлив во внешнем своем бытии и знал свое дело — людей и машины — до тонкости.

Уже войдя в силу, он вымуштровал также и сыновей: Мушу, имевшего дело с заказчиками, Исаака, странствовавшего по закупке плантаций, и младшего Иосифа, сидевшего на производстве, на фабрике. Каждое утро, задолго еще до работ, когда косые тени бежали от моря на прохладные улицы города, по Итальянской на рыжей (цвета лучше самого лучшего *трапезонда*, прокуренного серой) танцующей лошадке подъезжал Иосиф Вениаминович к дверям, ведущим в контору. По ритуалу, заведенному еще стариком отцом, подавался самоварчик, приходил старший мастер с помощником, работавшие на *армане*. Это был сортировщик-дегустатор, сидевший на этом деле десятки лет и имевший на своем лице, не в пример трапезондовой лошади, цвета и оттенки всех табачков, переходивших через его пергаментные ладони: светложелтого и красного на щеках, коричневого на подбородке и шее, зеленоватого у висков и черновато-кирпичного на носу и на губах; наконец, глаза его были подобны пеплу сигары. Сам он не курил, но с тем большею тонкостью — на ощупь; на запах, на глаз — распределял номера и составлял из них сорта. Он глубоко презирал французскую манеру *травления*, когда для придания определенного вкуса и запаха табак пропитывается самыми разнообразными пряностями и ароматами; ассортимент этот очень велик: анис, апельсин, гвоздика, алоэ, дягиль, корица, лимон, роза, шафран, мускат, валериана, миндаль...

— Табак, извините, не поросенок под соусом и не невеста в венчальном уборе, — говорил сортировщик, перебирая губами, сухо шуршавшими, как из папуши сухие листья. — Табак — это дело природное. Крымский Дюбек, например, легок и ароматен, но кислотоват, а если к нему сухумского Самсончика — третью часть, да крупного лагодехского малую долю, да через десятый лист крымского Американу, а на подстилку...

— Наш Айвазовский опять краски мешает! — говорил, улыбаясь, хозяин (дегустатора звали так же, как и знаменитого феодезийца). — Но вот по-коммерчески, я бы сказал, в номер сороковой можно добавить... Подвинь-ка сюда!

Художник табачного дела усиливал темные краски в лице и начинал негромко посапывать: в чистую игру тонкого аромата и вкуса вторгался властный заказ рынка и прибыли.

Иосиф Вениаминович крутил папироску, делал одну коротенькую затяжку и передавал мастеру; Иван Константинович только вдыхал легкий дымок, и под пеплом сигары в глазах порой загоралась красная искра. Не всегда это был какой-нибудь новый сорт, но всегда проверяли основные сорта — стандарт. Между каждой раскуркой Стамболи делал глоток крепчайшего чаю: для освежения вкуса!

Короткие эти дымки, короткие фразы, стынущий самовар, в котором миниатюрно играла листва далеких каштанов (ставили его на окно), и еще более далекие, глазом неразличимые, трепетали мотыльки парусов; пустующие соседние залы, где, однако, дежурный механик уже, проверяя, переходит от машины к машине и, заглянув на тротуар, видит конторщика, у которого лицо походит на педантически выписанный свеженький счет, а в глазах отражаются цифры; и надо всем, все проникая, табачная неоседающая пыль, ставшая воздухом, — таково раннее утро «Стамболийской гимназии».

Еще немного — и грохнет тяжелый в воротах засов, и сквозь распахнутые железные ворота дохнет в пустоту переулка мрачный и грязный двор, где кислый запах подгнивающей табачной листвы прочно смешался с запахами человеческого пота, отхожего места и конского навоза. Немного еще — и со складов сырья, расположенных в разных местах города, тяжелых и темных, похожих на тюрьмы, с решетками запыленных оконных квадратов, потянутся к фабрике квадраты тюков; громяхая по каменным плитам, косматые и мохноногие лошади, чихая от табачного запаха, втиснут слежалые кипы папуш в холод ворот, с тем чтобы в обратный путь, щеголевато и сильно двигая грудью, с бойким напором выкатить свежие фанерные ящики, полные кудрявого шелкового зелья; а по теплеющим тротуарам и по камням мостовой зашагают все те, кто продремал здесь короткую летнюю ночь: по две и по три, и поодиночке заспешат, во избежание штрафа, косынки, платочки, косы, косички, редкая шляпа. Ворота впускают, но не выпускают. В семь часов по звонку все на местах.

День начался. Горячее солнце испепеляет дома. Табачное царство накалено. Снаружи обычный и скучный вместительный дом. Окна его в обе стороны распахнуты на жаркую мостовую. Но с тротуара напротив в отворенные окна видны силуэты фигур, движение рук, сдержанный человеческий говор и размеренный сап машинных частей, скользящих по растопленному маслу.

Внутри же: движение, пот, внимательность глаз, соразмерность движений; машины не ждут, надсмотрщик не спит, хлеб-соль насыщенная — дорога. У армана Иван Константинович распоряжался, как полководец, посылая на поле битвы отряды различных родов оружия. Новобранцы не все выдерживали строгий осмотр, много шло в брак и в запас («ополченцы второго разряда!»). Тут он был виртуозом: цвет листьев и зрелость их, грубость ткани и жилок, запах и эластичность листа — ничто не ускользало от его внимания, все быстро и безошибочно взвешивалось и определялось; так же он, впрочем, муштровал и сподручных рабочих. Дальше шло спрыскивание, и табачки складывались в ящики и покрывались рядом, чтобы они могли там хорошенько отвологнуть.

Татьяна искала Гри-Гри, он обещал показать ей рабсты на фабрике.

За эти две-три недели в жизни ее произошло порядочно мелких и крупных событий. Экзамены кончены; тетя Евгения их спрессовала в несколько дней. В этой гимназии Татьяна сошлась с несколькими девочками, у которых был свой «кружок»; тетя Евгения в этом несколько ей не препятствовала. Правда, Татьяна была на кружке всего один раз. Там были и гимназисты; в том числе длинный, едва не приставший к ней на тротуаре. Это последнее ее немного смутило. Из «мальчиков» понравился ей один уже великовозрастный юноша, учившийся в учительском институте, а раньше и сам бывший сельским учителем в Тульской губернии. Все его звали по имени: Петр. Читали сейчас главу из книги Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Татьяна понимала туго, но тема ее заинтересовала.

Петр был один в синей рубашке с крученым дешевеньким пояском. После Бельтова он перевел разговор на другое и вступил в отчаянный спор с Григорием Григорьевичем, дорожным спутником Татьяны. Оба они от теоретических размышлений перешли к забастовкам, к

крестьянским волнениям. Злобою дня была забастовка телефона в Одессе. Григорий Григорьевич, как показалось Татьяне, был очень силен в вопросах теории, и вообще она ни капельки не удивилась, увидав, что он и здесь верховодит. Но когда разговор зашел о практическом, инженер сразу подкис.

— Телефон — это уже переход к прямому восстанию, а восстание должно быть подготовлено. Очередная задача — нажимать в экономике и добиваться свобод.

— Учредительного собрания! — сказал Петр крепким баском.

— Не возражаю, — пожал плечами Гри-Гри.

— А единственный путь к завоеванию человеческих прав — это именно вооруженное восстание. Довольно хождений к царю!

— Да я не за хождения...

— Бумажки и прокламации — хорошая вещь, — вел свою линию Петр, — а вооруженные массы — это дело иное. Я против единоличных террористических актов.

«Не на войне, а в карете; он генерал?» — вспомнила дочь генерала. «И я против террора». Она поглядела на молодого Петра, на нервного Гри-Гри. Бывший учитель был прост, как земля, горячность и жар он сочетал с убежденным спокойствием. Гри-Гри же напоминал ей сектанта-начетчика под стенами у Сергия-Троицы, куда они ездили, еще при матери, на богомолье. Этот противный, коричневым в вагоне спросил у инженера: «Что это значит: мои канцелярии, ну а *ваши*?» Татьяна теперь поняла, что этот вопрос не был пустою надуманной колкостью: у Григория Григорьевича, невзирая на всю его тонкость и остроту, а может быть и благодаря им, была какая-то приверженность к внутренним пунктам, параграфам, к тому расписанию, которому должна была следовать жизнь; у него была-таки — верно! — своя канцелярия.

Позже Татьяна подумала: «Что я за судья между ними? Оба хотят одного — революции, а я разве... тоже?» На этот вопрос Татьяна себе не ответила. Воздух со взморья, омывающий поры, проникающий в кровь, он входит без спроса и без вопросов. «Вооруженное восстание масс»... Но ведь это совсем не убийство в карете, это... война! Однако войну Татьяна и понимала и принимала. В ней было смятение: война... между своими?

— Вооруженное восстание, если оно неудачно... — сказал инженер.

И тут перебил его Петр, впервые с запальчивостью:

— А кто это может сказать наперед? Но и неудачное — неудачное, если судить только о нем, а в цепи событий...

Теперь стояла Татьяна на лестнице и не знала, куда ей идти. «Господин инженер в гильзонабивном», — сказал ей привратник, а где это гильзонабивное?

Почему все это сейчас ей припомнилось?..

Но вот она увидела ряд низких столов и скамеечек. Особо сидели черноголовые мальчишки. Татьяна невольно вошла и нагнулась, чтобы увидеть, что они делают. Они отрубали коротким ножом черенки, и желтые листья, казалось, текли между их проворными пальцами. Два из них на особом резце с двумя лезвиями ловкими и легкими ударами по обеим сторонам главного нерва высекали его.

— Это тут что? — невольно спросила Татьяна, едва успевая следить за листьями и за пальцами.

— Это цех щипки, — важно ответил, не взглянув на нее, один из согнутых черных кузнечиков.

Татьяна повела глазами на длинный ряд женских столов. То же мелькание листьев, и рук, и более медленно, ритмически, спин и голов. Вязки отдельных папуш, похожие издали, пока их не трогают, на груды вяленой рыбы, летели, как брызги, плотная пачка листы раздвигалась, как веер; два-три испорченные, летели листочки к ногам, как бы сами собою, меж пальцев; из рядом лежащей папуши брались новые листья и перемешивались с только что отпрепарированными.

Приходили рабочие с пустыми ящиками, забирали готовые и уходили.

Гладкие листья, без нервов, от мальчишек уносились особо.

— А все-таки вы-то что делаете? Зачем это нужно?

— А это особый табак, — для графов, для князьев! — задорно-значительно выкрикнул один из мальчуганов, на мгновение кинув в Татьяну лезвием своих глаз.

«Должно быть, отец курит такой! — подумала Татьяна с легким смущением, неизвестно от чего происходящим. — Вот уж не думала...» И она ощутила как бы

прикосновение воздушной листвы — целый веер ресниц: женщины из-за столов пошевелились и на мгновение, как по команде, окинули взглядом фигурку Татьяны. Именно так: чудодейственной силой множества глаз Татьяна и сама себя ощутила со стороны некоей «фигуркой», возникшей между людей, занятых существенным делом. И, как далекого друга, по ту сторону рывины, их разделяющей, увидела она голубой поперх головы платок и два черных глаза под ним. Она инстинктивно протянула руку туда и быстро пошла, как по легкому, перекинутому в воздухе мостику: когда кажется трудно переходить, легче — перебежать!

— Катя! Здравствуйте, Катя! Вы меня помните? Вы меня не узнали? — Татьяна очень обрадовалась.

— Я очень хорошо помню вас, — неспешно ответила Катя, и глаза ее влажно блеснули из-под темных бровей. — А Иван-то Калиныч поклон вам прислал.

Тут она улыбнулась, и Татьяна увидела, какие у нее крепкие ровные зубы.

Еще-одною из маленьких перемен в Татьяне было то, что она в первый раз в жизни загорела как следует. Зонтики, тень, к которой привычно она прибегала даже в деревне, все это было забыто. Татьяна едва ли сама представляла, почему это она отдалась такому немодному (тогда это было немодно) свободомыслию; только однажды, на берегу, шутливо подумала: «А море? Разве оно ходит под зонтиком?» — и рассмеялась. Загар неожиданно очень к ней шел; чиновник с орлами на сей раз был прав. Как бы то ни было, загар этот скрыл, как густо она покраснела от присланного ей Ершовым поклона.

— Вы кого же тут ищите? — не оставляя привычных движений, спросила работница.

— Григорий Григорьевича... тут... инженер!

Катя опять быстро взглянула, на этот раз очень серьезно, как на сообщницу, и как будто хотела сказать: «Так и ты... тоже?» Но лишь повела головой и как бы совсем равнодушно ответила:

— Он в гильзонабивном! — Потом удивительно тихо, но внятно добавила: — Вы с ним при других будьте осторожней! Тут слушают... — И громко опять: — Ефрем Васильич, вы бы барышню провели к инженеру! — И еще раз тихонько: — Ефрем-то Васильич — он свой!

Так невольно Татьяна в первый раз в жизни «попала в конспирацию»; странно, ей это было приятно: как холодок в удушливый жар. Она подивилась, как Катя свободно, легко провела разговор; и еще больше того, может быть, была поражена, как, разговаривая, а порою и взглядывая, ни на минуту она не оставляла работы, точно была не человек, а механизм.

Ефрем Васильич, человек очень малого роста (у него было прозвище: «Короткая курка») и в очень длинном мешковатом пиджаке, с большими унылыми усами, точно их вывесили на веревке проветрить, да и забыли, косо, снизу наверх, повел головой на Татьяну, как если б въезжал на пригорок; потом он поглядел на свои широкие руки, крепко подул на них, на минуту вздыбив усы, потер деловито ладонями, но руки все же подать не решился. От Татьяны движение это не ускользнуло.

— Что же, пожалуйста, — сказал он как бы доверительно. — Я вас, пожалуй, и проведу!

По пути Татьяна увидела, как в закромах для хранения «мешек» заботливо работницы распределяли табак такими ровными слоями, как если бы собирались стегать одеяло.

— Отсюда в крошилный станок, вам небось любопытно? Мы мимо пройдем! — И старый рабочий опытным взглядом окинул желто-волнистое табачное море.

— Пойдемте, — сказала Татьяна.

Ефрем Васильич ей нравился, от него самого шел какой-то удивительно приятный, немного слежавшийся запах, — нравился ей, но она не умела заговорить. Старик это сам, однако, почувствовал. Он подошел к кромке закрома и приподнял в горсти кипу смешанных листьев. Татьяна нагнулась понюхать.

— Ваш батюшка курит? — спросил он. — А может быть, нюхает? Нет? Так вот ему, слышь, будет весьма любопытно. Я вам отберу...

Это неожиданное «слышь» — полупереход на «ты» — совсем подкупило Татьяну.

Ефрем Васильич с неожиданной живостью стал подбирать «ассортимент». И, подбирая, ворчал понемножку в усы:

— Табаки, они тоже, как бы сказать, имеют дистанцию — поделikatней и побазарней... Как бы сказать,

господа табаки и гм... гм... простонародье... Молодежь нынче, видишь, пошла социальная...

Он бегал от закрома к закрому и передавал ей лист за листом:

— ...пошла социальная, ну и табачок. Это, понять, аристократы: ялтинский Дюбек высший сорт, Американ первого района... Опять хороши табаки огневые: Майкоп и Кубань, бессарабские, лагодехские трапезонды... Извольте, видишь (так он сочетал «ты» и «вы») — цвета-то, цвета! — оранжерея, лимон! А вот красный — это купечество, это чаек и трактирчик, небось не бывала? Это крепкая штука: береговой трапезонд и сухумский! А вот это — кирпич, будто бы стройка — это наш брат пролетариат! Видишь, горяче-ключевский Самсон... А только, скажу, и хорош: крепость и аромат!

Татьяна слушала эту нечаянную лекцию, нюхала один за другим листы табаку разных форматов и всевозможных оттенков, и у нее начинала кружиться голова. Она с удовольствием вышла в крошилную и увидела машину. До сих пор люди, сырье — это было почти неотделимо, здесь — шестерни и ремни, уверенно-матовый блеск отполированной стали, все это создавало «дистанцию», заполненную прохладною творческой воли.

По горизонтальному желобу к системе колес и ножей равномерно текла, постоянно разравниваемая и приглаживаемая, компактная масса табачной листвы; она прессовалась, а нож, как гильотина, опускался и поднимался, отрезая узенький пласт за пластом. Самая площадь разреза Татьяне напомнила рисунки разреза земли. Она постояла, слегка замороженная этой системой ритмических звуков — овеществленного времени. Ефрем Васильич тоже замолк. Едва уловимым движением век следил он за ножом.

— Пора поточить, — сказал он почти про себя.

Татьяна пристально глядела теперь, как переменный нож прижимали к точильному камню, и ей делалось страшно, когда чьи-то грубые пальцы нажимали совсем у лезвия. Но неожиданно — тихий (тем более ее поразивший) раздался крик у станка, к которому она повернулась спиной.

Татьяна и раньше заметила мучительное несоответствие между движениями рук, ловкими, быстрыми, как бы играющими, и тяжело напряженной, прижатой линией низких бровей. Это было у всех, кто за машиной, и

это приоткрывало ей один из законов труда, где видимая легкость, непринужденность, даже изящество даются тут и постепенным разворачиванием пружины сосредоточенности. Это было у всех, но молодая женщина с очень приятным и миловидным лицом, лишь неестественно бледным, особенно ее поразила этим преодоленным разрывом, который давался ей, видимо, мучительно трудно. И крик ее был криком падения, приглушаемым вошедшею в кровь дисциплиной: сдержанный и почти деловой, чтобы предупредить о происшедшем и не слишком встревожить людей столь незначительным происшествием. Татьяна тотчас к ней побежала.

Машины шумели еще, но уже водворилась людская мертвая тишина, впрочем тотчас же сменившаяся порывистым говором (все же не громким). Женщину подняли, побежали за водой.

— Ваську-регулировщика надо позвать!

— Кто-то за ним побежал.

— А «наместника» нет? Васька может его и ножом!

— Да и следовало бы!

— Девчонку испортил! Девчонку испортил! — шептал рядом с Татьяной весь побелевший Ефрем Васильич; он глядел на свою спутницу попрежнему снизу вверх, но ноги его были так широко и крепко расставлены, как будто бы он ее от чего-то оберегал.

— Отчего она так? — спросила Татьяна, сама сознавая наивность вопроса.

— И у меня дочка есть дома, — продолжал Ефрем Васильич свой сдавленный шепот, — слесарь жених. К покрову... К покрову...

— Ну грех — это дело десятое, кто тут судья! — пробурчал с хрипотцой рыжий веснушчатый малый. — А вот ежели грех вышел наружу, — как так беременную девушку... и на станок!

— Пять рублей косому, слышь, дал: привези, говорит, ко мне в дом после бани... Этого черта давно бы уж надо пристукнуть... Не одному Василью «наместник»!

— И статуэтку ей подарил со стола...

Татьяна теперь понимала. Только так и осталось неясным, кто же именно был этот «наместник». Его на фабрике не было: Василий, регулировщик, первым делом кинулся было к нему в кабинет... Теперь он стоял, не зная, что делать с руками, налитыми кровью.

— Отвези-ка ее ты домой!

— Ох, и отлупит ремнем... почему зря! — слышался женский знающий шепот.

Но тут лежавшая женщина вдруг тихо вздохнула, лицо ее было мокро от воды, и повела слабой рукою к Василию. К удивлению многих этот порывистый парень так заботливо поднял ее за полную талию, что у Татьяны отлегло от сердца.

В стороне она различила теперь несколько тихих, но весьма оживленно беседовавших групп. До нее долетали отдельные фразы, вернее слова: «Да и нормы понизить...» — «А как же? часы?..» — «И обращение тоже...» — «А обыски?..»

«Нет, они не подпишутся... — смутно подумалось Татьяне, — и за восемьдесят копеек в месяц они не подпишутся на «Московские ведомости!»»

К Ефрему Васильичу подошел человек в пиджаке, восточного типа; глаза у него были (а может быть, стали) тяжелые.

— Одно к одному, — сказал он негромко, кладя ему на плечо волосатую руку. — Пойдем, брат, к механику.

— Только Григорий Григорича... нет, не замай! Пусть будет чист, — так же негромко и деловито ответил тот. — Да вот и он сам. Пожалуйте, барышня! С рук вас и на руки!

— А я вас повсюду искал, — обратился к Татьяне Гри-Гри.

Он был немного бледнее обычного, но выглядел совершенно спокойным, как бы ничего не заметил, не знал; он повел за собою Татьяну.

— Посмотрите: как буря!

Татьяна обернулась, куда он показывал, и почувствовала, как инстинктивно он сжал ее кисть; вероятно, она сделала бы то же. Это была настоящая, в миниатюре, снежная буря, только снег был рыжий и под стеклом: так охлаждаются и прочищаются табак. Татьяне в ее смятении чувств, внезапно возникшем, смутно пригрезилось, что она заглянула в прозрачное зеркало.

— Мне нельзя показывать виду, что я причастен ко всему этому, — доверительно сказал ей Гри-Гри, вдохнув и выдохнув, сморщивши ноздри, тугую струю табачного воздуха, и отпустил ее руку.

Татьяна неосознанно поднесла ее ближе к лицу (у

нее была эта привычка; дома она просто бы даже понюхала) и ощутила запах машинного масла. Она поглядела: Григорий Григорьевич был в синем рабочем балахоне, сильно вымазанном. В глазах его мерцали рыжие огоньки: нет, он не вовсе был лишен темперамента!

— Нынче суббота и выдача, — сказал он, — не знаю, как это будет. — И пояснил на безмолвный Татьянин вопрос: — По субботам рабочим выдается табачный паек. По восьмушке. И даже табак высшего сорта, но только, конечно, под дешевою бандеролью.

— А разве так нельзя взять? — наивно спросила Татьяна.

— Первый раз штраф полтинник, второй — рубль, третий раз — вон!

— И куда ж эти деньги? Как только не стыдно!

— А тому, кто обыскивает. Вон видите, там!

За углом коридора Татьяна увидела быстро шмыгнувшего человека. Он шел, как и все, но изумительно напоминал бегущую крысу. Живо Татьяне представилась Катя, и как эта крыса лапами по ней бегаёт; её слегка затошнило.

В гильзонабивном, куда Татьяна, наконец, добралась, было просторней; здесь ещё больше машина послушна была человеку и делала целую цепь тонких и умных движений. И, невзирая на то, что Татьяна отдавала себе ясный отчет о происходившем на фабрике и понимала, о чем шумели сейчас и внизу и вверху, строгая логика движений и их чистота заворожили её, точно сама она путешествовала с одного легкого мостика на другой, ещё более легкий.

Длинная лента папиросной бумаги с круга шла книзу, и постепенно кверху края её заворачивались в ровную трубку, две небольшие зубчатки, через которые она проползала, скрепляли её, как бы прошивая, а острые ножницы резали отдельные, едва весомые гильзы; с другой стороны табачок, ровный, волнистый, ложился под пресс, резался и принимал форму цилиндрика; навстречу шла гильза, конец её цепко обхватывали особые щипчики, и стержень вталкивал в неё цилиндрическую порцию табака: папиросы рождались и ровным дождем падали в коробку.

Григорий Григорьевич, как папиросы, отдельно ронял слово за словом, идя от этапа к этапу; впрочем, ухо его, наверное, слушало отдаленные шумы, но он ничем себя не выдавал. Татьяна особенно задержалась на щипчиках;

в ритмических и деликатных движениях их действительно было очарование. Они походили на умных двух обезьянок, неустанно игравших в игру, которая им не надоедала. И вдруг что-то произошло...

Татьяна услышала длительный свист пара, ремней, останавливавшихся как бы в недоумении, поршней и шестерен. С недоумением она увидела, как замерло все, и на полудвижении, на волосок от придвинутой гильзы, замерли ее обезьянки. Она взглянула на Гри-Гри. Инженер наклонился к самому уху ее, но произнес достаточно громко:

— Началась забастовка.

Из множества лиц, как рыжая буря кружившихся перед Татьяной, когда она покидала фабрику, ей запомнились два. Катю она увидела, когда та скинула с головы голубой свой платок и замахала им в воздухе. Она что-то кричала в толпе, и зубы ее блестели на солнце, а голубой ее платок напоминал собою о море. Другой был Ефрем Васильич, спутник Татьяны по фабрике. Он шел в сопровождении трех горячо говоривших рабочих. Сам он молчал и был все того же короткого роста, но казался вдвое выше самого себя. Татьяна его остановила и, повинувшись инстинктивному побуждению, протянула руку ему на прощанье; в другой руке был подаренный им ассортимент табачных листьев. Она держала их цепко, как бы боясь уронить. Ефрем Васильич на минуту перед ней задержался и уже без всякого смущения, даже с некоторою важностью, протянул ей свою руку, которую за полчаса перед тем постеснялся подать при знакомстве. В его простоте было сознание большого достоинства, как если бы у себя дома хозяин провожал бы порога добрую гостью.

Татьяна почувствовала еще раз и поняла: началась забастовка.

VII

Про длинного гимназиста так объяснил художник Татьяне:

— Видите ли, душа моя девица, — и, между прочим, просим не гневаться! — во всяком мужчине, а гимназист

уже тоже мужчинка какой ни на есть, сидит обезьянин. Это меня так учил переводить с французского на русский милейший мой наставник мосье Сильвестр: «Один какой-то нибудь профессор любил обезьянина». К политике и, в строгом смысле, к морали это, пожалуй, и не имеет прямого отношения...

— Но ведь это же гадость!

— Да вроде того... — И Пискаренко с раздумьем и забавною неохотой длиннейшим ногтем на пальце, как вязальной спицей, почесал в голове. — Но за это ведь просто надо бить по рукам!

— Он и ко мне чуть не пристал! — наконец, призналась Татьяна.

— Как это к вам? — вскипел Пискаренко в сильнейшем негодовании. — Да я бы на месте его раздавил!

Татьяна в ответ рассмеялась.

— Я и не знала, что вы... прямо как тигр!

— Ну, положим, скорей как медведь.

— Но только я вас должна огорчить: за меня вступился матрос!

— Молодой? Ну, конечно! А впрочем, я жму ему руку.

— Станный вы человек, Дмитрий Иванович: вы беспристрастны в теории или... *так вообще*, а вот в частных реальностях...

— А как же иначе? Да и кто вам сказал, что я беспристрастен! Еще, пожалуй, вы скажете, что и бесстрастен? Нет уж, простите меня вовсе, Татьяна Антоновна, я именно человек острых пристрастий...

— А то и страстей? — лукаво спросила Татьяна.

— А как бы вы думали! И уж во всяком случае... нежных, так сказать, чувств. А уж что касательно вас...

— Не объясняйтесь в любви!

Разумеется, он не объяснялся, но в то же время и объяснялся; Татьяну немножечко это занимало. Они очень дружили и частенько ссорились, а ничто так не укрепляет дружбы, как ссоры.

Дмитрий Иванович был очень прост, но одновременно и внутренне витиеват, как-то своеобразно два эти свойства в нем уживались; даже борода его, вся состоявшая из крохотных завитков, была и витиевата и монументально проста и внушительна. В искусстве своем грешил он некоторою декадентщиной, изображая на полотнах

преимущественно допотопную жизнь. Бродили там полчища ихтиозавров и мамонтов, кряжисто, грибами, всходили многоствольные баобабы. Он рисовал картины из жизни животных, но эти животные были явно очеловечены. Об этом говорили и названия картин: «Помолвка двух мамонтов», «Кентавр у доски держит экзамен», «Крокодил вынимает занозу у детеныша»; и у мамонтов было смущение и застенчивость, у кентавра лил пот, грудь была засыпана мелом, и явственная дрожь пробежала в мохнатых его конских коленях, а у крокодила в длинной улыбке ни одного не было зуба (кривого и тонкого), который не дышал бы любовной заботой и заботливою любовью.

— Это все так... мимоходом... эскизы, — говорил он в смущении, перевортывая полотно и ставя его в пыльный угол. (Больше всего любил он поворачивать свои произведения и ставить их в угол и с трудом перевортывал к свету.)

— А зайцы зачем? — спрашивала Татьяна.

— А это, видите... Это мой глаз. Да вы не спрашивайте! Это я сам там присутствую и сам оттуда гляжу! — И он начинал объяснять пересечение линий, как глядится оттуда, как глядится отсюда. — Это чисто техническое, это задачи...

Но Татьяна по-своему воспринимала пискаренковских зайцев, сидевших в углах, и на островке, и даже на деревьях. Зайцы ей нравились, в них была жизнь и невинность.

— Или еще: это как почерк мой или... ну, подпись. Будет всемирный потоп, кое-что уцелеет... Я потому и собак люблю на воротах. Ну, вот и меня по зайцам запомнят, узнают.

— А я?

Он понял вопрос.

— А вы у меня будете голубем с оливковой ветвью. Эти животные — это ведь чувства и страсти людские. Гляжу на базар и рисую. Это эскизы к потопу. Когда-нибудь будет потоп.

Он глядел за окно и, помолчав, продолжал:

— Не то древность, что древность. Не фанагорийские львы и не Генуэзская башня. Они, как и мы сейчас. Но будем и мы настоящей древностью. И может случиться, что это скоро и станется.

— Скорее землетрясение, — предположила Татьяна, вспоминая, как здесь в первый день люди падали.

— А это одно и то же, — отозвался он невозмутимо и положительно.

Ссорились они из-за вина, которым он порядочно злоупотреблял, из-за чистоты и опрятности, которых он органически не принимал, и из-за некоторых других мелочей.

Впрочем, всего только раз они поссорились крепко. Он пришел навеселе и выказал себя совсем неприятным задирой.

— Когда я был молод, я брился и имел а-ме-ри-кан-ский прилизанный вид. Порядочная гадость, не правда ли? И цилиндр, выпивая, приподымал набекрень. Как Макс Линдер.

— Хотела бы я посмотреть! Наверное, к вам очень шло!

— Ну, вот! Я так и знал! Все женщины таковы.

— Дмитрий Иванович, потише!

— А чего мне потише! Я хочу рассказать про бритье. Попался мне парикмахер. Не парикмахер, а приват-доцент по философии, а то и по литературе. Роста гигантского, белый халат, волосы черным ежом — где-то там в поднебесье. «Вас бритье не беспокоит? Пудры прикажете?» — «Не надо, я пудры не люблю! — «Не употребляете? Это восторг! Мужчинам и не следует уподобляться женскому сословию. Пудра не больше как тлен. Вас не беспокоит? Пудра скрывает шероховатости, мелкие дефекты кожи, но ведь только на миг! Только на миг! А женщинам — им ничего больше не надо, они живут мигом. В этом, конечно, и вся женская суть». И, знаете, этак дунул по воздуху — фиксатуар, одеколон! «От мига и до мига» — и под конец сам подмигнул, как настоящий философ: дескать, мы понимаем друг друга!

— Дмитрий Иванович, вы сами как парикмахер! — рассердилась Татьяна.

— К сожалению, я, кажется, больше объект для парикмахера. Но я разделяю его философию.

Под конец он дошел до того, что стал утверждать, будто женщина и вовсе почти не человек: она не верна, не глубока, капризна, фальшива, и мила только снаружи, и добра лишь для показу, и вообще женщина — это напасть. Татьяна сначала отшучивалась, но под конец разозлилась, поджала губы и стала совсем некрасивой.

Дмитрий Иванович пристально на нее поглядел.

— Ну вот, точь-в-точь! — произнес он с пьяным упрямством. — Что же не выгоняешь?

— Идите! — сказала Татьяна и вышла сама.

Художник два дня не появлялся. Татьяна не вытерпела и пошла его навестить.

— С утра выходил, — сказала хозяйка, — а не видала, чтобы вернулся.

В комнате были мусор и пыль, стояли пустые бутылки, на столе лежал исписанный лист непочтовой бумаги. Татьяна в задумчивости подошла к столу и невольно прочла: «Когда человеку бывает так тяжело, как тяжело было мне, он идет к последнему свету и гасит его, он вынимает реликвию и глумится над ней. И его прогоняют тогда, когда надобно было бы протянуть к нему руку и погладить дурацкую голову, как глядят порою последнего пса. В этот день — как пригадала! — в день годовщины, как от меня ушла четыре года назад, жена прислала письмо. Я был мужчиной, и я ей отказал: не приезжай! И я пришел к вам, Татьяна! Татьяна!..» Дальше шло еще несколько строк, но Татьяна отпрянула в ужасе: она поняла, что это было письмо и оно было написано к ней. Однакож она не убежала. Она огляделась кругом и стала убирать комнату. Она делала это не очень умело, но постаралась. За окном увидела куртину цветов, душистый горошек бойко о чем-то и разноцветно; пестро сам с собой разговаривал. Татьяна перекинула ноги за подоконник и сорвала несколько тонких цветков. Она собралась было вернуться, как увидела: в деревянной беседке что-то белеется. Ребяческое любопытство овладело ею. Потихоньку она подошла и увидела спящего художника. Он лежал на узенькой лавочке и казался непомерно громоздким и в то же самое время походил на уснувшего ребенка, которого забыла в беседке нерадивая нянька: он был и мамонт и заяц одновременно. Татьяна полюбовалась на это своеобразное зрелище и отошла, очень тихо ступая. Цветы она в воду, в стакан поставила на подоконнике и ушла к себе прямо из сада. Это и был первый шаг к примирению; второй — и даже не шаг, а прыжок — не замедлил сделать он сам.

Но Дмитрий Иванович наряду со всем этим бывал и монолитен; высказывания его тогда бывали точны, порой грубоваты и всегда оригинальны. Татьяну весьма

удивили (и заставили призадуматься) его рассуждения о забастовке на фабрике.

У тети Евгении диапазон знакомств был действительно необычайно обширен. Она отнюдь не замыкалась ни в одном из кругов, но и не очень любила пересечения их, ибо тогда могли бы возникнуть некоторые неудобства и острота. У нее бывала и молодежь, и люди типа Гри-Гри, и местные «крокодилы», как она их называла.

— Феодосия, деточка, это провинция, ты не обольщайся, и никаких «львов» тут не водится, кроме, впрочем, фанаторийских. Их я ужасно люблю. А «крокодилов» сколько угодно! Недаром ведь море!

— Но, тетя, насколько я знаю, крокодилы в море не водятся. Крокодилы водятся в Ниле.

— Ах, это все равно! — позвякивала браслетиками Евгения Васильевна и крокодилов именовала отдельно: — Таможенный крокодил, почтовый и даже — крокодил... полицейский. Положение обязывает! — говорила она. — Ничего не поделаешь! — и в черных горячих глазах ее пробегала брезгливость; однакож гостей принимала с любовью и вина давала получше.

Те в свою очередь очень ценили это общение и на вольности Евгении Васильевны глядели сквозь пальцы. Для них, как-никак, это было проникновением в «общество». Кроме того, вольнолюбивая барынька имела отличные связи и в Петербурге и в Москве и, стало быть, знала, что делала. Да и времена неустойчивые, надо поглядывать на оба фронта: еще как все повернется! Не одна Евгения Васильевна, а и вся страна начинает себе «позволять!» Приверженность к старому строю, «привычному», конечно, сидела в крови, и по инерции делалось все полагавшееся, что должноствовало и защищать и укреплять — «на славу нам... на страх врагам!» — но, по правде сказать, особого энтузиазма, чтобы «лечь костьми», — этого не было. Внимательный сельский хозяин всегда отличит декабрьский крупитчатый и занозистый снег от февральского вялого снега: все будто бы так же бело, но на февральских полях почует усталость, покорность весенней судьбе, и изнутри эта передвесенняя рыхлость разлагает и самый крепкий сугроб.

Знала Евгения Васильевна и настоящих ярых черносотенцев, полных бычьей крови, но этих она к себе не

пускала. Не примешивала, однакож; не только Гри-Гри, но и художника, на «суарэ» — к этой холоднокровной компанийке «крокодилов», бронированных, как настоящие аллигаторы, в чешую своих вицмундиров. И, однакоже, людям искусства закон, как говорится, не писан: художник однажды пожаловал.

Высокие люди города обсуждали события. Для Татьяны речи эти не были новы, это были отголоски газетных статей и собственные домыслы, сортом пониже московских, к которым она привыкла в кабинете отца. Она сидела, помалкивала, глядя не столько на них, сколько в себя, и изумляясь своим не произносившимся ею, но горячо зарождавшимся и протестующим репликам. Море незримо плескалось в ней.

Впрочем, была одна сторона в этих беседах, которая делала их для Татьяны, пожалуй, и интереснее московской высокой политики: в них было много конкретности, жизни. Евгения Васильевна порою выуживала и полезные сведения, которыми позже делилась с Гри-Гри. Так, кое-что удавалось ей узнавать о положении арестованных (в их числе оказался и Ефрем Васильевич — «как коновод»), кое-какие предположения «властей» и даже о передвижении местных воинских сил.

Вот и сейчас, раскрасневшись, Евгения Васильевна только что выслушала, как ее по секрету предупреждали относительно Григория Григорьевича:

— Поступило одно сообщенье от конфиденциального свойства — от дорожного его спутника, достойного доверия человека... Я не говорю о речах возмутительных, я до некоторой степени тоже за свободу слова... в границах, конечно. От века я не отстаю, но между словами и поступками есть разница! Корреспондент наш, извольте видеть, почуял и пересел рядом в вагончик, дабы предоставить ему большую свободу действий. И вот ночью, на станции... ну все равно на какой, ваш инженер изволил передать некий пакетик сугубого свойства одному человеку... Конечно, того задержали и... все, как следует быть.

— Я плохо этому верю, — сказала по виду спокойно Евгения Васильевна. «Как он при всей своей осторожности... как он неосторожен, Гри-Гри!» — думала она между тем и не знала, как бы ей этот донос совсем опровергнуть. — Этого не может быть! — добавила она вслух. —

Инженер Терпигорев ехал в одном купе с моею племянницей, и она не могла бы не видеть.

— Как с вашей племянницей! — изумился чиновник. — Не может этого быть! С ним, правда, ехала молодая особа, но только...

— Нет, договаривайте!

— Это, знаете, частные сведения... в приватном письме...

— Что ж, он за нею ухаживал, что ль, ваш корреспондент?

— Вот именно, что краткосрочный роман... в духе времени! — глупо признался чиновник и тотчас же почувствовал, что совершил страшную глупость. Он стал поправляться. — Таким образом, согласно известным вам обстоятельствам, никоим образом уважаемая Татьяна Антоновна не могла быть означенной особой! — И он сделал легкий полупоклон по направлению к Татьяне.

— Нет, это была именно я, — сказала Татьяна и поднялась.

Она сделала было даже привычное движение — прижать к груди обе руки, но сдержала волнение и опустила их с полупути. (Чиновник, однакоже, сделал из предосторожности полшага назад.)

— Стало быть... — начал он.

— Стало быть, этот знакомый ваш... — хотела закончить Татьяна...

— Первостатейный мерзавец! — крикнул с азартом в дверях Пискаренко; он вошел с минутой назад, его никто не заметил. — А сами вы после этого... вы... — продолжал он, внушительно переступая порог.

Татьяна ему сделала знак.

— Стало быть, этот знакомый ваш... — продолжала снова она, но злополучный рассказчик уже сам прервал ее возбуждение:

— Да он не мой! Ради бога, не мой!

— Ну все равно, — вступилась Евгения Васильевна, немного встревоженная маленьким скандалом и радуясь счастливому обороту дела с Гри-Гри. — Все равно, теперь это ясно, что и про инженера все выдумано. Он его просто... не знаю что... приревновал!

— Он очень низкий человек! — докончила, наконец, Татьяна. — И клеветник. Здравствуйте, Дмитрий

Иванович! И я хотела бы знать, где он собственно служит?

— Служба? Не знаю... Двойная... двойная-с!

И разговор перешел на забастовку.

— Однакоже как с этим быть? — шутливо сказал старый почтмейстер. — Сегодня ты без табачку, а завтра, глядишь, и без трубочки!

— Тут заграница мудрит, — вступил в разговор глубокомысленный политик из таможни. — Контрабанда бывает не всегда материального свойства, бывают и мысли, которые, как семена, здесь прозябают... заграничной породы... — Он закурил папироску и, предвольный, надолго умолк.

— Да, Исаак Вениаминович теперь, я думаю, по-кряхтит!

— А я не думаю, — сказал неожиданно Пискаренко. — Чего ему кряхтеть? Кряхтеть будут рабочие!

— Как это так?

— А весьма даже просто. Табак теперь волглый, и всегда в эту пору производство весьма сокращалось, а это не так-то просто, тут же все сделалось само собой. Да и ремонт на фабрике необходим. А тут еще, чего доброго, можно субсидийку на разорение, на «тяжелые обстоятельства»!

— Государственный ум! — неопределенно лукаво протянул, вытягивая подагрическую ногу, старик почтмейстер; он был стар, но щеголеват, и ему хотелось показать нарядный носочек голубовато-сиреневый, в яркую фиолетовую полоску.

— Не государственный ум, а на свете все бещи просты. Но напрасно вы думаете, что раз художник, так в политике, значит, дурак. Ни Леонардо не был дурак, ни Данте. Мы только ленивы на это. Да, а рабочие? Ну как же без заработка? Вот они-то именно и по-кряхтят.

— Глубокая мысль! — воскликнул тот самый, что попался с Гри-Гри; он счел, что была самая пора и ему вступить в общую беседу. — Так вы против забастовок? Ну, а каков же ваш путь для преодоления конфликтов между рабочими и предпринимателями?

Художник надулся и не отвечал.

— Ведь государство заинтересовано в равновесии экономических сил и в мирном сожительстве классов!

— Ничего подобного! — буркнул в кулак Пискаренко.

— Тогда я не понимаю вас... Отказываюсь вас понимать.

— А меня понять очень просто, — встал, наконец, художник. — Предпринимателей надо бить, и полицию надо бить. И даже полицию в первую голову. А впрочем, вы не бойтесь, бить надо на площадях.

Так живописно произошло это непредвиденное скрещение двух кругов тети Евгении. В глубине души она все же была скорее довольна. Для Татьяны Дмитрий Иванович преподнес и еще одну неожиданность. Уже за винцом, придя в благодушие, он обернулся к соседке и тоном признания негромко сказал:

— А впрочем, все эти мысли, я вам признаюсь, они не все мои. Но они мне ужасно понравились. Это, видите, Катины мысли.

— Вы знаете Катю?

— Узнал. Недавно. Случайно. И собачника тоже узнал. Ну, который на воротах. Мне захотелось его отыскать. А к нему пришла Катя. Я знаю, что вы ее знаете.

— И она вам понравилась?

— Ужасно понравилась. Тоже и Петр. А собак он — для заработка.

— Ах, этот Петр!

— А вы и Петра успели узнать! — удивился в свою очередь Пискаренко.

— Я племянница тетушки, — улыбнулась Татьяна, — и я знаю теперь решительно, кажется, всех. Впрочем, кроме, может быть, вас одного. Вы каждый день новый.

Когда уходили, в передней замешкался старый почтмейстер.

— Для вас любопытно-с! — совал он бумажку Евгении Васильевне. — Я всё нет, не ретроград. Подлинное я отослал по назначению, а это собственно из любопытства. Я на досуге снимаю себе дубликаты. Все может быть! На старости лет, может быть, буду писать мемуары о нашей эпохе... Ведь это — эпоха-с!

Переданный им «документ» и действительно был вдвойне интересен. Тетя Евгения, сама прочитав, принесла его уже ночью Татьяне.

«...хотя временами все это оплачивается физическим трудом, бессонными ночами и т. п.».

Татьяне казалось, что она читает теперь продолжение этого письма к «Ване», хотя и было оно не из далекого Носи-Бэ, а из какого-то черноморского порта. Матросская жизнь, правда на берегу, вставала перед нею во всей своей, скромно сказать, непривлекательности.

«Установили правило уходить со двора только после пяти часов вечера и то с билетами от ротного. А ротные так зря билет не дадут, всегда им нужен отчет, куда ты идешь. А без билета никуда не уйдешь, потому стены очень высокие и через окно тоже не вылезешь, и казармы представляют собою тюрьму. Решеток, правда что-нет, и для посторонних ничего не заметно, но в подоконниках забиты толстые прутья, так что не только нельзя уйти из окна, но даже и головы не просунешь. Так и сиди, как арестант. В пять часов, окончив работу, придешь, поужинаешь и не знаешь, куда девать эти два часа, — проверка у нас в восемь часов. Белье помыть — не всегда захватишь места, как команды у нас до тысячи человек, а удобства для мойки всего на восемь человек; и когда ни придешь, там уж всегда стоят и ждут места. Воды тоже всегда недостаток не только для стирки, но часто даже и пить нечего. Посуда — гнилые кадушки и сильно воняют гнилью. И живешь так, как какой-нибудь арестант. В праздники до поздних часов приходится пользоваться билетом не более одного раза в месяц и то при хорошем поведении. Тогда, не позднее двенадцати часов ночи, должен явиться к дежурному офицеру, и он отмечает, кто в какие часы явился, и утром докладывает командиру.

А питаемся мы небогато. Утром греют воду горячую, а она с песком, потому эти кубы вмазаны наглухо и их почти никогда не чистят. Чай и сахар мы должны покупать на свои деньги, а на завтрак варят кашу из пшенной крупы и очень жидкую, почти что одна вода, сала никогда не бывает, только звездочки салные плавают. Это не завтрак, а просто помои. Хлеб всегда черствый, напеченный на неделю вперед, и очень кислый, а из-под

нижней корки идет пальца на два синяя полоса, и не укусить. С шести часов идешь на работу и работаешь до одиннадцати как проклятый, и твоего же брата поставят кричать на тебя. В одиннадцать пообедаешь одного борща, тех же помоев, как и на завтрак, перемены никогда не бывает. В армии, например, варят кашу, а у нас этого никогда не бывает, и даже того не берут, что полагается, благодаря тому, что некому всего этого контролировать. На обед на каждого человека полагается полфунта мяса, но они совсем не берут хорошего мяса, а только разные кости, жилы, легкое и печенку. И это не борщ, а помои, в которых легкое плаваает, как пробки. В половине первого опять идешь на работу до пяти часов. А в ужин — утренняя каша, разве когда кулеш. В восемь часов поверка, а после поверки в черед чистить картошку на завтрашний день. Так и идет вся наша служба.

А провинишься, так карцер с мышами и с крысами. Крысы у нас много, полками ходят на водопой. Или лишают отлучек. Или стоять под винтовкой, с мешком, набитым землей полтора пуда, на шее...»

Татьяна взглянула на тетку, та отвечала глазами: «Читай, читай дальше!»

«...А затем я пишу тебе о брате Евстафии, твоём родном дяде. Он отыскался и заслужил себе биографию. В Нолинске он пробыл три года и никому не писал, равно как и потом. Был бродягой, певцом, помощником повара на пароходе, потом в типографии, где и попал в организацию, и к этому последнему пристрастился, как и требует по справедливости наше время труда и необходимой отваги. У нас тоже, но потихоньку, на койках передавали, что будто бы даже во флоте, еще перед весной, поговаривали, но только я этому вовсе не верю. Мы сидим на цепи дисциплины, и цепь эту нам поодиночке не перегрызть, а скопом — доверия нету, не побежал бы кто и не донес. А гражданская часть, наш брат рабочий, действительно накалена и шипит без воды, потому на накал сыпятся слезы детей и матерей. Третьего дня я был отпуском и увидел своего брата Евстафия и твоего дядю после лет разлуки...»

Татьяна немного запуталась:

— Брата и дядю, это один или двое?

— Все тот же Евстафий! Читай!

«Он всегда в себе заключал интерес, а теперь даже вдвое. Ты хорошо должна это знать, когда он один жил в Феодосии, одна благородная дама иссохла по нем и с тоски бросилась будто бы в море, а министр, ее муж, засудил его незаконно в Нолинск, где вечная ночь и на улицах ходят медведи, а их не боятся. Посветят фонариком, да и мимо...»

— Тетя, а тетя! Да ведь это похоже...

— Похоже.

«А Евстафий отмалчивался про медведей. Говорит: «это преувеличено», а я знаю, что верно, и верные люди передавали.

А насчет министровой жены никак не забыл и называл ее «канарейкой»...»

Сомнения быть не могло: это о матери, и это тот самый Евстафий... Обе женщины были взволнованы. Если первая часть письма говорила сухо и горячо, то эта подступала к глазам; Татьяна, однако, сдержала себя и сквозь туман дочитала.

«...И говорил, что это несправедливость, и что они хотели бежать в Константинополь, и что он и теперь бы ее отыскал, но время не терпит, и надо теперь засучить рукава, что ты и сама можешь понять. Он теперь служит в порту, а в порту беспокойно; как и на фабриках, есть у нас повсеместно организация масс, и как, например, вовсе на днях арестованы были выборные от рабочих, то под давлением масс властям пришлось отступить, и называют уже день забастовки в понедельник четырнадцатого, о чем даю тебе весть. Давно не писал, но брат мой Евстафий меня растревожил, и я хочу, чтобы слова твоего дяди били красным набатом и играли красную зарю всеобщего нашего освобождения. *Твой известный тебе дядя Макарий Стрельцов*».

Адресат письма был неизвестен, и тетя Евгения осторожно хотела узнать у почтмейстера, откуда и кому было письмо.

Татьяна заснула со смутными и растревоженными мыслями, а наутро она узнала за достоверное, что четырнадцатого июня (день был обозначен в письме без ошибки) в Одессе разыгрались кровавые события. Накануне опять были арестованы выборные от рабочих, а когда толпа потребовала их освобождения, то на рабочих у завода Гана напали казаки, а потом забастовала сначала вся

«Пересыпь», а за ней и весь город. Передавали, что в понедельник начались столкновения с полицией, а потом и с войсками, а в ночь на пятнадцатое подошел *броненосец «Потемкин»* и выкинул красное знамя восстания.

IX

Татьяна стояла над котелком и глядела, как закипает вода.

Перед нею был водный круг, замкнутый и спокойный. Но вот появился на горизонте один небольшой пузырек; мигнула глазами: их два, и три, и целый потом небольшой ободок, спокойный для глаза. Но вот такой же один пузырек появился на дне, возле — другой, на расстоянии — третий. Наверху пузырьки стали чаще, но все неподвижны. Внезапно один со дна взлетел кверху; помедлив, другой; сорвались с места и лопнули сразу два или три у поверхности. Их уже много: целая колония пузырьков — на дне, и оторочка — вверху. И вдруг сразу со дна — как уколы булавок: один за другим, один за другим; заметались и боковые вверху. Они сливаются вместе, становятся больше и вскидываются несколько боком. Со дна возникают тоже большие и тотчас летят кверху. На поверхности сразу их много, и не только уже у краев, а и посредине. Они завладевают всем замкнутым кругом: перекатываются друг через друга, протискиваются снизу, вылетают и лопаются: вода кипит крутым ключом. Немного еще — и она перекинется за края котелка, а пар — как дымки от орудий.

Татьяна следила, как закипает вода. Она вся ушла в это внимательное созерцание, как если бы сейчас это было самое главное в жизни. Может быть, она этого не сознавала, но за последние дни это было действительно так. Каждый день приносил с собой новости. Такая же «точка на карте», как и Феодосия, — Одесса была как котелок на огне. Вести оттуда скупее всего шли через газеты, но горячие вести переносятся морем и ветром с непостижимою быстротой. Кроме того, местные власти были широко и быстро осведомляемы по телеграфу, и новости эти через четверть часа становились известны тете Евгении.

Татьяна живо себе представляла многотысячные митинги: и как ревут фабричные гудки и как выпускают пары из паровозов и высаживают публику, а кругом идет стрельба и побоище. Особенно ее взволновал чей-то случайный, на улице, рассказ, как избивали шашками работников фабрики Высоцкого, девушек-подростков. И вот в десять вечера появился «Потемкин». Татьяна не видела, но была потрясена, как если бы первая его увидела. Сердце ее разрывалось: вот это и есть война против своих, и оставаться нейтральным было нельзя...

Вся трагическая история «Потемкина» доходила до Феодосии в цветных и противоречивых, ярких отрывках: Одесса разрушена бомбардировкой; к матросам примкнули войска. — Было два выстрела по офицерскому собранию, но — перелет; войска остаются спокойны. — Семнадцатого на горизонте показалась эскадра. Был бой. «Потемкин» потоплен. — «Потемкин» цел, и к нему присоединился «Георгий Победоносец».

Про офицеров также шли разные слухи. Одни говорили, что все перебиты, другие, напротив, утверждали, что некоторые из них даже примкнули к восставшим; потом постепенно стало выясняться, что огромное большинство их попросту свезено на берег.

На летучем собрании около памятника Александру III Татьяна и Катя (они стали встречаться) слушали старого матроса торгового флота, который не вышел говорить перед всеми, а попросту жарко поспорил с соседом. Татьяна становилась на цыпочки и упиралась рукою в плотную и горячую Катину руку, чтобы не пропустить его слов.

— А я бы сказал, — говорил с одушевлением коренастый старик, — дело это такое, господа офицеры! Давайте мы тут говорить без чинов, ведь как у нас к вам нужда, так и у вас к нам нужда. Матрос ходит по морю, и лицо смерти всегда перед ним, и не принуждайте матроса бороться против его трудящейся родины. Вы говорите, что нам не увидеть полей и близких наших, любимых: матрос не боится, ему смерть как сестра, она всегда рядышком. И потому мы отважны, и всегда в нашем сердце, когда его оскорбляют на самом корню, кипит огонь мести, и во всякую минуту оно может восстать. И это матросская сила, и что можете вы против этой силы? Да ничего! Вы солью посыпали кашу... Да, пра-

вильно, но солью одной человек не может питаться никак!

— Им хорошо, отец, у них барышни с зонтиками и под музыку, и на самих из зеркала картинки глядят. И это нестерпимо.

— Да, правильно так, что умирать им не хочется и цели жизни у них разноцветные, но оттого, что легко им живется, трудно им оттого умирать, матросу же — наоборот. Нате, пожалуйста! — И он раздвинул свою совсем не седую волосатую грудь; фиолетово-синяя татуировка блеснула на мгновение. — И все потому, что одна у нас цель, когда Россия станет республикой и когда вся земля будет в руках целого народа. И это есть цель! И цель, повторяю, рукой можно достать!

И вот, когда будет земля в руках целого народа, вы думаете, вам будет тогда трудно жить, и вы нас угнетаете, чтобы самим жить хорошо? И вы думаете, что только тому будет тогда хорошо, кто руками может обрабатывать землю? Напрасно вы думаете так, вам и тогда будет хорошо житься, молодым и красивым всегда хорошо. А теперь вы как между двух огней: между начальниками вашими и адмиралами и между низовой воинской массой, и, покуда не поздно, нам надо соединиться против общего нашего врага. Вы вместе с матросами обязаны строить пароходы и вооружать их пушками, умирать в бою с врагами или тонуть в бурях. И как вам не скинуть с себя проклятую форму царских лакеев, и соберемся вокруг красного, величественного и свободного флага верных сынов отечества. Что лучше: вы будете любимы народом или, как теперь, ненавидимы?

— Торгового флота, а, видать, боевой!

— Они все боевые!

— А я уверяю тебя, — Катя, когда увлекалась, говорила с Татьяной на «ты». — Я уверяю тебя, что Ершов на «Потемкине», туда, говорят, много стеклось! Ты думаешь, нет?

Про Ершова Татьяна не знала, но обращение это к офицерам (отсутствующим!) — оно, капля за каплей, плавило сердце: тут был и патриотизм, но какой-то другой — «...строить пароходы и вооружать их пушками...» — и языки революционного пламени: сжечь дотла ненавидимое. И это тоже война, но другая. Владимир Гребенщиков... Он никогда не уходил из сердца Татьяны, но

иногда он был как родная заноза. Он далеко, и там этого нет, но его будут судить (отец в одном коротком письме еще раз подтвердил эту, «быть может, печальную, не неизбежную необходимость»), и Татьяну мучило, как же был должен он поступить. Или, может быть, так, как поступил один из офицеров на «Георгии Победоносце»? Он не пошел ни за матросами, ни на берег, он заявил, что не может перенести своего позора, и застрелился; и мертвый упал за борт. Кто-то Татьяне сказал, что утонувшие на глубине идут головою книзу, и она живо представила себе этот медленный штопор, и у нее у самой закружилась голова.

— Катя, а жизнь дороже всего или нет? — внезапно спросила она, прижимая руками к груди наивную брошку: серебряный ландыш с жемчужинами; брошка впиалась в нежную кожу, и в этом была все же отрада.

Но на этот раз Катя ее не слышала.

Девушки между собою не то чтобы подружились, но обеим было приятно встречаться. У ворот табачной фабрики теперь постоянно толпился народ. Привычка гнала рабочих к воротам, и там же всегда можно было узнать новости. Город заметно и присмирел и развернулся. Начальство заняло выжидательную позицию. Отдаленный «Потемкин» жаром дышал по волнам. При первом известии Татьяна (шла мимо), увидев голубой Катин платок, сама подбежала к ней:

— Катя, а вы знаете, что в Одессе...

— Я знаю, я получила оттуда письмо.

— И я получила... То есть я прочитала...

— На понедельник четырнадцатого было назначено...

Татьяна смутилась и догадалась:

— Вы получили от дяди письмо?

— А откуда вы знаете?

Татьяна, не поколебавшись, все рассказала: ведь Кате могли грозить неприятности, если почтмейстер не только коллекционер и будущий составитель своих мемуаров. Гри-Гри уже был предупрежден и уехал в Ростов. Но Катя к известию отнеслась очень спокойно и только махнула рукой:

— Они и так все знают, да им и не до того! — Она улыбнулась лукаво и, очень открыто глядя в глаза, спросила Татьяну: — А об ком-то дядюшка мой и до сей поры

обмирает? Вот бы вам встретиться с ним! Он ведь ух какой!

— Какой он?

— Горячий!

Как это было странно, когда через Катю, не только в словах ее и в очень коротеньких воспоминаниях, а больше через нее самое, через непосредственность и живость ее восприятий, движений — возникал понемногу доселе таинственный образ рыбака-музыканта.

Как-то раз она Кате сказала:

— А, наверно, он мою мать и теперь еще любит.

— Конечно, а что?

— И не любил никакую другую!

— Ну как же, еще чего выдумашь! — И Катя совсем неделикатно, но очень весело и заразительно засмеялась. — Они все равно, что матросы. У них небось в каждом порту по любушке есть! Ну, покуда не венчаны, — вдруг уже серьезно сказала она, и Татьяну опять удивила, — покуда не женятся, пусть погуляют. Ершов-то мой тоже... он и об тебе тогда возмечтал, только раздумал: «Пусть она, говорит, останется у меня *платонической!*» А что это значит, того и сам шут не поймет...

Тут и Татьяна не могла не рассмеяться.

— А ну их к шутам, этих ребят! — заключила вдруг Катя. — Вот только Петр очень, я нахожу, замечательная личность, и очень хороший он человек.

В таком именно нынче составе: художник и Петр, Татьяна и Катя, компанией отправились в большую прогулку. Еще было темно (а Татьяна давно об этом мечтала: увидеть, как взойдет солнце), но художник, как кошка, знал отлично тропинки, обрывы, хоть и немножко нарочно пугал. Он звал с собою и тетю Евгению, но у нее разыгралась мигрень. Подле кушетки, где она возлежала, «как герцогиня», — сказал Дмитрий Иванович, — стояла в вазочке палевая чайная роза. Она увядала, и тетя Евгения печально на нее поглядывала; рядом лежал мигренивый карандаш и порошки аспирина. Художник один из них повертел в руках, раскрыл и высыпал в вазочку, в воду.

— Вы увидите, как она быстро поправится! — сказал он шутя и серьезно, как говорил обычно с тетей Евгенией. — А вместе с нею встанете и вы!

— Вы мало меня уважаете, — отозвалась Евгения Васильевна. — Мне не до шуток. Дела очень и очень печальны. (Вечером было получено известие, что «Потемкин» ушел к берегам Румынии.)

— Вот мы и идем с горя на прогулку. От святого Ильи поглядим — может, увидим, как он там пристанет. Там его встретит румынский оркестр.

Шутка вышла неловкой; Дмитрий Иванович даже сам крикнул и замолчал.

Ночная предутренняя мгла охватила путников. У мужчин были корзинки с провизией; там же лежал и котелок. Катя прижалась к Татьяне и прошептала тихонько:

— Я прошу ему все, но одного не прошу.

Татьяна ее поняла: про Ершова и про «Потемкина», если он не на нем. Она обняла Катю за плечи и поцеловала ее в завлажневшую от утренней сырости щеку. До них доносился мужской разговор.

— И непременно! Одна неудача такая стоит многих удач.

Художник озорничал:

— Вы правы, потери и жертвы не в счет. Это все один сантимент. Это сплошной Маразм Роттердамский! Катя! Вы про Маразма что-нибудь слышали? Ежели нет, вам Татьяна расскажет!

— Вы хотите сказать про гуманиста Эразма?

— Да, про него. Но только что это вернее — маразм! Сильных людей вовсе перевели!

— Ну, это вы больше по Ницше, — отсыревшим баском возразил ему Петр. — Но если взять гуманизм исторически, то он свою роль, конечно, сыграл. И, однако, вы правы: когда обостряется жизнь, не всякий и не всегда гуманизм прогрессивен...

От этих ли слов, или от горного ветра у Татьяны заломило брови и узелки у глаз затянулись еще крепче. Но ей хорошо было ступать в полумгле и чувствовать рядом живое Катино тепло. Однако они отставали. Дмитрий Иванович остановился, покачал головою и закричал:

— Я пуговицу потерял! У меня пуговица отскочила! Пойдите.

Они подошли и долго искали воображаемую пуговицу. Она отрывалась и еще несколько раз, куда не понимали, что хитрый художник хотел, чтобы они не устали.

Верхушку горы (хоть и знал, что тут начинается плато Тете-оба) он окрестил: плато Большой пуговицы, и здесь был привал.

Солнце взошло, как и подобает, с востока, но Татьяна всегда было удивительно то, что, стоя на набережной и глядя на Черное южное море, думаешь: юг, а это восток. Теперь перед нею открылся кусок сиренево-бледного моря и по ту сторону гор, и все стало понятно. Восток. А за востоком — Дальний Восток. Она не могла отойти от своих мыслей.

По дороге сюда, поднимаясь мимо лесничества, набрали немного суши; это была драгоценность: будущий чай, и Татьяна взялась вскипятить котелок. Но Дмитрий Иванович не исчерпал своих хитростей. Он дал всем расположиться и распаковать корзинки с едой, а потом, потирая руки, сказал:

— Хорошо, а теперь закройте глаза и дайте мне руки.

Он не прибавил к этому никаких объяснений, и его послушались. Цепочкой, крепко сжимая встречные пальцы, легонько посмеиваясь, отсчитали так до полусотни шагов и, по приказанию, остановились.

— Ну, а теперь откройте глаза!

Эффект удался. За плато Большой пуговицы тот небольшой подъем, который теперь преодолели, скрывал огромные дали, внезапно открывшиеся. Сразу их не охватить. Воздушная изумительная синева с гармонической гаммой оттенков являла им целую новую страну, о которой нельзя было и подозревать. Внизу перед ними лежала, покоясь в ранних нежарких лучах, Двужкорная. Изломанной линией, в три поворота, на переломах почти утопая в воде, распластанною, упавшею стрекозой лежал мыс Киик. Небольшие домики на одной из пережабинок, казалось, стояли вовсе в воде: их отражение, повторною линией, сливалось с ними самими. Прямо — откос, чуть поправее — тропинки сбегали в долину, еще полную седоватой утренней мглы; это, пожалуй, еще не была *земля* — название более позднее, это была, рядом с водою, первобытная *суша*! И весь этот сероседой недвижный ландшафт, однако, хранил именно линии первообразующих, находящихся первую форму движений. Явно массивы переставлялись, теснились и громоздились, ища равновесия и устраиваясь «как поудобнее». И этот покой,

пожалуй, казался лишь передышкой, как будто все сделалось лишь начерно, лишь «на пока». Долина, однако, взбегала опять и ударяла в воды застывшей крутою грядую горных пород, и лишь кусок Киммерийского моря у Коктебеля приоткрывался неполным своим очертанием.

Петр хорошо знал Коктебель с его знаменитыми камешками, не раз побывал на Святой горе, откуда будто бы в ясные утра виден Кавказ, на открывшемся им теперь Карадаге, но и он был должен признать, что отсюда вид изумительней и внезапней, нежели там. Глаз наслаждался убегавшей далью и тем сложным перемещением планов, которые передавал на сетчатку хрусталик. За шлемом серо-золотой в солнце Сюрюк-Айи громоздились гиганты континентального Крыма, а левой Карадага, на огромной дистанции чуть измененного синего тона, лежал Меганом — унылая пустыня, вытянувшаяся к морю похожей на крокодила шершавой спиной.

— По вечерам у него зажигается глаз, — пояснял Дмитрий Иванович. — Лежишь и глядишь, как он мигает.

— Вы так говорите, будто тут ваша постель и вы на ней каждый день спите, — подзадорила Катя.

— Не день, а ночь, — поправил художник. — И не каждую, но я был бы последним идиотом, если бы частенько сюда не ходил. Этого ты нигде не увидишь. И потом... — Он стал говорить очень медленно. — Тут хорошо очень думать. Петр попрекнул меня Ницше. Положим, я сам себе Ницше, но и у Фридриха есть хорошие мысли. Есть у него афоризм: «Хорошо ступать с вершины на вершину», и хороший конец афоризма: «Но для этого надо иметь длинные ноги». Вот я и гляжу: отсюда на Карадаг, с Карадага на Меганом, с Меганома... Вы видите, это ведь Аю-даг... «Ведмедь-гора»! — обернулся он к Татьяне.

Аю-даг был воздушный, сиреневый и казался утренним сном. И легко, на минуту, ветерком колыхнулся незабвенный пушкинский плащ.

Все глядели туда, кроме художника: он сосредоточенно разглядывал свои ноги.

— Коротковаты, — сказал он, внимательно их изучив, и все рассмеялись.

— А Румыния где? — спросила вдруг Катя, и все остальные мгновенно ей показали, вытянув руки. — Пойдемте немного туда.

Татьяна осталась одна и глядела им вслед, как небольшой пестрой кучкой двигались они по вершине плато. Непышные розовые, голубые, и фиолетовые цветы на пути стлали им простенький коврик. Уже из отдаления Дмитрий Иванович к ней обернулся и, молча простояв с полминуты, сложил по бокам носа и рта жаркие, должно быть, ладони и прокричал, как прокричала бы птица, звонко и с хрипотцой:

— А вы приготовьте нам чаю! Мы скоро вернемся!

«Из Румынии... — со слабой улыбкой подумала Татьяна. — Ну что ж, хорошо... возвращайтесь... Ну что ж, приготовлю вам чаю...» Она перестала глядеть на уходивших. Ей хотелось остаться одной. Тишина и простор, открывавшийся перед нею, и молчание внутри самой себя охватили ее с сосредоточенной гармонической силой. Точно был мир и она, и оба они, и в неподвижности, ступали по времени; и было еще ощущение высоты и спокойной приподнятости, откуда и мир расстился у ног наподобие собственной карты и оттого плывущее под ногами и над головой легкое время становилось историей. Индивидуальная жизнь ее, короткая жизнь человеческого существа на небольшой планете земле, не терялась ничуть и не растворялась в безликом дымчатом хаосе: Татьяна, напротив, ощущала себя прочно стоящей в этом единственном мире, и она была в него включена так же крепко и необходимо, как любая песчинка в глыбу породы.

И только море внизу было похоже на сон ее, смутно ей вспомнившийся. Не отрываясь, Татьяна глядела на горизонт, чуть различимый. Неопределенно томила ее эта гладь, на которой ни единое пятнышко не говорило о жизни земли. Ей захотелось огня и движения. Она неумело, но с большою заботой развела, вернувшись к стоянке, костер и приладила котелок с водой. Это вернуло ее от моря на землю, и запевший у нее на глазах котелок вел внутри ее с ней разговор. «Где же история?» — говорила Татьяна, и сама себе отвечала: «А вот это: огонь, и вода, и дымки!»

Когда она снова поднялась на вершину, на горизонте она увидела предмет, похожий на маленькое, неизвестно откуда возникшее деревцо. Деревцо это слегка поколыхивалось, но оно не было зыбко, в нем была своя крепость, упругость. Татьяна глядела и не могла оторваться.

Через некоторое время ей показалось, что под колеблемым деревцом возникла подставочка, щепка. Она не тонула, не колыхалась, напротив: упрочивалась и чуть стала толще, как если бы по тому же самому месту второй раз провели карандашом. Дощечка стояла на месте, и все движение ее, еле заметное, было вверх: как будто бы море ее выпирало наружу.

— Го-то-во?.. И-де-е-ем! — услышала она голоса и повернулась направо.

Художник организовал трёхголосую декламацию. Все кричали в один голос, а он отбивал такт тонкой далекой рукой. Потом они все подняли руки, и в руках оказались цветы. Потом побежали. Дмитрий Иванович самоотверженно вскидывал ноги, но за молодежью не поспевал. Тогда, в свою очередь самоотверженно, Катя и Петр подождали и дали себя обогнать. Запыхавшись, он сунул Татьяне букет прямо в лицо.

— Вы знаете что?.. — сказала Татьяна и побледнела, но он не дал закончить.

— Я знаю одно, что когда вы стояли тут... Это бывает в горах... Я, как художник, знаю отлично, как солнце, бьющее в спину, омывает высокий, одиноко стоящий предмет... Но это неважно... вы же и есть мой *предмет!* И когда вы стояли, вы были темная, как если бы вы испепелялись, а вокруг вас бегущий... не ободок, — это неверно! — но золотящийся контур. И я закричал вам о чае, потому что в вас было...

— Я вам говорю, там пароход!

— ...В нем было что-то трагическое... — сбился художник в местоимении. — Да, пароход.

Левой рукою, цветами, Татьяна закрыла лицо, правую протянула художнику и с силою привлекла его к себе; ладонь действительно у него была горяча и влажна.

— Вы знаете... это... это «Потемкин»... — сказала она, и голос у нее горячо сорвался.

Художник смотрел и молчал. Внезапно он стал очень сосредоточен, но рука его в заолодавшей Татьяниной руке начинала заметно дрожать.

— У вас там... бинокль? — спросил он приглушенно.

Татьяна кивнула ему головой, но руки, в ответ на его короткую попытку движения, — руки не отняла; художник охотно оставил ее покоиться в крепком пожатии.

— Я знаю и без того... Это, наверное, он, — сказала Татьяна; но когда подошли Катя и Петр, она сама оттолкнула Дмитрия Ивановича.

— Идите скорей и принесите бинокль. Он в корзиночке справа!

Катя была красна, как пион; да и Петр... в лицо его бил тайный прибой. Оба они к пароходу отнеслись недоверчиво. В самом деле: неужто вернулся он из Румынии?

О чае забыли; и о еде. Бинокль переходил из рук в руки. Несомненно — на горизонте развевалось большое судно. Никто не был из них моряком, иначе давно уже характерный литой силуэт был бы с точностью определен: большой военный корабль; и только когда Петр деловито сказал (бинокль в эту минуту был у него): «Я вижу на мачте красную точку!» — только тогда всем стало ясно, что Татьяна не ошибалась, что это «Потемкин» и идет в Феодосию. Вся деловитость Петра мгновенно исчезла, и на вершине горы поднялось беспорядочное и с минуты на минуту все более горячее обсуждение события. В котелке закипала вода.

Чувства двоились. В трубу стали видны, кроме красного флага, другие, в том числе и официальный Андреевский. Стал различим небольшой миноносец, шедший несколько сбоку; первой его увидела Татьяна, и сердце ее еще добавочно дрогнуло. Чувства двоились: от зрелища нельзя было оторваться, с другой стороны — хотелось навстречу, а навстречу — значит, в обратную сторону, значит, через несколько шагов потерять его из виду. А потерять — суеверно казалось — не потерять бы совсем!

Чай остывал; ждали тартинки, над тартинками ни единой пары мушиных крыл; пролетавшие редкие пчелы интересовались только цветами.

Когда, наконец, сошли и проглотили немного еды, а Петр только обжег первым огромным глотком себе горло, он не стал дожидаться, чтобы чай остыл окончательно, и быстро вскочил:

— Я побегу!

Вскочила и Катя, и, позабыв даже проститься и захватить что-нибудь вниз, оба они побежали с такою стремительностью, как если бы кто выстрелил ими.

— Пойдемте и мы, — сказала Татьяна. — Только рачок взглянем еще!

За четверть часа броненосец увеличился вдвое. Радужными точками в стеклах бинокля на нем роился народ. Так простояли они пять или десять минут, а обернувшись, увидали бегущих: они уменьшились впятеро. И когда, уложив провизию, они и сами тронулись в путь, Катя и Петр мелкими камешками уже вкатывались между первыми домами города, встречно взобравшимися на крутизну.

— Вот у кого длинные ноги! — кивнул бороною художник.

— И у кого крепкие руки! — возразила Татьяна шутиво, кидая взгляд на корзинки, по одной в каждой руке; Дмитрий Иванович ей не отдал ни одной.

А Татьяне хотелось хоть немножечко облегчить себя шуткой, потому что на сердце у ней было торжественно и она сознавала, что наступали ответственные в ее жизни часы.

Х

Когда у фабричных ворот Катя и Петр вонзились в толпу и сообщили, что «Потемкин» идет в Феодосию, им не поверили. А между тем в это самое время разукрашенный флагами броненосец уже огибал мыс св. Ильи.

— Ребята сдурели! Привиделось им, видно, во сне.

Однако горячие лица бежавших кричали о том, что они далеки были от сна; и народ загудел к пристани.

Напротив, Евгения Васильевна сразу Татьяне поверила. Она склонна была в это утро верить хорошим вестям, мигрень у нее миновала, и роза в стакане окрепла от аспирина и благоухала попрежнему.

— Я так и знала! — вскричала она. — Его ничто не должно было остановить! И мы встретим их, как надлежит, и мы все им дадим: и угля и хлеба! А это... прелесть какая! И вы настоящий волшебник, и я ее вам дарю! — И она протянула розу художнику.

— «А куму не сенца, хотелось бы спиртного!» — несколько вольно процитировал басню верный себе Дмитрий Иванович.

— Ну вот что: бросьте в стаканчик несколько лепестков, и у вас будет розовый ликер. — И она сама принялась отворять заветный шкафчик. — А ты куда же, Татьяна? А кофе?

Татьяна не слушала больше и побежала на пристань одна.

В порту еще не было особого оживления. Шла небольшая погрузка, и в воздухе перелетали привычные позывные крики. Рабочие стояли все еще недоверчивой кучкой. Но вдруг, странно одновременно, возник на домашнем феодосийском горизонте «Потемкин», и слева, со стороны казарм, довольно беспорядочно, в спешном строю, пришагала рота солдат.

— Они видят сквозь горы, должно быть! — зашевелились в толпе.

— Революционному «Потемкину» ура! — прокричал кто-то шепотом; маленькая пешая сила на берегу и огромная, все еще на отдалении, плывущая крепость тушили и возбуждали голос кричавшего.

— Вот погуляем теперь! — кто-то промолвил неопределенно, выражая радость и пряча ее в сомнительное словесное оформление.

Татьяна не раз в эти памятные два дня с особой ясностью, почти обнаженностью, воспринимала эти зигзаги колеблющих и колеблемых сил. Соотношения быстро менялись, да и сами встречные силы были исполнены трещин. «Только б они не стреляли, мы их не тронем!» — услышала она очень скупые слова молодого солдата. И через день эти солдаты стреляли. «Потемкин» хотел бомбардировать — и не дал ни одного выстрела. Но берег, который стрелял, — стрелял по инерции, автоматически, а нестрелявший корабль проявил настоящую крепкую волю, которая не пожелала бесцельных в данном случае жертв. Все это лишь много позже во всей своей сложности и значительности стало ясно Татьяне. В эти дни для пристального раздумья не было времени, его хватало едва-едва для пристального глаза и для внимательного слуха. События эти были разорваны, кое-что Татьяна видела, многое слышала, еще больше узнавала вперебивку от других лиц (Катя и Петр; тетя Евгения, бывшая живым телефоном).

Огромная толпа рукоплескала подплывавшему катеру; оттуда кричали, махали фуражками. Татьяна не слышала речи, которую держал один из людей, прибывших на катере с броненосца, ее оттеснили. Но она слышала ветер, ходивший между людьми на берегу, — он взвивал этих людей, как полотнища знамени, и трепал их обна-

женные головы. Солдаты застыли, как на параде. Начальник был бледен и нем. Казалось, немного еще, и он возьмет под козырек. Стоявший на берегу член управы кивал головой в ответ на оглашенное требование, чтобы городские представители явились на броненосец.

Позже в руки Татьяны попал листок, напечатанный на машинке и скрепленный печатью броненосца «Потемкин». Ей передал его старый рабочий.

— Прочти нам еще! — сказал он и протянул этот листок.

Татьяна заволновалась — и не зря. Ей довелось испытать редкое состояние, которое, верно, испытывает ребенок, делая первый шаг. Эту бумажку нельзя было прочитать так же просто, как читают неграмотному полученное им письмо.

Старик в последний момент, передавая, зажал шершавыми пальцами угол бумаги, точно ему инстинктивно хотелось ее еще подержать у себя, и угол слегка надорвался. Голос Татьяны, еще неуверенный, тотчас же окреп, как только она прочла первую фразу обращения: *«Граждане всех стран и всех народов!»* Ей показалось, что она стоит на высоте и перед нею — история, многоголовая, тысячеустая, но с одним широко бьющимся сердцем, и это сердце билось, как море.

«Граждане всех стран и всех народов!»

Перед вашими глазами происходит картина великой освободительной борьбы: угнетенный и поработанный русский народ не вынес векового гнета и своеволия деспотического самодержавия.

Разорение, нищета и бесправие, до которого русское правительство довело многострадальную Россию, переполнили чашу терпения трудящихся масс. По всем городам и селам вспыхнул уже пожар народного возмущения и негодования. Могучий крик многомиллионной русской груди — *«долой рабские цепи деспотизма и да здравствует свобода!»* — как гром раскатился по всей необъятной Руси!»

Татьяну прервали. По мере того как читала, она забывала, что перед ней народ. Странно, она произносила вслух эти чужие слова, и оттого, что она говорила их громко, они становились как бы ее собственными словами. Мало того, она в каждую фразу вкладывала искреннее свое убеждение, как если бы в первый раз открыла

книгу в самой себе и читала в ней. С каждою фразой, как пласт за пластом, открывалась ей изнутри пребывавшая в ней самой родная земля. И вот Татьяну прервали... Гул голосов прошумел перед нею, как набегающий вал. Она подняла глаза и увидала перед собою многое множество внимательных глаз. Татьяна почувствовала, как эти лица, взволнованные и немного похожие на детские, невзирая на бороды и на морщины, как они были в эту минуту, в каком-то особом значении этого слова, — как были они *человечны!*

И дальше, читая про флот, и про армию, и про «крестьян и рабочих, которые пали от солдатских штыков на улицах и на полях нашей родины» и которые «снимут с нас свое проклятие, как с их убийц», и опять про Маньчжурию и про «Всенародное учредительное собрание», и «Долой самодержавие!» — Татьяна уже не читала сама для себя, а читала для всех и за всех. Теперь ее не удивила поспешная, скороговоркой, команда и шаги уходивших солдат. Она поняла, что это чтение было острым оружием, и сосчитала четыре солдатских фуражки, не слыжавших команды или ее не послушавших: это были четыре солдата, удержанные ею, Татьяной.

Подпись гласила: «Команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический» и миноносца № 267». Печать закоптили на зажженной свече и приложили в левом углу. На печать легли опять крепкие шершавые пальцы и потянули бумагу к себе. Разорванный угол был тщательно выправлен, и выправлявшие пальцы замазали его копотью. Надобно было думать, что их отпечаток остался и на печати «Потемкина», как бы повторно ее подтверждая.

— Ты агитатор, Татьяна, я и не знала! — смеялась тетя Евгения, подхватившая племянницу к себе в экипаж.

Татьяна молчала. Сердце ее билось сильно и крепко, и в груди ему было просторно. Татьяна не узнавала своего биения сердца.

На «Потемкине» в свою очередь читалось «правительственное извещение», где были обещаны суровые и крутые меры. Трагическая тень нависала над броненосцем. О ней, как по отдаленной зарнице, Татьяна могла бы догадаться по фразе, услышанной бегло в толпе уже поздним вечером. Кто-то спросил, кого не видеть:

— А ты что ж, не вернешься?

— Я бы вернулся, да мачту надежды моей в Одессе «Георгий Победоносец» сломал.

Татьяна обернулась, но вполупотьмах уже никого не увидела. Витиеватая фраза эта была исполнена глубокой и неизлечимой горечи. Татьяна знала, что «Георгий» к восставшим примкнул, но потом оставил «Потемкина» в одиночестве. Лучше бы не примыкал!

Там же она поймала и фразу другую:

— Эскадра придет. Мы только первые, и мы объявим отсюда Всероссийскую народную республику! — И голос звенел не уверенностью, а заклинанием.

Но боевая действительность кипела в рассказе:

— Уж и жарко было в Одессе! Мне три раза пульей, как отступали, пригибало фуражку: нагнет и нагнет!

Сидя сейчас в экипаже и вытянув уставшие ноги, Татьяна глядела, не отрываясь, на море. В нем пламенел опрокинутый жар горячего дня. «Потемкин» застыл вправо от волнореза, пушки глядели на город, жерла их, темно-коричневые, жарко густели на солнце. На короткое время было такое явление: появится красный флажок и исчезнет, появится белый и тоже исчезнет. Потом эта игра прекратилась. Позже это Татьяна проверила, и ей подтвердили, называя только различные часы дня.

Дома внезапно ноги победили Татьяну. Она прилегла на минутку, и бессонная ночь, наверстывая упущенное, тотчас на нее опрокинулась темным своим одеялом.

Проснувшись, Татьяна услышала жужжание мухи. Приоткрыла глаза, — шторы были опущены. Ночь или день? Наконец, она различила, что это не муха, а тетя Евгения. Кто-то сидел у нее в соседней комнате.

— ...на корме плечом к плечу матросы. «Где ваше начальство?» — «У нас начальства нет, есть комитет». — «Где комитет?» — «Внизу». Нас посадили за большой стол. Председатель, бумаги, и один штурманский офицер сидел и записывал.

— Наши «отцы» небось испугались?

— Говорят, что нет. А Крым — так и вовсе веселый! Я вам передаю стенографически! Боже мой! Это же все исторические вещи. Об этом потом будут романы писать.

— Я буду писать свой *Потоп*.

— «Что об нас говорят?» — «Говорят, что убили всех господ офицеров, обстреляли Одессу. Священника уби-

ли». — «Неправда. Высадили. За нами придет вся эскадра». И тут начались требования о выдаче провианта, воды и угля. И чтобы воззвание было прочитано на площадях для сведения всех жителей Феодосии. Набрались в зал матросы и прибавляли: «Сигарочной бумаги! Табаку!» А Матюшенко, их вождь, сидел и крутил оторванной ручкой от кресла. Знаете, неприятно! Дуранте глядел-глядел, да и говорит ему: «И мне бы чего покурить!» Тот завернул цыгарку и дал, а ручку оставил. Ну разве не прелесть!

— Да, это платформа междупартийная! — отозвался художник.

— И пароход Российского общества, что задержали, сейчас отпустили и пароходу салютовали. Но вот на совещании у генерала Плешкова жандармский полковник Загоскин как бушевал! Он обозвал и Дуранте и Крыма крупными буржуа! Вы только подумайте, как для него это ругательно! Буржуа, которым нет дела до отечества и которые берегут только свои недвижимости от возможной бомбардировки...

— Что же, это не глупо и даже попросту дельно. Ни фуа, ни луа, это и есть буржуа, а услугам ажана они предпочли д'аржаны!

— Перестаньте французить, Дмитрий Иванович! Но замечателен общий итог, который преподнесли тому же Дуранте: *«Мы вам не разрешаем, но предоставляем в ваше распоряжение!»* Тоже не плохо! Но вот в угле и воде решительно отказали. Что будет, Дмитрий Иванович?

Позже Татьяна глядела, как для броненосца грузили провизию.

— Вот это совсем замечательно, — сказал рядом с нею художник и вынул блокнот. — Быки не хотят быть морскими животными!

Быки упирались и откидывали высоко рога. Татьяне зрелище это действовало на нервы, а кто-то рядом сказал:

— Ничего! Пусть и они послужат делу революции!

У Думы собрался народ и требовал дать броненосцу все, что он спрашивает.

— Здравствуйте, барышня! — прозвучал за Татьяной знакомый ей голос; она обернулась и увидела короткую фигурку Ефрема Васильича. — Уступят теперь по всем статьям! — подмигнул он ей с крепкой значительностью. — Этот шутить не позволит! Это тебе не фабрика.

Татьяна Ефрему Васильичу очень обрадовалась, а он будто вчера с нею расстался; коротенькие штаны его, очевидно слежавшись в тюрьме, густо слоились поперечными складками (как когда-то и у художника); он фукал в усы и был предоволен.

— Вы на свободе! Как я рада!

— Ну, а еще бы... Вот этот уйдет, опять посижу, — ответил он философски. — Стамболи уже вызывал, да мы не пошли. Подождет!

— Как: этот уйдет! — воскликнула немного по-детски Татьяна.

— А что ж, не стоять же ему на рейде у нас, тут революцию не причинишь. Говорят, будто которые есть, сдаться желают.

— Не может быть! Нет!

— Да и я думаю так же. Сдаваться нельзя. Вздернут половина на половину! А только народ несознательный, да и толща большая. Как всколыхнуть!

Он говорил очень раздумчиво и будто с Татьяной советовался.

Был уже вечер. Массив броненосца придвинулся ближе к берегу и волнорезу. Волны дробили огни по краям и колыхали широкие полосы посередине.

— У нас континент. Дело решит сухопутье, войска.

— А войска?

— Что же? Солдат понимает, что это не положение, когда пленным в Японии лучше, чем дома.

— Значит, не станут стрелять?

— Ну, это ты не скажи. Сила — тогда она сила, когда не по пальчикам, а в цельном одном кулаке!

Татьяна уже собиралась домой, когда непостижимо разнесся слух, что, ежели угля кораблю не дадут, будет бомбардировка. На берегу не поверили.

— Ты знаешь, — сказала ей дома тетя Евгения, — я была у Дуранте. Там был и генерал. И при мне принесли ему телеграмму из Севастополя от Меллер-Закомельского. Вышли оба они в зал, а генерал говорит голове: «Позвольте, я прочитаю», и начал читать: «Надеюсь, что вы не поступите, как изменник городской голова...» Милейший Леонард Антонович вышел оттуда и руками развел... Недаром его жандармский полковник грозился арестовать!

— Тетя, вы слышали? Будет бомбардировка, угля не дали.

Евгения Васильевна даже изменилась в лице. Она стукнула так кулачком по изящному круглому *булю*, что браслеты ее как бы рассыпались на перламутр.

— Мерзавцы, да как они смеют стрелять! Мерзавцы, да как же они не дадут!

Мерзавцами, в быстром кипении слов, в эту минуту оказались решительно все — те и эти, и в эту минуту тетя Евгения внезапно утратила свое сходство с палевой розой.

Ночью подробностей никак узнать было нельзя, и ночь прошла беспокойно, а утром мальчишки-газетчики, срочно мобилизованные — эти живые объявления южных городов, — стремглав носились по улицам и истошным голо-сом кричали о предстоявшей бомбардировке. Одновременно о том же расклеивались спешно отпечатанные ночью объявления с предупреждением жителей, что ввиду невозможности доставить уголь «Потемкин» откроет стрельбу. Улицы брызнули людьми, и началось великое феодосийское бегство.

XI

Действительно, больше всего своею текучей бурливостью феодосийский народ в это утро напоминал стремительный горный поток, с тою лишь разницей, что он пронесился, шумя, не под гору, как надлежит быть воде, а в гору, на крутизну. Это было великое переселение народов. Женщины тащили детей, мужчины пожитки, подчас ни с чем несообразные. Говор и крик усугублялся мычаньем коров, лаем собак. Многие падали и поднимались, и падали снова. Девчонки ревели, мальчишки не отставали от них; впрочем, иные пылали воинским пылом, били в тазы и трещотки.

Но вот — Феодосия! Казалось бы, пыль от такого великого множества ног должна была застлать самое солнце, но в Феодосии не было пыли. Привычные камни спокойно переносили удары, топот и шмыганье.

Внизу по набережной текли экипажи — в Коктебель, в Старый Крым, на вокзал. Извозчики, как и всякое человеческое существо, не лишены страха гибели, не покидали, однако, насиженных своих козел и ограничи-

вались тем, что заламывали невероятные цены, — но никакого удовлетворения: все тотчас соглашались, а бедные головы корыстолюбивых возниц под высокими белыми шляпами были обречены на муки Тантала — отчего не спросили вдвое и втрое?

Броненосец спокойно и молча, ничем не выдавая своих намерений, недвижимо стоял неподалеку. Особенно величаво было это спокойствие на гладкой воде, когда суеверно оборачивался кто-нибудь из бегущих и на минуту сам застывал на земле, уподобившейся бурному морю.

Художник нес кисть, палитру и холст; тюбики красок были в кармане. Волосы его были мокры от быстрой ходьбы, но он не бежал. Он очень, художнически, радовался. Вот он — потоп, наконец! Он имел для себя определенную цель: гору Митридат. Оттуда он набрасывает эскиз великого бегства... А если погибнет — ну что ж! — набросок останется. Ни капельки страха, любопытство и жадная радость для глаза: все время меняющиеся пересечения линий! Его по дороге толкали, смеялись над ним, почти издевались, но это только подхлестывало его поющую радость.

Не воздержался он и от чудачества. Два дня спустя, перед отъездом Татьяны из Феодосии, они совершили вместе прогулку к фанаторийским львам у музея. Он очень серьезно ей говорил о своей предстоящей работе — наконец, наконец! — над Потопом. Татьяна его слушала, полная мыслей, и вдруг, переведя глаза, на одном из львов увидала странную надпись цветным карандашом:

Гора Митри—Дата
Митрий — дата:
22—23 июня 1905 г.

— Дата на случай индивидуальной моей гибели, — сказал Пискаренко, к удивлению Татьяны, так же серьезно, как и все предыдущее; это была дата прихода «Потемкина» и дата великого бегства; на Митридате Дмитрий Иванович набросал свой эскиз.

Татьяна сейчас была далеко от художника. Тетка стремительно, при отчаянном сопротивлении племянницы, увлекла ее на вокзал: Татьяне не хотелось покидать Феодосию. В поезд попасть, однако, не было никакой возможности, его брали приступом, не считаясь ни с ран-

гом, ни с положением ожидавших. Кроме того, с минуты на минуту ожидали прибытия городских властей, выехавших на вокзал навстречу губернатору.

Солнце пекло. От броненосца ложилась густая глубокая тень, сливавшаяся у бортов с черным его отражением. Наверху его было какое-то движение, которого нельзя было понять.

— А утром, — как бы отгадав взгляды Татьяны, сказал немолодой человек в летней накидке и соломенной шляпе с непомерно большими полями, — а утром тень шла к самому берегу и ложилась на берега, как на карту.

Татьяна обернулась на голос и поздоровалась с говорившим, она узнала его. Это был учитель истории и географии, у которого она держала экзамен. «А знаете вы, — сказал он ей после того, как она обстоятельно ответила ему наполеоновские войны, — а вы знаете, Наполеон теперь ведь в корзинке?» Она удивилась тогда, а он посмотрел на нее очень серьезно и пояснил: «Я очень фрукты люблю, и мне их приносит каждое утро одна немолодая женщина в честных таких, тяжелых башмаках, я ее издали слышу и поднимаюсь от своего Моммзена к серой ее плетеной корзинке. Я ее спрашиваю, что у тебя нынче в корзине? А она мне отвечает: «*Наполеон*». Вот и все. Это яблоки, сорт. Вот и все, что осталось от Наполеона. Можете идти».

— А вы не уезжаете? Вы здесь с утра?

— Нет, я учусь. Я прохожу тут уроки настоящей истории.

Татьяна не знала, да и мало кто знал, а ей потом рассказала Катя сама, как ночью, вместе с Петром, они еще раз перевалили через Феодосийские горы. Там у Двужорной был рыбный завод, небольшой. Они взяли себе по знакомству рыбацкую лодку и на заре махнули на броненосец, чтобы из города никто не видал этой их экспедиции. Это было небезопасно. Но Петр поднялся один («Смерть как хотелось и мне, как маленькой девочкой в алтары!») и там сообщил, что только что подошел к пристани угольщик, можно его будет забрать. Так прошла для Петра и для Кати эта вторая бессонная ночь. Так же тихонько отплыли они и назад. Теперь с броненосца отчалил катер — за углем. Никто про это и не догадывался.

— Городской голова! Городской голова!

Лошади были лихие, можно бы было в другое время и полюбоваться. Да и сам городской голова выскочил из ландо молодцом: не догадаться, что это «изменник» и что жандармский полковник грозился его арестовать. Целая группа генералитета собралась для встречи губернатора.

Однако тем временем катер отчалил и в сопровождении миноносца отправился к городу. Обстрел ожидали с вокзала. Губернатора все еще не было. С минуты на минуту можно было ждать залпа. Один по одному «генералитет» зашел потихоньку за церковь св. Екатерины. Евгения Васильевна сморщила брови и взглянула на Татьяну, та отрицательно покачала головой.

— Бедный... — Евгения Васильевна назвала чье-то имя и отчество. — Как ему жарко! Я отнесу ему веер. — И она, за другими, удалилась под прикрытие церкви.

Татьянин экзаминатор (звали его Иван Иванович Веселкин), следивший, как в грязной речонке Байбуге, под дулами пушек дети железнодорожников как ни в чем не бывало ловили пиявок, перевел взгляд на блестящее общество, присевшее на траву за церковью, как на пикнике, потом на Татьяну, стоявшую одиноко, и сказал ей негромко, спокойно:

— Creavit in coelo angelos et in terra vermiculos; non superior in illis, non inferior in istis.

— Я по-латыни не знаю.

— Напрасно, у вас есть способности. А это значит вот что: «Сотворил на небе ангелов и на земле червячков; не выше в этих, не ниже в тех».

Татьяна вздохнула. Мудрость учителя не дошла до нее. Сердце ее стучало неукротимо. Это и есть война между «своими». Невыносимо стоять в стороне!

И нельзя оставаться больше за церковью: одинокий вагон с локомотивом подкатывал к станции.

После короткого рапорта губернатору было доложено:

— Ваше превосходительство! Сейчас будут стрелять. Опасно по берегу, лучше в объезд!

Волков молодежато шевельнул золотым плечом:

— Какой же я был бы военный, если стал бы

бояться! — И он быстро метнул приветливый взор на Татьяну.

Взгляд был подхвачен, и Евгению Васильевну с племянницей тотчас пригласили: Центральная гостиница, против бульвара (владелец Хаджи). Кучеру сказано было тихо: «Гони вовсю!..» По берегу подобранно и угрюмо шагала рота солдат... Катер подъехал к угольщику, видно, как небольшие фигурки возятся с якорем...

Когда Татьяна была в вестибюле гостиницы, она услышала залп; и следом второй. Она не выдержала и упала на руки тети Евгении. Это стреляли солдаты в матросов, пытавшихся взять себе угольщик. Никто этого сразу не сообразил.

Все произошло быстро: залп, матросы убиты или бросаются в воду, выстрелы по утопающим и по плывущим, убегающий без единого ответного выстрела миноносец, аресты оставшихся около угольщика, паника в городе перед ответною бомбардировкой и отход броненосца, сломанного этой трагической неудачей, — вся эта трагедия могла бы произойти на глазах у Татьяны, но, лежа, она слышала только внутри густое биение волн, и ей казалось, что она опускается в толщу мрачно-зеленой воды.

Временами она приходила в себя, и тогда голоса людей из отдаления к ней долетали:

— ...крупным калибром... нужно отойти дальше, чтобы стрелять...

И погода — по телефону:

— Илья-пророк? Военный пост? Что видно? «Потемкин»?

Ответ с поста на мысе св. Ильи повторялся у телефона же вслух:

— В море. Идет.

— Куда?

— На юг.

И еще погода:

— Назад не идет?

— Нет, не идет.

Губернатор покушал в двенадцать; действия городской управы признал правильными и отбыл в два. Когда Татьяна вышла на террасу во втором этаже, море было пусто, как и ее стянутые узелками глаза.

У самого волнореза была пристань Российского общества пароходства и торговли. Когда медленно, на своих лошадях, Татьяна и тетья Евгения возвращались домой, они увидели на море стремительно мчавшуюся миноноску, а на пристани полную, в бородке, фигуру генерала Герцыка. Он ходил по доскам, поднимая и опуская тяжелые плечи. На миноноске суетились матросы.

— Тетья, подъедем, — сказала Татьяна.

Одновременно на рысях прибыл в своем экипаже Дуранте.

— Как ваше здоровье? — любезно спросил он Татьяну и, не дожидаясь ответа (дело могло быть серьезным!), обратился к Евгении Васильевне: — Я был у него, — быстрым шепотком заговорил он, сделав движение к спутнику. (Это был исправник Юнин, временно назначенный полицмейстером; настоящий полицмейстер сбежал.) — Он живет в доме Айвазовского... да вы знаете! Вышли мы на балкон... ну, по стакану чаю... Видим, летит миноноска... Вернулись!

— Другие! — резковато крикнул генерал на пристани.

Он наклонился, заложив руки за спину, и вступил в разговор с прибывшими; ничего разобрать было нельзя. Вдруг он выпрямился и крикнул с необычайною резкостью:

— Что вы не знаете, как нижние чины должны разговаривать с генералом! Смирно!

Тогда стало слышно, как один из матросов громко ответил:

— Среди нас нет, ваше превосходительство, нижних чинов. Мы все офицеры. Где «Потемкин»?

— Ушел. А вы разве не видели?

— Нет, мы не видели, а если бы видели, мы его бы взорвали!

Что-то в Татьяне дрогнуло на глубине — героическое прошлое. Ей неудержимо захотелось в Москву, точно теперь в Феодосии нечего было делать. Она так и сказала Евгении:

— Тетья, поедем домой. Я уезжаю в Москву.

Офицеры, переодетые матросами, вольно высаживались, их отправляли на отдых в гостиницу.

Тетя Евгения остаток дороги молчала. Но только вошли они в дом и пахнуло на них домашней прохладой, она не смогла больше терпеть. Она вскинула руки на плечи племянницы и крепко их сжала, как бы руками перекидывая мост между ней и собою.

— Я понимаю тебя. Я тебя так понимаю! Ты не хочешь больше со мной? Да, я слаба, я колебалась, я не герой... Даже во вражеском стане — эта отвага, эти офицеры... Взорвать броненосец или погибнуть самим! Это не может не вызывать уважения! И я решила... я решила уйти в частную жизнь... Я возьму отпуск, и мы уедем с тобой в Старый Крым! Я и сама не люблю такую себя. Я такую себя терпеть ненавижу! — И она рывком прихватила Татьяну. — Вот что... возьми, возьми от своей взбалмошной тетки...

— Не надо...

— Не смей! Я тебе говорю!

И Евгения Васильевна один за другим сняла три тоненьких обруча (осталось четыре) и так же один за другим нанизала на руку Татьяны.

— Я их очень люблю... Это фамильные, знаешь... Они пролезают один через другой: каждый меньше другого, и каждый больше другого. Как чувства наши — и больше и меньше... и одинаковые... и не поймешь! Ты, верно, меня очень глупой считаешь, скажи!

Горничная постучалась и принесла письмо.

— Тебе. От отца.

Татьяна взяла из рук у Евгении большой, казенного типа конверт. Адрес был на машинке. Она разорвала конверт, и письмо было отстукано на машинке; оно было коротко. Отец сообщал, что есть сведения о Владимире Гребенщикове. Он поправляется, и ведутся переговоры о возможном возвращении пленных. Внизу от руки была всего одна фраза: «А у меня болит голова».

Вечером Татьяна разбирала свой чемодан. Кое-что в нем оказалось и до сей поры нетронутым, точно вчера прибыла в Феодосию. Она вынула маленький сверточек, завернутый в газетную бумагу, и стала неторопливо развешивать.

Это оказалась коробочка пудры, про которую Татьяна вовсе забыла. Она развернула ее, открыла, понюхала и

поставила на окно. Ее заинтересовал газетный листок. Он был надорван наискось, но все же можно было прочесть (и понять).

Телеграф принес нам удручающие вести с Дальнего Востока.

В морском бою ранен доблестный ирар Рожественский; эскадра его тила несколько крупных судов. ания, посланные нам господом, не прекратились. Надежды, возгавшиеся всею Россией на наши орские силы, не оправдались, и весь ентр тяжести войны снова переносся на наши сухопутные войска, бы ни были потери

Тут было оборвано вовсе.

«Не обо мне ли?» — подумала Татьяна с невольной улыбкой, и тотчас же улыбка ушла. Она живо вспомнила и отца, и холодный паркет, и откидываемое одеяло, и как Владимир снимал ее на Балтийском, и увидала опять миноноску с переодетыми офицерами...

— Войдите! Вы, тетя? Что-нибудь произошло?

— Не произошло, а открылось... Герцык проверил, он гсворил с военным постом на святом Илье. Миноносец, который пришел, *видел* «Потемкина»! И не сегодня, а когда тот еще сюда шел. Но когда броненосец повернул на Феодосию, они выбросились... то есть пристали где-то у Карадага и там в Коктебеле тайно отсиживались... Нет, каково! Не мудрено после этого, что они голодны, как львы, то есть, я хотела сказать, как собаки... Кажется, все это, впрочем, по случаю благополучного завершения дела решили не оглашать...¹

Набежал ветерок, стукнул о раму. Татьяна взглянула туда. Возвышенная передовая «Ведомостей» легкой пуховкой летела по воздуху, и белое облачко пудры, как легкая космическая пыль, взвивалось за этой недавней «живою историей».

Ночью, когда Татьяна уже засыпала, из того же окна постучалась к ней Катя. Татьяна ее не испугалась, не удивилась, будто ждала. Открыла окно и молча глядела на гостью.

¹ Данный эпизод с теми подробностями, с какими он дан здесь, был сообщен автору, как и многие другие детали повести, во время поездки его в Феодосию для собирания материалов.

— Есть у вас иод и бинты? Не знаешь ли верного доктора? И хорошо бы еще одеяло. Утром сама приходи.

Татьяна не спрашивала, быстро порылась в аптечке и быстро сложила свое одеяло. Она отдала его не символически — для жениха, а по-деловому, реально — для неизвестного раненого, как предполагала она, с броненосца.

Кати утром дома не оказалось, но тетка ее, полуслепая старушка, с тесемочками, привязанными к жидким седеющим косам и скрепленными на прилизанной узкой головке вверху надо лбом, рассказала, как Катю найти.

Татьяна дороги не спрашивала из осторожности и, когда уже подошла к низенькой хатке, совсем на окраине, не сразу решилась войти. Из-за окна с занавеской, скрывавшей герани, она слушала чей-то мерный рассказ:

— ...семнадцать лет, а ему было уже двадцать восемь. Через месяц после свадьбы его и арестуй, а я в таком положении. Ну, этот ребеночек умер, а выпустили его через год. А потом, погодя, перебрались мы в Петербург. И дома он не сидел. С работы придет и уходит. Спросишь: куда? «А тебе, говорит, зачем знать?» Он и тогда был подпольщиком, а я и не знала, была молода. Раз даже чуть было его и не выдала. Пришел один товарищ его и говорит: «А ты, Маруся, не знаешь, чем твой муж занимается?» — «Откуда мне знать?» — говорю. «Он, говорит, подпольщик теперь». А я думаю — знать, повышение. Забастовщик-то знала, а про подпольщиков и не слыхивала. Пошла да соседу-пьянице и похвасталась. «А мой муж, говорю, получил повышение: он нынче *подпольщик!*» Вот словечко-то ахнула! А как пришли эти дни, ну, конечно, и он, разве такого удержишь! Вышел, и застрелили.

— Да, таких разве удержишь! Вот и я про Ершова так думаю: разве удержишь его! Наверное, погиб в одесских боях...

Когда Татьяна услышала Катю, она потихоньку постучала в окно. Минутку помедлив, выглянула черная Катина головка.

— Больной-то наш плох, очень плох... Но ты входи!

Татьяна взглянула на рассказчицу. У нее было простое, открытое лицо, светлые волосы и бледноголубые серые глаза.

— Теперь вот живу в ваших краях, да что-то невесело.

— И я говорю, что и мой уж никогда так-то не стукнет.

Татьяна тотчас догадалась, что Катя опять про Ершова. Обе женщины нисколько не постеснялись Татьяны.

— А что с ним? — спросила Татьяна про больного.

— В бреду. И сильно поранен. Доктор-то твой не пришел, а фельдшер только рукой махнул. Говорит, поскорей бы конец: и ему будет легче и вам поспособней, а то, чего доброго, кто донесет, что укрывали.

— Да кто он — матрос?

— А я разве тебе не сказала? Мой дядя Евстафий.

— Покажи мне его, — сказала Татьяна и приложила руки к груди.

— Вишь, как ходики тикают! А ничего больше и не слышать, — промолвила, прислушиваясь, хозяйка.

Там, в узенькой комнате, была полутьма, гиря у самого пола тянула часы. Казалось, она стукнется на пол, и остановится самое время. Свет падал из комнаты, откуда вошли они с Катей, и тень от больного крутым горбом вздымалась на стену; чем-то она напоминала тень броненосца, падавшую на изрезанную феодосийскую карту.

— Он был на «Потемкине»? — тихонько спросила Татьяна.

— Ну да! Он дрался и в порту, а потом бежал на корабль.

— А где ты нашла его?

— А там же на угольщике. Мы ночью с Петром пробрались туда. Он был — как мертвый. И Ершов мой непременно погиб! — добавила Катя. Эта навязчивая мысль ее не покидала. — Он опять, дядя Евстафий, говорил о твоей матери. Он говорил, чтобы пришла.

Тут больной обернулся, и Татьяна увидела бледное его лицо с черной вьющейся бородой. Оно и сейчас было очень красиво. Только глаза были страшно далеки, словно бы он только что их перевел с дальнего-дальнего горизонта. «Ходики» тикали, гиря спускалась к самому полу. Глаза Татьяны различили теперь еще половичок, наискось шедший к кровати больного; он был как мосток, на который ступили ноги Татьяны. Вдруг больной захрипел, и руки его под одеялом зашевелились.

— Ну, вот ты и пришла, — сказал он издалека, но довольно свободно. — Ну, и теперь хорошо. И ты больше уже не уйдешь. — Последние слова он выговорил с большим трудом и так и не высвободил из-под одеяла руки.

Татьяне сделалось страшно. Она поняла, что он принял ее за умершую мать. Она сделала над собою усилие и подошла к умиравшему, о котором столько слыхала. Она откинула это, когда-то ее, одеяло и высвободила его потную руку; рука не была горяча, как ожидала Татьяна, и она была тяжела.

В эту минуту кто-то стукнул снаружи. Катя хотела пойти отворить, но поглядела на Татьяну.

— Иди, иди, — отвечала шепотом та, — я еще тут немного побуду.

Евстафий теперь уже ничего не говорил. Татьяна положила свою горячую руку поверх его все холодавшей руки.

— Ну вот я тебя и отыскал! — почти те же слова услышала Татьяна; но голос был молодой и горячий. — Ночью сегодня пришли. Что ж ты молчишь?

Татьяна не видела Катю, но она понимала, почему Катя молчит. Она не ждала его, и вот он пришел, она думала умер, и вот он живой!

— Ай кого полюбила другого? (Грубовато и ззонко, и только чтоб подразнить.)

— Выйдем отсюда, я тут не хочу говорить.

И через минуту слышался уже на дворе горячий и сдержанный Катин говор. Его прерывал деланный смех молодого матроса. Смех этот, однако, скоро иссяк. Он начал теперь говорить хоть неловко, но по-серьезному. Катя его прерывала. Потом наступило молчание. Потом громко и зло Ершов прокричал:

— А ну тебя к черту с твоей фанаберией! Другую получше найдем!

Катя вернулась и, кажется, плакала. Хозяйка молчала.

«Прощу ему все, но одного не прощу!» — Татьяне стало казаться, что она тут стоит целую вечность. Она хотела уйти, но еще не имела сил. Вдруг она услышала голос Петра:

— Парень сидит на камнях, а по лицу слезы текут. Я пригляделся: Ершов!

— А ты подошел к нему? — спросила порывисто Катя.

— Нет.

— А откуда ты знаешь его?

— Я у него учителем был. А потом он пошел в городское. Бедовый был малый.

— Поди и позови его. Нет, не ходи! А сам уходи, уходи! Глядеть не хочу! — И она зарыдала громко, что-то еще говоря непонятное.

Петр ничего не говорил, не отозвался никак. Потом Татьяна услышала, как стукнула дверь. Тогда Катя забилась и застонала. Татьяна хотела к ней выйти, но лежавший пред нею, теперь уже вытянувшись, строгий чернобородый человек ее не пускал. Татьяна не думала и не заметила, что большой ее палец попал в его закаменевшую руку. Тогда закричала и она. Но Катя, верно, не слышала: она кинулась к окну и во весь голос в окно закричала:

— Петр, воротись!

— Да я никуда и не уходил, — услышался ровный голос Петра. — Это хозяйка ушла.

Татьяна высвободила, наконец, свою руку и вышла в светлую комнату. Солнце ее ослепило. Катино лицо было как небо, когда и солнце и дождь.

Тете Евгении Татьяна про все это ничего не сказала. По дороге она силилась вспомнить: «ходики» остановились, это было наверное, но она не могла припомнить, когда. И потом, это их тиканье — оно как бы тонуло в Катином дождевом лице, в звоне горячего солнца.

В последние дни перед отъездом Татьяна все больше бродила с художником, и именно он приготовил ей последний феодосийский сюрприз.

Город оставался полупустым два или три дня. Масса домов стояли открытыми, брошенными. Голодные собаки бродили по улицам и, поджимая хвосты, вынюхивали у дверей человеческий дух. Фабрика мрачно стояла с наглухо запертыми воротами. У многих рабочих были животные. Коровы мычали, и трясли бороною козлы, побираясь по соседним дворам. Множество перепуганных людей скрывалось еще в кизильнике, в балке. В ближайших окрестностях ходили про Феодосию фантастические слухи, что города больше не существует, что он разрушен до основания. Деревня Прицепка, в сторону

Симферополя, бывшая местом ссылки еще во времена Екатерины II и сохранившая вольно-разбойничьи навыки, пыталась пограбить. Она поставляла большую часть грузчиков. И вот на огромных подводах, с треском и грохотом, как настоящие гунны, из-за Лысой горы обрушились они на Феодосию, через базар, но получили отпор.

Художник был нервен и мрачен одновременно. То он говорил о Потопе и собирался работать (в руки не брал и карандаша), то иронизировал, то был исключительно нежен с Татьяной, но непосредственно вслед за этим впадал в непреходимую мрачность.

— Все равно, — говорил он, — «Потемкин» пал (уже было известие о разоружении и сдаче «Потемкина» в Румынии), но и самодержавие пало. Это дело минут.

— Как минут?

— А что такое минуты? Спросите у фанагорийского льва, где изображено мое имя. Мы в сущности стоим рядом с мамонтами. Только слепые не видят этого. Да и что такое самодержавие? Плохонькие декорации на сцене летнего провинциального театра. Новая пьеса пойдет без декораций и с совершенно другими людьми. Но только статистом я быть не способен. Это уж простите меня вовсе!

Однажды запела опять в ресторанчике скрипка; и опять на бульваре зашептались склоненные парочки. Дмитрий Иванович стал мрачен, свиреп.

— Главная подлость не в том... а в том, что решительно все осталось на месте.

— Это правда, Дмитрий Иванович, что к вам вернулась жена?

— Да, это правда. В два часа двадцать пять. А в два тридцать я вышел к вам. И я становлюсь революционером, и я не хочу выносить *старый режим*. Я уйду.

— Куда и зачем?

— А вы... разве вы не уезжаете? (Татьяна вздохнула.) Матросы и рыбаки имеют больший успех у женщин, да и рисовальщики собак на воротах — тоже, пожалуй... Вы давно видели Катю? Так вот и я становлюсь рыбаком, но только на свой собственный лад. А главное: вы уезжаете, а вы для меня как роса. Вы не знали, что вы для меня как роса? А роса — это утро и воздух, и весь мир отражен в чистойшей из капель.

В этот вечер, прощаясь, он крепко сжал пальцы, отдельно на каждой из рук, точно каждой рукой — ни за что — чего-то он не хотел отдавать, но должен отдать; и так, сжатыми пальцами, постучал одной рукой о другую. Это был сухой и короткий звук: кости о кости.

— И ежели все осталось на месте, и вы уезжаете, то оставаться и ждать... Минуты — они очень долги! А я человек острых пристрастий...

Он зашагал не оглядываясь. Татьяна смотрела ему вслед со стесненным сердцем. «На случай индивидуальной моей гибели», — вспомнилось ей, и она решила завтра же утром его навестить.

Отъезд был назначен еще через три дня, но неожиданное известие из Москвы заставило Татьяну выехать завтра же. Телеграммой ее известили, что у отца был удар. Так вот о чем говорили эти слова: «А у меня болит голова!» И он встал перед ней — как был на вокзале. Художник не угадал: не в карете!

В последний раз над Татьяной плескалась листва на стене, и ей вспомнился первый ее феодосийский день. Сколько людей и событий прошло перед нею, как люди менялись и набегали, меняясь, то на других, то на самих себя! И море такое изменчивое и равное самому себе родило героя и поглотило героя. И герой умирал в короткие сроки с тем, чтобы жить в долгие сроки. И отцу везла ассортимент табаку, а отец уходил навсегда. Татьяна теперь видела смерть, и Татьяна пережила жизнь своей матери. И кажется, что... художник ее полюбил, это можно сказать себе в темноте. И Татьяна теперь на свете одна, а когда человек остается один и некуда глянуть повыше, — это ответственно, и шаги человека становятся тверже. И отец вряд ли уже будет судить Владимира, и как она встретится с ним, со своим... женихом? И какой вообще будет суд — моря, земли, городов? И кто крепок (Ершова не вспомнила и позабыла цветы) — это Катя и Петр; и, подумав, добавила: нет, не Гри-Гри, а коротенький человек, у которого складки, Ефрем Васильич, кажется. Да, и какая другая... какая другая Татьяна сама! Должно быть, опять приложила руки к груди: звякнул браслет о браслет. И тетя Евгения... Тетя Евгения — больше, чем кто-нибудь, — как эта листва на стене...

Татьяна очень хотела перед отъездом видеть художника и хотела увидеть жену, но ей не удалось.

— Я пошлю за ним, он придет на вокзал, — так распустила Евгения Васильевна, очень расстроенная отъездом Татьяны, который теперь становился совсем необходимым.

«Да, может быть, лучше не видеть жену», — подумала Татьяна и уступила. И никого другого, пожалуй, не надо: Кате не до нее!

По дороге к вокзалу она увидела Ефрема Васильича, мастера. Он шел в сопровождении двух городских; заметив Татьяну, он тайно и дружески ей подмигнул.

На станции художника не было. Браслеты звенели с обеих сторон, три и четыре, и, расставаясь с тетей Евгенией, Татьяна прощалась со всей Феодосией, которую знала когда-то только на карте.

Опять было море и порт и на рейде суда были в движении; и мелькали опять приморские дачи, но они странно казались ненастоящими, почти что не существующими. «Отчего же все-таки он не пришел? — подумалось невольно Татьяне. — Не стал же он впрямь рыбаком?» И как бы в ответ, донесся до нее разговор:

— Так что же он, бросился?

— Наверное, сам. Недалеко от завода. В Двухкорной бухте. Знаешь, откос с оливковым деревом?

— Да кто он такой?

— Не знаю. Болтали — художник.

— И насмерть?

— Ну да!

Татьяна теперь поняла, как он стал рыбаком на свой собственный лад.

Дорога была Татьяне трудна. Каждая тень на пути была тенью трагической, а долгая ночь — как бесконечный и трудный туннель. Но чем дальше за ней оставалась отныне ей кровная Феодосия, тем больше все прояснялось Татьяне, и все понемногу становилось на место: даже художник, даже отец и даже Владимир. И надо всем вздымался трагический огромный корабль, и тень от него ложилась на карту. И на карте была не одна Феодосия, на карте была вся Россия — от кровавого Дальнего Востока до дремучих Нахимовских дебрей Смоленщины.

Утро ее залило солнцем. В коридоре вагона какой-то солидный путеец обратился к ней, вежливо приподняв отягченную значком новенькую фуражку:

— Как хорошо вы загорели!

Татьяна никак не отозвалась.

— А где, позвольте спросить?

— В Феодосии.

— А феодосийский загар держится крепко?

Татьяна вложила свой смысл в этот вопрос и ответила очень серьезно, так что потом инженер ничего больше не спрашивал:

— Да, очень крепко, и этот загар на всю жизнь.

1930 г.

КАМЕРА НОМЕР ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

Как жаль, что нет теперь здесь
ни Пущина, ни Малиновского.

(Предсмертные слова Пушкина)

Зима 1837 года стояла в Сибири безветренная, колючая. От сухого мороза, когда после душной камеры заключенные выходили на тюремный двор, ломило глаза. Утра и закаты были багряны. Длинные и узкие окна, в сажень длины и четыре вершка ширины, пробитые на большой высоте, по утрам, на заре, загорались кумачовой полоской с узором решетки.

В последние дни Ивану Ивановичу Пущину было не по себе и, от природы живой, в таком состоянии он неохотно общался с товарищами по тюрьме. Петербург! Как давно это было и как далек он теперь! Храня свой огонь и на каторге, каждое 14 декабря они собирались и праздновали, вспоминая восстание и дни своей юности. Но юность прошла.

«Я много уже перенес, и еще больше предстоит в будущем, если богу угодно будет продлить *надрезанную* мою жизнь», — так он писал Энгельгардту, бывшему директору лицея, еще из Читы. И тогда уже казалась Россия далекой, а сибирская жизнь становилась все больше привычной, но вот и здесь — на Петровском заводе, в новой тюрьме — седьмой уже год! Изю дня в день томительное однообразие — вставляли по барабану, ровняли дороги в лесу, по которым подвозились дрова на завод, или работали у себя в огороде, а зимою мололи зерно на ручных мельницах. Перед

вечером часа на два наступало оживление в коридоре — до вечерней зори, выбиваемой снова на барабанах, а потом, как всегда, — задвижка, замок и долгая ночь с собою самим наедине.

Пуцин своих одиноких часов не страшился. Он в себе выработал твердую волю и на повседневность. Он привык думать о времени большими кусками. Годы стояли как версты. От версты до версты медлителей путь, но самих полосатых столбов — не бесконечность: все видно. В тюрьме отпустил он усы и пропахшими от табаку пальцами подергивал их теперь, удерживаясь даже от вздоха.

Но если он мужественно справлялся с громадою времени, то огромность пространств порою его подавляла. И это было всего ощутимей зимой, когда снега ровняли всю землю и ветер, пронизанный льдом, гулял от моря до моря: все было гладко, бело — Россия, Сибирь, и лишь где-то теплели покинутые родимые гнезда, с которыми можно сноситься только с великой опаской — и то лишь через жен, последовавших на каторгу за мужьями.

Великою радостью, праздником был всякий приезд из России. И сейчас Пуцин ждал со дня на день возвращения из отпуска тюремного плац-адъютанта, уехавшего в Петербург. С ним заключенные уже обжились, и он обещал Ивану Ивановичу повидаться с кем можно из близких его и родных. Быть может, увидит и Пушкина!

Мысли о друге детства и юности не покидали Пуцина никогда, и он хранил при себе драгоценный листок, который в волнении в самый день прибытия его в Читку передала ему через частокол Александра Григорьевна Муравьева. Это было задушевное приветствие поэта и друга, и у Пуцина застилало слезою глаза, когда он читал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Да, точно: когда-то, совсем молодым, он посетил своего друга в его деревенском изгнании... Такие же январские снега блистали под солнцем и тогда — на дворе Читинской тюрьмы, и раньше — в милом Михайловском, занесенном сугробами до половины окон. Было раннее утро, и из дома под соломенной кровлей с поднятыми приветственно руками Пушкин выскочил навстречу ему на крыльцо в одной рубашке... Он оставался тем самым мальчиком, каким был в лице.

Теперь и та минута, как читал на морозе полученные стихи, давно отошла уже в прошлое, и годы ложились один на другой, как большие страницы неписаной, но ежедневно переживаемой книги. Однако же Пушкин всегда чувствовал твердо, что друг о нем помнит и мысли о тех, кто «в мрачных пропастях земли», посещали его не только в дни годовщины лица. Но уж, конечно, узник и сам думал не меньше о Пушкине. В последние дни в ожидании возвращения Розенберга, плацадьютанта, воспоминания эти были особенно часты. И Пушкину радостно было себе представлять живого, веселого друга, как был он запечатлен в его памяти.

День сегодня воскресный, но с тех пор, как Волконские, муж и жена, перебрались на поселение в Урик, по соседству с Иркутском, свободные дни эти стали казаться Ивану Ивановичу еще более долгими. Его «надрезанная жизнь» с тех пор еще надломилась, а между тем — что говорить! — этот год, вовсе недавно, который Волконские провели, после освобождения из тюрьмы Сергея Григорьевича, на поселении здесь же, в Петровском заводе, был для него годом, отмеченным киноварью, как отмечают праздники в святцах. В Петровском теперь было уже немало таких поселенческих домиков, и была даже целая *Дамская улица*, но лишь у Волконских он себя чувствовал — точно был дома, в собственной семье, а Мария Николаевна с малюткою Нелли на руках была и сама, можно так думать, олицетворением найденного счастья.

В камере было темно, правда, не так, как тогда, когда еще не были прорублены, по ходатайству жен декабристов и в порядке монаршего милосердия, эти окна вверху, тогда нельзя было даже различить стрелок на карманных часах, — но и сейчас, чтобы читать, надо

было взбираться по подмосткам к узкой полоске света у потолка.

Пушин закрыл книгу. Что-то теперь у Волконских? Может быть, чай, самовар... Он поглядел вниз — на одинокое свое обиталище. Все это прислано из дому: ковер на полу, стол с рукодельем сестер, табачница, шитая бисером, на диване и стульях — покрывки с шитьем.

Все было мило, привычно и грустно. Когда после длительного путешествия пешком из Читы, свыше шестисот верст, вступили все они, миновав гауптвахту и через караульную, в длинный тюремный коридор, Пушин себе облюбовал номер четырнадцатый. Это было воспоминанием и о 14 декабря и родился он в доме номер четырнадцать — в Петербурге по Мойке. Здесь, на квадратных аршинах, и протекали его ночи и дни.

Пушин сошел с подмостков, выглянул в коридор и, через замерзшее окно, на двор, разделенный на отдельные гнезда и замыкавшийся высоким угрюмым частоколом, и его так потянуло на волю, как он редко это себе разрешал. На минуту мелькнул Петербург, огни Невского, движение карет, подъезды театров... Что теперь делает Пушкин? Суждено ли им свидеться?

Так даже и эта непрестанная мысль о Волконской легко перешла на Александра: Пушкин ее знал еще девочкой, Машей Раевской, когда гостил у отца ее в Гурзуфе — в Крыму.

В этих думах о Пушкине было большое облегчение: как если бы легкий снежок выпадал после мороза. Чаще всего вспоминались детские годы: как играли в снежки в день открытия лица, сидели веселые в классах, читали стихи... «А тот вечер, когда открылась начальством пирушка: Пушкин, Малиновский и я! Помнит ли он и теперь веселое детство, друзей?..»

Все это было: четвертый этаж, две комнаты рядом и черная доска на дверях — номер и имя. Да: № 13 — Иван Пушин и № 14 — Александр Пушкин. Номер четырнадцатый! Как знать: Александр Пушкин — не занял ли бы он его и здесь, если бы... если бы...

Иван Иванович думал: что было бы с Пушкиным, когда бы и он принят был в тайное общество? «А между тем все это было в моих руках, — размышлял он, задумчиво глядя, как на тюремном дворе бродили товарищи, — и я был так близок к тому, чтобы привлечь его

к нам. Что бы стало с талантом его в условиях жизни замкнутой и отрешенной от мира? Нет, у Пушкина свой, обособленный путь, также тернистый, но он делает сам народное дело».

Однако за Пушкина он и тревожился. Женитьба его на юной красавице Гончаровой и его придворная служба пугали Пущина. Он хорошо знал, что Александр должен был тяготиться этою непривычной для него новою жизнью. А впрочем, к чему эти грустные мысли! Пусть нелегко, но он на свободе и жизнь его не подрезана долгой неволей. Чудесное сердце его и ясный сверкающий ум — вот настоящая жизнь!

«Да что ж, наконец, Розенберг? — снова подумалось Пущину. — Где именно он одолевает снежное поле на многие тысячи верст между Петербургом и Петровским заводом?»

И как бы в ответ (Пущин не слышал шагов) послышался голос:

— Иван Иванович, вот и я. Здравствуйте. Ждали меня?

Пущин очнулся от забытья и обернулся. Перед ним стоял Розенберг — плац-адъютант, вернувшийся из Петербурга.

— Точно, я вас ждал все эти дни, — сказал обрадованно Пущин. — Видели наших? Рассказывайте. Идемте ко мне. Как я рад, что вы, наконец, возвратились!

Розовое, свежесбритое лицо Розенберга сияло довольством: он побывал в Петербурге и он вернулся домой. Любезно, легко он сообщал различные новости и передавал приветы родных. Пущин ловил и впитывал каждое его слово. Точно бы не оконная щель была теперь наверху, а широко распахнуты настоящие рамы в самую жизнь. Он прерывал рассказчика вопросами, желая представить себе все как было, во всех мелочах. Но самое дорогое он приберегал под конец. Весть о живом, ненадломленном Пушкине — вот чего ожидал он с тайной отрадой. Прошло уже около получаса, когда, наконец, он не выдержал.

— Ну, а Пушкин? Не видели Пушкина? — спросил он внезапно; ему было весело произнести самое имя.

Лицо Розенберга переменялось, и он бегло взглянул мимо Пущина куда-то к карнизу.

— Да, видел, — ответил он как-то неопределенно и замолчал; голос его потускнел.

Пушин насторожился и невольно поднялся со стула.

— Видели? Ну и что?

Розенберг не отвечал.

— Как вы его видели? Где?

— Я видел его в Конюшенной церкви, в гробу.

У Пушкина зашумело в ушах, как если бы вихрь внезапно сорвал и со свистом пронес кучу листьев. Он побледнел.

— Да что же от вас мне скрывать, — продолжал Розенберг, и розовое любезное лицо его стало по-человечески грустным. — Друга вашего нет! Он был ранен на дуэли Дантесом, и через двое суток его не стало. Я был на отпевании накануне выезда моего из Петербурга.

Он говорил еще о той общей печали, которая окутала столицу, и о народном волнении, охватившем все слои населения. Пушкин слушал все это, но сам не мог вымолвить ни единого слова и не удерживал гостя.

Весть о гибели Пушкина мгновенно охватила всю тюрьму, все шестьдесят четыре камеры. Кто был знаком, кто незнаком, но все его знали. Редко у кого из декабристов не было его стихов, о которых допрашивали и на следствии, и для всех это было живое, горячее имя.

Многие забегали к Пушкину, но на вопросы он отвечал скупо и сдержанно. Глубокая горечь оседала на сердце, и возникала одновременно, томя, острая ненависть к тем, кто убил. Эти минуты по глубине и значительности становились в ряд с теми часами, как шел на Сенатскую площадь и провел там навеки запечатлевшийся день. Смерть самому в этот день глядела в глаза, но он был там между товарищей и делал одно, всем общее дело.

Лежа в ту ночь, как и всегда, у себя под замком, на кровати, Пушин невольно прислушивался, как по коридору мерно шагала часовая. Так же ступал, сторожа, и дядька в лице. С одной неподвижною мыслью: «Умер, убит» — невозможно бы стало дышать, и он представлял себе давние дни, что проводил вместе с Пушкиным. А между тем какая-то новая мысль томила его на глубине, не находя себе выражения.

С особенной живостью вставали теперь перед ним эти предночные лицейские часы: как постоянно они

через стенку переговаривались, лежа в постелях, как многое занимало всегда этого живого, кудрявого, незабвенного мальчика! Как часто случалось, что сущий какой-нибудь вздор его волновал... Бывало, сам вывернешься, а он не умел и советовался, как ему быть.

«Ах, вспоминал ли меня? И отчего меня не было с ним в его последние дни!»

С этою мыслью, под утро уже, Пущин уснул. Ему снова и снова привиделась Сенатская площадь и сам он среди заговорщиков, в штатском платье, как и действительно был, в плаще, простреленном пулями. И вдруг неожиданно, обернувшись, увидел он Пушкина рядом с собою. Пушкин был жив и смеялся. На бакенбардах его лежал легкий иней, голова обнажена на морозе, и кудрявились волосы.

— Пущин, — сказал он. — Вот видишь, я здесь. Дай мне оружие.

Пущин послушно ему передал, и, как бывает во сне, вот уже и горячая схватка. И офицер на коне, кавалергард, направляет на Пушкина свой пистолет. Палец в движении, курок уже поднят... Пущин хватает рукою: кобура холодна и пуста. Тогда он кидается наперерез и тотчас падает в снег, прижимая к сердцу ладонь. Он слышит на пальцах горячую кровь и видит склоненное над собою лицо Александра. Как хорошо! Он заслонил его: Пушкин остался жив!

И Пущин проснулся: рука на груди и колотится сердце. Полоска зари алела на узком окне. Он огляделся вокруг и вспомнил действительность.

Твердость и мужество снова вернулись к нему. Выпростав руки из-под одеяла, он крепко их сжал, зная теперь хорошо, чем полно было сердце и что так томило его. Он думал теперь уже наяву:

«Нет, ежели б я был на месте его секунданта, я нашел бы верное средство его сохранить: роковая пуля встретила бы мою грудь. А Пушкин есть достояние России».

1936 г.

СЫН ТЫСЯЦКОГО

Повесть об авторе «Слова о полку Игореве»

I

Был год от сотворения мира шесть тысяч шестьсот девяносто третий, но мир не казался старым и дряхлым. Все в нем было в движении: времена года и полевые труды; набеги кочевников и ратные подвиги; песня, любовь. Реки, полные рыбы, текли по дремучим лесам, испещренным тропами осторожных зверей, оглашаемым пением птиц. Они текли только к югу, к синему морю. Но люди ходили и за море. Оттуда была привезена и новая вера. Еще по-молодому дышала она, радуя глаз благолепием службы, пробуждая какие-то новые мысли и чувства. Только старые женщины потихоньку твердили еще слова обращения к старым богам и, напевая запретные гимны, чуть шевеля сухими губами, на полях — из колосьев — завивали *Велесову бороду*.

По торговым дорогам ходили караваны купцов. Это были полукупцы, полувоины, а к границам княжских владений выходили навстречу тем караванам отряды дружинников. Торговали с Востоком и Западом. Запад знал уже Русь, засылал и послов и сватов: какая-то новая могучая сила росла по Днепру, пробивалась и к Дону, на великой Волге-реке громила древних болгар. Эта «древняя Русь» была юною Русью, крепнувшей, наливавшейся соками, ищущей формы здорового и полноценного своего бытия.

Веселые города стояли уже по рекам. Храм на холме, узорчатый княжеский терем, службы и погребя для при-

возного вина и для родимых медов, огороды, луг и конюшня. Впрочем, конюшен и конюхов было множество: жизнь не стояла на месте, и на седле было как-то ладней и уверенней, чем на скамье. За стеною кремля, ограждавшего княжьи постройки, домашние княжьи уголья, шумели базары, рынок с лотками; звонкоголосый шел говор от края до края, торговали съестными припасами, тканями, колесами, кожей, салом и медом, изделиями мастеров и ремесленников. Со слюдянными оконцами избы, с крыльцом и двором, клались то в улицы, то в перебивку. Запах навоза и молока, шедший из-за плетней, смешивался с запахом буйной травы. Тропинки бежали под гору. Женщины брали там воду, полоскали рубахи мужьям и отцам; мужчины поили коней, купали их, купались и сами. Носами на берег торчали ладьи — долбленые, узкие, с рыбацкою сетью; на пристанях плавно качались *насады* — большие, с крутою кормой и загнутым носом, что тебе корабли, — готовые в дальнее плаванье, хорошо просмоленные, с крепкою снастью.

Деревня себе добывала поля, корчуя лесную чащобу. Для дровосека топор сливался с рукою: без топора чего-то ему не хватало, и, как руку, ложась на покой, он закидывал его за голову, засовывая под изголовье. По ночам, когда ветер, огромный и черный, ходил на свободе, старая нечисть вылезала на волю, и не было ей угомону. Но дома были хоть стены, а вот не дай бог запоздать в эту пору в лесу! За каждой корягой кто-то подмигивал, в каждом овраге кто-то возился и гукал, сучья трещали и впереди, и позади, и над головой. Неуверенно путник крестился и подкреплял крестное знаменье возгласами: «Чур меня, чур!» — или ближе к церковному: «Аминь, аминь, рассыпья!» Но и крестное знамение, и стародавние заклинания эти хоть помогали, да не особенно. А ежели случалось, что *рассыпáлся*, то это было и того страшней.

Женщины часто видели огненных змеев. Эти летали бесшумно и невысоко над горизонтом, взрываясь, раскидываясь тучею блестящих искр. А коли это было над хатой и коли женщина в доме случалась одна, то змей непременно обертывался неким добрым молодцем с невыразимой улыбкой и прельстительной речью; тогда бывали и последствия.

Так в деревнях новая вера, несшая вместе с собою освобождение от страха первобытных стихий, пускала еще неглубокие корни. Стихий лежали под боком, ворчали, теснились немного, но вовсе не уходили.

Очаги христианства — блистали крестами монастыри. Жили они широко, у них были уголья, стада, сады за оградой, пчелы в лесу. Там шла своя жизнь, для мирян лишь частично открытая. Между монахов были ученые люди, утверждавшие новую письменность. Народ через нее обретал то орудие, которое позже, уже за стенами монастырей, крепило образованность общегражданскую. По знаниям, грамоте тосковали люди таланта; получить просвещение можно было только в монастырях.

В Чернигове, в Новгороде-Северском, в стольном городе Киеве шла слава о знаменитом монахе Кирилле из Турова, что, удалясь от общежития, уединился в затворе, в столпе. Туда же, в свою отрешенную башню, перенес он с собою множество книг для работы. Молитвы, которые он составлял, были тихи и сладкогласны: казалось, в них ангелы реют крылами, но в проповедях и в поучениях билась, играла, сверкала жаркая кровь, образ теснился за образом, и поэтическая битва гремела подобием настоящих боев. В башне он, впрочем, и не усидел, с великою страстью отдавшись тем распрям, которые возникали не в редкость между князьями и духовенством: две эти силы крепили одна другую, но порой и соперничали.

Князей было много, племя их было многоветвисто: роды одни враждовали с другими; заключались союзы, целовались кресты, и крестное целование это нарушалось в обычай.

Одни из князей — те, что постарше, — были важны, строги, благочестивы; порой дипломаты, а то и ученые. Другие, сидевшие по городам значения среднего, были попроще. Эти больше клали в основу блага мирские: любили поест, неумеренно выпить. Охота, церковные праздники, свадьбы, крестины и именины были их красными днями. У них был задор друг перед другом, и чужое всегда манило, прельщало и снилось. Считались родами и старшинством, вотчинами: соседу не должно было дремать. Дружили с одними, а потом, глядишь, с ними же и враждовали, заключая союзы со вчерашними недругами. Князья, что помельче совсем, тонули в умеренной славе

середних князей. Кровь играла у всех горячо; кони готовы к походу всегда; дружина отважна: бедовая дѣла — в походах славно дралась.

В этих княжских домах особенно строго блюли не благочиние, не домашний порядок, а блюли в них права, следили наследованье: каждому было в охоту подвинуться выше. И когда умирал киевский князь, или черниговский князь, или галицкий князь, то едва ли не каждый в думах своих почитал лишь себя самого настоящим, достойным преемником. Однакож на деле выдвигали из близких кого повидней и кто посулил больше выгод. Два или три таких соискателя, домогаясь стола, бились уже между собою, а сторонники их скрещивали, идя стеною на стену, короткие копья, гремели большими мечами. Братняя кровь разливалась потоками, деревня стонала, гибли поля. Правда, что с роздыхами, но междоусобицы эти налетали, как бури, как попушение божие. Искала порядка и лада земля и не находила, точно покой был ей заказан.

Между князей бывали и умницы, светлые головы. Помнил народ Мономаха — Владимира и про него пел сказания, как и про Владимира Красное Солнышко. У Мономаха отец разумел пять языков, мать его была дочерью византийского императора Константина. Через Владимира шла на Русь письменность, устанавливался порядок — и между князьями и в торговых делах; заговорил закон о холопах и бедняках-наемниках — «закупах». Во времена Мономаховы же строились церкви, составлена наша первоначальная летопись, сам он писал Поучение детям.

При нем и извечным врагам, кочевникам-половцам, доставалось зело. С тех пор как на Стугне-реке в сражении с половцами, при переправе через коварную речку, весной утонул его брат Ростислав, юноша нежного возраста, Владимир дал клятву: половцев бить; и бил их нещадно.

Были князья и другого размаха.

Олег Святославич большие морщины провел по Русской земле. Будучи вытеснен из города Владимира, что на Волыни, он удалился в Тмуторокань, к Азовскому морю. Раньше там жили хозары и много других полубродячих племен, вкраплены были угры и готы, поселялись и русские, издавна тяготевшие к Азовскому морю; так, уже при Владимире, Русь окрестившем, Тмуто-

рокань совсем было стала русскою вольной землей. Часто туда направлялись князи-изгои, жили, княжили, набирали войска из кочевников и на родину шли — отыскивать правду неправдой. Так бушевал и Олег, и Мономаху приходилось его усмирять, когда он вторгнулся на Русь с половецкими ордами, уже прочно в ту пору взявшими власть в Тмуторокани: теплая зелень Азовского моря осталась у русских только в воспоминании.

На Нежатиной Ниве прохладною осенью, на третий день праздника покрова богородицы, произошла боевая первая встреча Мономаховичей с Ольговичами. С Олегом шел его двоюродный брат Борис Вячеславич; на стороне Мономаха — четверо старших князей.

Даже Олег испугался.

— Не выступим, — он говорил. — Где стать против стольких? Пошлем к дядьям просьбу о мире.

Но Бориса манила бранная слава:

— Стой да гляди. Хочешь, я и один выйду противу всех.

Борис был убит в этой битве. Но также убит был и великий князь Изяслав. Довольное время спустя старший сын его Святополк распорядился из Новгорода отвезти тело отца в стольный город Киев, куда его и доставили, ко святой Софии, на золотом шитых пополах между коней-иноходцев.

Так пали жертвы и с той и с другой стороны. Битва с кочевниками, а князья русские, родичи, погибли — врагами. Память о прошлом живет, горечь от распрей не умирает. И внуки Олега, ныне живущие, помнят буйную жизнь беспокойного деда, которого молодой Тимофей, на язык подчас дерзкий, прозвал «Гориславичем».

Но у Игоря-князя сей Тимофей уже давно прижился и в княжьей семье будто как свой. Он многое знает, и с ним разговор — не пустой разговор.

II

«А поганые жалят и жалят Русскую землю, как дикие пчелы, как ярые осы!» — так наемни все тот же сказал Тимофей и так сейчас думает Игорь — теми самыми словами сына старого тысяцкого Рагуила, бывшего тысяцким же еще при отце его Святославе, когда

всею семьей жили в Чернигове. Куда, однакож, пропал Тимофей? Надо бы было послать его за отцом... Все было готово, и Игорь решал поход на сегодня.

Недавно пошел ему год тридцать пятый. На взгорье вступает жизнь Игоря Святославича, князя в Новгороде-Северском. Можно взглянуть и назад, можно взглянуть и вперед. Год как женился, но жениться решился не сразу. В беспокойные ночи, после кончины первой жены, когда сон отлетал от несомкнутых глаз, не раз он, покряхтывая, думал во тьме: а не старость ли стала у изголовьья? Пробовал руку, как бы сжимая рукоятку меча, — рука была крепкая. Телом он также не был тяжел: умеренно пил, умеренно ел. Жизнь проходила в походах; он крепко любил свое ратное дело: оно молодило. Нет, жизни довольно еще впереди! И вот зазвенел — и в терему, и на дворе, и по саду — ясный, как колокольчик, девичий смех. Уже год, как жена, а смешлива, ровно дитя.

И, вспомнив свою молодую жену, Игорь потрогал рукою усы, мягко спадавшие в бороду; борода была русой, волнистой; аккуратно подстрижена. Жену его Евфросинию звали все Ярославной-княгиней. Где Ярослава? И где ж Тимофей? Никого не слышать. В хоромах, по праздничному, после пиров была тишина.

Весеннее солнце играло в струях широкой Десны, катившей к Чернигову свои полные воды. Свежие, влажные ветры издалека плыли от Дона. Луга были зелены, но зелень сама еще не колыхалась, лишь на горизонте заметно над травами зыбился воздух, прогреваемый солнцем. Ноздри Игоря, как у коня, трепетали, ширясь и опадая: сиянье весны, близкий поход.

Терем стоит высоко над рекой, сажений, может быть, на сорок: даль. И с той высоты, как со взгорья собственной жизни, глядеть бы только вперед. Эти слова о половцах, жалящих Русскую землю, прямо зовут, и не медля, перекинуть ногу в седло, но они же и сами жалят, как осы, напоминая кое-что в прошлом: таков он всегда — молодой сын Рагуилов!

Сын Рагуилов скор на слова, когда отвечает. Но все не словоохотлив сам по себе: не спрашивай, так и молчит. Молчит он и с женщинами. Учтливое «да», учтливое «нет» — с Ярославной-княгиней. Слушает песни простонародные и любит читать. Хранит про себя какие-то длинные свитки. А зачем и к чему — это уж дело его!

Сын Рагуилов — хороший учитель, хоть было и не легко с таким сорванцом, как Владимир: с Владимиром было проказ — не перечесть. Вот теперь возится с младшим: Святослав подрастает как будто немного разумней. Но и ему ученым не быть. Не беда! Сам Игорь не слишком учен, а ему Тимофей в уме не отказывает; он же не льстит и не поклонничает.

Напротив того, Тимофей ничего не таит, когда спросишь, как если бы был у него талисман: никого не бояться! Такие глаза у него — прямые и ясные; голубые, должно быть, но умеют синеть, словно море. И разве не знал, когда этак глядел и говорил о поганых, что Игорь и сам был не безгрешен, что Игорь и сам, как его дед, наводил на Русь половцев, дружил с Кончаком и сеял усобицы; вот и жалят теперь эти слова — совесть в груди.

Усобицы? Да. Не он ли на щит взял город Глебов у Переяславля? И сколько же крови безвинной было пролито в земле христианской! Отец отлучался от сыновей, дочери от матерей, брат от брата, друзья от друзей, жены от мужей своих. Как могло это быть? Все смятено было пленом и скорбью, мертвым живые завидовали... Да не будет отныне сего!

Жена молода, будет скучать. Но он к ней вернется со славой и с успокоенным духом. Довольно о прошлом. У Игоря крепки твердые мысли и разгоралось мужеством сердце. В обжигающем, плавящем свете весны возникало одно: чем на слова эти ответить, чем ответить на чувства свои? — Походом! Походом! Медлить довольно!

Горячие схватки с врагом идут давно. Игорь любил вспоминать, как Кобыка и Кончака громил он за Ворсклой. Но чаще потом русские князи бились друг с другом. И лишь когда в стольном Киеве укрепился князь Святослав, усобицы замерли и половцам туго пришлось. Еще в прошлом году, на Ереле-реке Святослав поймал самого хана Кобыка с двумя сыновьями и с ним до семи тысяч нехристей. Ни Ярослав Черниговский и ни Игорь в тот поход не ходили, но, услышав, что Святослав из Киева выступил, Игорь призвал тогда брата Всеволода, да сына новца¹ Святослава Ольговича, да сына Владимира, и

¹ Сын овец — племянник.

решили ударить одни на половецкие вежи. Поход был удачен, но с крупными половецкими силами встретиться не довелось, а Святослава слава гремела повсюду. Было обидно.

И вот в нынешний, от сотворения мира шесть тысяч шестьсот девяносто третий год безбожный и треклятый Кончак со множеством воинов еще до весны стал на Русь наступать. Дивный один с ним шел басурманин, стрелявший живым огнем. И самострелы у половцев были такие тугие, что их едва могли натянуть пятьдесят человек. Кончак был силён, но хитростью и лукавством еще крепил свою силу. Он обошел Святослава брата, Ярослава Черниговского, наказав своим послам говорить, что пришел просить мира. Тот поверил коварному хану и послал к ним боярина Ольстина Олексича, а когда обман разъяснился, Ярослав уже остерегся походом идти, боясь за судьбу посла.

Игорь хотел тогда ехать и думал с дружиной, как бы нагнать Святослава. Он говорил:

— Не дай бог отречься от помочи. Кончак и поганные такие же нам враги, как и им. Ты как, Тимофей, мыслишь об этом?

— Пусть живут у себя, — сказал Тимофей. — Пусть нас не трогают, тогда и мы их не тронем. Нам чужого не надо, но нашей земле нужен покой.

Дружина сказала:

— Князь! По-птичьему нельзя перелетать. Приехал к тебе боярин от Святослава в четверг, а сам он идет в воскресенье. Прикинь-ка путь наш до Киева.

— Тогда степью поедем возле Сулы-реки!

Но настала такая мокропогодица, что никуда ехать нельзя.

А Святослав вместе с Рюриком Ростиславичем и со всеми полками был уже в походе. Молодые князья Владимир Глебович и Мстислав Романович шли впереди. По дороге купцы, проезжавшие из земли Половецкой, указали, где стал со своею ордою Кончак. И опять Святослав покрыл себя славой. Грозный хан был разбит и едва успел убежать, а хитреца его, басурманина, что живым огнем стрелял, к Святославу доставили со всем его снаряжением.

Тут Игорь решил, что нельзя дольше ждать, и все четверо родичей согласно сказали:

— Разве уже мы не князья? Добудем такую же и мы себе честь.

А еще на подмогу себе выпросил Игорь у Ярослава Черниговского ковуевский полк. Земли черниговские были богаты осевшими там *своими погаными*. В драке они были незаменимы, только надо глядеть, чтобы не изменили, не перекинули вести врагу.

Как ходила когда-то четверка князей, так и теперь решено было не разлучаться.

Уже ратные стяги в Путивле стоят у сына Владимира, и к нему уже верно из Рыльска пришел сыновец Святослав Ольгович; да и Ольстин Олексич, Прохоров внук, должен туда же прийти. А из Путивля — в поход! — на встречу со Всеволодом! Он подойдет через Курск! Праздники? Пасха? Довольно трех дней! Не лучший ли праздник для воина — быть на коне?

Игорь оперся ладонями рук о скамью. Под солнцем она была горяча. Так он помедлил мгновение и, быстро, легко оттолкнувшись, поднялся. Молодой и горячий огонь пробегал по крепкому телу. Почему тишина? Почему никого не видать? Не прилегла ль Ярославна? Уснула? А Святослав с Тимофеем, надо быть, на реке. Все эти трое останутся тут, ко всем к ним вернется с победой, со славой...

Истинно так: в тереме спали. Слепополуденный праздничный сон одолел и мамок и слуг. Ранние стайки тощих еще, по-весеннему легоньких мух быстро снимались, жужжа, со стола, с лужицы кваса. По стенам висели шитые рушники, кафтаны, тисненные золотом. В красном углу поблескивал щит. В горнице дальше на мягком ковре спал Святослав. Он разметался во сне. Губы полуоткрыты. Белесые волосенки кудрявятся по лбу. Руки запачканы глиной. Мелким бисером пот проступал на висках. Млад еще, млад! Покой Ярославны. Но Ярославны постель и не примята. Она же одна никуда не выходит!

Игорь прошел по всем горницам. Птицы в клетках чирикали, купались в песке и, запрокинув шелковистые шейки, глотали неспешно каплю воды. И Тимофея нигде... Птиц он любил, и за ними ухаживал сам, никому не доверяя. У птиц все было как следует: значит, был и ушел. Нагретые теплые стены дышали смолой. В полутемных сенях было прохладней. Кадки, налитые доверху,

слабо светились водой. Пахло собаками, куриным пометом.

В раскрытые двери потянул сквознячок. Игорь вышел на волю, на двор. Тонкие, стройные вербы на нем давно отцвели и, зацветая, кудрявились купы черемухи. Пчелы уже хлопотали над ее горьковато-душистыми прядями. Игорь помедлил на лесенке. Была тишина.

И вдруг он услышал, где-то рядом совсем, смех Ярославны. И смеялась она не как всегда переливчато-звонко, а мягко и чуть приглушенно. Где же она затаилась? И с кем там из девушек радуется?

Смех повторился, и Игорь, тихо ступая, направился прямо к сарайчику, где недавно коза, туго надутая, как бурдюк молодого вина, наконец, разрешилась от бремени тройней. Ворота в сарай были полуоткрыты, сквозь дыры плетня в него падало солнце, пестря и рябя сизую мягкую мглу.

Ярославна, присевши на корточки, забавлялась с козлятами. Те пресмешно играли друг с другом. Они угловато поводили грудкой, головкой, дыбили ножки. Тут же стоял Тимофей, слегка наклонясь и согнув одну ногу в колене, чуть шевеля узким мягким носком сапога по низкому краю кормушки. У старой козы морда была в отрубях, но, покончив с едой, сейчас она ластилась к человеку.

Игорь животных не бил, но любил по-настоящему только коней. Тимофей же, можно сказать, со всеми дружил: телята на улице скакали за ним, неуклюже взметая копыта; коровы, завидя его, глупо-любовно мычали, тараща глаза и махая хвостом; собаки — те просто в обнимку! Да и коза сейчас только что не говорила.

Говорил Тимофей. Это для Игоря было совершенною новостью. Он говорил очень складно старую сказку про козу и козлят и про серого волка. Он и шутил мягко и ровно, от себя прибавляя нелепицы, сам не улыбаясь. Но зато Ярославна смеялась все так же негромко, легко.

Тимофей слегка напевал:

И принес волк охапку
Зеленой капусты —
Зеленой, росистой:
Зеленей, чем лягушки,
И мокрей, чем лягушки.

Ярославна смеялась, а Тимофей продолжал:

И рече ей волк:
«Коза моя! Кума моя!
Покушай, лада, капустки,
А я с детками твоими,
С козлятками,
Погуляю,
Грибочков да ягодок
Посбираю...»

Ярославна смеялась. Козлята играли.

— Волк ничего ведь другого не ест, окромя свежих ягод да грибов-мухоморов.

Тут Тимофей обернулся и увидел у входа стоявшего князя. На лице Игоря было раздумье, недоумение: как они здесь очутились вдвоем? Больше, однако, он был удивлен, нежели тронут или рассержен.

— Ты и сказки сказывать мастер, — сказал он негромко. — И давно ли княгиня стала дитятем?

Тимофей не смутился. Глаза его оставались ясны, как и всегда. Не сразу ушла разве только задумчивость, нежность.

— Кто долго дитя, тот богу угоден, — сказал он серьезно. — А жены, пожалуй, душу нам, князь, берегут.

— Верно затем, что и мы их должны зело оберегать от волков.

Игорь на Тимофея сердиться не мог, Рагуилова сына Игорь любил. К тому ж он и сам ответом своим был доволен.

Снизу, не поднимаясь, Ярославна взглянула на мужа. Он в воротах стоял, залитый светом, рослый, плечистый. Он на голову выше был Тимофея и на полторы головы самой Ярославны. А сейчас, как сидела она, казалось: князь Игорь как бы уже на коне.

Глаза его, серые, с большими ресницами, снова глядели ровно, достойно. Стройный и легкий, чернявый, с вьющимся волосом, рядом с ним Тимофей выглядел мальчиком. Вот они оба! Мужа немного боялась и крепко любила. С Тимофеем же было легко и пело в груди. Ужели поход, расставанье?

Игорь глядел на нее, круглолицую девочку — розовощекую, крепкую, как тугая калина, красная ягода, и ему расставанье каплею горькой росы пало на сердце. «Доколе дитя — пока сама не с дитятем», — подумал он про

себя, но, ничего не промолвив, повернулся, пошел. И Тимофей — следом за ним.

Ярославна осталась одна. Козлята один за другим, утомившись игрой, прилегли, подогнув под себя мохнатые ножки. Коза поглядела на них, на Ярославну, облизала детей, неспешно, внимательно, и вдруг, отходя, мимоходом, вытянув узкую умную морду, в щеку лизнула и ее заодно.

Молодая княгиня разом вскочила и быстро рукою смахнула непонятную слезу.

III

Тимофей, сын Игорева тысяцкого, хорошо знал историю многих князей, в подробностях знал все про Олегово племя. В последние годы отец стал молчалив, а раньше любил многое порассказать. Сын от него слышал не раз — и живо себе представлял — историю его встречи с молодой киевлянкой, ставшей впоследствии матерью Тимофея.

Великий князь Юрий неумеренно пил у осменика Петра, ведавшего торговыми пошлинами, и в ту же ночь разболелся. Князю кровь отворяли, но хитрость врачебная не помогла, и через пять дней он скончался. Изяслав Давыдович шел брать Киевский стол. Киевляне послали ему сказать: «Поезжай, князь, в Киев: Юрий умер».

С Изяславовым войском, в дружине, в Киев вступил и молодой Рагуил. Шла троицына неделя, мая пятнадцатый день. В городе было веселье: смерть нелюбимого князя. Изукрашенный двор его был разграблен; *Рай* был разграблен; *Раем* он называл свои терема за Днепром.

Изяслава встречали с любовью, но он сам был не очень доволен столь шумною встречей. Отряды дружины разъезжали по городу, дабы беспорядок не возрастал.

Рагуил на коне ехал один. Вдруг он заметил дымок, тянувший из окон широкого отъединенного дома. Ближе подъехал, услышал и шум. Рагуил соскочил с коня у ворот и, переступив за порог, увидел, что в горнице происходила крепкая схватка. Красивая девушка, очень молоденькая, простоволосая, в разодранном летнике, стояла на лавке. В руке ее была головня, и она работала ею, как всадник мечом, не подпуская врага. От разлетав-

шихся угольев, искр убранство той горницы уже кое-где тлело, вот-вот займется огнем. Ярко пылали и щеки у девушки, горели глаза.

Насильник был рослым, плечистым, над дрожавшею верхней губой круто нависли усы. Время для нападения он выбрал удачно, когда никого не было дома. Рагуил кинулся к лавке и схватился за щеку: головня полетела в него. От боли он взвыл и на минуту крепко зажмурил глаза: в глазах было зелено. Однако же он перемог едва выносимую боль и, выхватив меч, между лопаток плашмя ударил с размаху озверевшего парня. Тот отскочил. Девушка крепко прижалась к стене, раскинувши руки, словно распятая; чернела ладонь ее правой руки.

(Знал Тимофей хорошо шрам на щеке у отца и ошупью помнил шершавость материнской ладони.)

— Чертовка богов не хотела отдать!

— Себя не хотела отдать, — сурово прервал Рагуил. — Уходи, пока цел!

Парень тот не заставил себя долго просить. Огонь был потушен, замят.

— Ты крещена? — спросил Рагуил.

— Крещена.

— Как тебя звать?

— Ольгою звать.

— А куда ты девала богов?

Ольга кивнула головой к очагу.

— Ты же их защищала?

После молчания Ольга ответила:

— Не помогли!

Такая она была и во всем; такой в ней самой был огонь.

Все объяснилось. Старшие в доме вышли навстречу Изяславу Давыдовичу. Служилых людей она сама отослала: старая вера ее была для других скрытою верой, и одна в тишине хотела она помолиться древним богам. А этот все выследил и грозил донести, если она не станет покорной.

Ольга глядела на Рагуила: он ее спас, и как же она его встретила! Так в этот же час она про себя ему обручилась.

Свадьба была веселой и шумной. Но меньше чем через месяц князь Изяслав вышел с полками к Чернигову. Там он посадил Святослава, сына Олегова, и передал ему в знак дружбы, любви несколько лучших дружин-

ников. Дружинники не возражали; был в их числе и Рагуил. Скоро он отличился и сделался тысяцким. Князь Игорь теперешний, сын Святослава, был тогда совсем еще мальчиком.

Жизнь молодых была дружной. Но все до поры. Ждали ребенка. Год прошел, два, а Ольга ходила все легкой. Рагуил заскучал. И молодую черниговку бес подослал к Рагуилу. Он согрешил. Ну, казалось бы, что из того? Мало ли что бывает на свете! Но Ольга как раз в эти дни ощутила, что долгожданное совершилось: она понесла. Мрачные мысли стали ее одолевать, себя отделила от мужа, ничего ему не открыв. И, промучившись месяц, переждав ледоход, прекрасная, дикая Ольга, что когда-то отвергла богов, не защитивших, покинула мужа, ее обманувшего. Ночью, тайком — с рыбаками, в челнах — от плеса до плеса — по Десне и Днепру — бежала на родину в Киев к оставленным там девическим дням.

С нею — от плеса до плеса — первое свое путешествие совершил и Тимофей, тогда еще безымянный: было ему от зачатия едва ли три месяца. Таинственна жизнь существа, не раздельного с матерью, и ни одним из поэтов она не воспета. Но не тогда ли еще, в этих сменяющихся ритмах речных струй, то высоких, коротких, то разлившато-плавных, рождался в растущем младенце весь его будущий песенный лад? Не оттого ли потом так любил Тимофей реки и воду и в них находил свое умиротворенье и свой непокой?

Тимофей детские годы свои помнил отлично, но, когда предавался воспоминаниям, трудно бывало порой разграничить, что помнил он сам, что знал понаслышке.

Ольгин отец к тому времени умер. Дом захватили родные, отнесшиеся к ее возвращению враждебно, грозили ее отослать обратно в Чернигов. Ей не под силу было с ними тягаться, и она зажила бобылкой, одна.

С маленьким было ей нелегко. Была жена мужовая, стала вольной женой; хорошо, что не стала *женкою полною*: ига работного, рабства она бы не вынесла. Работала дома, была мастерицей на вышивки, клала заплаты на старое платье, научилась плести невода. И наймиткой ходила: была мастерицей тесто заквасить, варила соседям меды, понимала и в солоде: ржаном, и овсяном, и ячном. Юные годы ее протекали в довольстве, а теперь, на что раньше только глядела, пригодилось в нужде.

Ольга в поселке шла за вдову, и Ольгу не обижали: привыкли. Мальчик рос шустрым, понятливым не по годам. Он не думал о бедности, его окружавшей. Мир был велик: княжий терем на горах, поселок торговый, посёлок ремесленников; солнце и дали, за городом сразу — леса. Кажется, что Тимофей помнит первую ягоду, первую ящерицу; муравьиные кучи в лесу занимали все внимание мальчика, сам себя забывал; птицы в листья пели согласно и сладко: хоть и без слов, а понятнее слов! В церкви не все было можно понять, а щекот соловья на вечерней заре напоминал, как рокочет струна под искусной рукою певца, исполнявшего старую Боянову песнь.

Воду и птиц больше всего любил Тимофей. Белые го-голи ныряли на дно, степенно плавала чернядь, чайки крепили воздушные свои паруса. В заводи словно застыли, у княжьих дворов за рекой, гордые лебеди. Про них он слышал от одного старика, что перед смертью лебедь поет, да только не всякому из человек дано то пение слышать. Во сне Тимофей слышал это пение, но оно исчезало в блеске веселого утра.

Мальчик любил наблюдать, как выезжал князь на охоту. Сокольники, ловчие ехали на тонконогих конях. У каждого на руке, защищенной перчаткой, ловчая птица. На глаза сокола надвинута шитая шапочка, клубочок; ее не снимают до напуска. Благородная птица сидит в опутёнках, в них продевается должик, и она тем ремешком пристегнута крепко к перчатке.

Самой охоты Тимофей не видал, был еще мал. Но у него было множество взрослых приятелей. Были среди них два старика — соколиных кормильца, и от них он узнал многое множество интересных вещей. Когда-то и сами они были ловчими и любили порассказать о соколиной охоте: есть напуск в *подлет*, когда напускают сокола издали и он летит низом; и есть напуск в *угон*, если сокол летит за добычею прямо; и называется напуском *вверх*, когда сокол *перелезает* добычу; и другие еще были напуски.

Но и теперь старики на деле любимом. Помещение для птицы просторно, светло. Есть тут и *гнездари*, из гнезда добытые малыми птенчиками, и *слетки* — те, что с гнезда уж слетали, и *дикомыты* — на воле перелинявшие. Линяние — *мыт* — требует глаза в неволе и попе-

чения. Кормежка для маленьких частая, для старых всего-навсего раз или два на день. Мальчик любил это зрелище, как смелые, крепкие птицы поодиночке сидят на низких и толстых обрубках: опутёнки и должик, кольцо. Чуть заметно навстречу двинут они головой, а то поведут просто глазом, и в глаза их глядеть и страшно и радостно вместе.

С матерью мальчик опять становился ребенком. Мать обрела в эти годы ровный характер. Она полюбила беседу с маленьким сыном. От сердца у нее отлегло, и не вовеся забыла она старых богов. Хорс и Стрибог ходили по небу, давая тепло и зарождая самую жизнь; грозный Перун рокотал на вышине; Велес, скотий бог, чаровал игрой на рожке. Так было в сумерки на пороге у входа — после рабочего Ольгина дня и после дня беготни у Тимофея. А вечером, когда мальчик ложился на лавку, мать ему *сказывала*. Это были то сказки, полные страхов, но со счастливым концом, то долгие песни, снова похожие на струи реки. Ночью и сам с чародеем Всеславом — два волка — Хорсу путь перерыскивали.

Возрастал и бродил Тимофей между ремесленников. *Концы* разделялись на улицы, и жили там люди целыми гнездами: кто чем занимался, ютились друг к другу. Там варили железо, делали гвозди, ковали коней; тут жили котельники, литейщики, медники, ножевники, игольники и замочники. Дальше — глину топтали и обжигали посуду; ткали сукно и ряднину, выделывали паруса, козьим волосом простилали подушку седла; кожи кроили, шили порты; были сапожники, были особые чёботники; занимались мехами, овчинами, юфтью; мыло варили. К князьему терему ближе, в каменных крепких рядах работали тонкие в мастерстве своем люди: гранили алмазы и лалы — камень дорогое, цветное; серебрили и золотили одежды, посуду и украшения.

Киев велик, и Киев богат!

Рабочий народ голову гнул над работой, а после работы был не очень-то рад гнуть ее перед властью. Однакож бывало и так.

Мальчику надо б в ученье, надо бы к мастеру: можно выбрать любого, но иной путь для мальчика клала судьба. У святой Софии писцы иконные то образа поновляли, то налагали новую роспись. Новое диво такое мальчика зачаровало. Рот его открывался, глаза

неотступно глядели, забывал о еде. Хитрость иконная была завлекательна. Солнце лило сквозь окна, золоченые двери сияли, и — тишина. Живописец стоит на подмостках, от каменных плит веет прохладой, под кистью ложится лазурь. Мальчик тер краски, ему доверяли. Краски снились и ночью: одна, рядом другая и третья, он их не смешивал; краски тех снов были ясными, чистыми.

Художник повел Тимофея к монахам. И это было и погибель и счастье. Ольга считала погибелью: как он на свете останется и чем будет жить? И она же гордилась, как мальчик ее начал, играючи, сам себе языком помогаю, на белом обрывке папируса одну за другой выводить замысловатые буквы. И Тимофея взяли монахи в работу, он проводил у них целые дни. Волшебство это было самым большим волшебством: как в закорючках и закруглениях пряталось слово. Мальчик откидывался и закрывал глаза, мокрая тросточка, которую только что обмакнул, замирала в руке. Он говорил себе шепотом:

— Тот день весь идоша... до ночи...

И видел князей Изяслава Мстиславича и Володимира Давыдовича, до самой ночи идущих к Карачеву. «В тот день», — значит, был такой день. И откуда же мне это знать? Я их не видал, и я тогда не жил, а знаю. И открывал глаза и глядел. Перед ним была летопись — лист, залитый мелкими буквами. И перед ним был обрывок листа, где это же самое вывел и он. И теперь стало так, что и летописи можно не видеть, а кто разумеет да поглядит, что уже он написал, также и тот перед собою увидит идущих князей.

Но тогда что же: может ведь он не только списать у другого писавшего, но и сам?.. все, что захочется?..

У мальчика сердце забилося. Он встал со скамьи и больше в тот день не работал. Этот день был большой его день. Он еще полностью этого не сознавал, но река его жизни сделала крутой поворот.

Ему было около десяти лет, когда стольный град Киев, мать городов русских, взят был на щит. Одиннадцать князей, во главе с сыном Андрея Юрьевича Боголюбского, Мстиславом, повели осаду. Своего Мстислава, Изяслава сына, киевляне любили и крепко за него бились. Одни лишь «свои поганые» — Черные Клобуки — верны остались себе и предательствовали. Через три дня,

восьмого марта, город был взят, и два дня победители грабили город.

Это были тяжелые, незабываемые дни. Горожан вязали и били, жен отторгали от их мужей и уводили в плен. Дети плакали, расставаясь со своими матерями. Жгли и грабили церкви. Были ограблены Трехсвятительская церковь, церковь Ильи на Подоле, Михайловский Златоверхский монастырь. Можно было подумать, что это владычицы, вспоминая свою новую Успенскую церковь с ее позолотою и дорогим камнем, хотели, чтоб краше ее не оставалось на свете, и с особым усердием старались испортить драгоценную мусию; но, по счастью, мозаика эта была очень крепкой.

Опьяненные боем, пограбив Золотые ворота и в них княжью казну, они громко хвастались:

— А у нас-то двое ворот: Золотые ворота да и Серебряные ворота! Был город Киев, а Володимир теперь перее его!

Мальчик с ужасом видел, как дикие толпы половцев поджигали Печерский монастырь на горе. Монахи с трудом потушили огонь.

Весь этот ужас и поругание города соединились с другим горем непоправимым.

В числе наступавших князей был и северский — Игорь-князь. Ему было тогда всего восемнадцать лет, и по-молодому был он буен, горяч; и дружину свою не удерживал. Рагуил, перешедший к нему от отца Святослава, теперь был при нем.

Грabitь у Ольги совсем было нечего, но она перед дружиною Игоревой дерзко себя повела, обозвала их нехристями, ругала, стыдила и получила в ответ хороший удар, сваливший ее. Сам Рагуил не был при этом, но, подъехав, едва опознал свою Ольгу. У смертного ложа произошло их примирение. Мальчик тушил огонь вместе с монахами и, наконец, добравшись домой, застал эту сцену. Мать повела на него, прощаясь, глазами и указала взглядом отцу. Игорь-князь жестоко спросил на сей раз с виноватых и обещал Тимофею кров, пищу и покровительство.

Тимофей читал в книгах о затмениях солнца. Ныне ему показалось, что солнце погасло совсем. На несколько дней он онемел. Все было немил, все было призрачно: мать отошла.

К отцу привыкал, но не привык. И когда рать князя Игоря отбывала домой, он убежал в монастырь к знакомым монахам и несколько дней просидел там безвыходно. Рагуил почел его за погибшего.

Так и остался он при монастыре, учась, совершенствуясь в знаниях. Так прошло и еще несколько лет. Не раз Тимофея склоняли на постриг. Он не склонился. Он теперь уже многое знал. Книги открыли ему разные страны, походы князей. Знал, что земля велика и где-то за морем живут чужие народы. Но все это знал он из книг и начинал томиться по жизни.

Киев он очень любил. Город оправился от потрясений. Но у Тимофея впечатление это — свои идут на своих! — залегло незаживаемым шрамом. Из записей монастырских он был осведомлен, что печерские монастырские церкви грабили половцы и разоряли уже не впервые.

Жизнь в монастыре протекала размеренно. Он отгорожен был частоколом. Странноприимный дом был полон убогих и нищих. Среди них были и певцы, исполнявшие старины. Умерших монахов клали в пещеры, как в усыпальницы. Тимофей не любил этот печальный обряд. Иногда удалялся он в принадлежавшее монастырю село Лесники и частенько посиживал там среди леса в прохладной Феодосиевой пещере. Лес был густой, со зверями и птицами: дятлы и поползни бороздили кору, ища насекомых; стрекотали сороки в листве неугомонно. Здесь он раздумывал о родной земле и о ее бедах. Главной из них были усобицы между князьями, наводившие поганых на Русь. При Мономахе было не так. Другие князья его слушались, и горы в стольном городе Киеве были горою для всей Русской земли...

Брат Андрея Боголюбского, Глеб Юрьевич, прокняжил недолго, всего года два. Был темный слух, что его убили бояре. Новый князь Роман Ростиславич отказался выдать бояр, разгневав тем Боголюбского, и был отправлен в Смоленск. В Киев вернулся опять лишь после Андреевой смерти. Был он кроток и тих, войн не любил и был весьма сведущ во всяких науках. К себе он выписывал ученых людей, греческих и латынских. Они же учили и молодых киевлян, к тому понуждаемых князем.

Тимофея, сына Рагуилова, принуждать не приходилось. Князь отметил и полюбил этого тихого мальчика, одолевшего и давань и греческий сладкозвучный язык.

Он не знал, как в голове юнца пенье слепцов и картины древних троянских событий сливались в единое целое... Как родится поэт? В тишине, исполненной звуков; в тайных предчувствиях новой страны, куда и сам еще не ступал.

Думал Роман сделать из Тимофея ученого, и мальчик не редким был гостем в княжеском тереме.

Каждый раз книги, прибывавшие из Византии, а не то от ученых болгар, принимал и расценивал тот книжник-монах, который теперь Тимофея не отпускал от себя. В княжьих хоромах, с их переходами, лестницей, крытой сукном, с дверью из меди, а на двери кольцо, с помостом для князя и балдахин, — имевший вид послушника молодой Тимофей ничуть не терялся. Безвыездно пребывая в Киеве, сидя в монастыре за древними книгами, он побывал при дворе многих владык. Великолепием трудно его изумить.

Поначалу он отвечал односложно-учтиво то «да», то «нет»: больше не требовалось. Но однажды спросили побольше, он и ответил побольше. А потом увидали, как уже много он знал. Как живая, история родины стояла пред ним, и он так же легко шагал по годам и владениям, как и по княжескому лощеному дубовому полу.

Романа сменил черниговский князь Святослав Всеволодович. Уходя снова в Смоленск, тихий Роман звал с собой Тимофея. Но тому было в ту пору уже восемнадцать лет, и именно тишина ему уж довольно наскучила. Святослав хотел власти и мира на земле, хотел обуздать диких половцев. Нового князя узнал Тимофей хорошо и очень его оценил, но на него был и обижен: тот не хотел его брать с собою в походы и оставлял попрежнему с книгами. Сын Рагуила задумал уйти к отцу. Тот был у Игоря в Новгороде-Северском, а Игорь уже ходил в Половецкую землю и бил Кончака и Кобяка.

Была и еще причина, ускорившая этот уход. Тимофей приглянулся княгине Марии Васильковне. Святослав ее взял из города Полоцка, и она много при случае говорила об этой земле и о ее древних князьях. Тимофей с детства помнил песенку матери о чародее Всеславе и с жадностью слушал подробности о князе-оборотне, спутнике его детских снов. Но, когда лукавая Марья Васильковна стала, как бы невзначай, класть свою белую ручку на Тимофееву руку да склоняться к нему своим станом, от которого пышало жаром, он бежал от греха.

Отец его встретил, как из гроба восставшего. Игорь принял радушно. И Тимофей стал заниматься первую грамотой с сорванцом Владимиром.

Здесь было больше досуга, и не совсем был Игорь неправ, когда полагал, что Тимофей не только читает... Но сам Тимофей держал это в тайне.

IV

Трубы. Поход. Полки изнаряжены и изодеты оружием. Весеннее солнце играет на доспехах. Княжья дружина, дружина старейшая, дружина молодшая; копейники, мечники. Люди охочие, люди передовые, доброконники. Знаменщики и трубачи впереди.

Для Тимофея это первый настоящий поход. Игорь всегда относился с сомнением к его воинским навыкам. Но Тимофей на охоте не раз ему доказал, как он метко стреляет. Сестренка его — от второй жены Рагуила, недолго пожившей на свете, — не хотела его отпускать. Веселый, смешливый подросток, она горько заплакала, обняв горячими ручками Тимофееву шею. Он ей был ближе отца, сурового, молчаливого воина, большого начальника, тысяцкого.

Обняла б Тимофея, пожалуй, и Ярославна, да не посмела. Она упросилась у мужа проводить его до Путивля, и колымага ее также стояла в упряжке. Игорь любил Ярославну. Он рад был с коня видеть ее розовый лик. И он согласился с большою охотой, не спрашивая себя, почему это так, чтоб Тимофей под началом отца своего испытал, наконец, настоящую бранную сечу.

Обоз из телег, груженных подвод выступил раньше. Там шел провиант, запасы сулиц и стрел, тулов¹ простых, тулов бобровых, луков, щитов. Поход был обдуман надолго, запасы большие. Конюший неделю не спал. Но перед самым походом он выспался накрепко. Седла, чекресседельники, узды и подпруги — все было проверено, у лошадей все копыта осмотрены, колеса в обозе просалены; и сон его был перед дальним походом — богатырский и крепкий сон. Был боярин конюший несколько тучен, но в седле сидел ладно: прямая опора для Игоря.

¹ Тулы — колчаны.

Также тучны и сыты широкогрудые кони. Выступили полки тихо и не спеша: силы надо беречь. Путь был изрядный.

Ехали лесами, лугами, угодьями; родная земля, не половецкие степи! По земле неделанной бродили стада, по пашенной зеленела рожь, а в ней проглядывала уже и серая лебеда.

Средь бескрайных полей попадались селишки — у пруда, у реки. Избы были с дворами, с задворьями. На солнышке с веретенами сидели старухи, прялка жужжала им старушечью песнь, потемневшую кожу грели лучи божества, ходившего по небу. Ребята возились в земле и утирали носы, подымая рубашки. Из клетки теленок мычал, и скрипел журавель у колодца. На рядне у амбара жито сушили. Овины стояли пустыми, а на гумне в потемневшей соломе шмыгали мыши. Под вечер тянуло в селишках дымком, суседы перекликались, завидя идущую рать.

Все это Русь. Всюду родная земля. Как ее не любить, не беречь! Как не загородить полю ворота, чтобы поганые не делали пакостей!

После Путивля рать увеличилась много. Князь Владимир уже перерос Тимофея. Его голос ломался, срывался, и сквозь грубые, взрослые ноты проскакивал крик — мальчишеский, звонкий. Он больше похож был на своего дядю Всеволода, чем на отца, только Всеволод был невысок, а Владимир уже догонял Игоря. Во всех же повадках, и как держался, он подражал любимому дядюшке. Святослав Ольгович, его двоюродный брат, сидевший по соседству в городе Рыльске, был года на четыре постарше Владимира, которому было всего пятнадцать лет. Это был лихой ездок, забияка и весельчак, храбрец и торопыга. Игорю только что было впору с ними обоими справиться.

Сейм разлился широко в этом году — верст на пятнадцать, но вода уже спала, лишь кое-где серебрились между крепнувшей зелени мелкие, нестрашные озерца. Все склоны, овраги, расположенные книзу от «городка», обнесенного не слишком высокой стеной, были залиты воинской ратью.

У самой реки расположились в шатрах черниговские ковуи, шедшие в поход на своих степных «сватов» — половцев. Ольстин Олексич, плечистый, русобородый, ходил

между этого воинства, смуглого и подвижного, как иноземный владыка, ставший вдруг ханом. Ольстин Олексич их крепко держал в своих честных руках, и Игорь большие надежды возлагал на сих черномазых. А Тимофею все мерещилось, как такие же точно поганые с криком и факелами взлетали, как на конях, к монастырскому частоколу в Киеве... Он им не доверял.

Княжье поместье в Путивле было попроще, чем в Новгороде-Северском, но погреба были богаты, был терем и теремец, хоромы для челяди. Для Ярославны в тереме дали ложницу особую. С мальчишечьей усмешечкой поглядывал Владимир на свою молодую мачеху, которая была лишь немногим старше его, а между собою два молодых двоюродных брата в словах не стеснялись. Сам город был невелик: немного боярских домов и господских, и попросту — красных, добрых домов, а остальное все — избы да хижины, где старики на завалинках бывлые денечки воспоминали.

В памяти у Тимофея крепко осталось: городок на горе, а на стене, на забрале, стоит Ярославна и то помашет рукою, то приложит к глазам конец головного платка.

У Тимофея конь вороной, тонконогий, порой начинает плясать, требует крепкой узды. Но рука Тимофея, хоть и привыкла больше папирус чертить, все же довольно крепка. Натянет узду, и снова послушен конь. Молодой сын тысяцкого едет поодаль, и мысли, как пчелы, шумят в его голове, и чувства, как ветер, плещут в груди широко и привольно.

«Нет, уж как был на земле вещей Боян, а другого такого земле не сдержать!» Так или около этого слышать не раз приходилось, и он потихоньку, сам для себя, не раз принимался с Бояном соперничать. Но боги Бояна Тимофею приходят на ум, как только одно сладкогласие. Сказки волшебны, пленительны, и Боян умел петь не хуже, чем пели когда-то сказания Трои, но можно ли петь о себе, об этом походе, об Игоре? А отчего бы не петь?

Уже подходили к Донцу, как под вечер внезапно солнце затмилось и стало, как месяц двурогий. В глазах было зелено. Кое-кто из дружинников потом уверял, что на рогах того месяца пламенели яркие угли. Кони остановились, люди многие спешились. Ропот сматения

прошел по полкам. Суслики и сурки по степи подняли свист.

— Видите ль вы? — спросил Игорь. — Что это за знамение?

Мужи поникли главами и отвечали:

— Князь; не на добро это знамение.

Игорь, немного подумав, сказал:

— Во всем волен бог. Тайны божией не знает никто. А на добро это знамение или на зло, то увидим. Садитесь на коней, да поглядим синего Дону.

У Тимофея легкий огонь пробежал по жилам и холодок тронул корни волос у затылка. Он видел: между собою ковуи, как чернобыльник под ветром, смешались в одно подвижное гнездо. Они коротко вскидывали руками, кивали затылками. Безмолвный тот говор был пострашнее звериного свиста. С ними надобно быть зело настороже! Тимофей приблизился к Игорю и слышал, как князь продолжал говорить о походе на самый конец половецкого поля.

Мужи боялись несчастья, помянули о плене:

— Лучше убитым быть, нежели полоненным быть! — сказал Игорь и приподнялся в седле. — Едем вперед!

Он сказал это просто и сильно. Тимофей поглядел на него, и невольно блеснули глаза у самого: Игорь-князь ему открывался по-новому. Сейчас Тимофей князем гордился. Что судила судьба — удачу или неудачу, то поглядим, но мужество, честь не умирают!

А в голове запевка Бояна, запевка своя...

Бакаевой дорогою шли и пересекли Муравскую; перебрали Донец, и у Оскола ждали два дня. С небольшой передовою дружиной прискакал князь Всеволод. Братья нежно любили друг друга и крепко обнялись. Всеволод был очень курчав, коренаст и припадал на правую ногу. Он был лошадятник и немного любил прихвастнуть. Во хмелю его надобно было бояться. Не боялась тогда одна лишь жена его Ольга Глебовна. Тимофей не раз замечал, как она еще больше, бывало, над ним начинала подшучивать, а буйный ее муженек хоть бы что! Две вещи любил он на свете: горячо любил он жену — красавицу Глебовну, и крепко любил город Чернигов, где протекло его привольное детство.

Но про коней и про ратников конных его хвастать было нельзя: как их ни хвали, они были лучше всяких

похвал. И как только лавиной от Курска прихлынула эта знаменитая конница, всех потянуло вперед да еще и поскорей!

Степи шли дикие, леса были густы; рычало зверье и брехало зверье; угрюмо с дубов, клювы, как копыя, вонзив перед собою, глядели на всадников вóроны. Какие-то звуки раздавались по лесу, будто условные посвисты; то одного из ковуев не видно, то, следом, другой — как сквозь землю. Ольстин Олексич порою мрачнел, как туча перед грозью.

Ночь была темная. Где-то далеко скрипели телеги, и казалось — телег было множество.

Ехали степью. Остановились. Враг близок. Готовиться к бою! Ночь стоит долгая. Степь застилают туманы. Полки изнаряжены к битве. Слабо поблескивает в бледной заре багрец на щитах. Щиты и щиты: Русь огорожена — в земле неизвестной, среди половецких степей... А родная земля — уже позади! Уже за курганами родная земля!

Еще накануне можно было вернуться. К речке Сальнице приехали сторожа, добыв языка. Они заявили:

— Видели мы половецкую рать. Они ездят в доспехах. Или ступайте скорей, или ворочайтесь домой: время не наше теперь.

Игорь сказал, и другие князья следом за ним:

— Если, не бившись, вернемся, то будет нам стыд хуже смерти.

Теперь изготовились на берегу речки Сююрлия. Шесть полков: Игорев полк стал посередине, по правую сторону — полк брата Всеволода, по левую — полк сыновца Святослава, наперед же — полк сына Владимира и полк ковуев черниговских, шестым же полком, всех впереди, стали стрельцы, выведенные изо всех других полков. А поганые стояли по той стороне реки.

Игорь утром сказал:

— Братия, мы того сами искали. Пойдем!

Половцы первыми стали из луков стрелять. Но еще Русь не успела перейти через речку, как они побежали. Передовой русский полк погнался за ними. Игорь и Всеволод шли потихоньку, держа строй в порядке. Молодые князья поскакали за половцами. Какая-то сила за ними вослед подняла и Тимофея. Созрела теперь его крепкая двадцатилетняя молодость. Коней пустили во

весь опор. Половецкие вежи — кибитки — были невдалеке.

Русские вонны налетели стремительно, как налетает градовая туча. Палатки взлетали, как пыль, что закружил порывистый вихрь. Тимофею казалось, что он как бы слился с конем, и это он сам, четыремя копытами, яростно бил землю, добро. Только одно было в памяти — не ударить бы женщину, не затоптать бы ребенка.

Половцы бежали по степи, как птицы, прибитые грозю к земле. Но порою тот или другой останавливался и пускал, припав на колено, злую стрелу. Тут его и приканчивали.

Полон был велик: красных дев половецких сажали к себе на седло; на шею коней и на крупы коней кидали богатые ткани; сыпали золото в сумки, а кожухи, шитьем изукрашенные, просто валили под ноги коней.

Отбита хоругвь! Князю ее! Святославичу! Игорю!
Тимофей без вина захмелел.

Как вернулись с погони, хвалились:

— Пойдем теперь за Дон и там победим! А потом пойдем в Лукоморье, куда и деды не хаживали, и возьмем до конца славу и честь.

Игорь принял хоругвь и стал говорить:

— Бог дал нам победу. Мы видели полки половецкие, да все ли здесь они были? Не лучше ли выступить ныне же в ночь, а остальные за нами пусть идут поутру.

Но отвечал Святослав:

— Далече я гнался за половецами, и мои кони устали. Если поеду, отстану в дороге.

И Всеволод его поддержал. Решили заночевать.

Ратники skutали доспехи в сумы. Хоть и жестко, но все ж кое-что есть в головашках. Тихо. Как будто пустыня. Дозорные стерегут сон усталых бойцов. Тимофею не спится. Рассеялся хмель. Усталость забыл. В походной суме два любимых повествования — о сечах тroyанских. Не читать же в боях... Так зачем он их взял? Неужто для плена?

Он поднялся на локте. Все была тишина. Дремлют хоробрые Ольговичи. Как далеко соколы залетели! Нет, да не будет ни поражения, ни плена!

Что это? Шепот? Точно бы там, в стоянке ковуев, промелькнула и скрылась зыбкая тень. Но опять тишина.

Может быть, так — показалось! Нет, черный ворон, половчанин поганый, не будет тебе на обиду отдана Русь!

А далека родная земля! Уже за курганами родная земля!

V

И уже за реками и за степями родная земля... И голоса не досягнет человеческого, и птица с кровли родной не долетит!

Игорь в плену. Войско разбито. И Тимофей со своим князем в плену же. И горькие думы на сердце. И много досуга для горьких тех дум. И на сердце вскипает любовь, и жжет его ненависть. И ненависть эта снова питает любовь к далекой оставленной родине.

Плен!

Короткое слово, но едва ли есть более горькое слово.

И, однакоже, жизнь не сдается. Мысли о будущем — кто их может у человека отнять?

Уже два минуло месяца после той ночи, как, опершись локтем о сумку и локтем чувствуя сумку, он сквозь тревогу и беспокойство ночное про себя утверждал, что не будет половцам на обиду отдана Русь, и вот обида пришла!

Когда их везли — уцелевших, немногих — к великому Дону, к синему морю, куда так стремились прийти победителями, злая поднялась обида в этой проклятой троянской стране. Родные места вспоминались с тоской. Отец был убит на поле сражения. Ольстин Олексич пропал: едва ль его не прикончат свои же ковуи. Игорь был ранен, и все четверо Ольговичей — чего так боялись! — настигнуты пленом.

Есть теперь время все вспомнить, памятью все перебрать. Ночью не спится. Жара. Но вот ветерок — с Дона иль с моря. Рядно заколышется, в щель глянет звезда.

Вот он — конец половецкого поля! Вот завершенье пути — постыдного, долгого, на рабьем седле! Где лихой Святослав? Где мужественный воин — умница Всеволод? Игорь в соседнем шатре и Владимир в другом соседнем шатре.

И нынче опять бессонная ночь. Тогда в эту пору полки еще спали. Коротким раздумчивым сном забылся и Тимофей. И услышал: тревога, рожок! Кони заржали.

Рассвет был багрян. Черные тучи шли с моря, и погромыхивал гром. Надвигалась гроза. Половцев было несметное множество, и русских они обходили кругом. Еще можно бы было бежать: княжьих коней ни одному не догнать из коней половецких!

Лагерь проснулся. Сон отлетел. Стояли князья и говорили:

— Ежели сами мы побежим и черных людей тут оставим, так будет нам грех.

— Этих предавши, уйти — будет нам грех.

— Или вместе умрем, или живы останемся вместе!

И так порешили: в пешем строю дойти до Донца. И пошли биться.

Так прошёл день, суббота, но и ночь шли с боем. Не отступали. А на рассвете в воскресенье дрогнул ковуевский полк и побежал. Всеволод с кучкой дружины храбро стоял наперед бившихся русских.

Игорь еще накануне ранен был в руку и потому был на коне. И на коне кинулся он за ковуями: вернуть победивших! А как понял, что оторвался, тотчас назад поскакал: думал, вынесет конь!

Часто теперь вспоминают они эту битву в горьком плену половецком. Игорь недавно рассказывал, как в одной битве Андрей Боголюбский так же вот от своих отделился и окружен был врагами. Раненый конь вихрем пронес его мимо тучи камней, что сыпались на него с городской стены, и мимо рогатины, коею немец один хотел пронзить князя. А вынеся господина из битвы, тут же и пал тот конь. С честью его похоронил Андрей над рекою Стырем. Игорь, как мчался к своим, того коня вспомнил. Но бог на сей раз рассудил по-иному: не спас своего седока Игорь конь!

Тимофей, как сейчас, это видит. На всем скаку Игорь снял шлем, чтобы свои не ошиблись, признали. А тут его, на расстоянии выстрела, и переняли, схватили.

Сын Рагуилов все помнит. Он помнит и сечу и Всеволода на борони, забывшего все: и город Чернигов, детские годы свои, и красавицу жену свою Ольгу Глебовну. Тимофей бился и сам, но в голове его в звоне сечи, как встречный стремительный ветер, проносилось видение: бой на Нежатиной Ниве, о котором не раз он размышлял, гибель князей и разорение мирных селишек — таких же, как те, что столь недавно они проезжали... Он помнит:

закрыл на минуту глаза, и — свист копья половецкого и самый тот свист как бы по коже провел борозду... Биться и биться! У Всеволода уже не хватало оружия, но бились и бились, идя кругом озера.

Безыменное озеро это было как море, и в море том гибли, сжав зубы, без крика, полки. И безвестная речка, такая ж проклятая, как эта река долгого плена, — Каяла-река! И вот в такой-то «Каяле» гибли и люди, и обоз, и добро...

Так пали знамена Игоревы. Немного людей уцелело. Хань, осклабясь и запустив короткие пальцы в курчавые черные бороды, делили князей. Игорь простился со Всеволодом: его захватил Роман Кзыч. Хан Елдычук увел Святослава, Чилбук и Копти Игоря между собою делили и Владимира.

Но Кончак поручился за Игоря: и бились когда-то они и дружили.

Игорь сказал:

— К тебе я пойду только с сыном. Без сына мне плен зело будет тяжел.

Кончак на решения скор:

— Можно и с сыном!

И грозен Кончак: никому его слова из ханов других не послушаться. А уже князья Всеволод и Святослав были далеко!

Долгой дорогою Игорь был мрачен. Владимир глядел по сторонам злыми глазами: обида горела на сердце за поражение. Владимир не слушал отца. А Игорь терзался и говорил, что не достоин он жить. И опять особенно мучился, теперь уже вслух вспоминая, как сам он жег Русскую землю. Вот они — осы!

Он говорил, что его бог наказал. Какова же теперь его жизнь?

— Где брат мой любимый, и другого брата где сын? Где мои дети? Где бояре думающие? Где мужи храбрые? Где порядок воинский? Где кони и оружие драгоценное?

Тимофей это слушал, но ему и самому было горько, а в голове рисовались виденья — одно другого черней. Какая теперь густая печаль течет по земле Русской!

Сын Рагуилов на минуту забылся. Но не прочен волнующий сон; тотчас же он и прервался. Заря. И что-то шумит и звенит издалека. Что это? Тот же все звон минувшей сечи... Вот, припадая на правую ногу, бьется, как

буйный тур, Всеволод... вот Игорь стремится вернуть полки в бой...

Столько раз вспоминал, столько раз про себя нашептывал:

— Игорь полки заворачоает, жаль бо ему мила брата Всеволода... Бишася день, бишася другый: третьяго дни к полудню падоша стязи Игоревы...

Если бы это все записать... Но на чем?..

Время придет: будет записано! И так же прочтут, как и он мальчиком когда-то читал:

«Тот день весь идоша... до ночи...»

До самой ночи шли те два князя к Карачеву. С тех пор как увидел их, совершающих этот путь, так видит их и доньне. И так же будут в нем жить Игорь и Всеволод и вся эта битва. Он все это помнит в тех самых словах, что в нем возникали, как песня, как музыка. В них было волнение, чувство, в них высказывал мысли, с которыми жил в бессонные долгие ночи. Вернется — запишет. А пока все твердит и твердит про себя.

Горсточка русских в чужом половецком плену, и как далека страстотерпица родина! Вернуться и спеть бы на воле...

Однакож затмение длится. Оба солнца померкли — старшие князья Игорь и Всеволод, и оба багряные столпа с ними погасли — Владимир и Святослав. А с отцовскою Игоревою славой и два молодых его месяца — Олег и Святослав — тьмою поволоклись.

Но странное дело: он часто слагал и доселе напевы, и часто они бывали шутивы, пел Ярославне про волка, козу и капусту, но под весельем и шуткой веяла грусть; теперь же все то, что твердил про себя, было печально, темно, но все это было ему, как опора. Слова и напевы подымали его. Он видел и знал, что погибель родной земли отвратима. Все устремление было: через затмение — к солнцу! Казалось ему, что в руках его меч-кладенец, и мечом тем чудесным была его песнь.

Тимофей хорошо знал, что в летописях говорила нередко народная мудрость. Он любил их неторопливую речь, скупость и сжатость ее. Он очень ценил и летописную правду. Пусть и в бесстрастном повествовании бывали порою пристрастия и летопись — дело рук человеческих! Но все это дышало движением жизни, за каждым событием — люди, дела.

А в то же самое время любил Тимофей и складную сказку. Журчала она, как вода, и мерно баюкала душу. Только качнуть головой, сделать движение пальцами, и сами собой размыкаются губы, льются слова.

Мальчик с детства запомнил, как на жестоком огне ковалась плавкая сталь и как ее холодом закаляли. Позже он думал: так и отвага крепит вскипающий пыл. И вот что-то подобное происходило теперь и в нем самом. Этот поход в нем разбудил нечто новое. Плавкая мягкость стиха обтекала суровую жизнь. Песенный лад, песенный жар закалялся неистребимую правдой. Он в себе ощутил судию, проповедника. Он по-иному теперь понимал творения Кирилла Туровского, отрывки из коих знал наизусть, ибо были они у него переписаны.

Но слова проповедника обращены к внимающим в церкви. С кем же ему говорить? Он обращался к своим, к дружине и братьям. Где они — братья, дружина? Их не было, но неутомимая воля — высказать все, — как ветер, гнала вперед и вперед.

Да, и он «летописец». Не сказки, не вымыслы занимают его, а деяния сего времени, ратная повесть сегодняшних дней. И никак он — не летописец. Жаркая песня, крепкая лепка, вот что он делает: песню-историю. В ней и князья, и дружина, и он сам с привычными сердцу полетами дум. Кто услышит его? Он верил: услышат! Бывают затмения, но после затмений еще горячее ясное солнце. И все равно он не мог бы молчать! И в этом впервые его охватившем порыве была великая радость — радость художника.

Она состояла и в том, что он крепко владел душевным волнением. Не конь его нес, а он конем управлял. С детства в себя он впитал мудрый и точный расчет: неторопливой рукой — краска одна и краска другая! Он красок не смешивал, и получалась прозрачность и глубина. Закроет глаза, и строгая муся встанет перед глазами. И радость найти переход: краска одна и краска другая, а надо — и третья!

И также искал равновесия повести. Конца еще нет, конец и не мыслится, но он уже есть: что сделано, то половина, и гармоничная ей может быть только единственная, никакая другая. Солнце взойдет, затмение кончится. Как это будет — не знает, но знает, что так это будет, а не иначе. И это крепило: пусть горы, но за го-

рами — синее море, и пусть подземные ходы, но за выходом — солнце!

Нет, Тимофей не знал всего этого. Но он больше чем знал: это пело в крови, это стучало в груди, это скользило в произвольных движениях пальцев, жаждущих музыки, это сияло порою в глазах, и это шепталось в словах о родимой далекой земле.

Это он плен сокрушал, это вздымал он могучую бурю: это слагалась Поэма.

VI

А жизнь шла своим чередом. В половецких шатрах звенела гортанная речь, напоминавшая стрекотанье кузнечиков. Ханская жизнь — или поход, или пиры, простой же народ жил непритворливо. Но скота было много: кони, коровы, верблюды. До скота были половцы жадны: разводили и свой, грабили и в Русской земле. Молоко, мясо и просо; из напитков — кумыс.

Тимофей к ним приглядывался. Мало чем они отличались от хорошо знакомых ему ковуев или от Черных Клобуков, живших в Поросье; бродячий инстинкт и тех заставлял покидать летом селища и мастерить свои вежи.

На вечерней заре часто на горизонте мелькали наездники, согнувшись клюкою над шеею лошади. Потребность в движении была неутомима. Самую походку их не покидала настороженность, готовность к прыжку: настоящие охотничьи леопарды, те самые пардусы, что так были знакомы по книгам.

И пардусово это гнездо снова разлилось по Руси. Гза и Кончак помчались опять делать новые пакости Русской земле.

Поход был большой. Но у ханов был спор. Кончак звал на Киев:

— Там братья наши убиты и убит наш великий князь Боняк.

А Гза говорил Кончаку:

— Пойдем на Посемье. Там остались одни жены и дети. Это готовые пленники. Там мы без страха займем города.

Со стесненным сердцем слышал Игорь эти злые речи кровожадного и бесстыдного хана. Тот злобился и на

Кончака, захватившего себе двух князей. Кончак не хотел идти в область Игореву и сказал:

— Не пойду воевать жен и детей.

Из этих двоих — у Кончака была удаля, и был он могучее всех. О доброте говорить не приходится, но он бывал добродушен порою и Игоря Святославича уважал. Кроме того, у него были какие-то свои мысли, как иногда вскидывал косым глазом на Владимира и на свою бедовую любимицу-дочку. А у Владимира глаза давно перестали быть злыми: молодость брала свое.

Ханы поссорились, и хоть выступили вместе, но каждый потом выбрал свой путь.

Вести о набегах их время от времени досягали Половецкой земли. Поход был удачен, и половцы радовались. В вежах теперь оставались женщины, дети и старики. Летний жар умерялся прохладой, идущей от моря. Да и степи были изрезаны речками. Каяла-река, *настоящая*, текла в берегах, налитых до краев. Она шла, как канал, прямая, глубокая. Ни песку и ни глины.

Каяла славилась раками. Игорь любил их ловить в камышах. Раки были огромные, чуть не до локтя. Тимофей поощрял эту страсть. Игорь был мрачен в плену, думы его не покидали, а тут иногда возьмет да и пошутит:

— Криво рак выступает, да иначе не знает!

Но шутки такие были редкими шутками.

Порой Тимофею, когда он бродил по степи, уставленной каменными бабами, приходило на мысль: «А не бежать ли?» Но мысли той не сказывал он никому.

Молодость, жара и безделье. У Туглия-князя была молодая жена. Среди черных, хоть и хорошеньких, но с прикосью, половчанок она выделялась, как далекая дева севера. Волосы ее были белокуры, глаза голубые. Взяга она была с моря из поселения готов, была великой насмешницей и напевала веселые песенки о поражении русских. Впрочем, отчасти эта задира кокетничала. Тимофей ей понравился с первого разу, и Тимофей был христианин, как и она сама была христианкой.

Тимофей слышал однажды, как, разрезая маленький хлебец, что-то она быстро говорила про себя, раза два повторив:

— Хлайб... Хлайб...

— Откуда ты знаешь русское слово? — спросил Тимофей.

— Это готское слово.

— Нет, наше!

— Тогда это вы от нас переняли.

Она побежала в палатку и вынесла древнюю книгу.

— Ты ученый, и ты христианин. Ты помнишь, как Христос накормил пятью хлебами...

И она быстро нашла нужное место. Прочла.

— По-готски я не понимаю.

— Но ты слышал: хлайб, хлайб?

Она кое-что знала, молодая жена князя Туглия, и рассказала про Вульфилу, давнего просветителя гот-тов.

— А что значит: Вульфила?

— Молодой волчок, — сказала она рассмеявшись. — Как ты: молодой дурачок! — И слегка, с озорством и кокетством, хлопнула его по щеке.

Князь Туглий с другими ханами уехал в поход. Молодость и жара. Жена князя Туглия и Тимофей стали встречаться. Прошли времена, когда юный послушник сбежал от княгини Марии Васильковны.

Часто теперь по вечерам Игорь проводил время с Тимофеем. Игорь печаловался, что не обдумал поход, понадеялись они на одних себя. Надо было ходить со Святославом. Он старший, он за отца. Часто, бывало, он говорил: «Я — старше Ярослава, а ты, Игорь, старше Всеволода, а теперь я вам остался вместо отца». И Игорь сам называл его батюшкой.

Князь Игорь и молодой сын тысяцкого — оба судилирядили, как будет на родине. Тимофей разгорался. Он слал упреки князьям, он говорил почти теми словами, как слагались они в его песни.

Игорь качал головой:

— Святослав теперь, знаю, собирает князей. Кабы ты был на Святославовом месте, ты бы их всех распугал. Ты, Тимофей, очень горяч.

И снова они перебирали князей, дружину их, славу их. Черниговский Ярослав особенно любил пускать впереди своих войск толпы из *бродников*. Это были лихие бродячие шайки, горланы и крикуны. Они не нуждались в щитах и работали только ножами, выхватывая их прямо из-за голенищ. А великий князь Всеволод... Как он на Волге болгар разгромил! Да он же и посуху мастер на ратное дело.

— Коли был бы он с нами, — сказал Игорь, — рабы и рабыни в Киеве шли б за бесценок!

Тут Тимофей крепко задумался: да, Святославу уж никого невместно корить, когда сам зовет помогать...

Он ясно представил себе родной ему Киев, терем княжий на горах, *концы*, разделенные улицами, пристань, кишашую вороньем, самого Святослава с его ранней склонностью к старости (частенько он плакал), важных бояр, его окружающих. Да, он нашел бы слова и от лица Святослава!

Ханы вернулись, шумели. Победа! Но вид у них был, как у бежавших. Кумыс и вино понемногу развязали язык, и стало понятно, что от Переяславля Кончак отступил, обоявшись Святослава и Рюрика, двинувшихся по Днепру.

Гзы с Кончаком по возвращении не было. Ставка его была далеко. Так ни Игорь, ни Владимир, ни Тимофей совсем ничего и не узнали о пакостях, сотворенных Гзою в Путивле. Горькая дума брала их всех о судьбе Ярославны, о близких других, там остававшихся, о селах и городах.

Зато из Переяславльской земли в стан Кончака прибыло множество пленных. Вид их был убог. Скорбь и лютая кручина были написаны на изможденных их лицах.

То, что они говорили со страхом, тайком, было ужасно. Пардусов стая рвала на части страну.

Владимир Глебович Переяславльский, брат красавицы Глебовны, отважный и крепкий в бою, с небольшою дружиной выехал из города и направился к половецкому строю. Бой был жестокий, но половцы совсем окружили его. Тогда и остальные ринулись из города на подмогу и отняли князя, раненного тремя копьями. И уже в стенах города утер он мужественный пот за отчизну свою.

А когда, испугавшись встречи со Святославом, Кончак отступил от Переяславля, по пути его, в городе Римове, был переполох великий. Римовичи затворились в городе и влезли на заборы, как вдруг две городницы обрушились вместе с людьми прямо к половцам. Прочих же горожан обуял ужас и страх. Кто вышел из города и бился с врагами, тот плена избег, а кто остался в городе, все были взяты.

И Тимофею слышался стон раненого Владимира Глебовича и вопли у Римова.

Про Путивль ничего он не знал, но вот это — что слышал — легло в его «Злато-слово» Святослава. Вот как бы тот говорил, призывая князей биться совместно за родину, за храброго Святославича — Игоря... Но и от себя слал укоры!

Острые мысли, столь же горячие, как и самые чувства, в нем созревали и рвались наружу. Игорь был прав, что этот отважный поход их был прямою ошибкой. Но на ошибках учатся люди, а повторять их преступно. Это ошибки, омытые кровью людей. В этих ошибках — гибель страны. Единенье князей на единой Русской земле! Это спасенье! Весь этот поток расплавленной лавы томил его грудь и сушил его губы.

Громким шепотом он призывал к единению князей, глухо пробормотал о Владимире Глебовиче, о городе Римове. Порою он поднимался и делал движение кистью руки. Неожиданно в здании звуков и слов возник как бы главный центральный покой, увенчанный куполом. Сердце билось, какая-то крепость взята. Он не только художник, он зодчий. И горячая песнь его, ратная повесть близка к завершению.

VII

Переезжали с места на место. Каяла оставлена. Уже позади и Кагальник. Но Тимофей как-то привык теперь, как увидит новые темные воды, называть их Каялой. И Владимир к тому же привык и даже сам Игорь.

Реки любил Тимофей и, глядя на эти *каялы*, представлял себе и Сулу-реку, что когда-то текла струями серебряными, а ныне кровава. И, вспоминая Марию Васильковну, вспомнил Двину, о которой она много ему говорила. И там не спокойно, и там не река, а болото, и там набегают поганые...

После подъема недавнего он был грустно и мягко настроен. Движение было лучше сиденья на месте. И двигались к Дону, а в его берегах воды текут издалека — родные... Как велики русские земли! Но разве не от поганых литовцев погиб и Изяслав, сын Васильков?

О Полоцкой русской земле он помнит рассказы Марии Васильковны. И вспоминается детство, Всеслав-чародей, и как засыпал под материнский напев, и перерыскивал путь богу-солнцу... Качаясь в седле, он напевал эти старые сказки, и журчали они, как струи реки...

Жена князя Туглия, белокурая готка; или жена Святослава, Мария Васильковна; или... жена князя Игоря, молоденькая, почти еще девочка, Ярославна? Да, именно ей, одной только ей спеть бы свою эту сказочку.

Но была она женой князя Игоря, значит, была, как картина, была, как видение. Всё.

Владимир-князь успел повозмужать. С Кончаковной он не расставался. Отец молодой половчанки, широколицей и розовой, очень смешливой, благосклонно глядел на возникавшую близость. Грозный Кончак умел быть веселым, приветливым.

Князю Игорю он оказывал внимание всяческое. Неприятностей ему не чинили. Даже напротив. К нему было приставлено пятнадцать человек сторожей и пять ханских сынов, но была свобода его — ездить, где хочет. Сторожа его слушались. Он посылал их, куда было надобно. И своих слуг у Игоря было пять человек. С ними ездил он и на охоту, хоть и не то было с ястребом, как с соколами. Сокол не станет ловить по кустам, он любит высь и простор, а ястреба хоть и именуют утятником, но он и зайчонка готов закогтить. Ловчая птица, да низок полет и ловит всегда только в угон.

Шли разговоры о выкупе. Возгордившись победою, половцы засылали купцов к Святославу с таким объявлением, чтобы русские князи шли к ним выручать братьев своих, а не то они и за остальными придут. Прислали и роспись: цену несносную. У Игоря были деньги, он многих богато одаривал, но выкупа не мог одолеть. За него просили две тысячи гривен, за других князей по тысяче, а за прочих мужей по двести. Конюший, боярин расчетливый, только отплевывался.

Один Ярослав обменивал пленных половцев на пленников русских, да и Ольга Глебовна, как говорили, также многих выменивала.

Хотел было и Святослав Игоря выкупить, да Кончак погордился: не отдавал его прежде, чем выкупят прочих князей и мужей.

Шло дело к зиме. Игорь уже и пообносился. Надежды вернуться обманывали. Тогда, отчаявшись, наконец, дал знать на родину, чтобы выехал поп со всей службою: душа христианская затосковала между погаными. Поп же привез и одежду — для князя и для его близких.

А у Тимофея своя была радость: прибыло несколько книг и прибыл папирус. Память его зашумела, как река в половодье: так, наконец, мог он писать!

С родины вести были невеселы. Только сейчас узнали все достоверно про пакости Гзы. Селишки пожгли, народ позабрали. Предгородья Путивля разграбили. Внутренний грод не взяли, а кромный — *острог* — подожгли.

— А что Ярославна-княгиня?

— А госпожа с самой зорьки выходит на стену да глядит в ту сторонку, где бедует наш Игорь-князь.

Тимофей закрывает глаза — и на путивльской стене, на забрале, стоит Ярославна, и то помашет рукою, то приложит к губам конец головного платка. Но Евфросиния Ярославна — жена князя Игоря, Ярославна-княгиня. В этом и всё.

Перешли через Дон, спокойный, огромный. Тут зимовать. И зимовали. К весне стало невыносимо. Князь Игорь поблек. Борода отросла свыше меры. Замечал Тимофей, что к нему стал заходить половчанин Овлур. Овлура он знал. Тот был молчалив, но быстроход. Держался особняком. Что ему надо у князя? Но Игорь молчал. Тимофей не смел спрашивать. Так длилось с неделю. Уже лед верховой прошел на Дону. Тут Игорь не вытерпел. Без Владимира, чтобы не разболтал, призвал к себе Тимофея и конюшего.

— Я родился на страстной. Кормилица мне говорила: «Будешь много страдать». А может, проходит страстная неделя? Ведь и страданьям бывает конец.

Далее он рассказал, что Овлур предлагает бежать: «Если хочешь домой, обещаю доставить жива, здорова». Игорь сказал: «Охоты к тому не имею, и не хочу быть неверным порукам».

Так и своим подтвердил теперь Игорь:

— Я не хотел чести своей потерять. С боя мог бы уйти, да не бегал, и ныне бесчестным путем идти не хочу.

Но как не хотеть? Зачем бы тогда и рассказывал?

Посоветались, как вышли: а может, подослан Овлур? Надо узнать.

И узнали, удостоверились про того половчанина: человек он был твердый, но был оскорблен от некоторых половцев, а мать его была русская, из области Игоревой.

Узнав про все это, стали они понуждать князя Игоря, но Игорь не принял совета и запретил более о том говорить.

Но запретить запретил, а стали глаза его повеселее.

Весна пришла буйная. Все зацвело и затомилося негой. Птицы в кустах распевали без усталости. Сердце добрело. И жена князя Туглия поведала маленькому своему «дурачку» великую тайну: Гза и Кончак снова задумали весенний набег, и Гза склонял Кончака, что, если война им не удастся, Игоря-князя убить.

Тимофей затаил про себя эти слова, но поведал про дело конюшему. Оба направились к Игорю. И, все рассказав, добавили так:

— Тогда что твоя гордость и славолюбие поможет? Не лучше ли быть на свободе и погубить жизнь со славою?

Игорь решился. Овлур дано было знать. Но все не выпадало удобного времени. К Кончаку часто теперь Гза заезжал, что-то оба они замышляли.

Игоря теперь стерегли и день и ночь. Сторожа сменялись под вечер. Бегают ночью, но ночью все слышно, а сторожа на совесть следят. Днем же и думать нельзя: всё у всех на виду. В стоянке с каким-то решительным делом ждут хана Гзу. Медлить довольно. На завтра — побег.

Последняя ночь князя Игоря. Он спит и не спит. И так уж которую ночь. Через поля надо добраться до Малого Донца и его перейти. Там с конем будет ждать Овлур, и — степью, через леса, через реки — домой!

В эту последнюю для Игоря ночь лишь на короткое время сомкнул глаза и Тимофей. Вся его жизнь, детство и мать, князья, монастырь, сельская Русь, Русь городская, реки, леса, пение птиц, народная песня на торжищах, свадьбах, за зимнею прялкой — все это встало в видениях, в звуках. Этот побег... Если бы он удался! Он верил в Игоря. Игорь в плену немало обдумал, страдания плена его закалили. Он теперь многое знает, о чем раньше и не мыслил. Тимофей все это ему и передал. Да тут же прочел и сон Святослава и Святославу речь.

Выслушал Игорь, и, помолчав, так он одобрил, как бы к себе самому обращаясь:

— Быть по сему!

Быть по сему — это кончить с усобицами; на землю родную так не глядеть: «Это — мое! А то — тоже мое!» И — бить врага в поле, загородить степные ворота острыми стрелами!

И вдруг выплывала деревенская песенка, что запала когда-то на память:

Не кукушечка кукует горегорькая,
Горюет-то твоя да молода жена...

Князя Игоря Тимофей любил от души. Он любовался отвагой его, ценил его мужество, ум. Он возлагал на князя большие надежды. Он говорил себе: «Затмение кончится. Игорь на Русской земле — солнце на небе! Вот и конец моей повести. Последняя быль наступает...» Но эта кукушечка горегорькая — это она, Ярославна-княгиня... Как же ее, ни на минуту не забывая, он не воспел? Что же это за песнь без нее, без единого женского голоса?

Тимофей не раз уже думал, что если бы слух об осаде Путивля настиг его раньше, то Святослав в его Злате-слове о том помянул бы. Как же, зовя заступиться за Игоря, не уронить горькой слезы о Путивле, не попечаловаться Галицкому князю Ярославу, отцу ее? «Коли сидел бы я при Святославе, так бы и сделал... Но что отлито уже, то и отлито».

И все ж Тимофея эти мысли томили. Так он и уснул, когда на востоке уже побелело. Так и уснул с давнею песенкой, слышанной в детстве:

Не кукушечка кукует горегорькая,
Горюет-то твоя да молода жена...

Короток был сон. Снился Дунай, детская речка Ярославны-княгини. На Дунае сражение. Копья свистят. И свист этих копий, как музыка; копыя поют. И этот Дунай — та же Каяла, и воды ее — воды скорби. И голос кукушки, горегорькой жены. Не Ярославна ль то плачет о муже на далекой путивльской стене? Да, поэт ее снова увидел! Да, это ее голос... Дрогнули веки, ресницы открылись. На небе заря.

И вот в его здании нерукотворном, в поэме его, отворилось окно, и, как дыхание ветра, долетевшего с родины, льются в него знакомые звуки, рождается плач Ярославны.

VIII

На море буря. С моря ползли туманы. Ветер их рвал и крутил. Сразу же после вечерней зари стало, как в полночь. Новая смена пришла, но Игорь задержал сторожей и всем им устроил веселье. Кому придет в голову, что сторожей обе смены, а тут-то как раз князь и задумал бежать!

Пьяный кумыс заиграл в степной кровушке. Бубны, песни, зурна; певцы и плясцы.

Игорь тайно простился с Владимиром и наказал Тимофею сына не покидать. Овлур, сам на коне и с конем в поводу, был уж за Малым Донцом. Уже Тимофей слышал условленный свист: по имени Игоря нельзя было звать. Дрожала земля под половецкими плясками. Колыхалась, шумела трава под порывами ветра. Но вот налетел почти вихрь, и зашатались половецкие вежи. Игорь-князь поднял стену шатра и вылез наружу. Тьма его поглотила. Тимофей остался на месте стоять. К нему подошел один из сторожей и спросил про Игоря.

— Князь почивает, — ответил Тимофей. — Но сон его крепкий. Он рад, что вы веселитесь.

А Игорь дошел до Донца. Недаром Донец этот называется Малым: вброд перешел его мелкие воды и вскочил на коня. Поехали тихо. По той стороне реки было немало еще веж половецких. Там все уже спали. Но вдруг Игорь заметил какие-то тени рядом с собой. Он тихо окликнул. Ему отвечали. Это были его личные слуги, пять человек.

Игорь тихо спросил:

— Откуда вы тут и зачем?

— Батюшка князь, — отвечал ему пленник. — Коли кто остановит, мы при тебе: князь наш изволит гулять! А коли что до чего доведется, так мы за тебя рады и головы свои положить.

Когда миновали последние вежи, простились. Коней рванули. Галоп!

Утром, гарцуя на рыжем коне, со свитой на становище прибыл хан Гза. У Кончака держал он совет. Послали за Игорем.

— Князь еще почивает, — ответили стражи.

Еще подождали. Князь Игорь все спал. Заглянули в палатку: князя Игоря нет!

Гза и Кончак поскакали в погоню. За ними поодаль целый отряд половецких мужей.

Владимир в шатре. В отдельной палатке и Тимофей. К обоим приставлена стража. А Игоревы сторожа ждали в страхе расплаты.

Ханы не возвращались три дня. Три дня просидел Тимофей в одиночестве. Князь Туглий был дома. Жена его Тимофея не навещала. Но он не скучал. В мыслях он следовал князю. Реки, как ленты, лежали в степи. Русский Донец разговаривал с князем. Только бы им доскакать до Донца!. И снова тревожился и вспоминал, как бывают реки опасны. Как Мономах едва не погиб при переправе через беспокойную Стугну-реку, пытаюсь помочь Ростиславу — юноше-брату, что также бежал, спасаясь от половцев. А то представлялись леса и пение птиц, коих и сам так любил он послушать, в Феодосиевой сидя пещере в монастырском селе Лесниках. И старые думы по-новому в нем оживали.

Сидя в полупотёмках, Тимофей думал об Игоре. Но он не забывал и об Овлуре. С Овлуром в последние дни перед побегом он подружился. Скрытный был человек, но в глазах была радость, что возвращается на материнскую родину. Тимофей даже звать его стал попростому, короче.

— Влур, — говорил он ему, — прискачешь в Путивль, смотри в мою сестру не влюбись! Она же теперь сирота. Овлур скалил зубы, смеялся.

Если кони падут, волком один добежал бы! Но нет, никогда Игоря-князя он не оставит! Игорь как едет, так и доедет прямо до Киева! И какой же у богородицы Пирогощей веселый звон!

О себе Тимофей не беспокоился. Это чувство и в битве не покидало его. Он всегда о себе мало думал. А в думах не о себе — большая есть крепость. Столько событий и лиц проходило перед ним, и во стольких местах, и все это было, как в половодье река, — народная жизнь!

Вернувшись назад, ни слова не говоря, Кончак пошел к веже Владимира. Он был суров. Перед ним расступились, откинули полог. Кончак вступил к князю и при самом входе остановился: он увидел свою дочь. Кончак и Владимир стояли обнявшись... Гневно на них нельзя и глядеть.

— Я вижу, что красная девица сокольца уж опутала!

И смех его, громкий, раскатистый, испугал Владимира больше, чем испугал бы самый гнев его.

Кончак широко раскинул полы шитого золотом своего кожуха, подперся руками в бока, и черная борода его сотрясалась от смеха.

Позже узнали от сопровождавших, как Гза, кровожадный из кровожадных, требовал смерти Владимиру, а Кончак ему отвечал почти теми самыми словами, что сказал своей дочери: «Ну, ежели сокол к гнезду летит, так мы сокольца опутаем красною девицей!»

Смех Кончака стал понятен. Но те же сопровождавшие рассказали, что в дремучем лесу ими найдены были два павших коня, которых признали; надорвали, видимо, беглецы своих борзых коней!

Тимофей, впрочем, сильно теперь не тревожился. Главное минуло благополучно: беглецов не нашли, с Владимиром все обошлось, а новых коней найдут, и Игорю путь прямо на Киев! Вот и еще одна «быль»: как между собою судили в погоне половецкие ханы... Последняя была, завершение любимой работы.

Но Игорь коня не нашел. Погоня была очень близка, да отсиделись они в камышах. Шли теперь пешие одиннадцать дней, и шли только ночью, пока, наконец, не добрались до города Донца. Там снова взяли коней и ехали с великою радостью в сердце.

Верст за двадцать до Новгорода-Северского Игорев конь повредил себе ногу. Час был уже поздний, и, как ни хотелось домой, решили заночевать в селишке Михайловском. Хозяин избы побежал, однакоже, в город и добился княгини. В княжьих палатах долго не верили. Но Ярославна не захотела терпеть. Села сама на коня и поехала к мужу.

Горожане услышали топот коней. Весть пробудила весь город. Много народа за княгиней поехали, а еще того больше пошли просто пешком.

Было самое раннее утро. Игорь только что встал и как был, в легкой одежде, выскочил навстречу жене. Народ

глядел со слезами, как обнялись они, радостные, и трижды, по-пасхальному, расцеловались.

Игорь целовал и вельмож своих, и немедля весь поезд направился в город. По дороге все время встречался народ. Люди с женами и детьми вышли навстречу, по домам оставались одни разве больные. В городе ударили красным, малиновым звоном. Лица у всех были светлы.

Тотчас по приезде, едва отдохнув, Игорь оповестил всех князей о своем возвращении, особливо же Ярослава Черниговского и Святослава в стольном его городе Киеве. Игорь благодарил за охрану земель, напоминал и о пленных, чтобы их вырывать. И говорил о новом походе. Как Святослав в песне у Тимофея, так и Игорь сам по себе распорядился: с князьями вел разговор.

Еще погода, как окреп, поехал в Чернигов к Ярославу сам — просить его помощи. Потом — к Святославу в Киев и в Бела-град к Рюрику. Везде обещали. Везде принимали с великою радостью. Святослав, как всегда, прослезилился, а Мария Васильковна обиняками все старалась проведать что-либо о Тимофее.

Игорь подробно и все рассказал про побег. Ученый монах, уже ранее слышавший про несчастную битву, слушал особо внимательно. Названье *Каяла* ему сильно понравилось, и, воротившись к себе в монастырь, он помянул и ее в описании битвы: *«В радости место — наведе на ны плач, и во веселье место — желю на реце Каялы»* — и далее дал покаяние Игоря.

Игорь вернулся домой умиротворенный. Овлур при дворе уже прижился, и Игорю был он как друг. Тимофеева шутка обернулась былью. Игорь Овлура крестил, назвав его Лавром, сделал вельможею и выдал за него сестру Тимофея, Рагуилова сына. Он наградил молодых многим имением, и дети их позже славными были в той земле Северной.

IX

И еще год прошел или два года прошло. Умер отважный князь Владимир Глебович, умер Галицкий князь Ярослав Осмомысл — могучий владыка. Ярославна заплакала дома, у нее как раз родился ребенок. Игорь давно мечтал о ребенке от Ярославны, но все же отчасти был недоволен, что родился не мальчик, а девочка.

Вести о похоронах Ярослава пришли в Новгород-Северский подробные. Князь был одет в черное платье, черная шапка на голове. Перед гробом вели коня и несли стяг, у гроба стояло копьё. Чувствуя приближение смерти, он собрал бояр и священников, монахов и нищих, и плакал три дня перед ними, и велел раздать все имение свое нищим и монастырям; и три дня раздавали по всему Галичу и не могли раздать.

Схватки с половцами продолжались, но поход для освобождения Владимира так и не состоялся.

Жизнь в общем шла тихо. У Игоря было много забот: о строе земском, о ратях, о земском уставе. Вставал он до солнца, чисто-начисто мылся, следовал в церковь. После отдыха—или охота, или выезжал на *полюдьё*, суды рядить.

Кое-когда отбывал, как хозяин, и в собственные свои володенья, населенные челядью. Там были дворы, где складывалось различного рода добро. Как-то теперь всего этого стало поменьше. А с детства он помнит: у отца его, Святослава Ольговича, на путивльском дворе было несколько сотен рабов, кладовые и погреба, в которых стояло пятьсот берковцев меду, восемьсот корчаг вина. И тогда ж ему сказывали, что у дяди, Игоря Ольговича, умершего еще до рождения Игоря, в селишке его одним был двор добрый, где, помимо меду-вина, было много и всякого тяжелого товара, железа и меди. А на гумнах стояло стогов без малого тысяча.

Большие стада Игоревы под Новгородом-Северским также поредели изрядно: целые табуны коней и кобылиц были расхищены половцами. Во многих местах жито сжигали не раз и всю прочую жизнь губили.

В княжьих хоромах за стол садились три раза: завтрак, обед — до полудня, и ужин — очень ранний, летом — далеко засветло.

Часто бывало много народу. Пирь давались на сеннице — дружине, священникам. По постным дням звали монахов — *на утешенье*.

С дружиною Игорь жил запросто, в дружбе, согласии, и во всем держал совет.

Выезжал и сам на празднества в гости: на именины, на постриги. Пострига — было веселое празднество. Приглашали священника, и с его благословения младенцу

мужеска пола, лет двух или трех, стригли в первый раз волосы. Случалось, что пострига совпадала с крещением, с которым обычно не любили спешить. Младенец давно носил уже имя славянское, которое давали ему при рождении и которое так и шло как настоящее имя на всю жизнь. Остриженный младенец уже переставал быть младенцем, его выводили на двор и сажали на коня. Конь делал несколько шагов, и нового всадника-богатыря снимали с седла.

Много в ту осень было свадеб в округе и далеко за пределами. Самой маленькой невесте, дочери Всеволода Суздальского, было всего восемь лет, а самому старшему жениху, самому Всеволоду, было уже шестьдесят!

Сватовство Верхуслavy началось еще с пасхи, когда князь Рюрик в Суздаль послал целый поезд сватов: шурина своего князя Глеба и многих бояр с женами их. Жениху Ростиславу шел уже пятнадцатый год: хоть и отрок, а все ж почти вдвое старше невесты!

Целое лето шел створ и сватовство. Только в Борисов день, на исходе июля, отпустил отец Верхуславу, и, дав без числа злата и серебра, одарив всех сватов, сам ее провожал в дальний путь на «замужнюю» жизнь. А на самую свадьбу послал своего сестрича Якова с женою и других бояр с женами. Поезд еще увеличился и следовал не спеша, от города к городу.

Игорь и Ярославна ждали уже в Бела-граде. И как раз в день ее именин, в Офросинин день, невеста приехала. Венчал ее в деревянной церкви Апостолов епископ Максим. Свадьба была «вельми сильная», одних князей перевалило за двадцать! Был на ней и великий князь Святослав. Пировали три дня.

— Такой на Руси свадьбы и не бывало! — говорили гости в подпитии.

В веселый час тут же Игорь и Рюрик ударили по рукам и на новую свадьбу. У Игоря уже и Святослав подрастал: двадцатый год! Что ему делать без Тимофея? Чем не жених! Так состоялась невдолге и эта веселая свадьба.

Но не за горами было и еще одно торжество, коему суждено было стать еще более знаменитым, нежели свадебный пир Верхуслavy.

Владимир вернулся из плена. Вернулся с Кончаковой. С ними и Тимофей. Кончак отпустил их на родину.

Сердце у Тимофея билось, как никогда. Только сейчас полностью он понимал, что на всю его жизнь одна любовь и отпущена — к Ярославне-княгине.

Оба они этой первой встрече после разлуки так сильно обрадовались, что не могли промолвить ни слова.

Владимир с Кончаковной у себя задержался на день, в Путивле, и Тимофей в Новгород-Северский примчался один. Игоря не было дома. Няньки и мамки, всплеснувши руками, заголосивши на все голоса, кинулись оповестить молодую княгиню. Она побежала, как девочка, но, увидав Тимофея, остановилась на отдалении. Он еще возмужал, загорел, бороды его прибыло и закурчавилась будто сильнее, а в глазах было синее море.

У Тимофея дрожали колени, язык онемел. Няньки и мамки по сторонам глядели с открытыми ртами. Он двинул губами, но не издал ни единого звука. Еще раз: опять ничего. Тогда он сказал, махнув про себя рукой, — сказал самое первое, что пришло ему в голову, и самое простое: о чижиках!

— А как... чижики? Все ли чижики живы, княгиня?

У Ярославны дрогнули губы, и с этой улыбкой — в груди все понеслось, как в ледоход.

И все стало просто, легко, и — радость какая!

— Идемте смотреть!

Тимофей каждую птичку помнил и знал. О себе они не говорили. Можно теперь не говорить. Нет таких слов. Да если б и были, они не нужны.

Новая жизнь пошла в княжеском доме. Овлур через двор прибежал, «отрясая студеную росу», с такой быстротой, с какой не бежал и из плена. Сестренка повисла на шее и не отпускала сомкнутых рук.

— Вот кого ты прислал! — шепнула она и метнула лукавым глазком на Овлура, ставшего Лавром.

По его ответному взгляду Тимофей понял все.

Когда на другой день прибыл Владимир с Кончаковной, все и для Игоря стало окончательно ясно:

— Вот когда кончился плен и свобода пришла!

— Это она, батюшка, — сказал Владимир. — Это она отца своего уговорила.

— Так мы окрестим ее и назовем, уж как хочешь, Свободой.

Тимофей понемножку дружил и с Кончаковной. Он от нее записал кое-какие половецкие песенки.

Не сразу открылось, что у Владимира и у Кончаковны есть уж младенец. Но, когда и открылось, Игорь сердиться не стал, он окрестил ее со дитятем. Так Кончаковна стала Свободой.

А потом была и самая эта свадьба, отпразднованная «с веселием многим».

Это был пир с весельем народным. В город Путивль снова понаехало много князей, но и на улицах всюду были столы, мед, квас и вино и всякая брашна. Меды были разные: господский и кислый, пресный и сильный, сыта; квасы — тоже: житные, кислые, медвяный был квас; винцо было простенькое. Баранины, мяса было в избытке. Хлеб, пироги, пряженцы, кисели. Пели, играли, плясали. Бубны и гусли, свирель. Прошлись скоморохи, сопельники. Боролись, толкались, свистали, а под шумок кое-кто и обнимался.

А в княжьих хоромах почестен шел пир. Столы домились от яств. В расписных кувшинах вино было разное: белое, красное, сахарное. Кто любил, подавали горячим. Кроме говядины, была и свинина, птица съестная. Была и уха и рыба отдельно: жареная и отварная — осетрина, стерляжина, щучина. Давали орехи, винные ягоды, мак.

Шел разговор, пили здоровье. Молодые сидели под образами.

Владимир был в шапке, как и все остальные мужчины. Шапка была не так высока, желтого цвета, с красной опушкой. Он пил, не пьянея, только раскинул кафтан и раздвинул колени. Кафтан был малиновый, и пояс малиновый, с золотыми кистями. Воротник, рукава шитые золотом. Свобода Кончаковна была в красном платье, тоже золотом шитом. Множество украшений звенело на ней.

На пиру была и княгиня Ольга Глебовна. Не было мужа, над которым бы ей посмеяться. Она похудела, сделалась строже. О Всеволоде ничего не известно. Был темный слух, что он ушел на Кавказ и помогал там грузинской царице Тамаре в войне ее с мужем, русским князем Юрием, сыном Андрея Боголюбского. «Куда ни забросит судьба, вернется ль домой?» — думала красавица Глебовна. На ней было платье темносинего цвета с желтой обшивкой и кружевами, купленными у иноземцев; ожерелье из лалов; башмачки золотые.

И Ярославна-княгиня была молчалива. Но на душе у нее было светло, и весь этот пир для нее — светлый был пир. Порой раздавался ее серебряный смех. Щеки ее горели румянцем. По знаку Игоря, понявшего, как ей было жарко, она развязала у подбородка и откинула с головы покрывало. Золотые сережки с жемчужными зернами закачались, как капли росы на березовой ветке. Изпод зеленой верхней одежды с широкими рукавами видны были рукавички нижней одежды с золотыми поручами. Вина она не пила, но мед перед ней стоял в хрустале.

Она не глядела туда, где на конце стола сидел Тимофей. Но один раз туда все взглянули. Владимир, облокотясь и перегнувшись вперед, закричал:

— А ну, Тимофей, выпьем с тобой кумысу!

Знать, и кумыс был приготовлен!

Все рассмеялись, и пленникам бывшим — на серебряном блюде всем поднесли кумысу. Отпила и Свобода Кончаковна. Чуть-чуть косые глазки ее заиграли от удовольствия.

Кое-кто, не стесняясь ее присутствием, начал клясть половцев. Да, впрочем, и мало она еще понимала по-русски.

Сидели князья. Золото шапок блестело над хмелевшими их головами. Русь! Игорь окинул глазами гостей. Горечь от плена, тревога, что все еще медлят с походами, а уж пора бы! — все это в нем поднялось столь внезапно и сильно, что он поник головой. Все это заметили, и шум понемногу стал утихать.

Вдруг Игорь рукою дал знак и приподнялся. Он еще раз оглядел круг гостей. Много было соратников. Все храбрецы, всё одно племя.

— Братья, — сказал он, — мы слушали песню про старую Русь...

А уже спели певцы три песни Бояна! про старого Ярослава, про Мстислава Храброго, про красного Романа Святославича.

— А не послушать ли нам новую песню?

И поглядел на Тимофея.

Молодой сын Рагуилов встал, поклонился, чуть побледнел.

— Я, князь, все уж спою, как есть.

— Пой все, как было.

Сказывать после Бояновых песней было не так-то легко. Песнь начиналась прямо с похода, с затмения, и не было в ней умолчаний, и не хотел ничего уступать: что на пиру было прилично и что неприлично. Минута настала. Пусть это слышит вся братия!

Тимофею подали гусли. Он их потрогал, оставил... Как же начать?

И сказал это вслух и продолжал.

Слова его слушались. Чуть нараспев он говорил про Бояна, воздавал ему честь и все ж собирался начать свою песню по-новому, так, как сложилась она у него в голове в походе, в плену: все эти картины войны, народной разрухи, усобиц, призывы к князьям, к единению их, к отпору врагу... Он думал когда-то: «Это мой меч-кладенец — эта песня!» И вот он его обнажил из ножен. Он никого уже не видел сейчас. Родная земля! Возьми этот меч!

Все слушали тихо. Начало, слова — все было необычайно и просто. Кое-когда Тимофей касался и гуслей. Лицо его стало бледным, серьезным. У слушателей хмель уходил из головы, яснили глаза. Широкая Русь постепенно расстилалась перед ними. Стен как бы не стало. Порою рука искала меча. Красавица Глебовна сидела застыв, и была она как восковая свеча. Ярославна-княгиня как сжала ладони, так и осталась. Она не спускала глаз с Тимофея.

Но когда она вдруг услышала о себе, и голос, слова, кукушку, Дунай, — частые слезы закапали в ее мед в хрустале. Она их не замечала. Сердце сжималось сладкою болью, и растоплялась душа.

Игорь слушал, откинув голову. Рот его был полуоткрыт, и высоко вздымалась могучая грудь.

Под песни Бояна тихонько шутили, смеялись, не нарушая пристойности. Тут же никто не промолвил ни слова.

Эта песня была как бы о каждом из них и в то же самое время сразу о всех: песня о Русской земле.

Слов было немного. Слова были коротки, сжаты, но каждое слово ложилось на сердце, каждая мысль трогала ум.

Надо было кончать. Время для здравицы. И Тимофей полной рукой тронул струны.

Так в эту ночь получила поэма начало и получила конец. И так она вся родилась для людей.

Когда Тимофей возглашал последнюю славу князьям с дружиной, за христиан бившимся в поле с полками погаными, остро его пронизало: князи — герои, но все они и побывали в плену, дружина же вся — в поле легла белою костью... И он дал ей *аминь* — подлинно славу!

Рука оторвалась от гуслей и прижалась к груди... Вот оно — сердце, что трепещет, как птица; вот она — жизнь человека!

1938 г.

ХИТРОЕ ПЕРО

— Вот вы изучаете древние рукописи, и часто, не правда ли, возникает вопрос о подлинности их и о возможных подделках. Но приходилось ли вам когда-нибудь размышлять на тему о том, что подделки нередко играли важную роль и в жизни простых людей?

Я расскажу вам, пожалуй, об одной такой подделке особого рода. Эта давняя история относится еще ко временам крепостного права, к царствованию Николая.

Сам я, как вы понимаете, не мог быть участником событий, но рассказ о происшествии этом слышал от одного из участников, человека своеобразного и в свое время известного, знавшего близко и Тургенева, и Лескова, и Фета — знаменитых ваших орловцев. Впрочем, с Тургеневым наш Василий Иванович... Петров (так мы его назовем) с течением лет несколько как бы и раздружился и даже порою метал на него громы и молнии за то, что тот жил за границей. Сам же Петров под конец своей жизни склонялся, пожалуй что, к «почвенникам».

Та история, которую я собираюсь вам передать, доселе жива между потомками разных семейств в южных уездах бывшей Тульской губернии. Рассказывают ее по-разному. Один вариант записан и у Лескова, но только многое там совсем по-другому и не с теми подробностями. А я это все слышал самолично от самого Василия Ивановича. Мне было тогда всего-навсего лет девять-десять, а Василий Иванович был уже стариком, однакоже крепким, кряжистым, порывистым.

Был он по внешности, как иногда выражаются, человек страхолюдный, я его очень побаивался. Из-под косматых бровей — яркие, все еще озорные глаза; нос, подбородок и уши — все это как бы вырублено топором из старого крепкого дуба; не говорил, а кричал, но как-то вдруг умел переходить и на лирику: шепот листвы, светотень, как это там у вас говорится.

Собственно роль его в этом рассказе совсем небольшая, да сам-то он колоритен на фоне той давней, отошедшей Руси.

Мальчиком он обучался в лицее. Шалил и скандалил, но все покрывалось, сходило, что называется, с рук. Только однажды во время веселой пирушки он запустил бутылкою в стену и попал в изображение священной особы самого императора. Оскорбления этого стерпеть уже оказалось нельзя, и его исключили без права куда бы то ни было поступить.

Скандал для семьи, огорчение матери.

Однакоже мать не растерялась. Она была энергична, умна и настойчива. Парня перед начальством как-то оправдали, кое-чему подучили, и поступил он в Московский университет.

Там-то у него и объявился товарищ — полная ему противоположность: тих, скромн, воды не замутит, хоть и туляк — то ли из чернских, то ли из новосильских, — Приспешнев Никита Васильевич. Он был хорош из себя, даже, скажу, слишком хорош для помещика, у которого матушка секла своих крепостных на конюшне. Однакоже и он вкупе с приятелем дружил с самим Александром Ивановичем Герценом; оба они находились под полным его обаянием.

Приспешневы были богаты, Петровы — не очень (незвирая на родовитость мамы), и Василию Ивановичу показалось в резиденции товарища очень богато и пышно. Подобный некоей диковинной птице, — ну, скажем, кондору, — огромный, нескладный, он осторожно старался ступать по лощеным паркетам, глазищами между тем дыркая по сторонам: на трельяжи и клетки с певчими птицами, на экраны перед камином, столики буль, портреты сенаторов и генералов с лентами через плечо и созвездиями на груди... На генералов он, впрочем, бросал взгляды, исполненные недоброжелательства и горечи: памятна была роковая бутылка! Но зато, покорствуя

нежному сердцу, скрытому под топорной разбойничьей внешностью, он украдкой заглядывался на розовых дам с каштановыми локонами, упавшими на снежнобелые открытые плечи.

Со смешанным чувством опаски и уважения взирала на Василия Ивановича Приспешнева-мать и даже нрав свой при нем немного смягчила. От другого, пожалуй, она бы не потерпела тех вольностей, которые он себе позволял: ходил на дворню, слушал и записывал песни, заглядывал и на деревню для неизвестных бесед с мужиками. Отсюда опаска, а уважение внушали ей просто-напросто широкие плечи Василия Ивановича, богатырский его рост и послеобеденный раскатыстый храп. Дело в том, что Аглаида Сергеевна была еще не чужда увлечений, и, видимо, вкусы ее, в противность лощеным паркетам и птичкам, влекли ее к мощи, к простонародности... Из многочисленной дворни ее благосклонным вниманием отмечен был кучер Никифор, щеголь и пьяница. Впрочем, он был и красавец, когда, сидя на козлах в синей атласной жилетке с надутыми ветром рукавами рубахи, с селезневым изумрудным пером на черной бархатной шапочке, крепко держал в загорелых руках шелком прошитые вожжи... Единственно он изо всех не трепетал перед властною барыней, а порою и прямо с ней был нагловат и небрежен.

И это пристрастие госпожи к Никифору-кучеру не ускользнуло от зоркого глаза Василия Ивановича. Быстро вник он во все домашние тайны. А главной из них была молодая любовь Никиты Приспешнева и хорошенькой Дашеньки, почти что воспитанницы строгой и взбалмошной барыни Аглаиды Сергеевны.

Дашу взяли маленькой девочкой из дальней деревни; это по тем временам было не редкость: вспомните хотя бы тургеневскую мельничиху из «Записок охотника». Даше было всего семь-восемь лет, когда ее крепостные родители покинули свет, столь для них неприятный. Сиротку, хорошенькую, очень любил Приспешнев-отец и перед смертью наказал Дашеньку не обижать. Так в доме она и возростала как полубарышня, тихо и непрерывно, день ото дня зацветая русской застенчивой красотой.

Я вам дополню рассказ, слышанный в детстве, кое-какими подробностями; частью узнал я их от других, частью догадывался и восстанавливал сам для себя. Вот почему весь эпизод для меня — не просто занятная

история, а видится как бы на фоне всей той эпохи. Я о тех временах сильно слышал, да много кое-чего соображаю и сам: ведь Русь крепостная, скончавшись на бумаге, долго и позже жила еще почти во всю полную силу. И вот почему все это мне видится въяви, и я передаю о событиях, как бы вам излагая некую словесную повесть. А что до самой эпохи, то о временах тех один из героев моих, еще мною не упомянутый, острое однажды словцо обронил. Я в свое время вам приведу его изречение, а если забуду, вы мне напомните.

Девушек принято часто поэтически сравнивать с лилией, розою, пальмой; Дашенька ближе всего была родственна льну — голубому цветку, в своей чистоте, простоте близкому небу или ручью, может быть, даже — голосу птички-синички. Я ее чувствую так. Глаза голубые, легкая ровная стройность, и волосы — именно лен, когда берешь его на руку: промытый, расчесанный... Но человек — не растение! В Дашеньке был также и огонек, резвость, веселость. Была она и хохотушка, умела плясать, напевала.

Втайне был и Василий Иванович ею пленен, но он хорошо сознавал, что дикобразу подобному даже просто рядом с ней стать — и то, пожалуй, было как-то неладно. С тем большею страстью зато он потворствовал этой, еще с детства возникшей любви между Никитой и Дашенькой. Однакож избыток усердия нередко приводит к результату обратному, чем ожидался.

Аглайда Сергеевна, непрерывно бушуя в душевной своей пустоте, видимо, не допускала и мысли о серьезности чувства между молодыми людьми. Смотрела на это она отчасти сквозь пальцы, а отчасти, быть может, даже потворствовала законному «баловству» юного барича: «Подумаешь, невидаль! Ну и случится грех... Не на то ль и грехи, чтобы их покрывать?»

А Василий Иванович знал от Никиты, что он Дашеньку истинно любит и намерен жениться. Немало друзья побродили под липами парка в лунные ночи, строя планы, мечтая, призывая в свидетели звезды. Кроме любви, им обоим мерещился в этом поступке подвиг, геройство; сба они как бы вызывали на бой эту проклятую «существенность» жизни. Изю ржи доносился прерывисто переливчатый зов перепела, без которого русскую деревенскую ночь и не помыслишь; а в душу волну

вливались московские вольные речи Искандера, осуществлявшего свою благородную клятву... И, помимо всего этого, было «красиво»!

Так вот что случилось однажды.

Однажды Никита Приспешнев и Даша, уединившись, беседовали между собою на важную тему. Василий Иванович знал, что друг его наконец-то решил иметь настоящее объяснение с девушкой и объявить о своих серьезных намерениях. Василий Иванович со сложной и жертвенной думой в душе, с глубокими вздохами, колебавшимися занавески на окнах, кусая свои толстые обветренные губы, один бродил по гостиной. Вдруг он увидел, что Аглайда Сергеевна подкатила к подъезду с крылатым своим Никифором на козлах. Она выезжала к соседям, но, видимо, их не застала и вернулась не вовремя. Он насторожился: может быть, барыня пройдет в этот раз прямо к себе... По звуку шагов будто бы так оно и выходило. Но внезапно она появилась в дверях, и предупредить было уже поздно. А Аглайда Сергеевна, между тем чем-то рассерженная (как бывала не в духе, имела привычку дергать себя за мочки ушей, будто скидывая с них осеннюю паутинку), направилась прямо туда...

Василий Иванович рыцарем заступил ей дорогу.

— Что же это такое еще? — спросила она, не понимая.

— Я заклинаю вас вашей молодостью! — театрально воскликнул Василий Иванович. — Вы не войдете туда!

Она попыталась его отстранить. Он схватил ее за руки:

— Нельзя, Аглайда Сергеевна! Там решается жизнь. Там в эту минуту сама судьба, Аглайда Сергеевна!..

Барыня вдруг засмеялась:

— Никита, что ли, там с Дашкой? А тебе, знать, завидно?

Василий Иванович побагровел, как бурак. Непроизвольно так стиснул он руки Аглаиды Сергеевны, что та закричала со страхом и восхищением:

— Мужик!

На этот крик дверь распахнулась, и сам Никита Васильевич выступил перед мамашей.

— Мамаша! — произнес он застенчиво-твердо. — Я давно искал случая объявить вам, мамаша, что я на Дарье Михайловне намерен жениться.

— На Дарье Михайловне? У Дашки есть отчество? Вот великая новость! — Она коротко, зло рассмеялась. — И ты делал ей там... декларацию? Мужичке? Моей крепостной? Да разве так, сударь, дворянские грехи покрывают?

Сын залился румянцем:

— Никакого греха! Клянусь вам, мамаша! И это берет вы именно на душу грех...

Трах!.. Никита не ждал, не успел отклониться. Пощечина вышла звонкой и крепкой; кажется, эхо отозвалось из углов парадной гостиной. Генералы смотрели со стен. Пыль реяла в воздухе. Птицы замолкли на жердочках. Самое время как бы остановилось, утверждая основы людского первопорядка: господа и рабы.

Так примерно и сам Василий Иванович определил эту минуту, так она с детства и в памяти моей запечатлелась..

Где была Даша? Должно быть, если б художнику вздумалось изобразить тот момент, он за раскрытую дверь увидал бы ее как одно лишь пятно, сквозное и розовое, подобное облачку, без очертаний почти. Ни собственной воли, ни голоса.

Никита Васильевич от удара качнулся, но решимость его не сразу сломилась. Мать поняла, что голой силой сына не взять. К ночи у них состоялся такой уговор: если любовь выдержит год испытания, она ему Дашу отдаст. Если ж теперь он стал бы настаивать, то владельца душ пригрозила, что Даша будет отослана под строжайший присмотр в дальнюю вотчину, а то она и вовсе ее продаст... или даже подарит: «Есть, мой сынок, знатоки и любители!..»

Никита с лица почернел, на глазах у всех постарел, покорился. Мать запретила ему свидание с Дашей: свою волю объявит сама!

И в ту же ночь Никита уехал, поручив верному другу задержаться ненадолго в усадьбе и Даше все разъяснить..

Василий Иванович, простившись с товарищем, глаз не сомкнул: терзали его могучую грудь океанские бури. Душно было в проклятых стенах, и заря едва занялась, как вышел он в сад.

Утро в деревне... Надо ли вам это рассказывать? Каждое утро мир начинается сызнова. Травы, роса,

прозрачность, прохлада. И первая птица, первый розовый блик на вершинах деревьев. И воздух не тот, каким был вчера, и самые воды ручья помолодели.

Слабо хрустели сучки берез под богатырской ножищей Василия Ивановича. Он шел и обдумывал, как бы тайно ему встретиться с Дашей и как повести объяснение. Вдруг он услышал странный звук, будто упало что в воду. И вслед затем отдаленный жалобный вскрик. Он затревожился и побежал напрямик к пруду. Травы качались под взмахом его плаща. И еще через деревья он различил, как замирали и вновь возникали круги на поверхности затянутых ряскою вод, а какой-то глянцевиный предмет то выныривал, то снова тонул. И тут увидел на берегу простенькие Дашины туфли...

Так, наконец, она проявила себя.

Он нес ее на руках до самого дома — чужую невесту, юную, теплую жизнь, не менее прекрасную, чем это позднейоньское утро. Он признавался, рассказывая, что не удержался и поцеловал ее несколько раз, пока она не очнулась, а как открыла глаза, быстро и горячо начал шептать о любви, конечно, Никиты, но выходило одновременно как будто и о своей, и о том, как он Дашеньку выкрадет и увезет, но, должно быть, и тут он смешивал воедино и свое и чужое...

Сердце щемило. В доме Василий Иванович явственно ощутил своим обостренным чутьем экстренные какие-то приготовления. С Никитой уехал мальчишка с конюшни, Никифор оставлен был дома. Василий Иванович увидел его выходящим от барыни. Красивый и неприятный лик старшего кучера был смутен; раздумье, несвойственное его натуре, искажало его черты. Что это могло бы значить?.. Тут до него донеслось бормотанье Аглаиды Сергеевны: «А то, чего доброго, возьмет да и вернется...» Редко случалось, что Приспешнева-мать сама с собой говорила, и всякий раз в этом было что-то зловещее.

Вдруг Василия Ивановича осенило. Чтобы его не заметили, он прыгнул в окно. Он был наездник лихой и жеребца выбрал под стать. Поскакал за Никитой кратчайшим путем и чуть было с ним не разминулся: Никита и сам возвращался домой. Увидав скакуна, он встал в тарантасе и, как мельница крыльями, начал крутить мягкой шляпой Василию Ивановичу.

Друзья обнялись. Запаленным коням выпала минутная передышка.

— Я отгадал?.. Я все раздумывал... И вот решил повернуть! Что там случилось? Не поздно?

Василий Иванович был краток, решителен, Приспешневу он уступил жеребца, сам пересел в тарантас: лошади были сильно замучены.

И что же? События эту поспешность оправдали. Тут надо коротко. Церковь была в полуверсте от усадьбы. День будний, а в церкви — огонь. Кучка народу у входа. Свечи бледно сквозь день глядят изнутри. Никита бросает коня, чуть не споткнулся о плиты. Видит: в мерцании свеч, в венчальном уборе стоит его Даша... Рядом — Никифор. Священник с припухлой щекой (рой огребал) готовится брать брачную клятву... Никита с порога кричит:

— Погоди!

И вот кучер уже в стороне, а сам он стоит рядом с невестой, и в руках его свечка, нагретая подставным женихом. И брак само собой завершен с женихом настоящим. Тут и Василий Иванович пригрохотал в тарантасе, выпрыгнув из него на ходу. Усердие дало на сей раз результат.

«Это и есть вся история? — спросите вы. — Но где же подделки и прочее?»

О да, конечно, это история, и несколько даже напоминающая пушкинскую «Метель», только, не правда ли, в некотором роде наоборот? Но главное все ж еще впереди — хитрое перо впереди!

Никита Васильевич, покинув родительницу, недолго с женою пожил в Москве. Мать его прокляла бы, да испугалась греха.

Она ограничилась тем, что перестала высылать ему деньги, а без денег как жить? Вот он и перебрался в Санкт-Петербург. У него в Петербурге был дядя, который ему и помог в ожидании богатой отдачи. Впрочем, этой отдачи пришлось-таки подождать, и когда молодые Приспешневы после смерти Аглаиды Сергеевны переехали в деревню, у них уже было двое детей.

Редкий был брак по тем временам! Молодые дворянчики, если когда и покрывали грехи брачным венцом, то скоро кидали неровней — жен своих: вспомним хотя бы родителей Федора Ивановича Лаврецкого. Приспеш-

невы жили, что называется, душа в душу. Оба они к этой поре устали уже от жизни в столице, а Дарья Михайловна и всегда тосковала по родным краям. Эти годы в деревне были самым счастливым временем их жизни. Молоды сами; свежий, весенний лепет детей; Василий Иванович их не забывал... Вечером чай на террасе. Звезды, как светляки, в широколиственных кленах. Василий Иванович говорит о санскрите, по-древнееврейски читает «Песнь песней»... Прямо сам царь Соломон.

А Герцен? А клятвы?.. Чего вы хотите? Герои мои — не *герои!* Они жили, как все, покорствуя времени. Юность жила теперь больше в воспоминаниях. Но все же в конюшне теперь уже не было порока, а Василий Иванович, по образованию врач, лечил мужиков на деревне... Впрочем, и он о бывлых «неподобных» своих разговорах, кажется, крепко забыл.

Жить бы им так да поживать... Но непрочно жизнь человеческая!

Несчастный случай на охоте, не полностью выясненный, — может быть, здесь было даже злодейство, как полагали тогда, и не без основания, — но только что все стало мрачно в жизни внезапной вдовы: Никита Васильевич был убит наповал...

Горе, печаль неутешная. Дарья Михайловна кровно мужа любила. Свет для нее стал немил. И если бы не дети, кто знает?.. Тот самый пруд был близок попрежнему, а омут в пруду так же глубок, как и некогда... Но дети ее не отпустили.

Так-то вот для нее и началась новая жизнь полузатворницы. А Василий Иванович тем временем женился и сам. Он поступил на казенную службу в Орле и, как встретит, бывало, с портфелем подмышкой какого знакомца, любил пошутить: «Извините, дескать, невинную хитрость бедного отца семейства...»

Боюсь ошибиться, но думается, что и Дарью Михайловну он не вовсе забыл... Сначала они переписывались, а потом между ними и переписка заглохла. В одиночестве встретила Дарья Михайловна новые беды.

А беды такие. Было поднято дело о праве наследования малолетних. Боковые наследники подали в суд: дескать, дети Никиты Васильевича им прижиты от посторонней собственно женщины, так сказать, от сожительницы, не от законной жены, а посему малолетние

эти имуществу рода Приспешневых никак не наследники.

Вот тут-то было опять и возникли разные слухи о случае на осенней охоте... Но слухи те были скоро приглушены.

Я не знаток в старинном делопроизводстве, но мы все хорошо его знаем по делу Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Кажется, умница, связи, богат, и обвинение в убийстве француженки Симон-Деманш — обвинение ложное, а ведь каким скорпионам его подвергали и какую жестокою нанесли ему рану! Правда, что эта самая рана и породила жемчужину, открыла нам гения, но для Дашеньки бедной открылась одна нищета. Где же ей было самой справиться с хищною сворой «законных наследников»!..

Суд был короткий. Доказательства ясные. На стол положили — как это их называют? — «обыкновенные», кажется, а если еще подревней — «вечные памяти». Такую вот «обыкновенную книгу» и представили судьям. И в ней была собственноручная подпись «Никифор Терехин»: кучер был грамотен. Налицо его не оказалось: он получил отпускную от барыни вскоре же после своего «венчания» и, намереваясь заняться торговлей, отбыл куда-то на Дон; там и след его затерялся... Священник, венчавший Дарью Михайловну, умер. Свидетели — кто не явились, а кто и явился — мялись, робели... Поверенный новых наследников был мужчина отважный и ловкий: кого запугал, кого подкупил.

Так из суда и вышла Дарья Михайловна уже не Приспешневой, а Терехиной, а дети — и вовсе неизвестно кем... Бедной вдове разрешено было взять из имущества только «лично принадлежащее», а жить из Приспешнева отправляйтесь, пожалуйста, куда вам угодно, запрета мы не чиним...

Так обернулась для Дарьи Михайловны жизнь, и такова для нее оказалась *законная правда*. А где же искать настоящей, *человеческой правды*?

Дарья Михайловна обосновалась с детьми в Москве. Она сняла в одном из переулков между Пречистенкой и Остоженкой маленькую комнатку у старушки про-свирни. Окно глядело во двор, на дворе по-деревенски ходила коза. Синие вечерние сумерки, как улягутся дети, бывали особенно тоскливыми; она вспоминала счастливые

годы свои, с тревогою думала о малышах. Скромные средства ее таяли день ото дня. Она про себя повторяла: «Ну, пусть как-нибудь я... А дети... дети Никиты Васильевича? Как можно было отца от детей отделить?... Что же мне делать? Что делать?»

Однажды, оставив ребят, она понесла продавать последнюю драгоценную вещь — сережки с жемчужинами, подаренные ей покойным мужем перед самую катастрофу. На обратном пути, крепко в кармане зажав ассигнации, проходила она мимо Иверской. Вся ее жизнь ближайшая — месяц, два, три — зажата в этой горячей ладони. Зима была нехолодная, снежная. У часовни, залитой сотней свечей, она остановилась... Но и молитва не шла на уста.

Вдруг, обернувшись, увидела она человека, глядевшего на нее из-под ворот. Вид у него был неказист. Из-под картуза торчали височки неопределенного, полинялого цвета, глаза были крошечные, однакоже острые; поверх очков глядели они, как говорится, буравчиками. Ростом маленький, корпусом шуплый, штаны в бахроме — сплошное какое-то неподобие. Она отвернулась, пошла прочь.

Но, когда она вступила уже на линию Охотного ряда с его звонкою суголокой, кто-то почтительно тронул ее за рукав. Дарья Михайловна обернулась: это был он!

— Что вам от меня надо? — спросила она и невольной крепче зажала деньги в руке.

— Я к вам от Иверской, — отвечал он, подмигивая не без веселости. — Я возле нее в воротах состою-с, на посылках! Может быть, я вам буду полезен. Я по глазам различаю, кто из нас, человек, пребывает в беде-с.

— Да кто же вы сами-то?

— Не бес, всеконечно-с. Грешник, как все. А по призванию жизненному ходатай по частным делам, Павел Егорыч Уздечкин-с. Будьте спокойны: любая бумажка, что из-под пера моего выходила, была с одной стороны — «нельзя не сказать», а с другой — «нельзя не признать»... И признают-с! Хитрость пера моего общеизвестна и общедоступна. У вас ко мне непременно дело-с... Разрешите вам следовать...

Так, балагурия, и в самом деле он от нее не отставал. И странно: вопреки его мизерному и подозрительному виду, Дарья Михайловна не то чтобы склонялась на его

уговоры, но и не гнала его от себя. А когда дошли они до дѣму, то оказалось, что он хорошо знаком с Агриппиной Петровной, хозяйкой Дарьи Михайловны, и не преминул к ней зайти. Они звали друг друга «сваточек» и «сватыюшка» и расположились чаевничать.

— Верьте ему, — говорила Агриппина Петровна. — Душевный он человек. И хитрей его нет. Правду со дна колодца достанет.

— В колодец не лазил... И влаги глубокой я опасуюсь и врать не люблю-с, — со скромностью возражал гость, мышинными зубками отгрызая кусочек крепкого сахару.

Дарья Михайловна, наконец, согласилась испытать снова судьбу.

— Вы расскажите мне только все обстоятельства, а я как на картах раскину пасьянс: можно — нельзя, а ежели можно, то именно как.

Дарья Михайловна все рассказала. Он внимательно выслушал и долго молчал. Шевелил бровями, касался очков, глядел в потолок. Внезапно рука его протянулась вперед и затем осторожно легла на скатерть, а пальцы пришли в движение, как если бы он самым тщательным образом принялся за исследование поверхности ткани.

Так еще помолчав, он словно бы себе самому кратко ответил:

— Могу-с.

И на другой же день отбыл в путешествие, даже и денег не взяв от Дарьи Михайловны:

— Верное дело — и расходы мои-с. После оплатите.

Однажды под вечер к Приспешневу двигались сани. Уздечкин велел держать на Поповку.

— Тут заночуем, — сказал он вознице, — а завтра назад. К батюшке есть маловажное дело.

Батюшке он, однако, сказал, что в пути запозднил, а собственно едет к отцу благочинному по консисторским делам. На ночь просит приюта.

Попик обрадовался: человек из губернии — это вроде газеты. То да се, раздевайтесь да давайте погреемся... Комнаты жарко натоплены, половики, пахнет немного лампадкой, пахнет и ладаном — полный уют. Запасы из шкафчика перекочевали на стол. Самоварчик, графин-

чик, грибки да селедочка... Особливо графинчик оказался чудодейный: опорожнят его, а он опять, глядишь, полный... Любопытно это и проверить: повторится ли чудо? И повторяли. Влаги глубокой, как на поверку выходило, Уздечкин не очень боялся.

Разговор был и мирный, но слово за слово возникали и споры, шумели:

— Вы говорите: правильные записи! А я говорю: правильных записей нет. Любую берусь опорочить!

Вы понимаете, к чему он клонил?

Натурально, послали за книгами. Кожей запахло и воском, сыростью церкви.

Книги на стол — «венечные памяти».

— Истинно чудо! Сама аккуратность... За честь сочту доложить отцу благочинному!

А между тем так, между прочим листая, глазами вонзился... Год и число были известны. *Никифор Терехин!* Вздогнули пальцы, поправил очки. Сила солому ломит, но иногда хлеба на полях полегают и от избыточества влаги: так, рано ли, поздно ли, пал и благодушный хозяин. На диване в колечко свернулся и гость.

И, однакоже, ночь и лампадка. И Уздечкин не спит и хмель отогнал. Тишина. Вот приподнялся и тихо, на цыпочках, прокрался к столу, где были книги. Сразу открыл, что было надо. Аккуратненько вынул перочинный нож и принялся за работу. Он выскоблил со всей осторожностью подпись Никифора. Потом из кармана вынул перо, флакончик с чернилами, пригнулся, подзигал очки на носу и завершил свое дело.

А «дело» о Дарье Михайловне и малолетних пошло «на пересуд». Представителем истца (на сей раз истицей была Дарья Михайловна) выступал на суде частный ходатай Павел Егорович Уздечкин. Свидетелем вызван был Василий Иванович Петров.

Ради высокой инстанции Уздечкин был в сюртуке и при галстуке. Сюртук блестел на локтях и на швах, но сам хозяин его держался достойно и строго.

«На что он рассчитывает?» — думала «та» сторона и ничего не могла отгадать. Главное, что удивляло: предлагали ему отступного — не взял! Правда, истица вызвала свидетелем дворянина... Но дворянин этот был не первоклассный: по слухам, и он что-то пером промыслил, излагал для российских журналов древних мысли-

телей! Это птица невелика... Но ведь главное... главное— это церковные книги! Ведь обнаружит же суд законную подпись... Ведь это же есть документ!

И точно: «обыскная книга» сельской приспешневской церкви лежала торжественно на красном сукне, на судейском столе.

Тут уж Василий Иванович, рассказывая, давал себе волю: то гремел на всю комнату, то почти шелестел замирая.

Все, разумеется, шло своим чередом, и все дошло, наконец, до знаменитого документа. Еще до того Василий Иванович дал показание под присягою, что с Дарьей Михайловной был обвенчан его покойный друг — Никита Васильевич Приспешнев, но, когда он вздумал было коснуться некоторых подробностей и сопутствующих обстоятельств, ему было строго заявлено, что здесь не пишут романов, а пишут *постановления*.

— Посмотрим теперь, что гласят документы!

Поверенный «той» стороны разогнул пожелтевшую книгу, и вот над нею склонились душистые судейские бакенбарды.

Дарья Михайловна сидела и думала: «Чудо... Когда ж будет чудо? А вдруг и в самом деле сейчас я услышу дорогую фамилию?»

Но вместо того главный судья, откинувшись в кресле, сказал:

— Здесь расписался *Никифор Терехин*. И мы по закону...

Василий Иванович рванулся к столу и загремел:

— Это неправда!

Но тотчас же его осадили.

— Ну, а вы что же нам скажете? — с легкой насмешкой спросил судья у Уздечкина.

— А ничего не скажу-с, ваше превосходительство, не поглядев, — скромно ответил Уздечкин. — Вы мне не разрешите ли полюбопытствовать?

Ему разрешили, он подошел. Склонился над книгой и долго глядел в нее, словно впервые видя сей документ. Потом он положил книгу на стол, и Дарья Михайловна как бы снова увидела скатерть и свою старушку просвирию Агриппиу Петровну... Так же, точь-в-точь как и тогда, рука его протянулась вперед и осторожно легла на страницу, пальцы заколебались и внимательно стали прощупывать лист...

Все глядели и ждали. Он же молчал среди тишины. Потом привычным движением поправил очки, поднял книгу и стал глядеть ее на свет. Оловянная тонкая проволока, идущая за уши, в одном месте была, видимо, надломлена и туго перекручена суровой ниткой. Василий Иванович, созерцая всю эту странную фигуру и манипуляции, которые проделывал поверенный Дарьи Михайловны у всех на глазах, серьезно подумал: «Да не сошел ли он с ума?»

Но вот Уздечкин при общем настороженном внимании обратился к председательствующему:

— Не изволите ли вы, ваше превосходительство, собственным вашим перстом ощупать бумагу? Шероховата-с, не правда ли? И поглядите на свет-с... Подпись то верную кто-то ведь выскоблил-с и по этому месту уже написал: *Никифор Терехин*.

Бакенбарды склонились. Палец ощупал подделку. На свет было видно еще того лучше. Была тишина. Недоумение.

И среди тишины Уздечкин сказал:

— Так чего же, я смею спросить, ваше превосходительство, стоит та подпись?

Его превосходительство изволил молчать.

— А еще позволю себе обратить ваше внимание на то обстоятельство, — продолжал Уздечкин спокойно и даже несколько строго, — что чернила в подделке вовсе другие-с, сами извольте сличить! Смею сказать, неизвестный художник грубо сработал-с... И удивительно даже, как в первой инстанции...

— Довольно! — прервал его председательствующий.

Так вот какова была подделка *особого рода*: выскоблил подпись и написал поверх то же самое и тем самым написанное опорочил. Ну разве не хитрое было перо?

Повесть была завершена, благополучный конец сам собой ясен, но я все же спросил:

— А что же Уздечкин сказал про ту эпоху?

— Благодарю вас, что вы мне напомнили. Изречение это было такое: «В нашу эпоху-с (он знал это слово) кривду, скажу, только и вышибешь кривдой же, а голенькой правде не жить!»

АНТОН ПАВЛОВИЧ

Ивана Васильевича Рыбинцева, любимого в Орле педагога, не узнавали приятели, ученики, сослуживцы. Что с ним произошло за время каникул?

Он был всегда спокойным, уравновешенным человеком, очень ровным в обращении с другими людьми, простым и внимательным. Ученою специальностью его была ботаника, но он преподавал также и географию, и обе науки эти в его изложении не были похожи ни на сухой пыльный гербарий, ни на мертвую карту с горошинами городов и паутиною рек. Любили его ученики, а через него любили и эти предметы — «второстепенные».

— Он столько наплодит нам географов и ботаников, что их хватит на весь Советский Союз, — не без нотки зависти шутили над ним его товарищи педагога.

Чем он брал? Он не был ни плавным оратором, ни вдохновенным занкой. Но очарование было, кажется, в том, что он действительно любил природу и землю, что не были они для него только «предметом для изучения». Эта любовь его заражала и собеседников, из молодежи в особенности, и оттого была теплота в его речи и та интонация, немного задумчивая, которая самую простую житейскую фразу роднит с настоящей поэзией. Воображение у него было, и он как бы видел и осязал то, о чем говорил. И был он доверчив с людьми, о других судил по себе.

Но не те же ли самые качества и навели на него эту напасть? Очень возможно. Но только об этом никто не

догадывался: все видели единственно то, что было снаружи. А снаружи было нехорошо. Рыбинцев становился чрезмерно задумчив и молчалив, на уроках рассеян. Какая-то скрытая дума одолевала его.

Есть люди, для которых беспокойство составляет как бы родную стихию: по всякому поводу они готовы жестикулировать, возмущаться и восклицать, все у них как бы на поверхности, но они же подчас поражают, коли постигнет их подлинное горе, ясным, глубоким спокойствием, настоящею твердостью духа. А вот у Ивана Васильевича, напротив того, спокойствие, казалось бы прочное, ровное, было отравлено. И отрава входила в него постепенно, неспешно, но с каждым днем овладевала им все с большею силой.

Никто ничего не мог разгадать, но на глазах у всех задумчивость у него перерастала в угрюмость, молчаливость подчас начинала прерываться желчными репликами, рассеянность на уроках переходила порой в раздражительность и придирчивость, все возраставшие. Самые преданные ему ученики недоумевали и огорчались. Повидимому, он начинал становиться в тягость и самому себе.

Настоящих друзей у Ивана Васильевича, быть может, и не было, но было много людей, которые по-настоящему хорошо к нему относились и за него очень тревожились. Они пробовали подходить к нему и так и этак. Но на доброе слово он отвечал недоверием, подозрительным взглядом, на шутку почти оскорблением, а на попытку склонить его посоветоваться с врачом отвечал горькой усмешкой. И, однако, случилось ему простудиться, доброжелатели к нему подослали врача, предупредив: простуда простудой, но поглядел бы поглубже. Врач поглядел — то ли не совсем глубоко, то ли уж чересчур в глубину. Повинным во всем оказался желчный пузырь, проявивший чувствительность, и на столике у Ивана Васильевича оказались соответствующие порошки; приказана была грелка; продиктована диета с неизбежным прованским маслом.

Приходили больного проведать приятели, и квартирная хозяйка Ивана Васильевича, уютная старушка в стеганой кофте, рассказывала им в передней так тихо, как если бы доверительно сообщала о своем жильце что-то не вовсе приличное:

— Взял он этак, голубчик, пузырь двумя пальцами и говорит: «Уберите, говорит, от меня эту гадость. Терпеть не могу, как пахнет резиной!» Ну и не только что порошков, и масла прованского — де-ли-ка-тес! — не захотел даже отведать! И тоже нехорошо этак выразился...

— Ну, однакоже, как?

— Да говорит: «Это, говорит, только *глубоко извращенные* натуры могут любить прованское масло». А я его так обожаю: де-ли-ка-тес! Ну что вы на все это скажете?

Да, что в самом деле тут скажешь! Разные люди говорили по-разному и уходили.

Второго врача прислали по нервным болезням. Это был старичок обстоятельный, с малою практикой, с изрядною выдумкой; пришел по знакомству.

Лежавшего в насморке, кашлявшего, заставил он Ивана Васильевича подняться с постели и проделать перед собою целый ряд упражнений: косить глаза вверх и в стороны, разводите руки, с закрытыми глазами смыкать их и еще многое другое. Самому больному врач всего не сказал, это было бы с его стороны неосторожно, но пославшим поведал, что у Рыбинцева действительно сложное нервное заболевание, возможно, на почве переутомления глаз — работа за микроскопом; однако все в целом грозило ни много ни мало, как черною меланхолией.

Этот диагноз имел то благое последствие, что к Ивану Васильевичу приставать перестали.

После простуды он скоро поправился (в этом врачи помогли) и вышел опять на работу — побывши с собою наедине несколько дней, похудевший, отчасти как будто и успокоившийся.

Успокоение это, видимо, было, однако, порождено все той же его непонятной болезнью: от размышлений и внутренних мук Иван Васильевич решил перейти к действиям. Он долго сидел теперь по вечерам и что-то писал. Черкал, задумывался, снова писал и снова черкал. Утром, проглядывая ночной свой труд, он безжалостно комкал и рвал листы, швырял их в корзинку. Наконец, он на чем-то остановился и надписал два конверта в Москву: Григорию Петровичу Барскому и Валентине Сергеевне Струковой; адрес их был один и тот же. А когда подошли зимние каникулы, он взял билет на Моск-

ву же и отправил Григорию Петровичу, приятелю своему с детских лет, еще и телеграмму.

Нам хорошо известны все обстоятельства жизни Ивана Васильевича, и нам кое-что надлежит рассказать из того, что неизвестно было другим орловцам и о чем они только гадали. Что же с ним приключилось? Уж не узнал ли какую-нибудь его тяготившую тайну? Ужель преступление, хотя бы невольное? Нет, ничего этого не было; нет, все очень просто.

Весною этого года, когда над первыми проталинами едва зазвенели чуть видимые первые жаворонки, в высоких простых сапогах, в свободный от занятий день молодой педагог, отправившись вверх по течению Орлика, с увлечением перескакивал через ложбинки и рытвины, на дне которых журчали ручьи, и с упоением вдыхал запах мокрой земли из-под талого снега. Он не был охотником, но бродячая жилка билась в нем сильно. По-детски почти он радовался молодой перемене в жизни земли. Ледниковый период кончался; малые еще материка — обнажались. Это была живая его география. И как радостно он рассмеялся, когда у одного из оттаявших таких ледников, по южному склону, под ореховым голым кустом он различил огоньки курслепа. Вот и ботаника, вот сама жизнь — возвратная, вечная молодость!

Вдруг он услышал у оврага, в недалеком леске, восклицание: «Ай, что я наделала!», тотчас побежал и увидел в коротенькой шубке молодую женщину. Она провалилась в глубокий снег выше колен и только что вытащила правую ногу.

— Что я наделала! — повторила она. — Там остались и ботик и туфля!

Такой она и стояла, с поджатой разутой ногою, и не знала, что делать: ступить прямо в снег и вытаскивать левую ногу, а вдруг опять то же самое? Девушка эта Ивану Васильевичу показалась снегуркой, но руки ее были теплы и не таяли.

Мы не будем рассказывать милых подробностей встречи, знакомства... любви. Да, может быть, именно даже любви. Так думал по крайней мере сам Рыбинцев. Вместе с весною это новое чувство вошло в него и заструилось по жилам так же естественно, как воды ручья бегут по откосу. Но отшумели вешние воды, и Валентина Сергеевна вернулась в Москву.

По окончании медицинского института она осталась при кафедре и занималась серьезной научной работой. Это был месяц отпуска, который она приехала провести на родине.

Отец ее был старшим садовником в одном из совхозов, расположившемся в бывшей усадьбе с традиционным липовым парком. Многие прежние здания были разрушены, но на их месте возникали другие: теплицы, оранжерея. Возле старого сада с осевшими на землю узловатыми осенними веточками расположился обширный плодовый питомник. По аккуратным рубежикам расхаживал там, по-хозяйски дымя коротенькой трубочкой, сам старик Струков — «молодой хозяин» по седьмому десятку; с ним Иван Васильевич также дружил. Струков, побрякивая, любил приговаривать:

— А старая яблонька, что же она не цветет? А цветы на ней, что же, — не молодые цветы?

У него еще было много мечтаний: в каждой деревне должен быть сад!

И сады эти вырастут из этого вот детского сада. Так он шутя называл свои саженцы.

— Губерния-то наша, говоря по старинке, недаром губерния тургеневская! А уж вырастить выращу... Видишь, какую красавицу, погляди, возрастил!

Иван Васильевич при подобных словах густо краснел, и сердце его замирало. Не было дня в этот месяц, чтобы под вечер не заходил он сюда. По окрепшей, подсохшей земле, между уже опущенных кустарников часто его провожала Валентина Сергеевна. Весна ворошилась неустанно, немолчно. Кудрявая зелень, пение птиц, легкие и строгие очертания холодноватых первых цветов; все точно так было в груди и у Ивана Васильевича. Он так берег эту тайну свою, что никому было и невдомек.

Но скоро они должны уже были и расставаться. Летом ей предстояла научная командировка. Когда же увидятся? Но Валентина Сергеевна об этом ни звука. И часто теперь, возвращаясь домой и следя глазами таявший в сумраке силуэт провожавшей его милой девушки, он крепко переплетал пальцы и чувствовал, что у него не было слов: музыки сколько угодно, а слов для ее выражения нет. Впрочем, они говорили о многом, а часто и просто болтали между собой — весело и непринужденно, смеялись, шутили и только о чувствах своих ни он, ни она

ни словом так и не обмолвились. Когда дочка уехала, старик Струков сказал крепко и определенительно:

— Она у меня верная. Кого уж полюбит, так не разлюбит.

С верою в то, что между ними любовь (как же иначе?), Иван Васильевич и провел все лето на юге, в степях. От Валентины Сергеевны не было писем, но по возвращении ждало его письмо от старого друга. Гриша Барский писал: «Я очень рад, что ты отыскался. Мы не видались семь лет, с университета, я совсем было тебя потерял. Но жена моя, ты ее знаешь, дала мне орловский твой адрес. Она так о тебе хорошо вспоминала, что даже всплакнула. А женат я давно — уже вторая неделя...» Гриша шутил, письмо было дружеское, но Иван Васильевич, прочтя его, два часа сидел за столом неподвижно и встал из-за стола другим человеком, тем самым, которого, чем дальше, тем больше, переставали узнавать приятели, ученики, сослуживцы.

На письмо это Рыбинцев не отвечал, да и у отца Валентины Сергеевны побывал всего только раз. Спелые крепкие яблоки там и сям на порыжелой траве были сложены в кучи; золотилась в подстилке солома, краснела, бурела листва на деревьях; неяркое небо было чисто, безоблачно; воздух разрежен. Все хорошо, и все очень печально. Откуда ж печаль? Да не оттуда ли, что мы видим природу через тот кусочек ее, каковым мы сами являемся?

Но Струков был весел, здоров, разговорчив; синий дымок из ореховой трубки вился к глазам; выбиваясь на волю, и седина завивалась и сияла под солнцем, вопреки всему, весело. Он много рассказывал о **разных** садово-плодовых делах и, только прощаясь, сказал о своей Валентине:

— А ты о ней не грусти. Поверь мне, голубчик, она уж плохого не выберет. Она у меня верная. Кого уж полюбит, того не оставит.

Слово в слово почти, как говорил и весной... Что же, старик издевался над гостем?

Все же Иван Васильевич в ответ промолчал и только поторопился уйти. Он ушел, еще больше замкнувшись, еще более настороженный и недоверчивый к людям, к миру, к себе. Так вот каковы были женщины; вот каковы были друзья; такой обернулась даже природа: осень

настала на редкость дождливая и ветреная. Какие же тут доктора в этой болезни могут помочь? Есть ли на свете такие доктора?

Иван Васильевич Барскому, как мы поминали, написал только уже близко к зиме. Письмо было горькое и ядовитое. Год назад он ужаснулся бы сам, прочтя эти строки, и не поверил бы, что это он мог написать. Он не только не остерегался самых язвительных мыслей и слов, но, напротив, искал их, вынашивал их. «Я приеду в Москву и вызову тебя телеграммой. Посмотри на тебя, как ты войдешь ко мне». В письме к Валентине Сергеевне вся ядовитость была только в том (и это было мучительнее всего), что он в самых холодных, но изысканно вежливых фразах поздравлял ее и желал ей полного счастья. И опять-таки раньше от такого письма он бы покрылся краской стыда. Теперь этого не было; все, что писал, было теперь — «с подлинным верно».

Он ехал в Москву накаленный, измученный, злой. В вагоне его лихорадило. Звук от колес отдавался в висках: «Зачем ты поехал? Зачем ты поехал?» Но знал, что остаться ему одному, все с теми же мыслями, — нет, оставаться было нельзя!

Москва его встретила снегом, метелью. Отвык от нее. Плохо ее узнавал и торопился скорей на Божедомку, где жила его старая тетушка.

Тетушки не было дома. Она доживала свой век бездетной вдовой, но у нее от племянницы были внучата: два близнеца. Она искала тепла и уюта и в эту метель к ним ушла ночевать. Снег белыми хлопьями бился в окно. Соседка ему принесла горячий чайник и булку. Он даже забыл ее поблагодарить. Завтра утром войдет к нему Григорий Петрович Барский, молодой ученый-зоолог, тот самый веснушчатый Гришка, вместе с которым купались, дрались, лазили за малиной в чужой палисадник, сидели, разинувши рты на медные трубы, и слушали музыку в городском саду над рекой. Все было, и ничего нет. Ужели враги? Да ведь иначе и не назовешь. Чайная ложечка дрогнула в руке Ивана Васильевича, и drobный этот, жалобный звук как бы подтвердил, что все дорогое на свете разбилось.

Не тронув тетушкиной, по-девически белоснежной постели с кружевной накидкой на подушке, Иван Васильевич прилег на короткий и жесткий диван не раздеваясь.

Но уснуть он не смог; сердце стучало, мысли кололи. Зажег опять свет и увидел на этажерке старый, потрепанный томик. Он потянулся и взял книгу. Раскрыл, где пришлось, и начал читать, поначалу едва понимая. Но чем дальше читал, тем более отрешался от самого себя.

Это была когда-то давно уже читанная, но наполовину забытая «история одной поездки» — чеховская «Степь». И вот — как коварно, настойчиво, после первого же большого укола, просочилась в доверчивого Ивана Васильевича отрава недоверия к людям, захватившая его целиком с течением дней подобно степному пожару, где огонь лижет подряд и траву и самую землю, испепеляя спрятанные в ней корешки, — так с такою же, но уже мягкой и теплой настойчивостью, постепенно все глубже и глубже овладевало им человеческое, широкое и поэтическое дыхание писателя, точно касание чьей-то родной, старшей руки, под которой себя опять ощущаешь ребенком. Егорушке, мальчику, открывалась в поездке его по степи жизнь, как она есть; и то, что здесь не было ни прикрас, ни утайки и все же все было свежо, как юный ручей, — это и было так же прекрасно, как воздух, как ощущение прелести жизни самой по себе. Мысли и чувства Ивана Васильевича, измученного внутренним противоречием, вновь находили обычный свой строй, лад и гармонию.

В повести не было решительно ничего, что хоть как-нибудь перекликалось бы с коверкавшей его внутренней драмой, и опять-таки именно это и было для него истинно благодатно. Ничто не касалось больных его мест, и все было целебно. Три человеческих существа точно сливались в нем воедино: он сам, мальчик Егорушка, Чехов. Да, и Чехов здесь был.

Читавший не думал об этом. Но он ощущал всем своим существом, как словно бы после длительного отлива и мертвящего зноя прохладные воды вновь подступали под истомленные берега. Земля и природа были опять живы и близки и от людей неотделимы.

Ночь пробежала неслышно и незаметно. Москва и метель. А он ехал по степи. И он простудился, но так же и он, как Егорушка, утром проснется здоровым. Есть же на свете и такие вот доктора!

Может быть, это Иван Васильевич придумал и позже, спорить не станем, но будто ему показалось, что Антон Павлович Чехов, как доктор уже, присел к нему на

диван. Он тронул легонько рукою дужку пенсне и спросил у лежавшего, чуть наклонившись:

— Да на что же вы собственно жалуетесь?

— Ах, я потерял... И мне надо..*

— Все пустяки. Вам только надо найти самого себя.

Утром проснувшись, Иван Васильевич долго лежал не шевелясь. Он словно боялся, что снова себя потеряет, себя, настоящего. Он видел теперь со стороны и того Ивана Васильевича, каким он был в эти ужасные последние месяцы, и глядел на него с изумлением и отвращением, точно на лежавшую перед ним безобразную вещь. Вспомнил людей, к нему расположенных, которых он обижал, почти оскорблял; вспомнил работу, которую бросил, учеников, от него отошедших. Как перед ними он был виноват! И как был виноват перед Гришей Барским и... перед нею. Ведь он ничего даже и не знал, как у них собственно все это было, и, быть может, давно, и чем же она перед ним виновата?

Он полюбил ее, да, но разве всегда так и бывает, что если один полюбил, то и другой? Где же права его, где же измена ее? Ведь она его не обманывала... Ясным глазам все ясно теперь.

И вспомнил слова старика. Кажется, он и его теперь понял. И почему тогда так обиделся? Разве нельзя за другого порадоваться и независимо от самого себя? Трудно? Но ведь и трудное можно, коли не замкнуться в себе, не отвернуться от жизни...

И самое главное то, что теперь это не было даже и трудно, а только естественно.

В дверь постучали. Гриша вошел с тревожным настроенным лицом. Но эту тревогу, видимо, он подавлял, готовый к тяжелому поединку, объяснению.

— Ты мне писал. Ты вызвал меня телеграммой.

Иван Васильевич подтянул слегка занемевшие ноги и приподнялся с подушки. Он был застигнут врасплох. И хорошо.

— Подойди, — сказал он. — Как я давно тебя не видал, как рад тебя видеть!

Гриша с недоумением и все еще напряженно сбросил пальто и подошел к старому другу. Рыбинцев крепко обнял его и поцеловал, и Гриша, целуя, видел улыбку его и ощущал одновременно, что лицо Ивана Васильевича было мокро от слез.

Когда они вдоволь наговорились и всё стало на место, все без прикрас и утайки с той и с другой стороны, раздался звонок возвращавшейся тетушки. Гриша Барский сказал:

— То-то тебе Валентина обрадуется! Но все-таки, что же такое случилось с тобой, что вдруг ты увидел все по настоящему?

— Я очень был болен, — серьезно ответил Иван Васильевич. — Но меня вылечил чудесный доктор.

— Где и когда?

— Нынешней ночью. Да и ты его знаешь. — Он положил руку на потрепанный чеховский томик и с улыбкой добавил: — А зовут его Антон Павлович.

1939 г.

ДВЕ ВСТРЕЧИ С А. П. ЧЕХОВЫМ

Встречался я с Антоном Павловичем Чеховым всего два раза, но обе эти встречи дали ощущение живого Чехова и, более того, помогли понять его как писателя, хотя беседа велась совсем не о литературе. Я тогда лишь немного начинал печататься, но в этом ему не признался, а сам Чехов, как большинство настоящих писателей, думается, рад был вести разговор не «писательский», а простой — житейский. Я никак не затрагивал вопроса о его произведениях. Я ехал тогда на голод в Бессарабию и по этому именно делу к нему и зашел.

Заговорили, конечно, и о любимой Чеховым Москве. Несмотря на январь, в Ялте было тепло; все ходили полетному, по каменным стенам вились маленькие пушистые розы, цвели и какие-то еще розовые цветы с плотными блестящими лепестками; все это было зимою несколько призрачно. И грусть по морозной Москве — запрещенной — была как нельзя больше понятна. В кабинете, совсем небольшом, очень простом, постепенно сгущались синие сумерки; огня не зажигали. Антон Павлович говорил не спеша, раздумчиво, больше расспрашивал — о Москве, о студенческих наших делах, немного всегда беспкойных. Кстати, когда передают речь Чехова, всегда пестрит частица «же», которую он будто бы прибавлял чуть не к каждому слову; получается впечатление сугубо провинциального местного говора, почти комического. Правда, пишут это люди, знавшие Чехова долго и хорошо, но если и была в его речи такая особенность

(я ее вовсе не ощутил), то во всяком случае передающие слова Антона Павловича ею злоупотребляют. Он говорил, как писал, короткими фразами, подумав, несколько скупю и очень определенно; так же скупы и выразительны были и его жесты, едва намеченные и одновременно вполне законченные.

Я не помню подробностей этого первого разговора, да и не в них дело, но тогда же я отчетливо почувствовал, как Чехов был пристально внимателен к другому человеку — совсем для него случайному. И это не был интерес специфически писательский, а именно человеческий. Пожалуй, в этом была и доброта, но не такая теплая и конкретная, какая присуща была Владимиру Галактионовичу Короленко, которого увидел я много позже. У Чехова доброта эта была как бы несколько далекою: не данный, сидящий перед ним человек сам по себе, а он же, но лишь как один из тех живых существ, что именуются человеком. У Чехова, несомненно, присутствовала всегда свойственная ему органически дума о людях, о человеке, о жизни. И вот он сидел в сумерках и говорил, с паузами, покашливая, спрашивал что-нибудь, и так это воспринималось: точно хочет проверить себя, прикинуть свое «издали» на этом вблизи сидящем, приехавшем отсюда — из всегда молодой Москвы.

Чехов был человеком конкретностей и писал живых людей, может быть, как никто, но эти конкретности он давал по-особому, на широком и спокойном горизонте своего раздумья. Так иногда на фоне заката увидишь стебли полыни или дикой рябинки, они такие же, как и те, что у тебя под ногами, но и не те, ибо конкретность их дана с гравюрной четкостью, и даны расстояние, простор и грань горизонта, и теплая желтизна уходящего неба. Это сочетание конкретности и дали, живого быта и длительного раздумья, оно-то и является основным в творческой манере Чехова.

Какого же рода было это раздумье? Несомненно, оно было очень разнообразного свойства: и философского и социального — тому имеется много свидетельств. Во вторую свою встречу с Чеховым я очень остро почувствовал именно этот социальный интерес писателя и притом не отвлеченный, головной, а напротив — живой, исполненный настоящего человеческого тепла.

Я увидел Чехова на одной из выставок картин в

Москве. Он был один, но я не подходил к нему, стесняясь напомнить о нашем случайном знакомстве; однако он сам, глянув в мою сторону и помедлив секунду, узнал меня.

— Да, хорошо написано, — сказал он о портрете какого-то генерала, перед которым как раз я стоял, — но кому это нужно, зачем?

Портрет привлекал общее внимание, и мастерство художника было налицо. Но Чехов не захотел углубить свою мысль, и она прибрела всю свою значительность лишь в порядке противопоставления.

— Вы это еще не видали?

Не рассеянно, но очень быстро прешел он ряд других полотен и надолго остановился затем перед одной небольшою картиной.

— Вот, — обратился он ко мне, — вот что я вам хотел показать. Это хорошо.

Я не помню, чья эта была картина, но передо мной встают и теперь — фабричные задворки, вечер, лиловатая мгла и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуповатостью, может быть чуть-чуть стыдливою, нежностью, которую хотел бы не показать. Чем-то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова, и молчание его было для меня выразительно полно: сам он писал не потому лишь, что умел отлично писать и хорошо знал человека, но и потому, что он человека любил, и жалел, и думал по-своему об устройении его неустроенной жизни.

1944 г.

В. Г. КОРОЛЕНКО

С Владимиром Галактионовичем Короленко виделся я всего один раз — ранней весной 1908 года в городе Полтаве, где он тогда проживал. Но знакомство мое с писателем Короленко началось еще с детских моих лет, когда в семье у нас, в деревне, появилась мартовская книжка журнала «Русская мысль» за 1885 год, где был напечатан «Сон Макара». Этот небольшой рассказ своеобразием сюжета и совсем особенной манерою автора — дать ощутить какое-то живое и доброе тепло по отношению к человеку, совсем маленькому и обыденному, — произвел на нашу семью подлинно чарующее впечатление, и автор его с полным правом в дальнейшем вошел в круг самых любимых молодых писателей того времени. Это были: Гаршин, Чехов и Короленко.

Интересно, что впечатление от этого рассказа было столь же сильным и непосредственным также и у меня — мальчика, еще не поступавшего в школу. Если попытаться найти какое-либо наиболее выразительное слово, которое определяло бы собою общее наше отношение к новому автору, то следовало бы сказать, что он был воспринят не просто как близкий, а как если бы был подлинно свой, *родной*. Это не выдумка: даже самое слово «Короленко», казалось, дышало каким-то особым теплом.

Может быть, всему этому содействовало и еще одно обстоятельство. От старших моих братьев, учившихся в Петровской сельскохозяйственной академии, мы знали, что и Короленко учился там же до своей первой высылки. Мы с особым интересом читали незаконченный

автором рассказ «Проخور и студенты», где действие происходило именно в Петровско-Разумовском.

Так понемногу в нашем читательском восприятии творчество Короленко стало все более тесно сливаться с его собственным человеческим обликом, и мы невольно следили за событиями его жизни: помощью голодающим в 1891—1892 годах, поездкой в Америку и его выступлениями по известному Мултанскому делу в Вятской губернии, где несправедливо обвиняли удмуртов в принесении человеческих жертв языческим богам; у писателя умерла за эти дни дочь, оставшаяся в Полтаве, но он не покинул судебного разбирательства и добился оправдания подсудимых. Все это мы знали, и все это не могло не возбуждать ответного чувства волнения и благодарности.

Я уже начинал свой писательский путь, когда Короленко был избран почетным академиком, и очень хорошо помню, как не только писательская, но и вся студенческая молодежь взволновалась, когда вскоре, протестуя против распоряжения царя об отмене избрания в почетные академики Максима Горького, и Короленко и Чехов заявили официально, что слагают с себя звание почетных академиков. Это еще более усилило наши живые симпатии к ним обоим.

Беспокойная жизнь писателя, отзывавшегося с подлинной страстью на всякую общественную несправедливость, ко времени моей встречи с ним осложнилась еще великою его травлей со стороны черносотенцев после убийства некоего статского советника, истязавшего и расстреливавшего крестьян Полтавской губернии. Короленко непосредственно перед этим выступил против него в печати с резкими обвинениями, и вот его самого обвиняли в подстрекательстве к этому убийству, присылали письма, в которых грозились его убить. Короленко и здесь держался с подлинным мужеством и благородством. Но враги его долго не могли успокоиться, продолжая свои угрозы.

Немудрено поэтому, что и во время моего посещения Короленко речь зашла обо всех этих недавних событиях.

— Да вот я вам дам... Тут вся эта история.

И он протянул мне небольшую книжечку в издании редакции журнала «Русское богатство», называвшуюся

«Сорочинская трагедия» (по данным судебного расследования).

Характерно, что и о вопросах литературы и о своем вмешательстве в общественную жизнь Короленко говорил в основном с какою-то одинаково ровной и как бы совершенно спокойной убежденностью. На самом же деле он просто умел замечательно собою владеть, и в этом сказывалась большая и привычная для него воля, воля человека, знающего, что каждое его выступление, чисто художественное или общественное, одинаково служит поискам подлинной правды и воплощения ее в человеческой жизни. Понятия «человек» и «гражданин» были в нем друг от друга неотделимы.

Более определенная формулировка личных моих впечатлений от посещения писателя складывалась, конечно, не сразу, а постепенно, но тем не менее, уже и сидя у него, я непосредственно ощущал нечто одновременно простое и тихое и в то же самое время весьма сильное и своеобразное.

Для Короленко текущая современность давала и темы, и краски, и самые человеческие образы, а вместе с тем и каждое его художественное произведение, отвечая запросам жизни, входило активно в самую жизнь. Для него не существовало противопоставления: литература и жизнь и их единство не было результатом какой-либо теории, которую человек исповедует, а являлось самым органическим и естественным воплощением его самого и всего того, что он создавал как писатель.

Иногда в ту пору, когда любили высоко ставить так называемое «чистое искусство», Короленко называли писателем «тенденциозным». По тогдашнему, я бы сказал «укороченному», мышлению предполагалось, что существует прежде всего какое-либо художественное произведение само по себе, а засим в него по воле автора как бы вливается какое-то количество «тенденции», подобно тому как хозяйка вливает небольшую дозу пряной эссенции в мирно, «нейтрально» доселе дремавший сироп. А вот у Короленко на самом-то деле никакой подобного рода «привнесенной» тенденции не было. И мысли и чувства его, личные и общественные, органически сливались в единое целое, которое — вот оно! — дышало передо мною в живом образе самого этого человека.

Лицо Короленко было обрамлено большой, но одновременно и какою-то «легкою» бородой. И возникали невольно сравнения. Вот именно так бывают воздушно-легки и большие лесные массивы, спокойно раскинувшиеся до горизонта: они — как воплощение свободной природы, покорной одним лишь органическим законам своего бытия. Короленко было уже пятьдесят пять лет; волосы на голове курчавились и были несколько седоваты; большой, спокойно-умный лоб его был, как взгорье, у подножия которого теплились ровным сиянием два небольших озера его глаз; они и не были голубые, но это были именно озера необычайной прозрачности и чистоты. Все было изумительно близко русской природе, которая умеет таить в себе и грозные бури и мирную тишину покоя. Так все органично — просто и глубоко — было и в самом Короленко.

Я очень был рад, что мог больше слушать, чем говорить. Строгий мой собеседник, не очень-то разговорчивый, как меня предупреждали, почему-то был мягок со мной. В литературных вопросах мы не очень сходились между собою, хотя творчество самого Короленко всегда глубоко меня трогало. Но мы о литературе немного и говорили. Думается, что самый «воздух» нашей беседы определили собою две вещи: все та же Петровская академия, в которой позже него учился и я, и работа на голоде, хотя и в разных местах и в разное время: человечески это очень сближало.

В комнате и во всем доме стояла та ничем не тревожимая, спокойная тишина, которая не кажется только простым отсутствием звуков, а как бы и сама представляет собою некую ощутимую реальность. Подобная же тишина была и за стенами дома, и оттого возникало впечатление огромных, ничем не заслоненных, пространств: вся безграничная родина наша с ее деревнями и городами. И я понял тогда Короленко: из Петербурга *так* ее не увидишь! Да «снизу» и сам Петербург был видней.

А эта провинциальная «конкретность бытия» — именно она-то и давала писателю ощущение всего народа в целом, именно здесь-то и был он дома более чем где бы то ни было.

Видимо, Полтаву свою Короленко очень любил. На подаренной мне книге «Без языка» он написал: «На память о Полтаве», то есть о нашей там встрече, а на «Со-

рочинской трагедии» в надписи сам поставил в кавычках «Из Полтавских мотивов».

По поводу последнего определения книги любопытно привести следующую фразу автора на первых же ее страницах: «Но я считаю, что значение «Сорочинской трагедии» гораздо шире личного вопроса и даже вопросов местных». И вот на этой самой книге, трактующей о вопросах, которые «гораздо шире вопросов местных», автор ее делает надпись, связывающую ее с мотивами именно местными, полтавскими. И это весьма характерно для Короленко, что, даря молодому писателю свою книгу, он ему ничуть не навязчиво, но вместе с тем убедительно указывает на то, что истоки литературы лежат в самой жизни, непосредственно писателя окружающей. Не столь отчетливо, но все же именно так это было воспринято мною еще и тогда.

Но вообще надо сказать, что впечатления подобного рода имеют свою внутреннюю жизнь. Они не кончаются с уходом из дома писателя или с отъездом из города, где он живет, как не кончаются они и тогда, когда читатель поставит на полку, после прочтения, какой-либо томик талантливой и любимой им автора.

И вот много-много лет спустя после общения с самим Короленко, ныне покойным, и в результате читательского общения с его неумирающим творческим наследием хочется по праву к нему применить такое, естественно возникающее определение: «Всякое настоящее художественное произведение — это живая часть живого творца». Именно это и обеспечивает ему посмертную жизнь.

Я и сейчас затрудняюсь точно определить, сколько времени пробыл я у Короленко, а когда я у него был — времени вообще не было. Ощущение предельно чистого, свежего воздуха, которым овеян был в этот мартовский день писатель Владимир Галактионович Короленко, живо во мне до сих пор, как оно не покидало меня и во все время пребывания моего в его тихом и небольшом домике, где билось такое большое и благородное сердце.

1952 г.

ЖИВОЙ ТОЛСТОЙ

Лето 1909 года я проводил в городе Туле, в семье старшего моего брата. Погода стояла изумительная, и хотя при доме был сад со старенькою беседкой и даже ручьем, пересекавшим его наискосок, все-таки сильно манило за город — на волю, в поля.

Рано утром однажды я и вышел из дому, предупредив, что уйду на целый день. Я не думал о посещении Льва Николаевича, но вышло так, что, дошагав до Ясной Поляны, у самых почти ворот при въезде в усадьбу я увидел знакомую фигуру Толстого и издали с ним поздоровался. Лев Николаевич шел вдоль канавы, отделявшей усадьбу и сад от проезжей дороги. Заметив меня, он остановился и в ответ на мое приветствие веселым молодым голосом отозвался:

— Знакомый? Не узнаю.

Что было делать? Времени для размышления у меня не было, но словно бы это само собою требовалось, я тотчас же направился прямо к нему, и только когда уже совсем подошел, немного сам на себя удивился. Ну, а Лев Николаевич не удивился ничуть, для него подобные встречи были, очевидно, привычны.

Разговор между нами возник и развивался с той исключительной простотой, как это бывает между двумя дотоле незнакомыми соседями в вагоне железной дороги. Я-то, конечно, хорошо и знал и ценил своего собеседника, но вот замечательно, что это нисколько, ничуть не мешало основному ощущению предельной простоты всего происшедшего. Так нежданно-негаданно я и провел почти целый тот день вместе со Львом Николаевичем.

Мы до того привыкли к изображениям и снимкам Толстого, что кажется несколько даже странным говорить о его наружности. И все же — вот он живой передо мною... Я вижу его не в первый раз. Однажды, совсем мальчиком, я встретил его на Пречистенке. Он был в шляпе, в пальто — незастегнутом и чуть раздувавшимся на ходу. Вероятно, он просто шел от себя, из Хамовников, но приближался, как показалось мне, с такой быстротой, как вообще люди даже и не ходят, а главное, что меня поразило, — это огромный его, исключительный рост: мимо меня прошел и исчез великан! Таково было мое еще полудетское впечатление, и, однако, почти все таким же видел я его и еще один раз — в Москве же, на сельскохозяйственной выставке в здании манежа: там он не только был выше других, но этих других людей рядом с ним как если бы вовсе не стало. Такова была моя юная по отношению к нему экспансивность. И ничего похожего здесь и сейчас: для восприятия все — тихо, спокойно.

То, что бросается в глаза на фотографиях Льва Николаевича — общее своеобразие внешнего облика и сгущенная, собранная значительность внутреннего его образа — писателя и мыслителя, — все это здесь было только естественно, как на месте естественны были эти вот яблони яснополянского сада и синее небо над ними. Лицо у Толстого не оставалось, впрочем, спокойным, его как бы оведал непрестанно внутренний живой ветерок. Глаза под густыми зарослями бровей, голубые, неяркие, вдруг загорались изумительно ярким огнем, неведомым многим даже и в юности. И голос его не только по-молодому был свеж, — в речи Льва Николаевича звучали самые различные интонации — от почти нежных до неприкрытого гневного окрика. При мне у него было несколько посетителей и со всяким в беседе выявлялось какое-то неповторимое живое восприятие каждого и живой, соответственный каждому отклик.

Нельзя было не обратить особого внимания и на руки Толстого. Да, это были уже подлинно руки старого человека — с выступающими узлами жил и щедрыми морщинами кожи. Но и они хранили какой-то здоровый, почти вызывающий даже загар, а главное, были еще одновременно и чрезвычайно изящны и таили в себе огромную силу: ведь и в самом деле — ими были написаны и «Война и мир» и «Казак».

При мне посетителей было человека три или четыре. Один из них, молодой человек, больше других мне запомнился. Льву Николаевичу явно он был неприятен и чужд. У этого посетителя, пришедшего искать «правды жизни», не чувствовалось настоящего человеческого спокойствия, он почти требовал каких-то формальных ответов: выслушать их и принять к сведению и руководству, и тогда — все будет в полном порядке! К тому же этого он добивался с большой надоедливостью, переходившей в прямую назойливость.

Толстой внимательно каждого, к нему приходившего, слушал: он слушать умел. Потому-то он так и отвечал — на самую суть порою нескладно или слишком туманно выраженных мыслей. Терпеливо он выносил и мелкий словесный дождик того молодого человека, не затихавший ни на минуту. Но если что и выражало в нем все возраставшее недовольство, так это его глаза. Они не только утрачивали свой блеск и делались невыразительными, тусклыми, про них хотелось даже сказать, что если не уши, так они за них становились совершенно «глухими». И вот тут-то порою и прорывался настоящий гнев, и Толстой бросал своему посетителю несколько слов с невольной резкою интонацией.

Так на повторный вопрос, что же ему надлежит читать, Лев Николаевич ответил (имея в виду, конечно, девятнадцатый век):

— Читайте с тридцатых годов и раньше.

— И позже, — поправил Льва Николаевича его собеседник.

— И раньше! — подчеркнул Толстой и пояснил, обращаясь уже не к своему посетителю, а скорее ко мне, но еще того более к самому себе: — *Время просеивает.*

Толстой, таким образом, утверждал без сомнения, что устойчивую и уже оправданную временем ценность в литературе имеет только то, что просуществовало по крайней мере несколько десятилетий, а все остальное еще подлежит проверке временем. Этим он точно бы с каким-то подчеркиванием по отношению к самому себе и свои собственные вещи не считал уже подлежащими безусловной рекомендации.

Как это надо было понять? Кое-кто мог бы, пожалуй, увидеть в этом какую-то своего рода «рисовку»: не мог же в самом деле Толстой не отдавать себе отчета в том,

как много он создал в русской литературе! Но в том-то и дело, что это выражение «время просеивает» было сказано не просто как серьезная и важная мысль, а и с какою-то немного грустной задумчивостью именно по отношению к самому себе.

Понять же все это можно было только так. Толстой был человеком огромных масштабов. Думая о человеке, он мыслил о человечестве; земные пространства вокруг для него были не слишком-то велики; даже в границах огромной собственной родины ему было как бы несколько тесновато; и действительно, слушал его весь земной шар. Но было так и во времени: общался Толстой не только со всем тем, что было создано веками новой цивилизации, но черпал и куда глубже. Он вел, можно сказать, разговор с древнею многонациональною мудростью: тут была и античная Греция и древний Восток. Так что же для него при таких-то масштабах какие-нибудь несколько десятилетий?

Над этой глубокой и своеобразною мыслью, высказанной Толстым, надобно было думать и думать, но она совсем не задела внимания молодого спорщика, и он начал быстро перебирать имена современных писателей: кого читать, кого не читать. Толстой не отзывался никак, не отвечал. Молодой человек, помянув Сологуба, почему-то приостановился. Паузу надо было прервать, и Толстой досадливо отмахнулся рукой:

— Не знаю... Не помню...

Но когда тот начал и дальше распространяться о Сологубе, и путая современного тогдашнего писателя со старым графом Соллогубом, и автора «Мелкого беса» назвал также графом, Толстой с необычайною, какою-то звонкою резкостью кинул ему, поправляя:

— Федор!

До того говорил: «Не знаю... Не помню...», а вот, оказалось, отлично и помнил и знал: не граф Соллогуб, а попросту Федор Сологуб!

Зашел у нас разговор о моих двух романах: «Золотые кресты» и «Между двух зорь». Отношение Толстого к ним для него очень характерно.

В первом романе в центре внимания было так называвшееся тогда «новое христианство», трактованное мною с художественно-полемической остротой; в «Между двух зорь» (тогда еще носивших название «Дети на рельсах»)

выведена была молодежь эпохи безвременья — после девятьсот пятого года — со всеми ее крутыми невзгодами. К первой теме Толстой отнесся скептически, это слабо его занимало; зато вторая тема чрезвычайно его заинтересовала, и он подробно меня расспрашивал о том, как я ее понимаю и развиваю. Он придавал большое значение правдивому изображению молодого поколения, он понимал все трудности его бытия; большой живой человек с высоты своих восьмидесяти лет по-юношески горячо волновался за судьбу молодежи, детей, как если бы это были его товарищи, сверстники: это было о жизни, о живом, становящемся человеке. «Это важная тема, — повторял он мне несколько раз, — об этом надо писать».

Все это для меня, конечно, имело большое значение. Я вообще мало общался с другими писателями, а здесь неожиданно вышел большой и откровенный разговор, вызванный самым живым интересом Льва Николаевича к теме моего нового романа.

«Таким образом, — размышлял я уже позже — то обстоятельство, что время определяет собою подлинную ценность художественного произведения, не уменьшает, однако, нисколько великой важности писательской работы и по отношению к текущему моменту, когда жизнь не просто «идет», а она же на наших глазах и «делается».

Это была важная и нужная мысль и для меня, для моей работы, и она же открывала мне и подчеркивала высокое своеобразие этого человека-творца, который был своим и в далеких временах и так горячо отзывался на вопросы современности и события дня одинаково и в своей юности и на закате дней. Великая широта его интересов не заслоняла для него текущих конкретностей человеческой жизни.

Разговор этот происходил еще до прихода того самого писателя, который смешал графа Соллогуба с Федором Сологубом. Когда же тот, наконец, распрощался, Толстой с большой силой сделал рукою движение вслед уходившему, почти как если б толкнул его по воздуху в спину.

— Глухая стена! — произнес он со сжатой экспрессией, и глаза его резко сверкнули.

— Вы знаете, в чем главная беда нашей молодежи? — обратился он снова ко мне, возобновляя прерванный разговор и, видимо, связывая его эмоционально с только

что ушедшим молодым человеком. — Эта беда — в самомнении.

И дал почти формулу:

«Всякий человек есть дробь, в которой числитель — это то, что он есть на самом деле, а знаменатель — что он о себе думает, и чем больше этот знаменатель, тем меньше дробь; но когда знаменатель равен бесконечности, что бы в числителе ни стояло — дробь всегда будет равна нулю».

Лев Николаевич беседовал и с другими посетителями. Давая уলেখся главным своим впечатлениям, я порою позволял себе не слишком вникать в то, о чем в данный момент шла речь. Толстой с удивительным терпением, а порою и с настоящей внимательностью вел эти очередные свои беседы. Иногда они шли совсем не на большой глубине, но я видел, как глаза Льва Николаевича вдруг становились все более приветливыми, мягкими: это общался он с живою человеческой душой, а здесь он не ставил резких граней между большим и малым, главное для него было то, что это все — *подлинное*. Тут он переставал быть «гигантом», и уже не удивлял его обычный, средний человеческий рост.

Время шло. Льву Николаевичу предстояло вечером чтение для крестьян: у него была намечена для этого статья «О науке». Я был так полон впечатлениями, что как-то не захотелось возвращаться в Тулу обратно в тот самый день, и во мне зародилось желание продолжить свое путешествие — уже в Орловскую губернию, прямо к себе домой. Об этом я и сказал, смеясь, Льву Николаевичу.

— Из вашей Ясной Поляны я пойду дальше и зайду по дороге в Спасское-Лутовиново, так что это выйдет настоящее «путешествие пешком от Толстого к Тургеневу».

— Я завидую вам, — сказал Толстой, — и я хотел бы также: выйти из дома и пойти пешком. — Он даже как-то расправил несколько плечи, а глаза его как бы видели перед собою некий очень далекий горизонт.

Он отозвался также и на слова мои о заходе к Тургеневу:

— Это не важно, — негромко заметил он, — важно то, что вы увидите много простого народа, будете говорить близко с крестьянами. Среди них, особенно из молодежи,

я знаю много прекрасных людей. Вы сегодня увидите их, если захотите.

Таким образом, Лев Николаевич пригласил меня вечером в Телятинки, где Н. Н. Гусев, бывший тогда секретарем Толстого, в присутствии самого Льва Николаевича должен был прочитать эту статью его о науке. Нужно сказать, что в разговорах своих со Львом Николаевичем едва ли не единственным вопросом, по которому я не мог воздержаться от возражений, был как раз вопрос о науке, в частности о науках естественно-исторических, которые я с молодым пафосом защищал.

В Телятинки я попал ранее, чем подъехал Толстой. В большой комнате внизу было довольно много народу — крестьян, правда больше молодых полуинтеллигентов, а также и людей, близких ко Льву Николаевичу.

На большом непокрытом столе лежал букет свежих полевых цветов, не знаю кем собранных. Толстой поздоровался и тотчас подошел прямо к столу. Найдя глазами меня, он произнес, улыбаясь и чуть кивнув на цветы:

— Какая прелесть! Я всегда, когда выхожу гулять, думаю: не сорву ни одного, и всегда возвращаюсь с таким же вот пуком!

Он взял себе два цветка и сел на лавку. Цветы эти были с ним и во время чтения и после — во время разговоров. Но в конце концов перед уходом он забыл их на столе, и один цветок упал на пол. Я взял их оба с собой, и они сопутствовали мне в дальнейшем моем путешествии «пешком от Толстого к Тургеневу».

Самый вечер протекал таким образом. Когда статья была прочитана, Толстой встал и сказал:

— Ну, я выйду. А вы тут разговоритесь без меня.

Разговор действительно завязался живой и непринужденный. Запомнилось мне, как один из крестьян, своеобразно коротко и «предметно» сказал свое доброе словцо о науке. Некоторое время не отрывал он глаз от ясного, открытого взгляда молодого секретаря Льва Николаевича, поглядывавшего окрест себя сквозь стекла очков. Я невольно следил за ними обоими, и предчувствие меня не обмануло.

У крестьянина этого худенькое лицо его внезапно как бы «мобилизовалось», все черты заиграли улыбкой, лукавством, преодолеваемой некоторой неловкостью и в то же время настоящей решительностью.

— А вот, извините... — И он протянул прямо перед собой темный тощенький свой указательный палец. — Вот, извините, очки — это ведь тоже наука?

Все как-то встрепенулись. Кажется, сколько здесь было человек, столько же и улыбок блеснуло.

Лев Николаевич, когда возвратился, принял и сам участие в общей беседе. Я и сейчас вижу, как он стоит у стола и говорит с большим воодушевлением, почти что и с вызовом:

— Вот считают, будто не солнце ходит вокруг земли, а земля ходит вокруг солнца... Какая чепуха! *На что* мне это знать! А что солнце ходит вокруг земли — это мне *надо* знать: солнце встает — надо идти на работу, солнце на полдень — надо передохнуть и поесть, а солнце зашло — ну, и кончился день.

Выступление это мне показалось по началу совершенно диковинным: как это можно было отрицать общеизвестную истину! Но постепенно приходила и утверждалась в сознании другая толстовская мысль — не о солнце и о земле, — это только примеры! — а о том, что наука должна быть тесно связана с жизнью, с трудом, и только такую науку следует знать. Конечно, Толстой придавал этой основной своей мысли нарочито гротескную форму, чтобы тем самым заострить внимание слушающих. И они это понимали. Судить об этом можно было по тому, что слова эти Льва Николаевича встречены были легкой улыбкой, идущей, однакоже, и с параллельным раздумьем. Позже, дорогой, я размышлял: а ведь в сущности и указующий перст на очки также был связан именно с мыслью о пользе науки, о «полезной науке»! И сам Толстой и деревенский люд, его окружавший, понимали, оказывается, друг друга отлично.

Когда я прощался со Львом Николаевичем, он вернулся опять к моему путешествию.

— Вот меня зовут шведы на конгресс мира. Не знаю... я не поехал. А вот так, как вы, *пойти бы — пошел.*

Он помолчал и негромко добавил (произнося по-тульски «туды»):

— Перед тем как уйти туды, откуда никто не возвращается.

Рано утром на следующий день я опустил в почтовый ящик на станции открытку, чтобы меня в Туле не ждали. Скромное это мое пешеходное путешествие — из города

Тулы в родные края, — длившееся: трое с половиною суток, было как нельзя более подходящим для размышлений о Толстом. Меня окружала в пути среднерусская наша природа — упругая земля под ногами, свежий воздух, исполненный бодрящего запаха леса, лугов, купы белоснежных облаков в вышине, ласкающих взор, и эта узенькая ровная ниточка горизонта — та самая, про которую в раннем детстве своем я, как вспоминали, будто однажды спросил: «А этой ниточкой небо сшито с землей, да?» И вот тут-то «практически» я осуществлял науку Толстого: солнце вставало — я поднимался и отправлялся в путь... и далее — все, как он говорил.

Деревенские эти просторы были родными самой натуре Льва Николаевича. А его манера писать, хотя бы свою эпопею «Войну и мир», начинала образно ощущаться, как огромное творческое его путешествие, как неспешный и неотрывный от земли, именно пешеходный путь. Недаром с таким особенным чувством он произнес: «Пойти бы — пошел».

Я вспоминал отдельные фразы из его прозы, и порою начинало казаться, что это не просто уже и путешествие, а Толстой, как мы знаем его по изображениям, идет за сохой, взрывая несколько круто, но глубоко и верно самим законам природы, огромные глыбы земли. Это одновременно и подготовка для будущего сева своих мыслей и необходимая часть всего творческого труда великого писателя. Можно отсюда, пожалуй, понять и это органическое тяготение Толстого к простому труду: пахать, ломая и подымая застоявшийся почвенный «быт», шить сапоги, туго продергивая дратвой неподатливую толстую кожу все этого же человеческого «бытия». Для Толстого диктовались эти работы его не только, а может быть даже не столько, моральными размышлениями, сколько этим ощущением подлинного родства со своим народом в его непрестанном и связанном с реальной жизнью труде.

И, конечно, это так: физический труд для Толстого не был прихотью барина-опрошенца, он шел от глубоких корней деревенской Руси, и он органически помогал Льву Николаевичу ощущать внутренний мир простого русского человека — и в общении его с природой и в непрестанном его трудовом существовании — изо дня в день.

В этих мыслях своих о Толстом я и не думал, что сам Лев Николаевич отметит у себя в своем дневнике мое посещение. Я не привожу этой краткой записи здесь, но мне было чрезвычайно приятно узнать, как Толстой меня помянул. Благодаря этой записи я также могу точно датировать мой заход к Льву Николаевичу: это было 12 июля 1909 года.

А путешествие самого Толстого «туда, откуда никто не возвращается», последнее это его путешествие было также уже не за горами. Когда он о нем говорил, негромко, в потемках, он точно бы уже ощущал его реальную близость, видел его.

Осенью следующего, 1910, года я был в Париже, где и узнал об уходе Толстого из дому и о его кончине. Накануне я засиделся у давних своих московских знакомых, и они оставили меня ночевать. А утром в дверь мою вдруг отчаянно застучали, гораздо ранее того, чем я обычно вставал, и хозяйка квартиры, вся изменившись в лице, взволнованная свыше всякой меры, протянула мне газету, где на нескольких вставных страницах повествовалось об этом трагическом событии.

Не только мы, русские, застигнутые этой страшною вестью на чужбине, и не только огромный и шумный Париж, которому до всего было дело, но и весь мир был потрясен.

Несколько дней для всех нас только и было мыслей, что об уходе и о смерти Льва Николаевича. Трудно было представить себе Россию, оставшуюся без Толстого. И передо мною все время вставал образ этого гениального человека, идущего пешком по родным и беспредельным просторам, образ ищущего последней правды необычайного этого путника — роста отнюдь не высокого и в то же время огромного, этого старика со страстной его, неутомимой и неутоленной душой, никак не знающей старости: образ живого Толстого.

1952 г.



СТИХОТВОРЕНИЯ
РАЗНЫХ
ЛЕТ

А Ю-ДА Г

Давно, давно из диких скал,
Томимый жаждой непонятной,
К лазури моря необъятной
Медведь огромный прибежал.

Губами жадными склонился,
Мохнатой грудью в воду лег.
Мечтал напиться — не напился,
Хотел подняться — и не мог.

ГОРНЫЙ КОЗЕЛ

Когда крепчает ветер злой,
Козел нагорный морщит брови,
И чем лютее жадный вой,
Тем он упорней и суровей.

Он мал, но цепок, как орел,
Его упорство равно бою,
И крепость он свою обрел
В единстве с вечною скалою.

Т О П О Л Я

И снова вижу блеск канала,
А рядом вспаханы поля;
Еще и солнце не вставало,
Зарю дышат тополя.

Привольно им на новоселье:
Храня тепло рабочих рук,
Припоминают и веселье,
И мирных песен светлый звук.

От жизни отставать не нужно
И им самим... И вот в эфир
Ветвями колыхают дружно:
«И мы за мир!
Да будет мир!»

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Черемухою первый снег
Зацвел по горке, по оврагу,
Одеты пни в пушистый мех,
И будит снег — и юный смех,
И грусть, и нежность, и отвагу.

Скорее выйди на крыльцо —
Вновь молодой, и бодрый, ладный,
И, белым окружен кольцом,
Иди к кустам, и вот лицо
Ты окунаешь в пух прохладный!

Умыться снегом — хорошо:
Звончее кровь играет в жилах!
Как будто шел — и вот пришел,
И не искал — а вот нашел
Друзей давнишних, сердцу милых...

Сороки скачут по ветвям,
Ища на липе зерен желтых,
Веселый подымая гам,
Здесь облачко вздымая... там...
Знать, детство чистое нашел ты!

РОЖДЕНИЕ СТИХА

Тугой бутон стоит недвижно,
Как вылеплены лепестки,
Лишь сок живой незримо брызжет
По жилкам потайной реки.

Но вот — всего одно мгновенье —
И ты душистою волной
Задышишь, роза, вся — движенье...

Не таково ль и в нас рожденье
Стиха иль музыки живой?

**В УБРАНСТВЕ СВЕТОЙ
НИЩЕТЫ**

Покинул я семью и дом,
Меня касатки провожали,
И тени их, двоясь, дрожали
Над опрозраченным прудом.

Был в жемчугах низинный дол,
И травы мне ласкали ноги,
И по обочинам дороги
Кивал кустарник, нищ и гол.

Я шел один, и даже ты,
Души печальная подруга,
Не узнавала правды друга
В убранстве светлой нищеты.

РУЧЕЙ

Марине

Слышу — журчит ручей:
Это думы мои журчат;
Вижу — скользит ручей:
Это чувства мои скользят.

Незабудка глядит в ручей:
Это глаза мои;
Солнце зажгло ручей:
Это огонь любви!

Ветер пестрит ручей:
 Это беличья
Резвость моя;

Канули звезды в ручей:
 Это девичья
Чистота моя.

ГОЛУБОЕ НЕБО

Как голубое небо средь дождя,
В заботах стих порою улыбнется,
И пусть досель смешной ребенок я,
А сердце мужественно бьется.

И думаю, что нежность не слаба,
Коли ее суровость не скосила,
И думаю, что мягкость не раба,
Коли поэзия есть сила.

Так дует ветерок, и нет преград
Крылатому, и льется через горы,
И самый кряж, быть может, тайно рад
Открыть его дыханью поры.

ПОГОДА

То суша выглянет, то воды
Зальют крутые берега:
От этой внутренней погоды
Еще никто не убегал.

Себе самим равновелики,
Противореча каждый час
Самим себе, меняем лики
Внезапным выраженьем глаз.

Но нечто есть, что дышит всюду —
Над скалами и над водой:
Я был и есмь, и буду, буду
Всегда одним: самим собой!

ДО КАПЛИ

Ах, если бы молодость знала!
Ах, если бы старость могла!
На небе, расцветенном алым,
Закатная тучка легла.

Но знанья нажитого бремя
Дождем опрокинь на луга,
Где в давнее, юное время
Ребенка ступала нога;

С веселою силою, смело
Шумя меж зеленых ветвей,
Твори свое верное дело
И сердце до капли пролей!

П О Э З И Я

Поэзия — как сталь, но ветерок
Над лезвием, чуть ощутимый, веет:
Дыханием, идущим между строк,
Охваченное сердце холодеет.

Захолонуло, сжалось, но легка —
Струя из раны бьет живой, горячей,
И музыка — пленительней цветка;
И мир иной — перед душою зрячей.

Так на глубинах дрогнул человек:
Поэзия! Она непостижима;
Быстра, легка — как дуновенье век,
И нас палит — сама неопалима.

О С Е Н Н И Е Д А Р Ы

Как рядом молодой кленок
Пушится, веточки топорща,
Как в нем задорный бродит сок,
Как вся помолодела роща!

И медленно ветвистый дуб,
Шуршанье трепетное слыша, —
Поживший дуб, готов на сруб —
Колышет о когда-то бывшем.

О нежность старого к юнцу,
Ты молода, как цвет весенний!
Чем ближе к строгому концу,
Тем чище правда песнопений.

И сонмом прошумев листов —
Огонь по багрецу и злату, —
Роняет желуди стихов
На память юному собрату.

РОДНИК

Опять, склонясь, в родник заброшенный
Гляжу и слышу плеск земли.
Атавы запах свежескошенной,
И солнце в золотой пыли;

Порхает бабочка над склонами,
И кашка медом зацвела,
И над лугами вновь зелеными
Летит заботливо пчела;

Вспоминанья, явь, последняя
Тропинка жизни, все — одно:
Всему прошедшему — наследник я,
А для грядущего — зерно.

МЫСЛИ

Меж руд угрюмых и немых
Медлительные ходят воды:
Там клады в тайных кладовых
Неисчислимы; переходы

Тяжелых вод что день важней.
Густеет влага думой зрелой,
Чревата солью мысль, и в ней
Уже кристалл очерчен белый.

И, докатясь до грани той,
Когда завершены, отлиты
Все замыслы, — над пустотой
Она рождает сталактиты.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Слышна мне поступь ласкового мая,
Легко дышать под вечер наших лет,
А ветерок, за плечи обнимая,
Свежо уводит от забот и бед;
И голову клоню, ему внимая.

Я здесь один. Тебя со мною нет:
Но рядом ты, незримая, живая;
И по траве слежу твой зыбкий след,
И милые мне плечи обнимая,
Легко ступаю по закату лет.

СИРЕНЬ

Бывает так: почти зима,
Но вдруг кувшин тепла прольется...
Сирень — весной встрепенется
И вот снежком — цветет сама.

Тепло с прохладой сочетая
И седину с улыбкой уст,
Вот так и я — как этот куст:
Как смесь и декабря и мая.

НА ЕДИНЕ С СОБОЙ

Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

А. Пушкин

Береза бело-золотая,
Склоняя ветви с высоты,
Весенний ветер вспоминая,
Роняет поздние листы.

И это гибкое движенье
Уже немолодых ветвей
Не есть ли образ, отраженье
Души притихнувшей моей?

Не умиляясь, не горя, я
Дышу и жду, когда в поток
Бегущей жизни оброну я
Последний пушкинский листок.

НЕВЕРОЯТНО УМЕРЕТЬ

Невероятно умереть,
Когда ничто не умирает,
Когда и облак в небе тает
Затем лишь, чтобы прошуметь
Дождем веселым и блестящим.

Слежу за голубем летящим:
Он был — и нет! Но за горой
Опять вечернею порой,
В прозрачном воздухе купаясь,
Кренит упругое крыло;

То исчезая, то являясь,
Умрет на миг мое весло
И вновь скользит в сквозистой сени...

О други! В легкости весенней,
Когда всему цвести да зреть, —
Невероятно умереть.

НЕ ДАНО ПРЕСЕЧЬ

Мыслью, словом, выраженьем
Жизнь даем мы бытию,
Одаренному движеньем:
Так в других и сам пою!

Как река берет начало
В тихих водах ручейка,
Так звучит, раз зазвучала,
Чья-то жаркая строка.

Слово плещет, дышит снова
Неумолкнувшая речь:
Так и Пушкина живого
Смерти не дано пресечь!

НЕДРА

Чем дальше дни, тем больше в труд
Уходят ум, душа и воля —
На добыванье темных руд...
Ну, скажут, каторжника доля!

Да так ли? Здесь на глубине
Таит земля, что глубже — чище
Игру алмазов. Два во мне,
Упорство с вдохновеньем, ищут.

И дикий пусть в пустыне ветер,
И сединой поля укрыты,
Как знать, во тьме подземных недр
Не брызнет ли мне свет сокрытый?

И в старости есть бранный дух
И юности возвратной чары:
Толстой, Хафиз — довольно двух!
А, в седилах, они ли стары?

ПРИХОД ПОЭТА

Ю. Н. Верховскому

Когда приходит в дом поэт —
Вы замечали это, други? —
Глаза, зрачок и брови-дуги;
Вошел поэт: поэта нет!

Пред вами милый человек,
И разговор — как звон стакана,
Уходит поздно; или рано?
Да, штору первый луч рассек!

Табак; вино; и горсть листков
Небрежно обронил в передней;
Так было нынче и наемни:
Глаза, зрачок — и был таков!

Ушел поэт: поэта нет!
Но свет и воздух — все иное:
Поэт — как небо голубое;
Поэт — он здесь; он утро, свет.

ТРИДЦАТЬ ТРИ

Тридцать лет и три года —
Треть долгого века —
У синего моря поэзии.

Легкие ноги ступали
В прозрачную, чистую воду,
И брызги летели в лицо;

И светились на солнце
Розовые пальцы
С чернильными крапинками;

И пело сердце,
И пели глаза и губы,
И щеки пылали солнцем.

И вот ноги не стали резвее,
И пальцы стали желтее,
И брызги легли на висках сединой;

Но сердце поет,
Но душа залита солнцем,
Но пальцы в чернилах:

Вот уже тридцать лет и три года!

СМЕРТЬ ВОИНА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Цветов земных в охапку,
Колчан и лук в обнимку,
Моей земле родимой
Последние слова:

Прощайте, ветры в поле,
Прощайте, зори в небе,
Прости, река степная,
Бери меня, курган!

С тобой я не расстанусь,
В твоём могучем теле
Земли шепотью малой
Останусь я лежать.

Придут родные братья
Дозором мне на смену,
Крепить я буду землю
Под верною ногой.

Гуляйте, ветры в поле!
Цветите, зори в небе!
С тобой живу навеки,
Родимая земля!

КРАТКИЕ ЗАПИСИ

СТИХУ ДАНО

Стиху дано движенье, быстрота:
Над временем, пространством — полномочье!
Так томика порою полнота
Укладывается в четырехстрочье.

НАБРОСОК

Ткань случайного наброска
Чуть намечена, проста,
Но цветут нежнее воска
Жилки тайного листа.

Кроны пышной колыханье
До поры питаешь ты,
Затаив в себе дыханье
Неслучайной теплоты.

КРАТКОСТЬ

Чем мимолетней, тем живее
Прикосновение руки:
И мысль сердечная острее
В обломке крохотной строки.

О НЕНАПИСАННОМ

Схватить задумаешь — меж рук,
Смеясь, тихонько ускользает,
И ловишь лишь бегущий звук,
А сердце знает и не знает...

И кто-то, ласково дерзя,
Ветвей мне стелет колыханье...
О ты, кого назвать нельзя,
Моя ты — как мое дыханье!

РАЗДУМЬЕ

Я думаю в прохладе, не спеша:
Вот женщина — как бабочка порхает,
В движении чудесно хороша,
В спокойствии — чего-то не хватает.

МГНОВЕНИЕ

Такая тишина, что лист не шелохнется
И капелька дождя с ветвей не упадет,
И только сердце потаенно бьется
Да время в тишине, неслышное, идет.

ПРАВО

Только строгий к себе —
 право имеет на строгость.
Но у всякой горы —
 это закон, неизбежность —
Не одни лишь стремнины,
 но и мягкость, отлогость:
Так у строгости только —
 право есть и на нежность.

МУДРОСТЬ

Сытость спит; шагает бодрость;
Горб ученому — как брат;
За руку с любовью ревность
Жарким пламенем горят.

Только мудрость не шагает,
Не торопится, не спит,
Не ревнует, не сжигает:
Мудрость — юностью глядит.

ГЛАЗА — В ГЛАЗА

Когда не знаешь, как сказать
То сокровенное, что бьется
В душе, в груди, а вот назвать
Словам обычным не дается, —

Тогда взгляни глаза в глаза:
Там времена и там пространства,
Луч солнца, неба бирюза
И чувств живое постоянство.

ПЕРЕДВЕЧЕРНИЙ ЧАС

В передвечерний час затихла ты, земля!
Косая тень горы покрыла тополя,
Но по верхушкам все ж живое солнце льется
И в молодой листве играет и смеется...

Не так ли чувства в нас, хоть жизнь уходит в тень,
В груди согретые, хранят веселый день?

С Л О В О
О П О Л К У
И Г О Р Е В Е

Перевод в стихах



1

ЗАПЕВКА О БОЯНЕ

Не ладно ли было бы,
Братия,
Песню нам начать —
Ратных повестей
Словесами старинными —
О полку Игореве,
Игоря Святославича?

Нет, начаться же песне той
По былинам нашего времени,
А не по замыслению
Боянову.

Если вещей Боян
Кому хотел песнь творить,
То носилась мысль его —
Летягою-векшей по дереву,
Серым волком по-земи,
Сизым орлом под облаки!
Помнил рассказы
О временах
Первых усобиц,
Как пускали тогда
Десять соколов
На стаю на лебединую:
Досягнул сокол до лебеди —
Та и песнь пела первая:

Старому пела Ярославу,
Храброму Мстиславу,
Что зарезал Редедю
Пред полками касожскими,
Красавцу Роману
Святославичу.

А Боян-то,
Братия,
Он пускал не десять соколов
На стаю на лебединую:
Он персты свои вещие
На живые струны клал —
И струны те сами
Славу князьям
Рокотали.

2

ИГОРЬ ГОТОВИТСЯ К ПОХОДУ

Так почнем же,
Братия,
Повесть сию —
От Владимира старого
До нынешнего Игоря,
Что мысль напруг
Крепостию своею
И поострил ее
Сердца своего мужеством,
И, ратного духа исполнившись,
Нацелил полки свои храбрые
На землю на Половецкую —
За Землю Русскую.

И на светлое солнце тогда
Игорь воззрел
И видел,

Как тьмой от него
Все его войско
Прикрыто.

И сказал Игорь
Дружине своей:

«О братия
И дружина моя!
Лучше убиту быти,
Нежели полонену быти.
А сядем мы,
Братия,
На своих борзых коней
Да поглядим
Синего Дону».

Спáла у князя и думка
О милой жене своей,
И сáмое знамение
Заслонилося в нем
Жаждою —
Испытать великого Дону.

И сказал:
«С вами я, Русичи,
Хочу копие преломить
На конце половецкого поля,
И хочу я —
Либо главу свою положить,
А либо шеломом испить
Дону».

О Боян,
Соловей старого времени!
Кабы сам ты
И эти походы
Звонкою трелью
Воспел, —
Скача соловьем
По мысленну древу,
Летая умом
Под облаки,

Соловьиную песню
Свивая
Вокруг сего времени,
Рыща Троянскою тропюю
Через поля
Да на горы!

Так бы песнь
И для Игоря спеть —
Олегова внука:
«То не буря
Занесла соколов
За поля
За широкие:
Это галки
Стадами бегут
К Дону великому...»

А разве не так ли
Надо было б воспеть,
О вещей Боян,
О Велесов внук:
«Кони ржут за Сүлою,
Звенит слава в Киеве,
Трубы трубят в Новгороде,
Стяги в Путивле стоят;
Игорь милого брата ждет —
Всеволода...»

3

ИГОРЬ И ВСЕВОЛОД ВЫСТУПАЮТ В ПОХОД

И сказал ему
Буй-тур Всеволод:

«Один брат, один свет-светлый —
Ты, Игорь:

Оба мы — Святославичи!
Седлай, брат,
Своих борзых коней,
А мой тебе уж готовы,
У Курска оседланы —
Наперед твоих.
А моим-то Курьянам
Поведано —
Куда им идти!

Под трубами они побиты,
Под шеломами всхолены,
Концом копия вскормлены:
Пути им ведомы,
Родники по оврагам знаемы;
Луки у них натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли изострены;
Сами скачут,
Будто серые волки по полю,
Князю славы ища,
Чести — себе».

И вступил Игорь-князь
В злат-стремень тогда
И поехал по чистому полю.

Тьмою солнце ему
Путь заступало;
Ночь, стеноя,
Грозою —
Птиц пробудила;
Свист звериный
Восстал.

Див с дрѣвка кличет,
Велит послушати
Земле незнаемой:
Волге и Поморию,

И Посулию,
И Сурожу,
И Корсуни,
И тебе,
Тмутороканский болван!

А половцы
Дорогами ненаезженными
Побежали к Дону великому;
Телеги в полночи
Криком кричат —
Скажи:
Лебеди распуганные...
Игорь к Дону войско ведет,
А птицеподобный
Беды его пасет,
От них стережет.

Волки по оврагам
Накликают грозу;
Клетком на кости орлы
Зверье зовут;
Брешут лисицы
На багряный щит...

О Земля моя Русская!
Уже за холмами ты!

Долго ночь меркнет,
Но вот свет-заря
Погасла,
Туманы поля покрыли.
Щекот соловий затих,
Галочий говор
Проснулся.
Поля великие
Русичи
Щитами багряными
Прегородили:
Князю славы ища,
Чести — себе.

**ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БИТВЫ. НОЧНОЙ ОТДЫХ
И НОВЫЙ БОЙ**

Утром в пятницу рано
Потоптали поганое
Половецкое войско;
И, рассыпавшись стрелами по полю,
Половчанок-красавиц

Помчали...

А с ними и золото,
И паволоки,
И оксамиты драгие.

Епанчами, да покрывалами,
Да кожухами,
И иными узорочьями
Половецкими —
Словно мосты
Стали мостить
По болотам, по грязи.
Багрян стяг,
Бела хоругвь;
Багряна челка,
Серебряно древко —
Храброму Святославичу!

Дремлет в поле
Олегово
Хороброе гнездо:
Залетело далече!
Не было оно
Обиде обречено:
Ни соколу,
Ни кречету,
Ни тебе,
Черный ворон,
Половчанин поганый!

А уж Гза серым волком бежит,
Кончак ему след указывает —
К Дону великому.

А на другой день поутру
Ранним-рано
Кровавые зори
Возвещают рассвет;
И черные тучи
Надвигаются с моря
И прикрыть хотят
Все четыре солнца —
А трепещут в тех тучах
Синии молнии:
Быть грому великому!
Идти дождю стрелами
С Дона великого!
И копиям
Преломиться тут,
И саблям
Притупиться тут
О шелома о половецкие
На реке на Каяле,
У Дона великого.

О Земля моя Русская!
Уже за холмами ты!

И ветры,
Стрибожии внуки,
Стрелами с моря веют
На храбрые полки
Игоревы.
Земля гудёт,
Реки мутны текут,
Пыль поля застилает,
Стяги глаголют:
То половцы идут от Дона,
Идут от моря,
И русские полки обступили —
Кругом.

И поля преградили:
Дети бесовы —
Кликом,
А храбрые русские —
Щитами багряными.

Яр-тур Всеволод!
Стоишь, отбиваясь,
Прыщешь на воинов стрелами,
Гремишь о шеломы
Мечами булатными!
Куда, тур, поскачешь,
Златом шелома посвечивая,
Там и ложатся
Поганые
Половецкие головы...
Каленою саблей расщеплены
Шеломы оварские —
Тобой,
Яр-тур Всеволод!

О ранах ли думать,
Братия,
Тому,
Кто и сан забыл,
И жизнь забыл,
И город Чернигов свой,
И отчий злат-престол,
И милой жены своей,
Красавицы Глебовны,
Свычай да обычай!

5

**ВОСПОМИНАНИЕ О ПОХОДАХ
ОЛЕГА СВЯТОСЛАВИЧА**

Были сечи Троянские,
Минули годы Ярославовы;
Были походы Олеговы,
Олега Святославича.

Тот Олег
Мечом крамолу ковал,
Засевал землю стрелами:
Как ступит, бывало,
Во злат-стремень
В Тмуторокани-городе, —
Так уж слышит тот звон
Великого, древнего
Ярослава сын —
Всеволод,
А Владимир в Чернигове
Всякое утро
Уши себе закладывал.

А Бориса Вячеславича,
Молодого князя и храброго,
Слава на суд привела
И наказала:
Ниву зеленую,
Как саван, постлала,
За обиду Олегову.

Да и с той же Каялы
Князь Святополк
Повелел отца своего
Между иноходцами
Угорскими
Ко святой Софии
В Киев повезть.

Так было втапору
При Олеге Гориславиче:
Сеялось и возрастало
Усобицами
И погибало в них
Достояние
Дажбожьего внука:
В княжьих крамолах
Век человеческий
Укорачивался.

И по Русской земле тогда
Редко пахари

Перекликались,
Но часто зато
Граяли враны,
Трупы между собою деля;
Да и галки
По-своему переговаривались:
'Куда б полететь на еду?

Так было и в сечи те
И в походы те,
А такого боя
Не слышано!

6

ПОРАЖЕНИЕ РУССКИХ И ВЕЛИКАЯ ПЕЧАЛЬ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

От раннего утра до вечера
И от вечера до света
Стрелы летят каленые,
Сабли о шеломах гремят,
Копия трещат булатные
В поле незнаемом,
Среди земли
Половецкой.

И черная земля
Под копытами
Костями была засеяна,
А кровию полита:
Кручиною они повсходили
По Русской Земле.

Что мне шумит,
Что мне звенит —
Там, далече,
Перед зорями, рано?
То Игорь полки
Поворачивает:

Жаль ему милого брата —
Всеволода.

Бились так день,
Бились другой,
А к полудню на третий день
Пали знамена
Игоревы.

Тут-то братья
И разлучилися —
У быстрой Каялы
На берегу.

И вина кровавого тут
Недостало;
Тут и пир тот dokonчили
Храбрые русичи:
Сватов напоили,
А сами легли
За Русскую Землю.

Никнет трава от жалости,
А древо с кручиною
К земле приклонилось.

Так-то,
О братия,
Невеселая година настала,
Ратную силу
Пустыня прикрыла.

Поднялась Обида
В силах Дажбожия внука,
Девой вступила
На землю Троянскую;
Крылом лебединым
Всплескала —
На море синем
У Дону;
И, плещучи так,
Тоску пробудила
О довольстве былом;

Между князьями усобица,

Нам же поганые —

Гибель!

Ибо князья

Стали брат брату:

«*Это мое,*

А то — тоже *мое!*» —

Говорить,

И стали про малое

Молвить:

«*Это великое!*»

И начали сами себе

Крамблѹ ковать,

А поганые

На Русскую Землю

Со всех сторон приходили

С победами!

О, далече сокол зашел,

Птиц бия,

К морю!

А Игорева храброго полку

Не воскресить!

—

И по Русской Земле

Горе вскричало,

И понеслись, поскакали

Скорбные вести

И жалобы —

От одного человека

К другому;

И были уста людей

Горячи,

И скорбь, как смола,

Прикипала на них.

Русские жены восплакались,

Так причитая:

«Уж как нам своих милых,

Любимых —

Ни мыслию смыслить,

Ни думою сдумать,
Ни очами увидеть,
А злата и серебра
И вовсе не нашивать!»

И восстал,
 Братия,
Киев кручиною,
А Чернигов напастями,
И тоска разлилась
По Русской Земле,
И густая печаль течет
По Земле Русской.

А князья сами себе
Крамолу ковали.
А поганые сами,
С победами рыская
По Русской Земле,
Дань взимали:
От двора всякого —
Звонкого серебра
 По монете.

Так-то двое они,
Игорь да Всеволод,
Храбрые Святославичи,
Самовольством своим
Старое лихо
Вновь пробудили,
А его усыпил было
Их отец Святослав,
Грозный, великий
Князь Киевский.

Грозою —
Притрепал он поганых:
Полками могучими,
Мечами булатными —
Наступил на землю
Половецкую;
Притоптал там
Холмы и овраги;

Возмутил
Озера и реки;
Иссушил
Потоки, болота...

А Кобяка поганого
Из Лукоморья,
От железных, великих
Полков половецких,
Словно вихрь, отторг.
И пал Кобяк
В граде во Киеве,
В гриднице Святославовой.

Тут немцы
И венецейцы,
Тут и моравцы
И греки —
Славу поют Святославову,
Осуждают, жалея,
Игоря-князя,
Что погрузил добро,
Русского злата насыпавши,
На дно половецкой
Каялы-реки.

Тут-то и пересел
Игорь-князь
Из золотого седла
В рабье седло.

7

**СОН СВЯТОСЛАВА И БЕСЕДА ЕГО
С БОЯРАМИ**

И уныли стены
Городские,
А веселье и в домах
Поникло,
Смутный сон приснился
Святославу

В городе во Киеве —
На гóрах.

«В ночь сию, с вечера
Одевали меня
(Так говорил)
Саваном черным
На кровати из тиса —
Красного дерева;
И вино мне черпали —
Синее,
С горечью смешанное;
Из тощих колчанов
Поганых толковников,
Переводчиков —
Скатный сыпали жемчуг
На лоно мое,
И всяко меня
Ублажали.

И вот доски
В тереме моем златоверхом —
Уже без князька;
И уже с вечера
На целую ночь
Сизо-бурые
Взгряли враны,
Там, на слободе,
Внизу у поречья,
И были в ущелье,
И понеслись —
К синему морю».

И промолвили
Князю бояре:

«Уже, княже,
Кручина
Ум полонила:
Это два сокола
Отлетели от злата-стола
Отцовского —
Града Тмутороканя

Себе поискать,
А либо шеломом
Дону испить.
Уже соколиные крылья
Поганскими саблями —
 Приземлили,
 Припешили,
Да и самих соколов тех
 Опутали
В путы железные.

И было тёмно
В тот третий день.
Два солнца померкли,
И оба столпа багряные погасли,
 А с ним,
С Игорем-князем,
И два молодых его месяца —
Святослав и Олег —
Тьмою заволоклись.
Так на реке на Каяле
Тьма свет покрыла.

А на Русскую Землю
Хлынули половцы,
Как леопардов охотничьих
Выводки,
И затопили,
Как морем, ее,
И буйство поганых тех
Возросло еще боле.

Уже бесчестие
Славу сменило,
Уже насела
Неволя на волю,
Уже повергся
На землю Див,
А готские девы-красавицы
Воспели на бреге
Синего моря,

Русским златом звеня;
Седую поют старину:
Славят мечь Шаруканову.

А мы-то, дружина,
По веселию мы —
Стосковались».

8

**ЗЛАТО-СЛОВО СВЯТОСЛАВА,
ПРИЗЫВЫ К ЕДИНЕНИЮ КНЯЗЕЙ**

И великий Святослав тогда
Изронил Злато-слово,
Со слезами смешанное,
И сказал:

«О мои сыновцы —
Игорь и Всеволод!
Рано вы начали
Половецкую землю
Мечами дразнить,
А себе славы искать.
Но нечестно было
Со мною соперничать,
И бесславно
Вы кровь их пролили
Поганую.

Пусть сердца ваши храбрые
Твердым булатом окованы,
А закалёны отвагою,
Да то ли, что надо,
Вы сотворили
Серебряной моей седине?

А уж не вижу я
Мощи сильного и богатого
Брата моего Ярослава
С его множеством воинов,

В Чернигове пребывающих —
С дружиной могучей,
Да и с горцами,
И с шатунами, с бродягами,
И с крикунами,
Да и с их вожаками-атаманами:
Эти-то и без щитов,
С ножами за голенищами,
Криком полки побеждают,
Звоня в прадедову славу.
А вы сказали:
Мужаемся сами,
Грядущую славу
Одни мы похитим,
А прошедшую славу
Одни мы поделим!

А что,
Уж такое ли, братия, диво:
Старому да помолодеть?
Коли сокол линяет,
Птиц высоко взбивает,
Гнезда своего он в обиду
Не даст!
Да вот оно зло:
Князи-то мне не помога...

Плачевно года обернулись:
У Римова вот —
Под саблями кричат
Половецкими,
А Владимир
Под ранами...
Кручина-госка
Сыну Глебову!

О великий князь
Всеволод!
А не мыслишь ли ты
Прилететь издалеча —
Отчий злат-стол
Побережь?..

А ведь можешь ты Волгу
Веслами всю раскропить,
Дон шеломами
Вычерпать!
Коли был бы ты там,
Так была бы у нас —
По дешевке рабыня,
А совсем за бесценок —
И раб.

Ты же можешь и посуху
Живыми стрелять
Самострелами,
Удалыми сынами
Глебовыми!

Ты, буй-Рюрик,
И ты, Давид!
Не у вас ли шелома золоченые
По крови плавали?
Не у вас ли дружина храбрая
Рыкает, как туры, израненные
Саблями булатными
На поле незнаемом?

Так вступите же, князи,
Во злат-стремень:
За обиду нашего времени —
За Землю Русскую,
За раны Игоревы —
Храброго Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь ты
На престоле своем
Златокованном,
Горы подпер Угорские
Своими полками,
В железо одетыми,
Заградив путь королю,
Затворив Дунаю ворота,
Перекидывая громады войск

Через облаки,
Суды до Дуная ряда

Грозы твои по зѣмлям текут:
Отворяешь врата Киеву,
Стреляешь
Со злата-стола ѳтчего
Султанов за зѣмлями...
Стреляй Кончака, господине,
Поганого кощея стреляй —
 За Землю Русскую,
 За раны Игоревы —
Храброго Святославича!

 А ты, буй-Роман,
 Со Мстиславом!
Мысль ваша храбрая
Влечет ум на подвиги,
И высоко ты
Соколом плаваешь
В буйной отваге своей:
На ветрах ширяясь,
Птицу в буйстве ее
Норовя одолеть.

Ибо есть у вас
Наплывы железные
Под шеломами
Латынскими,
И от воинов тех
Сама земля треснула...
И многие страны поганые —
 И Хинова
 И Литва,
 И Ятвяги,
 И Деремела,
 И Половцы —
Копия повергли свои,
А главы свои преклонили
Под мечи те булатные...

Но вот уже, княже,
Померкнул для Игоря

Солнечный свет,
А древо листву обронило
Не по доброй воле своей:
По Рóси-реке,
По Сýле-реке
Города поделили,
А Игорева храброго полку
Не воскресить.

Дон тебя, княже, кличет
И зовет князей
На победу:
Ведь одни только Ольговичи,
Храбрые князи,
Доспели на брань...

Ингвар
И Всеволод,
И все вы,
Трое Мстиславичей, —
Не плохого гнезда
Шестикрыльцы.
Не в боях вы грады поделили,
Так к чему же златы-шлемы ваши,
И щиты,
И копия из Польши?

Заградите Полю ворота
Острыми стрелами —
За Землю Русскую,
За раны Игоревы —
Храброго Святославича!»

9

ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ О КНЯЖЬИХ РАЗДОРАХ

Уже и Сýла-река не течет
Струями серебряными
К городу Переяславию;
И болотом Двина течет

К половчанам тем грозным —
Под кликом поганых!

Лишь один Изяслав,
Сын Васильков,
Острым мечом своим
Позвонил
О шеломах литовские,
Славу тем притрепав
Своему деду Всеславу,
Но и сам под багряным щитом
На кровавой траве
Мечами литовскими
Притрепан был.
И, на смертном одре возлежа,
Так говорил:

«Княже!

А дружину твою
Крылья птиц приодели!
А кровь ее
Зверь полизал!»

Ни брата его не было тут —
Брячислава,
Ни друга его —
Всеволода:

Один —

Из храброго тела
Через ожерелье златое
Жемчужную душу
Он изронил.

Голоса приуныли,
Поникло веселье,
Трубы трубят
Городенские...

О вы, Ярославичи,
И вы, внуки Всеслава!
Приспустите знамена свои,
В ножны вложите мечи
Притупившиеся,

Ибо уж выпали вы
Из дедовской славы;
Ибо своими крамолами
Начали вы наводить
Поганых
На Русскую Землю,
На достоянье Всеславова:
Из-за ваших раздоров
И было насилie
От земли Половецкой!

На седьмом веке Троянском
Метал Всеслав жребий
О девице ему любой,
И подпершись клюками,
Добравшись до кровли,
Скакнул с конька в город
И доткнулся древком копья
До злата-стола
Киевского
И потом отсель
Лютым зверем скакал;
А в полночь из Белá-града
Скрылся, окутанный
Синею мглою;
Наутро ж,
Ударив секирами,
Отворил врата
В Новегороде,
Славу —
Ярославу расшиб;
До Немиги с Дудуток
Волком скакал...

А на Немиге
Снопы стелют
Головами,
Молотят цепами
Булатными,
Жизнь на току кладут,
Веют душу от тела.
И кровавые берега
Немиги той

Не добром были посеяны:
Костями посеяны
Русских сынов!

Всеслав-князь
Людей судил,
Князьям города рядил,
А сам в ночи
Волком рыскал;
Из Киева дорыскивал
В Тмуторокань —
До петухов:
Великому Хорсу
Волком
Путь перерыскивал.
А тому Всеславу
Позвонят в Полоцке
Заутреню раннюю
У святыя Софии
В колоколы,
А он уже слышит звон
В Киеве.

Хоть и была прозорлива душа
В теле отважном,
Но часто страдал он
От бед.
И князю тому
Вещий, мудрый Боян
Впервые такую
Припевку сказал:

«Ни хитрому,
Ни гораздому,
Ни по птице гораздому
Суда божия не миновать!»

О, стонать Русской Земле,
Вспоминая начальные леты
И первых князей!

Того ли старого Владимира
Нельзя пригвоздить было
К горам киевским!

И вот стяги ныне его
Стали Рюриковыми,
А другие — Давыдовыми;
Но врозь развеваются
Их бунчуки!

10

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Не копыя поют на Дунае, —
То слышен мне глас Ярославны,
Кукушкой неузнанной рано
Кукует она:

«Полечу я кукушкой,
Говорит, по Дунаю,
Омочу рукав я бобровый
Во Каяле-реке,
Оботру я князю
Раны кровавые
На застывающем
Теле его...»

Ярославна рано плачет,
На Путивльской стене
Причитая:

«О ветер-ветрило!
К чему, господине,
Веешь насильем?
Стрелы поганские
На крылах своих мирных
На воинство милого
Гонишь — к чему?
Тебе не довольно ли было б
Высоко под облаком веять
Да на синём море
Колыхать корабли?
К чему, господине,
По ковылю ты развеял
Веселье мое?»

Ярославна рано плачет,
Во Путивле-городе,
На стене причитая:

«О Днепр ты Славутич!
Каменные горы пробил ты
Сквозь Половецкую землю,
И на себе колыхал ты
Лады Святославы
До стана Кобякова;
Прилелей на волнах, господине,
Моего ладу ко мне,
Чтобы не слала к нему я
Ранней зарею
Слезы на море».

Ярославна рано плачет,
На Путивльской стене
Причитая:

«О светлое,
Трижды светлое
Солнце!
Тепло и отраднo ты всем!
Так к чему ж, господине,
На воинство милого
Свой луч простираешь
Горячий?
В поле безводном
Жаждой им луки стянуло,
Колчаны кручиной свело...»

11

БЕГСТВО ИГОРЯ И ПОГОНЯ КОНЧАКА

Вздыбилось море в полночь;
Идут смерчи мглами;
Игорю-князю
Бог путь кажет
Из земли Половецкой

На Русскую Землю —
К отчему злату-столу.

Погасли вечерние зори.
Игорь спит —
Игорь не спит;
Игорь в мыслях своих
 Мерит поля —
От великого Дону
До мала Донца.

Конь готов к полунóчи —
Свистнул Овлур за рекой,
Князю велит разуметь:
Не быть князю Игорю
По имени кликнуту...

И задрожала земля,
Зашумела трава,
Зашатались шатры половецкие,
 А Игорь-князь
Поскакал к тростнику
Горностаем,
Белым гоголем — на воду;
Кинулся на борзá коня
И спрыгнул с него
Серым волком
И понесся к лугам Донца.
И соколом полетел
Под туманами,
Избивая гусей-лебедей
 К завтраку,
 И обеду,
 И ужину.

А как Игорь соколом полетит,
Так Овлур волком бежит,
 Отрясая собою
 Студеную росу;
Надорвали они
Борзых коней своих!

И Донец сказал:
«Игорь-князь!
Немало хвалы тебе,
А Кончаку огорчения,
А Русской Земле веселия!»

Игорь сказал:
«О Донец!
И тебе немало хвалы:
Тебе,
Что лелеял
Князя на волнах;
Стлал ему
Зелену траву
На серебряных берегах своих;
Одевал его
Теплыми туманами
Под сенью зелена древа;
Стерег его —
Гоголем на воде,
Чайками на струях,
Чернетью на ветрах.

Не такова-то, сказал,
Стугна-река:
Беспокойные струи имея,
Пожравши чужие ручьи,
И струги растирает она
По кустам;
Так и юноше-князю она —
Ростиславу —
Днепр затворила,
И на темном ее берегу
Плачется мать Ростиславова
По юноше-князе,
По Ростиславу,
И от жалости
Приуныли цветы,
И древо с кручиною
К земле приклонилось».

То не сороки застрекотали —
Едут по следу Игореву
Гза и Кончак.

И враны тогда не г̄ра̄яли,
И галки примолкли,
И сороки не стрекотали,
По веткам
Только лазили дятлы,
Криком своим
Путь к реке указуя,
А соловьи
Веселыми песнями
Свет возглашают. *

Молвит Кончаку Гза:

«Ежели сокол
Ко гнезду летит,
Так расстреляем мы
Соколича
Стрелами своими
Золочеными!»

И говорит Кончак Гзе:

«Ну, ежели сокол
Ко гнезду летит,
То мы сокольца опутаем
Красною девицей».

И говорит Кончаку Гза:

«А ежели его мы опутаем
Красною девицей,
Так не будет нам
Ни сокольца,
Ни девицы красной нам,
Да почнут еще русские соколы
На поле половецком
Нас с тобой бить!»

И повернул он коня
На другого соколича —
На Святослава...

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ «СЛАВА» УЧАСТНИКАМ
ПОХОДА: КНЯЗЬЯМ И ДРУЖИНЕ**

Молвил так Боян,
Песнотворец давнего времени,
Княжьего —
Ярославова, Олегова:

«Хоть и тяжко тебе,
Голова, без плеч,
Но и зло же телу, тебе,
 Без головы» —
Русской Земле
 Без Игоря!

Солнце светится
 На небе,
Игорь-князь —
На Русской Земле!

А девицы поют
На Дунае,
Вьются их голоса
Через море до Киева!
По Боричеву
Игорь едет
Ко святой богородице
Пирогощей:
Страны рады!
Грады веселы!

Песню пропевши
Старым князьям,
Споем и молодым:

«Слава —
Игорю Святославичу,
Буй-тур Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!

Невредимыми будьте,
Князя и дружина,
В битвах грядущих —
За христиан
С полками погаными.

Князьям — слава!
А дружине,
Полегшей в бою, —
Вечная память!»

ТУРГЕНЕВ-
ХУДОЖНИК
СЛОВА

О «Записках охотника»



«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

Из многих книг — сейчас одна:
Ее дыханию внимаю,
Она ясна, чиста до дна,
А глуби — сердцем поднимаю.

В таком же, как и наш, лесу
Бродил с ружьем он за плечами,
Просторов русских пил красу
И днем и звездными ночами.

Исполнен думою одной,
Одним желаньем, вечно юным,
Хотел он видеть край родной
Свободным, светлым, неугрюмым.

Он слышал мерный ход времен,
Судьбы народной видел сдвиги,
И сочетанием имен —
Сократ и Хорь — свергал вериги.

Какая четкость мастерства!
И мысль и солнечные блики
Блистают, как в росе листва:
Мир и простой и многоликий.

Природы трепетной черты
И глаз задумчивых сиянье:
Какое здесь и красоты
И правды верное слиянье!

ВСТУПЛЕНИЕ

Наиболее важным и насущным вопросом в области дальнейшего развития и роста художественной литературы является в настоящее время вопрос о поднятии *художественного мастерства*. При этом часто и вполне справедливо указывают на необходимость для молодых современных писателей *учиться у классиков*. Настоящая небольшая работа как раз и посвящена художественному творчеству одного из великих мастеров русской классической литературы — Ивану Сергеевичу Тургеневу, из многообразного и богатого наследства которого мы взяли пока всего лишь одну его знаменитую книгу «Записки охотника», которая вышла первым изданием уже более ста лет тому назад — в августе 1852 года.

Выбор именно этой книги объясняется тем, что высокие художественные достоинства ее неразрывно сочетаются в ней с основным устремлением, также высоким и благородным, — борьбою с ненавистным автору крепостным правом. Для нашего времени тургеневские «Записки охотника», выросшие в единую цельную книгу из отдельных небольших *рассказов очеркового типа*, особенно интересны именно этим своим жанром, где самая неприкрашенная действительность дается через тонкое восприятие художника и последующее затем творческое ее воплощение в художественной прозе. Художественное мастерство в основном определяется языком и стилем писателя, его образами и общею композицией, выражающей в гармоническом соотношении частей и целого. Это последнее требование решается чрезвычайно свое-

обычно в разных произведениях и разными авторами. На этом стоит немного остановиться.

Иногда поискам предшествует план, разрабатываемый порою до мелочей, иногда же сюжет, как говорится, «висит на кончике пера». В этом последнем случае происходит нечто подобное тому, как бывает после длительного подъема в гору: вдруг, сделав еще несколько шагов, оказываешься на высоком перевале могучего горного хребта, и перед тобою возникает внезапно целая долгожданная страна, — именно что осуществляющая желанное «соотношение частей с целым»! Все это давно, за все время работы, сопутствовало автору и томило его, и вот открывается, наконец, также «в пути», то есть в том же самом процессе работы, но на какой-то решающей его стадии. А бывает и так: работа написана, а автор снова бродит в задумчивости от сцены к сцене, от главы к главе, от одной измаранной страницы к другой, смотрит, трогает, прикидывает и, наконец, засучив рукава принимается за очередную «перепланировку», одно выкидывая, другое изменяя, дописывая, поливая обильным творческим лóтом трудовое свое поле.

На чем же правильнее было бы остановиться: что выбрать, как работать? Тут нельзя предписывать; это дело глубоко индивидуальное, и практически оно выражается в той или иной комбинации различных типов творческого труда.

Значит ли это, однако, что та или иная манера работы целиком продиктована только индивидуальными особенностями автора, от которых никуда не уйдешь, как нельзя убежать от собственной тени? Конечно, нет. Ведь и сами мы — наш характер, наши рабочие привычки, да и весь наш внутренний мир не есть нечто неизменное или развивающееся только самопроизвольно. И внутри нас существуют могучие творческие силы, которые находятся в непрерывном и активном общении с живою действительностью и могут властно направлять пути нашего развития. Умение освоить творческие приемы и других художников слова, их находки, удачи и достижения — все это также отнюдь не заказано. Мы предостерегаем лишь от простого «перенимания приемов»: надо находить и осознавать основные черты именно *своего* творческого пути, всемерно его оплодотворяя и обогащая себя опытом тех самых классиков, у которых надо «учиться».

Мы говорили о высоком мастерстве как о необходимом и даже определяющем условии высокого искусства, но в произведении, не просто превосходно *сделанном*, но истинно *созданном*, по-настоящему живом и столь же живо воздействующем на человека, его воспринимающего, совершенно необходим также и тот особый творческий подъем, который рождает ответный подъем у читателя, зрителя, слушателя. В этом именно творческом подъеме сливаются воедино идея, чувство, слово (краска у живописца, звук у музыканта), и из этого живого зерна — зародыша, составляющего настоящий кусочек самого творца, — постепенно и вырастает исполненное подлинной внутренней жизни художественное произведение. Именно при таком тесном сплетении между собою творческого горячего замысла и высокого мастерства в развернутом его воплощении, — тогда-то и возникают: и неостывающая температура мысли и чувства и неоскудевающая сила воздействия на читателя, то есть именно те драгоценные качества подлинных художественных творений, которые и создают их долгую жизнь в сменяющихся одна другую эпохах развития человечества.

Таким образом, мы видим, что творчество и мастерство не только не исключают друг друга, но, напротив того, органически одно другое восполняют. В самых высоких произведениях искусства мастерство полностью и органически включается в творчество. Потому-то мы оба эти понятия отнюдь и не противопоставляем одно другому. Больше того, отсутствие одного из них отражается на художественном произведении совершенно губительно.

Так самым искреннейшим образом задуманная вещь может оказаться не только не «созданной», но и просто «не написанной», если человек, откровенно говоря, «не умеет писать». В этом случае все внутреннее волнение такого «автора» становится подобным колыханию «мертвой зыби» пруда: она ничего не приводит в движение и сама оставаясь при этом на месте.

А с другой стороны, произведения даже и высокого мастерства — при отсутствии живого творческого огня — остаются холодными, не заражающими читателя: это произведения формалистические. Такова порою бывает даже и музыка, не говоря уже о некоторых виртуозах-исполнителях, у которых можно (и притом тоже холодно).

только «дивиться» артистической их «выучке». Зато при наличии этой неразрывности творчества и мастерства и получаются те произведения, о которых мы говорили как о созданиях, переживающих своих творцов.

Еще одно замечательное качество этих вещей состоит в том, что их обычно читают и *перечитывают*, находя каждый раз в них еще и еще нечто новое, что дает, к слову сказать, особую радость и самому читателю. Это последнее — безусловно так, ибо существует особая форма восприятия — *творческое восприятие* — читателя, зрителя, слушателя.

Чисто художественное наслаждение при чтении творений высокого таланта не только не мешает овладению тем основным, что лежит на их глубине и ради чего они и писались, не только не «мельчит темы», но, напротив того, помогает органически полному восприятию всей вещи в целом. Для значительных по-настоящему книг характерна именно эта особая сила их воздействия на читателей: бывают просто занимательные книги, а бывают книги, играющие большую роль в самой жизни читателя, становясь подлинными спутниками его бытия, воздействуя на весь его внутренний рост, на взгляды и даже на самые его поступки. Активно входя в жизнь людей, книги эти тем самым становятся уже и сами значительными явлениями жизни, содействуя развитию общества в определенном направлении, оформляя собою назревающую народную волю.

Таковую именно благородную роль и играли «Записки охотника» в современную им историческую эпоху.

Призыв «учиться у классиков» не является особенностью только нашей эпохи. Н. А. Некрасов говорил в свое время про Гоголя: «Надо желать, чтобы по стопам его шли молодые писатели в России». И он же о Пушкине: «Читайте сочинения Пушкина и поучайтесь из них... Поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину». *Любить искусство, правду и родину* — какой это поистине высокий завет!

Именно этот самый завет соблюдал в молодости и Тургенев. Произведения Пушкина и Лермонтова, а с другой стороны и Гоголя, были несомненными образцами для яркого и впечатлительного, но еще не нашедшего

подлинного своего голоса молодого таланта. Эту свою неполную самостоятельность Тургенев в ту пору ощущал и сам, и это им очень нелегко переживалось: вплоть до того, что он, по его собственным словам, «возымел твердое намерение оставить литературу». Собираясь надолго покинуть Россию, перед самым отъездом он все же успел (так счастливо это произошло) отдать в редакцию возрождавшегося «Современника» небольшой свой рассказ очеркового типа — «Хорь и Калиныч», которому в редакции дан был подзаголовок (в отделе «Смеси») — «Из записок охотника». «Успех этого очерка, — вспоминал позже Тургенев, — побудил меня написать другие, и я возвратился к литературе».

Ни автор, ни в редакции не подозревали, какая славная предстает этому произведению судьба. Тургенев выражается слишком скромно, говоря об «успехе» очерка, которому поначалу он сам не придавал особого значения. Недаром Белинский писал ему за границу: «Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч». И далее: «Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою». Что же, однако, произошло? В чем заключалась великая сила этого небольшого рассказа — сила художественная и общественная?

Для того чтобы это понять, надо помнить прежде всего, что Россия того времени была Россией крепостного права. Создавались и распускались бесконечные правительственные комиссии, ставившие своей задачей рассмотрение вопроса о крепостном праве и даже его отмене, но какова была в них работа, об этом можно судить хотя бы по тем речам, которые произносил сам царь Николай. Так, в государственном совете 30 марта 1842 года он говорил, что крепостное право, «в нынешнем положении» его, есть, конечно, зло, «но прикасаться к оному теперь было бы злом еще более губительным», что «всякий помысел о сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства» и что он сам «никогда на сие не решится».

Рядом с этим выступлением самодержца вспомним следующее место из «Литературных и житейских воспоминаний» Тургенева: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого

у меня, вероятно, недоставало настоящей выдержки, твердости характера. Мне необходимо было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить... Я, конечно, не написал бы «Записок охотника», если бы остался в России».

Как сочетать это последнее утверждение писателя с тем фактом, что «Хорь и Калиныч» был написан именно в России? Очевидно, для того чтобы только обозреть все множество различных образов, характеров и положений, непрестанно возникавших в его восприятии в связи с основной темой крепостного права, требовалось временно «отодвинуться» от изображаемого мира на известное расстояние, дабы избежать этой своеобразной «художественной тесноты» и предохранить себя от непосредственного вторжения страшной крепостнической действительности во время самого процесса созревания отдельных рассказов; это последнее отвечало своего рода требованию тишины во время писания.

Подобные же условия давали возможность и Гоголю создавать свои характернейшие синтетические типы из «Мертвых душ». Правда, при этом у него была еще и отчетливая фабульная нить, на которую как бы нанизывались отдельные персонажи, — «похождения» основного героя — Чичикова; у Тургенева же такого фабульного единства будущей книги вовсе не было, однако и у него был один герой во всех его рассказах — сам автор. Нигде и никогда не выступая на передний план, он непременно присутствует всюду, и мы как бы слышим его неторопливое дыхание, угадывая при этом многое из того, о чем нельзя было в ту эпоху сказать открыто и во весь голос.

Но первая же вещь, написанная еще «дома», будучи напечатана, сразу открыла молодому писателю глаза на самого себя и на те пути, где он мог бороться с этим своим врагом. И автор сам и друзья его поняли это по тому, как «Хорь и Калиныч» был воспринят читающей

публикой: читатели угадали в рассказе первый выстрел писателя-охотника, сделанный по этому хищному зверю — крепостному праву.

Этот случай с «Хорем и Калинычем» весьма и весьма своеобразен. Он открывает нам роль читателя далеко не с одной только «пассивной» стороны, когда этот последний лишь «покорно воспринимает» то, что создано писателем. Известны нередкие случаи читательского возмущения, когда решительно отвергались как будто имеющие все данные для «успеха»; но по сути дела порочные произведения искусства. Здесь же мы имеем дело со случаем в своем роде исключительным: читатель журнала вытаскивает из «смеси» небольшой рассказ-очерк, ставит его в центре внимания и поднимает на высоту большого литературно-общественного события. В результате этого выходит, что автор теперь прочел собственный рассказ существенно по-новому, ибо то, что не было полностью ясно ни для Тургенева-писателя, ни для редакции «Современника», а именно общественно-актуальная сторона его рассказа, стало отчетливо ясно для Тургенева-читателя: читателя своего же рассказа.

Вспомним еще раз эту благородную формулу: «Любить искусство, правду и родину». Тургенев, несомненно, всегда любил не только искусство, но и правду, и родину, и, однакож, искусство любил он с молодых ногтей как-то по-особому. И вот в это его несколько отрешенное понимание *искусства* вступили и заговорили самым полным голосом, также в нем пребывавшие, но не находившие доселе своего прямого открытого бытия, и эти великие силы — равно и творчества и самой жизни: *правда действительности* и *любовь к родине*. Нашедший себя крупный талант как бы впервые прочно стал на родную землю и окинул жизнь ее внимательным, пристальным взором любящего сына-художника. Услышав ответный читательский голос, он понял и сам, наконец, всю силу своего дарования и подлинное свое призвание художника-патриота.

Но если передовые круги тогдашнего русского общества встретили с исключительным одобрением не только этот, а и другие, последовавшие за ним рассказы из «Записок охотника», то вполне понятно, что насторожилось не одно лишь цензурное ведомство, запретившее,

например, появление в журнале рассказа «Два помещика», но и другие инстанции — повыше. Об этом с полной ясностью говорит сам Тургенев в малоизвестной своей автобиографии, где он пишет следующее о своих «литературных занятиях», помяная себя в третьем лице: «Незначительный перерыв в этих занятиях произошел лишь в 1852 году, когда по поводу напечатания его статьи о кончине Гоголя, или, говоря точнее, вследствие появления отдельного издания «Записок охотника», И. С. был посажен на месяц в полицейский дом и потом отправлен на жительство в деревню, из которой он возвратился только в 1854 году».

Как сам автор относился к «Запискам охотника», об этом достаточно выразительно говорит хотя бы такая краткая запись из «Дневника Гонкуров», передающая слова Тургенева: «Если бы я обладал такого рода гордостью, я пожелал бы, чтобы на моей могиле написали только о том, что книга моя содействовала освобождению крестьян».

Долгое время по отношению к «Запискам охотника» существовало мнение, что на Тургеневе отразилось влияние деревенских повестей Ауэрбаха и Жорж Санд. Предположения эти, несомненно, не верны. Общее только одно: и там и здесь герои — крестьяне.

Что касается Ауэрбаха, то вот несколько строк из статьи без подписи, помещенной в отделе «Смесь» в журнале «Отечественные записки» 1846 года: «Читать эти «сельские повести» с тем, чтобы погружаться в сельскую жизнь, значит то же, что жить в деревне гостем у какого-нибудь хлебосольного барина: дом богатый, парк преогромный, живешь себе в комнатах, прекрасно меблированных, катаешься в хорошем экипаже, играешь на фортепьяно, окружен новыми романами и т. д., но вот в воскресенье собираются девки перед барским домом, начинаются хороводы, поют слепые певцы, играют мужики... А вы потом скажете: «Мы жили в народе, с народом!» Кто же может противоречить?.. Таковы с некоторой стороны и повести Ауэрбаха. Кажется, жизнь совершенно деревенская; действующие лица — крестьяне; говорят они по-крестьянски, — а все-таки мы с автором живем вне понятий и вседневной жизни крестьян».

Кажется, трудно найти что-либо еще более *противоположное* тургеневскому показу деревни и крепостного крестьянства, чем то, что содержится в приведенной нами цитате, характеризующей творчество Ауэрбаха, да и сам Тургенев, касаясь художественной манеры немецких писателей, говорит об их «проклятой идеализации действительности». О каком же влиянии этой «проклятой» манеры на него самого можно после этого говорить?

Деревенские повести Жорж Санд, появившиеся в печати в 1846—1848 годах, носили в себе черты, несомненно, гораздо более близкие и симпатичные Тургеневу. В них была настоящая любовь к своим деревенским героям, у которых писательница находила и поэтическое восприятие действительности, питаемое в первую очередь природой. «Ведь крестьянин, самый простой и самый наивный, — все-таки художник», — писала Жорж Санд. Это восприятие поэтической стихии в крестьянстве было родственно и Тургеневу, но, конечно, оно было у него собственным, органическим восприятием, да и вообще подобные вещи писателями друг у друга не заимствуются. Зато общий тон в подаче деревенской действительности у французской писательницы в значительной мере идиллический и скорее *противоположен*, чем близок тону Тургенева, вскрывавшего очень остро не «кротость, доверие, дружбу», а саму суровую и исполненную противоречий жизнь. Впрочем, прочтя «Живые мощи», Жорж Санд сама назвала Тургенева своим учителем. Ее деревенские повести были напечатаны раньше «Записок охотника», и теперь она именовала русского писателя «учителем» своим, очевидно потому, что в его «Записках охотника» как бы намечала какую-то новую творческую дорогу и для себя.

Тургенев вообще был весьма высоко ценим зарубежными писателями. Своим учителем его называли также и Флобер и Мопассан. Это — французы, а вот в исследовании о Шекспире английский критик Франк Гаррис утверждает, что и сам Шекспир «не мог бы изобразить таких людей, как тургеневские Базаров и Марианна». На другого же англичанина, известного романиста Голсуорси совершенно исключительное впечатление произвел рассказ Тургенева «Муму», где темой, как и в «Записках охотника» были ужасы крепостного права: злодейская

расправа крепостницы-барыни с ее крепостным Герасимом, к тому же немым. Голсуорси писал: «Никогда не было в области искусства более потрясающего протеста против жестокой тирании».

Возвращаясь к началу работы Тургенева над «Записками охотника», необходимо вспомнить о том, что «Хорю и Калинычу» предшествовали и русские деревенские рассказы Даля и повести Григоровича. Рассказы Даля, невзирая на то, что самому Тургеневу они очень нравились, не могут все же считаться предшественниками «Записок охотника»: в них совершенно не ставился вопрос о бесправном положении крепостного крестьянства. Развернуто эта большая тема русской жизни была поставлена в «Деревне» и «Антоне-горемыке» Григоровича, но она не прозвучала там с тою пронзительной силой, которая сделала книгу Тургенева столь активным оружием в борьбе против крепостного права.

Творчество Тургенева во вторую половину его жизни выразилось главным образом в создании романов, рисующих быстро изменяющуюся действительность, и с героями из интеллигентской и дворянской среды. Но время от времени Тургенев возвращался и к своим «Запискам охотника», пополняя их новыми очерками, а вся эта книга жила особою жизнью, ничуть не теряя своего подлинного очарования. Чтобы оправдать это последнее выражение, достаточно, пожалуй, привести несколько строк И. А. Гончарова о том, как он на Дальнем Востоке зачитался «Записками охотника»: «Как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля и... прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я, — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг так и ходят около».

Покойный исследователь литературы Н. Л. Бродский в своей последней работе «И. С. Тургенев» правильно ставит вопрос о влиянии русского классика на писателей русских и зарубежных: «Еще не написан труд о том, чем были ему обязаны большие и малые деятели литератур разных народов, но труд этот был бы многостраничным, монументальным по материалу».

Но, конечно, и эта книга, будучи написана, не могла бы раз и навсегда исчерпать своей темы по той простой причине, что интерес к творчеству Тургенева и его худо-

жественное влияние на писателей продолжалось бы и после этого исследования.

«Записки охотника» имеют свою благородную судьбу: написанные на материале им современном, они далеко пережили свою эпоху, и пристальное внимание к ним — отнюдь не только историческое внимание. Они и до сей поры непосредственно трогают и увлекают самые широкие круги читателей — и поэтическими картинами родной природы, и волнующими нас образами и судьбами русских людей, и самым языком своим: бессмертным, живым дыханием родины.

Судьба самой этой книги является, таким образом, весьма поучительной, и каждый серьезный писатель должен стремиться не только к тому, чтобы книги его были нужны и полезны для текущего дня, но и к тому, чтобы обеспечить им жизнь и в потомстве. Особенность действительно хороших книг — их долголетие, чем единственно достигается и подлинное долголетие самого художника-автора.

В настоящей небольшой работе мы хотим показать И. С. Тургенева как художника слова и осветить хотя бы некоторые главные приемы, посредством которых писатель достигал своих исключительных результатов. Тургенев был верен действительности, и тем более поэтому интересно и важно попытаться разгадать те особенности его художественной манеры, которые позволяли «прозу действительности» превращать в создание высокого поэтического и творчества и мастерства.

Как осуществить это наше задание? Можно было бы, конечно, шаг за шагом следовать за автором и каждый из отдельных рассказов подвергать кропотливому исследованию. Это задача чрезвычайно заманчивая. Но тогда, разумеется, вышла бы целая книга, едва ли не более обширная, чем само произведение, которому она была бы посвящена. Мы же в настоящей работе ограничимся лишь отдельными яркими примерами той или иной стороны тургеневского творчества. Быть может, в данном случае так даже лучше, ибо это оставляет свободу читателю «Записок охотника» самому заняться своеобразной «охотой»: «розысками» тургеневских художественных богатств.

Определив таким образом самый характер нашей задачи, мы полагаем разрешить ее так: подвергнув более полному анализу первый рассказ книги, определяющий собою основное ее содержание, сопоставить Хоря и Калиныча с наиболее выразительными образами крестьян еще из трех других очерков, а затем уже пройти по всей книге, выделяя фигуры крестьян и помещиков, образы мужские и женские, детские. Наряду с этим нельзя не показать, как живо и глубоко Тургенев и воспринимает и передает мир животных, растительный мир, всю природу, и рисует все это отнюдь не в отрыве от повествования, а в самой тесной связи с ним: и психологической и творчески художественной.

Особое внимание необходимо также уделить самому языку Тургенева. Автор «Записок охотника» одарен необычайным, можно сказать — проникновенным ощущением родного языка, в том числе и крестьянского народного говора, что позволяет ему точно чувствовать значение любого характерного словечка или какого-либо народного выражения, а кроме того, он полностью владеет самым строем языка как в отдельных фразах и выражениях, так и в их чередовании.

И, наконец, последним у нас, также одним из самых важных вопросов тургеневской поэтики, является вопрос о том, как из отдельных написанных в прозе небольших рассказов создалась в целом единая художественная вещь — вторая в нашей литературе гениальная поэма в прозе. У Гоголя заглавие его поэмы указывает на отдельное лицо, которое связывает воедино цепь различных эпизодов: «*Похождение Чичикова, или Мертвые души*», но и у Тургенева, как мы уже указывали, есть этот один связующий герой, и писатель мог бы озаглавить свою поэму: «*Записки охотника, или Живые души*». И какой соответствующий действительности смысл открывался бы в самом сопоставлении этих двух заглавий: *Мертвые души* — вырождающееся и отживающее свой век дворянство, а здесь, именно что *Живые души* — впервые так богато показанный художником-мастером мир трудящихся, перед которыми, вопреки весьма сложной, а порою и подлинно жуткой обстановке их бытия, — еще далекое, но принадлежащее именно им будущее.

«ХОРЬ И КАЛИНЫЧ»

Знал Тургенев или не знал, что на гербе города Жиздры Калужской губернии изображены несколько связок дров? Об этом нам ничего не известно, но так же, как и автор этого рисунка, молодой писатель сразу схватил самое существенное в жизни этого края, куда он попал на охоту и где «засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст».

Все мы помним, что «Хорь и Калиныч» начинается сравнением людей и природы Орловской (восточной ее части) и Калужской губерний. Орловские крестьяне — подлинная беднота, и Тургенев, как бы уступая цензуре, берет более зажиточных калужских крестьян. Но при этом писатель-художник, еще до появления своих героев, давших название рассказу, позволяет нам ощутить и все очарование самих этих калужских лесов: там «не перевелась еще, — пишет он, — благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку».

В наблюдениях и размышлениях наших о художественном мастерстве Тургенева мы не будем расчленять тот или иной рассказ по какому-либо нашему плану, а будем следовать непосредственно за рассказчиком. А потому и здесь остановимся прежде всего на выписанных нами выше тургеневских строках.

Как будто простое перечисление дичи, но художник сжато и точно, *выбирая основное определяющее качество*, дает самый характер каждой отдельной птицы. Иногда произносят или пишут, чтобы извинить предстоящую краткость изложения: «Итак, говоря в двух словах, — это, дескать, то-то и то-то», а за этим частенько не следует никакого «итак», но зато уж никак не «два слова», а один за другим целые заряды словесной дробы, которые и ложатся-то отнюдь не у цели, а всё «вокруг да около». А как здесь у Тургенева? У него даже не *два* слова определяющие, а всего каждый раз лишь *одно*: «благородная», «добродушный», «хлопотунья». Это уже никак не дробь: каждое из этих определений всего только

одна, но настоящая маленькая пулька, выпущенная метким стрелком-художником и безошибочно попадающая точно в намеченную цель.

Что же дает Тургенев в кратких этих своих определениях? Он совсем не касается внешнего вида той или иной птицы, полагая, конечно, что читатель знает это и сам, но зато уверенно называет какую-либо основную черту в самом характере каждой из них. Он говорит о них, как о добрых давних знакомых, которых и чувствует и понимает отлично.

Приглядимся еще и к концу фразы: это уже не просто характеристика птицы, здесь она дана в действии, когда среди своих мирных хлопот, внезапно испугавшаяся, взлетает порывисто и тем «веселит и пугает стрелка и собаку». Заключительные слова — об охотнике и собаке — это уже сложная совместная их реакция («веселит и пугает») на неожиданный взлет куропатки. И особенно любопытно, что это именно *общая* их реакция. Этой очаровательной, ничуть не подчеркнутой художественной конкретностью Тургенев, от себя ничего не говоря, дает ощутить полную близость между охотником и его четвероногим другом: на охоте *цель их — едина*.

Мы узнаем и далее, что в горнице Хоря не водилось ни «резвых прусаков», ни «задумчивых тараканов»; при этом и глаголы, к ним относящиеся, точно так же соответствуют данному автором, в форме прилагательных, определению насекомых: о *резвых* прусаках сказано, что они *не скитались*, а о *задумчивых* тараканах, что те *не прятались*. Это опять говорит о точности и лаконизме, равно как и в более сложном выражении, употребленном несколько дальше, про «принужденно улыбающуюся собаку», которую, явно против ее воли, положили на дно телеги. Здесь опять мы видим, как Тургенев придает своему верному спутнику по охоте черты уже подлинно человеческие: *принужденную* улыбку. И, конечно, именно благодаря одному этому слову мы видим всю сценку так, как если бы она происходила непосредственно перед нашими глазами.

Мы остановились с известной подробностью на этом тургеневском «художественном лаконизме» отнюдь не затем, чтобы в дальнейшем множить более или менее близкие приведенным примеры, а затем, чтобы установить, как *такой* лаконизм не только не ведет к сухости

или ущербу образу, а, напротив того, создает свежее и «легкое», как бы омытое чистым лесным воздухом его восприятие, точное по форме и неожиданно углубленное по содержанию. Подобного рода радость сопутствует человеку всегда, когда неожиданно находит он больше, чем предполагал. Было бы очень хорошо, если бы приведенными примерами мы дали читателю нечто вроде ключика и к другим подобным местам тургеневского текста.

Хочется добавить еще, что сама по себе тема о лаконизме в русской художественной литературе — глубоко интересная и важная тема, заслуживающая особой внимательной разработки. Если говорить об истоках этой сжатой и полновесной манеры художественного творчества, то, конечно, мы, русские, в первую очередь должны назвать «Слово о полку Игореве»: как поразительно много заключает в себе эта весьма коротенькая по объему вещь! В классической же прозе XIX века основные образцы художественного лаконизма — пушкинские «Повести Белкина», тургеневские «Записки охотника» и чеховские рассказы. Само сопоставление этих трех имен — Пушкина, Тургенева и Чехова — обещает, что подобная работа была бы не только важной и нужной в области литературоведения, но одновременно и весьма увлекательной для самого широкого круга читателей.

Как чудесно Тургенев дает пейзаж, это мы покажем в дальнейшем — в каких-либо других местах «Записок охотника», ибо здесь, в этом начальном рассказе, главенствуют прежде всего две человеческие фигуры, давшие ему свое название. Что в буквальном смысле слова *поразило* в этом рассказе первых его читателей? Да, конечно, именно эти превосходно данные образы «мужиков». Правда, этим основным фигурам рассказа предшествует «барин» — «мелкий помещик» Полутыкин, но и роль его, и фигура, и социальное его бытие сознательно показаны столь мизерными, что он служит лишь фоном, на котором тем рельефнее выделяются подвластные ему крепостные.

Тургенев рассказывает, едва скрывая улыбку, о бесчисленных и непрестанно терпевших неудачу сватовствах Полутыкина и о смешных его кулинарных причудах.

Полутыкин еще, между прочим, и *заикался*. Это словечко брошено автором как бы совсем между прочим, внешне этого «заикания» Тургенев даже и не передает, но читатель-то чувствует, сознательно или подсознательно, что этот характерный, видимо, «мелкий помещик» именно заикался, запинаясь, спотыкаясь не только в речи, но и в жизни. Самая фамилия его возвещает ущербную половинчатость его бытия.

В самом деле, чем он гордится, этот «делец», как великой своею удачей? «В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Автор считает даже излишним добавить, как на самом-то деле его «объегорил», конечно, купец Аллилуев, представитель входящего в силу нового класса. Что это было именно так, это Тургенев дает понять из подробного рассказа о том, как торговые люди надувают не одних только помещиков, подобных Полутыкину, но и крестьян, продавая им в долг косы и скупая у баб всякое тряпье, а между тем и такую настоящую ценность, как пеньку. Только Хорь, рассказывавший автору об этой мелкой торговле, видел, конечно, и понимал все эти плутовства, в то время как Полутыкин наивно думал о «выгодной» сделке с купцом. И хотя и в том и в другом случае торговый люд одинаково добивался своего, правильно оценивал это умница Хорь, а отнюдь не Полутыкин.

Так этот образ недалекого помещика, отодвигаемый к тому же автором на второй план, тем рельефнее дает ощутить восходящую социальную силу в образе Хоря. Про его барина только и сказано «положительного», что он был «страстным охотником и, следовательно, отличным человеком». «Обронено» как будто бы «доброе слово», а на самом деле это как бы утверждающее выражение «следовательно» с полной ясностью подчеркивает совершенно иное: что, *кроме* этой охотничьей страсти, *ничего* в нем «отличного» не отыскать. Это весьма любопытный прием: как, похвалив человека за мелочь, можно тем самым опорочить его во всем остальном.

Откуда же, однако, возник этот прием и почему автору он понадобился? Да разве можно было рядом давать положительные фигуры крестьян и *откровенно* отрицательную фигуру помещика, да еще *подчеркивая* это! Ни политическая обстановка того времени, ни попросту цензура этого не пропустили бы, рассказ был бы зачерк-

нут сверху и донизу. Тургенев как будто ничего особенного о Полутыкине и не говорит, но уже это одно делает фигуру его определенно второстепенной: а вот даже взял и похвалил — и тем самым всю его «значимость» в сущности именно зачеркнул сверху и донизу, а рассказ... а рассказ вышел в свет!

Своего Хоря Тургенев показывает не сразу. Мы видим сначала его одинокую усадьбу на поляне в лесу, однако же это — несколько сосновых срубов, соединенных заборами. Та же прочность, и простота, и своего рода «широкий масштаб» и внутри, в избе Хоря, и в самом обиходе его дома, в прямом «достатке» семьи: «Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске». Все хорошо, и всего много: квас — *хороший*, кружка с квасом — *большая*, ломоть пшеничного хлеба — *огромный*, огурцов — *целая дюжина!*

А дети Хоря — «всё хорьки», «человек шесть молодых великанов», да и эти «еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город»; добавим от себя: и имена-то какие — старорусские, прочные — Сидор, Потап! Во всем этом чувствуется крепость, уверенность нарастающих сил того молодого дубняка, который поднимается вокруг старого ствола — самого Хоря. Один из сыновей позволил себе «выходку» даже против самого барина, предупредив кучера, который должен был везти Полутыкина: «...на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское череве обеспокоишь!»

И вот непосредственно после этой атмосферы, окружающей растущего в ней крепыша-крестьянина, главы многочисленной семьи, мы знакомимся с другим существом совершенно иного склада, олицетворяющим другую сторону русского человека — поэтическую: его нежную любовь к природе, его почти слияние с нею. И сам автор с нескрываемой любовью рисует этого худого, высокого роста человека «с небольшой загнутой назад головкой». «Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда», — пишет Тургенев, достаточно скупой в «Записках охотника» на выражение собственных чувств. Но вот и мы следом за автором черту за чертой начинаем воспринимать весь «легкий» очерк этого человека, которого и зовут-то так

поэтически, что как бы сам собою возникает в нас образ: зеленый кустарник с веселыми красными ягодами.

Калиныч всегда сопутствовал своему барину на охоте — «носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог». И даже сам говорил о нем: «добрый мужик», «усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, иначе, содержать не может: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, — посудите сами». «Я с ним согласился», — кратко, но выразительно добавляет Тургенев, предоставляя дальнейшее развитие естественно возникающих мыслей самому читателю.

Но вот автор рисует Калиныча самого по себе, без отношения к своему барину, за которым, впрочем, тот «наблюдал, как за ребенком»... Тургенев специально отмечает, что Калиныч и ему самому услуживал «без раболепства». Охотник-художник внимательно вглядывался в этого полюбившегося ему человека и немногими, но характерными чертами запоминал его для себя: «Калиныч был самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светлоголубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой».

Это все на охоте, в лесу, а сейчас он у себя, «дома», в своей избушке, увешанной «пучками сухих душистых трав»; здесь он — хозяин, и принимает гостей, угощая их свежесрезанным на собственной пасеке медом. «Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев».

Вряд ли Тургенев сознательно противопоставлял закуску в избе Хоря этому неприятзательному угощению в избушке Калиныча, но параллель эта получилась сама собою. Да иначе и не могло получиться, ибо и в том, и в другом случае он писал одну жизненную правду, как она есть, а недремлющая интуиция художника знает сама, что именно из этой правды ей взять, и вот получилось: там — проза, а здесь — поэзия, там — квас и хлеб, а здесь — мед.

Тургенев проснулся от легкого порыва налетевшего ветерка. «Я открыл глаза, — пишет он, — и увидел Калиныча: он сидел на пороге полуоткрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо». Тут замечательно все — в этих двух коротеньких фразах. Здесь Тургенев, только что сам открывший глаза, одновременно как бы открыл их и нам, его читателям, и это мы сами увидели Калиныча: тот, оказывается, и не вздумал прилечь, он опять уже за работой, и эта полуоткрытая дверь — опять на свежий воздух, в родимый лес! А что за работа? — «Ножом вырезывал ложку». Но ведь это уже — искусство: *вырезать из дерева*.

Автор рассказа чувствует это и понимает, и он не хочет спугнуть своего простеца-художника. Он долго и молча любуется его лицом, а лицо человека, когда он сам наедине с собой и никто не глядит на него — только тогда и бывает это лицо предельно правдиво; оно никак не реагирует на возможность чьего-либо постороннего взгляда, оно целиком — само по себе. Так именно Тургенев и увидел Калиныча во всей его простоте и чистоте — увидел лицо его «кротким и ясным, как вечернее небо».

Определение это, по такой же именно ясности и по спокойному его благородству удивительно родственное манере художников эпохи Возрождения, в то же время параллельно и мастерству самого Калиныча: как тот в простоте душевной *неспешно* (этого слова в тексте нет, но оно необходимо подразумевается) вырезывал свою ложку из свежего дерева, так и у Тургенева происходило нечто подобное, когда он *долго* любовался лицом Калиныча. Так и у него, художника слова, очевидно так же неспешно, возникал этот изумительный по глубокой своей проникновенности портрет деревенского художника-мастера. Как тот *из куска дерева* «вырезывал» свою ложку, так и Тургенев из живой реальности этого «*лесного края*» по-своему «вырезал» в немногих словах, и тоже с предельною простотой, образ самого Калиныча. Это теплое ощущение какого-то невольного возникшего чувства «поэтической дружбы» отразилось, как мы видели, даже на самом стиле писателя-художника, в чем сам он вряд ли даже отдавал себе полный отчет.

Кому приходилось видеть подобные деревенские изделия из дерева, тот знает, какую иногда высокую сте-

пень искусства они являют собою. Такова, например, удивительная по разнообразию резьба оконных наличников или карнизов. Но и предметы домашнего пользования, как, например, шкатулки, трости или такие вот деревянные ложки, украшенные рыбками, цветами или просто резным узором, — все они подчас носят также следы настоящего искусства.

Эти три слова о том, что Калиныч «ножом вырезывал ложку», открывают нам характер его с совершенно особой стороны. Мы видели его в лесу на охоте — подвижного, веселого и беззаботного, что-то «попевающего»; у него масса забот, только успевай делай то то, то другое... Теперь Калиныч сидит, он тих и безмолвен, и забота у него сейчас только одна: вот это «вырезывание», в которое целиком он ушел. Так Тургенев *на фоне* одного Калиныча, где он с людьми, дает другого Калиныча, где он наедине сам с собой и где он весь занят собственным делом, целиком уходя в тихую и сосредоточенную любимую свою работу.

Особый прием художника — рисовать то, что он рисует, на фоне чего-то ранее данного — свойственен, конечно, не одному Тургеневу, но у него эта манера обычно никак не подчеркивается, а применяется с тою мягкой простотой и естественностью, какие в подобных случаях свойственны только ему одному. Это мы только что видели: лицо у Калиныча кротко и ясно, *как вечернее небо*. Эту манеру художника можно назвать *тургеньевскою светотенью*. Именно она, эта манера, делает неповторимыми его пейзажи, полные воздуха, движения, звуков и одновременно спокойной глубины уходящего к горизонту пространства.

Но этот же прием открывает нам у Тургенева и людей, как на фоне других, так в данном случае — что особенно любопытно — и «на фоне самого себя»: один Калиныч на фоне другого Калиныча. А прямое сопоставление — одного героя повествования и другого героя — будет сделано вскоре в этом рассказе уже совершенно открыто: Хорь и Калиныч.

Говоря об этой сцене в сарае, где Калиныч вырезывал свою ложку, очень любопытно остановиться на языке Тургенева — и понимавшего народный язык и владев-

шего им, можно сказать, в совершенстве. Мы говорим сейчас о двух близких друг другу по своему значению глаголах; они и в тексте рассказа расположены почти рядом. Это глаголы «вы́резать» и «вырёзывать»: вот Калиныч «надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот»; и он же, некоторое время спустя, как мы уже видели, «ножом вырезывал ложку».

Стоит только поставить в поле нашего внимания оба эти глагола, как мы сразу же почувствуем чисто грамматическое (а следовательно, и смысловое) между ними различие: «вы́резать» — совершенный вид глагола, «вырёзывать» — несовершенный. Соответственно в результате одного действия мы имеем определенный «поступок», короткий, несложный, решительный, — отогнать дымом пчел и ножом вырезать сот; совсем иного рода «действие» совершал тот же Калиныч, когда не спеша вырёзывал свою ложку. Казалось бы, и инструмент в обоих случаях один и тот же — нож, а какое все другое! Это и не коротко и не так-то просто, а ежели бы начать действовать грубо («решительно»), то можно все и испортить.

Но вдруг мы задумываемся. Все это так, и все это верно, но *все ли это*, нет ли здесь чего-то еще, не сразу открывающегося? Еще раз сами себе повторим, что один глагол — это глагол совершенного вида, а другой — вида несовершенного. И конечно, когда Калиныч кончит «вырёзывать» свою ложку, то придется сказать, что он ее также «вы́резал». Но, однакоже, разве сот ходил он «вырёзывать»? Это что-то сложновато для сота, в этом случае надо сказать по-другому, гораздо проще: не «вырёзывать» его ходил Калиныч, а «вырезáть»; именно что короче, прямее: ходил вырезáть и вы́резал.

Итак, теперь мы видим, что глагол «вы́резать» является совершенным видом для *двух глаголов*, но следует ли из этого, что и сами эти два глагола — «вырезáть» и «вырёзывать» — значат одно и то же и можно их употреблять один вместо другого? Живое ощущение языка нам говорит: никоим образом! Я проверил это на нескольких русских людях из разных областей нашей родины, и все они с живостью строили различные фразы, где столь же рельефно, как и в данном случае, вырисовывались существенные различия между

обоими глаголами. Полагаю, что читатели и сами почувствуют это.

В основном это различие сводится к тому, что «вырезают» обычно что-то из чего-то — ради того, чтобы получить именно некую вырезанную отдельность (сот из улья); когда же речь идет о «вырезывании», то нас обычно мало интересует то, что при этом отрезается и откидывается прочь, как в данном случае стружки, нас интересует то, что получается как художественный результат вырезывания — в данном случае рельефный рисунок на ложке.

На это различие по существу отзывается и самая конструкция глаголов: простецкое деловое задание «вырезать» заменяется длительным, осторожным и вдумчивым «вырезывать»; так самый этот глагол в его сложном и тонком *смысловом значении* принимает и соответственную *форму*. Сравним: «вы-ре-зать» — три слога и «повелительное» ударение на конце; рядом: «вы-ре-зы-вать» — четыре слога и ударение («спокойное») в первой половине слова, при сохранении коренного ударения основоположного глагола «резать». Эта удлинненность самого глагола явственно говорит о большей длительности действия и о большей конструктивной его сложности, а отсутствие ударения на конце как бы остерегает: не торопись, осторожней, это не дрова рубить, то, что ты собираешься делать или даже делаешь, это, друг мой, *уже искусство*. Но самим Калинычам незачем об этом и говорить. Они сами знают и *чувствуют* это: ведь они не только знают, как художественно вырезывать ложку, но и слово-то это сами создали и вложили в него все то, что в нем понял и ощутил великий русский художник слова Иван Сергеевич Тургенев.

Здесь бы и кончить дружеский с нашим читателем разговор об этих двух русских глаголах: «вырезать» и «вырезывать», если бы мы не нашли нечто иное в широко распространенном «Толковом словаре русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова. Там к совершенному виду «вырезать» правильно указаны два несовершенных вида: «вырезать» и «вырезывать», но против последнего глагола «вырезывать» в пояснении говорится: «То же, что «вырезать». Таким образом, словарь Ушакова, большой и по-настоящему солидный труд, в данном случае не замечает *никакой разницы там, где художник*

слова не только видит эту разницу, но и непосредственно ее чувствует, произвольно оттеняя один глагол другим и давая самостоятельное значение их в соответствующей этому значению форме.

Очень характерно, что этот своеобразнейший «глагольный случай» мы находим на страницах писателя-орловца, уроженца тех мест, которые поистине были колыбелью великого русского языка.

После Калиныча — Хорь. Но два эти образа разделены между собою коротеньким отступлением — всего из двух фраз. Здесь автор, сначала пояснив, почему Полутыкин покидает его и уезжает сам в город, как бы совсем нечаянно, что называется «на ходу», роняет и последнюю фразу, которая, подобно краткой зарнице, всего, может быть, на несколько секунд, но с предельною ясностью освещает скрытый доселе за границами рассказа помещичий мир. Вот что будет, оказывается, в городе предметом судебного разбирательства между Полутыкиным и соседом его Пичуковым: «Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу». И больше об этом ни звука. И ни малейшего оттенка авторского осуждения жестокому самодуру, можно подумать, что это как будто рассчитано даже на легкую полуулыбку: на запаханной у соседа-помещика земле высесть *его же бабу!* Во всяком случае все это сказано так, чтобы при первом ознакомлении с рассказом конец этой фразы (всего одна строка!) не слишком обратил на себя внимание цензора. И в самом деле — ведь сейчас появляется уже сам Хорь, и глаз, забегаая вперед, видит почему-то имя знаменитого древнего грека Сократа: стоит ли при этакой предстоящей неожиданности обращать внимание на какие-то мелкие судебно-провинциальные дразги!

А между тем это крохотное семечко, брошенное «в борозду» между Калинычем и Хорем, хотя и не сразу, неизбежно должно было прорасти, и прорастало — в сознании и чувстве читателей. И действительно, краткая фраза эта говорит нам о многом.

Конечно, она была прежде всего современна, так едко характеризуя собою еще одного из помещиков, соседа Полутыкина — Пичукова. Мы видим в этой фразе яркое

проявление дикого самоуправства, сопряженного с жестокостью крепостника, которая носит здесь даже особо извращенный характер: чужая земля — моя; *чужая баба зашла на мою землю*; как она посмела? Высечь ее! Еще и еще раз нельзя не обратить внимания на то, как мастерски дана эта развернутая характеристика одного из самодуров-хищников той поры, жадного в равной мере и до земли и до крови, — характеристика, состоящая всего-навсего из нескольких скупых слов во фразе, сжатой до предела. А то, что она могла быть сказана как бы совсем между прочим, говорит нам еще и о том, что в подобных вещах тогда не было ничего чрезмерно исключительного, это был «обыденный случай», каких тысячи, и особо подчеркивать его как бы не было и надобности!

Однако и тогдашнему читателю, хорошо, конечно, знавшему Гоголя, эта захватнически запаханная земля и предстоящее из-за нее судбище должны были напомнить не столько гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, также соседей, но поссорившихся из-за сущего пустяка и судившихся без конца, сколько другого гоголевского героя: из «Мертвых душ» — Ноздрева. Вот он беседует с Чичиковым: «Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля». И далее: «Вот граница! — сказал Ноздрев. — *Все, что ни видишь по эту сторону, — все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синееет, и все, что за лесом, все мое*». Ноздрев густо врал, но он страстно желал бы захватить всю эту землю себе. И вот то, что он выражал на словах, Пичуков осуществлял уже на деле, в этой своей «земельной жадности», несомненно не уступая нисколько Ноздреву.

Все это так, но можно проследить и еще более глубокие корни подобного «вдохновенного собственничества». Мы нарочно подчеркнули в цитате из Гоголя те отдельные выражения, какие неизбежно заставляют припомнить одно «параллельное место» из «Слова о полку Игореве». Как там рисуется «усобица» между князьями? «Рекоста бо брат брату: *се мое, а то мое же*». Да ведь это последнее, подчеркнутое нами выражение почти слово в слово, как и у Гоголя. Вот как, оказывается, глубоко уходят

исторические корни у этой прорастающей коротенькой тургеневской фразы! ¹

Но независимо от того, думал или не думал сам Тургенев о чем-либо подобном — о Ноздре или о «Слове», он точно отметил в своем замечании о предстоящем суде между двумя соседями-помещиками эту продолжающуюся своего рода «усобицу» мелких удельных князьков, которые то и дело захватывают «земельку» по соседству, ежели она, что называется, плохо лежит. Вот как, и распылившись, живуча, казалось бы давно и целиком ушедшая в историю, «удельная» Русь!

Мы никак не хотим сказать, что Гоголь в своем Ноздре сознательно «подражал» «Слову о полку Игореве» или что в ту пору, когда создавались «Записки охотника», все это воспринималось с тою исторической ясностью, с какою это видно в нашу эпоху. Ни сам Тургенев и ни его читатели, вернее всего, не вкладывали в эту фразу всего того, о чем мы только что говорили. Но, во-первых, мы сами заинтересованы в углубленном чтении и восприятии наших классиков, а во-вторых, читательское восприятие — это область, весьма еще мало изученная, и во всяком случае дело здесь не ограничивается одним только тем, в чем читатель сразу может сам себе отдать полный и ясный отчет. Воздействие художественной литературы проникает значительно глубже, чем это обычно кажется, и проявляет себя, через ряд посредствующих звеньев, порою весьма широко и разнообразно. Но это уже особая, по-своему также весьма важная тема.

Хорь. Первое впечатление от этой фигуры было, мало сказать — неожиданное, но, вероятно, почти ошеломляющее. «Склад его лица напоминал Сократа»: ни много ни мало одного из величайших философов Эллады! В следующей фразе мы отдельные слова подчеркнем: «Хорь *присел на скамью и, преспокойно поглаживая* свою курчавую бороду, *вступил со мною* в разговор. Он, казалось, чувствовал свое *достоинство*, гово-

¹ А что касается собственно Гоголя, то у него приведенная выше цитата далеко не единственное место, где невольно вспоминается «Слово». В работе «Пушкин и Слово о полку Игореве» мы приводим целый ряд мест, навеянных «Словом» на гоголевскую «Страшную месть». Есть эти следы «Слова» и в «Тарасе Бульбе».

рил и двигался *медленно*, изредка *посмеивался* из-под длинных своих усов». Мы минуем превосходный (почти скульптурный) портрет Хоря, его лица, но вот художник дает нам ощутить своего нового героя изнутри. Автор почти ничего не говорит от себя, но самый словарь этого описания (любопытная тургеневская черта!) уже дает все, что надо: «присел» (при барине), «преспокойно», «поглаживая», «достоинство», «медленно», «посмеивался». Хорь не просто *хозяин избы*, принимающий у себя гостя, Хорь — это как бы уже *хозяин всей своей жизни!* Как, крепостной мужик? Да, выходит, что так!

Дальше идет разговор, в котором что ни фраза, то полноценная монета. Я сознательно употребил здесь именно это сравнение, ибо Хорь весь — в росте своего *материального* благополучия. Он далек от поэтического восприятия жизни Калиныча. Хорь предприимчив и метит прямо в купцы, чуть-чуть даже сам приоткрывая свою дорогу туда: «Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком...» Но обрывает, и тотчас после этого: «Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?» Немудрено, что Тургенев подумал в ответ: «Крепок ты на язык и человек себе на уме».

В доме у Хоря, как мы помним, не было ни «резвых прусаков», ни «задумчивых тараканов», но зато в сарае, где Тургенев остался у него переночевать, писателя-охотника обступили характернейшие звуки гораздо более крупных живых существ. В приводимом нами ниже отрывочке фразы отдельные слова мы выделяем курсивом, чтобы сразу было видно, как описанием *одного только звука* Тургенев дает легко зарисованный очерк самого характера домашних животных. «Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, *шумно дохнула раза два*; собака *с достоинством* на нее *зарычала*; свинья прошла мимо, *задумчиво хрюкая*; лошадь где-то в близости стала *жевать сено и фыркать...*» Мы как бы сами слышим все эти звуки и воспринимаем характерные их особенности, но мы и более того — по звукам, не видя — угадываем (вместе с Тургеневым) и *движения* некоторых животных: «подошла к двери», «прошла мимо». Опять свойственный художнику лаконизм: сжатость и емкость.

Сам Хорь поначалу дается как крепкий по старинке семьянин. У него на все хозяйственный взгляд: «Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба — мужику

слуга». И вот на такой-то разговор «Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую наврал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением, — замечает Тургенев, — поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика». И здесь, в этой никак не подчеркнутой «очной ставке» — именно что Калиныч на фоне Хоря и Хорь на фоне Калиныча. Через несколько строк автор дает уже и настоящую «формулу» их взаимоотношений: «Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря».

Это сопоставление обоих героев рассказа является лишь одним звеном из ряда других сопоставлений, в целом дающих «отточенные» в сравнительной их характеристике типичнейшие фигуры русского крепостного крестьянства. Вспомним оттуда еще два-три основных определения: «Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с баринном и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как». Или такое еще противопоставление: Калиныч «объяснялся с жаром», а «Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя». Как выразительно найдены эти определения: «понимал действительность» или «разумел про себя»! Приведем и еще одну сравнительную «формулу»: «Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу».

Тургенев приводит далеко не все свои разговоры с Хорем: «Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем». Из одной этой оговорки становится ясно, что разговоры, о которых автор умалчивает, заходили гораздо дальше тех пределов, до которых могла разрешить это николаевская цензура. «Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку...»

И вот здесь-то автор «Записок охотника» и говорит, что он вынес из разговоров с Хорем «одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях». Конечно, именно это место и то, как потом Тургенев развивает свою мысль и дальше, — это и было центральным местом всего рассказа, которое потрясало, помимо всего прочего, еще и своею неожиданностью. Автор отстаивал перед то-

гдашними славянофилами с их слепою преданностью старине особую *свою* Русь, как он ее видел и понимал, и он присваивал русскому человеку, что тот «смело глядит вперед». И еще: «Что хорошо, — говорит Тургенев, — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай...»

После этого длинного разговора о границе, когда Хорь «хмурил брови» и лишь изредка отзывался, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок», — после подобного рода замечаний у автора рассказа и возникло новое для него представление о Петре, как о *типичном русском человеке*. Неожиданно вскрылась коренная близость между собою этих двух русских людей, и в каком же существенном вопросе — в вопросе о «преобразованиях».

Таким образом, русский крепостной мужик, однакож со складом лица, как у Сократа, оказывается, обладал еще и разумом, родственным разуму *преобразователя Петра!* Да кто же тогда сможет идти вопреки ходу истории, поступь которой слышится явственно, а направление ее шагов не вызывает сомнений? И ведь все это вовсе не выдумка, это — действительность, явь! И это не что-нибудь исключительное, чем-нибудь себя прославивший человек, вышедший хотя бы и из «простонародья». Такие отдельные явления знала Россия, но это были именно исключения, а здесь ведь это была просто случайная встреча охотника с рядовым умным крестьянином, каких, конечно, немало... И как автор выводит его — с какою простотой, как подлинное явление самой жизни, которая не стоит на месте. Хорь дан автором без всякой идеализации к тому же: он и грубоват, и знает цену «деньжонке», и умеет «ладить», но какая у него твердая и уверенная поступь в жизни: с ним нельзя не считаться, нельзя его не «уважать»...

Так или похоже на то воспринимали читатели «Современника» этот рассказ из «Записок охотника». А Калиныч? Калиныч пленял без особых размышлений — душевною своею ясностью, теплотою и чистотой. И оба вместе они — «поэзия и проза» — воссоздавали основные черты одного собирательного героя — русского человека во всем его своеобразии. В этом и была могучая сила этого маленького рассказа, быстро и вольно обросшего позже и другими образами простых русских людей в новых рассказах из «Записок охотника».

В «Хоре и Калиныче» Тургенев не предается никакому «анализу» происходящих в крестьянской среде изменений, не выдвигает никаких будущих героев или «хозяев» деревни; весь его ум, наблюдательность, вся пытливость его восприятия — все это было сосредоточено на задаче чисто художественной: дать действительность в характернейших ее воплощениях. А когда художник в подобной работе своей стоит на подлинной творческой высоте, тогда его произведение как бы обретает собственный голос и говорит уже само за себя.

Так именно было и здесь. Цензура, уже забыв, что автор особо оговорил об орловской бедноте, поначалу думает: все на месте, крестьяне не бедствуют, автор ни о чем не вопиет. А читатель с изумлением видит фигуры крестьян как *главных героев* рассказа и как имеющих на то *полное право*.

И читатель испытывает при этом нечто совершенно особенное. Он видит и теневые стороны характера, но в то же время преисполнен подлинной гордости за русский народ, сохранивший в себе, *несмотря ни на что*, силу и нежность, деловитость и хозяйственность, любовь к природе и подлинную поэзию. И что же, он до сих пор — этот великий народ — в крепостных цепях?

Это ли не был действительно громовой удар по крепостному праву? И то, что был он достигнут спокойно-уверенными художественными средствами, именно это и говорит нам, каким поистине великим художником слова был Иван Сергеевич Тургенев.

II

«ОДНОДВОРЕЦ ОВСЯНИКОВ», «КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ»

В дальнейшем мы не будем иметь возможности останавливаться на других рассказах из «Записок охотника» с такою же сравнительной подробностью, как мы это делали с «Хором и Калинычем». Вместо одного рассказа мы возьмем в этой главе целых два, ориентируясь на основные мужские образы, данные в них: «Одюдворец Овсяников» и «Касьян с Красивой Мечи». Образы эти

в значительной степени параллельны фигурам Хоря и Калиныча.

Образ хозяйственного, крепкого мужика, состоящего на оброке у барина (Хорь), дается здесь в несколько ином социальном облике: Лука Петрович Овсяников, герой рассказа, — однодворец. Однодворцами назывались в старину поселяне, которые не были крепостными, а жили сами по себе — «одним двором». Иногда они имели у себя наемных рабочих. Таковые были и у Овсяникова. Об этом говорит и сам автор, что его герой «прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали». Тургенев очень, по обычаю, кратко, но с исчерпывающей ясностью обрисовывает эту фигуру — «промежуточную» между помещиком и мужиком.

Овсяников, конечно, сродни Хорю. Как у того было лицо Сократа, так и у этого — «лицо Крылова». Он еще несколько ближе стоит к зажиточному классу, но более, чем Хорь, настроен критически. Ежели Хорь «глядит в купцы», то Овсяников далеко не лестно отзывается об одном из таких купцов, который звал его в воскресенье «откушать»: «Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу дает сотенную, а мясо положит тухлое. Бог с ним совсем!» Эта краткая и весьма едкая характеристика представителя купеческого сословия, сочетающего показную щедрость со спрятанной скарденностью, конечно, поднимает Овсяникова над таким примитивным, но вполне реалистическим образом купца, обрастающего «заработанным» жирком.

Тургенев чувствует родственную близость Овсяникова скорее к старым русским боярам: «Овсяников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямотушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен...» Однако же он себя «не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком». Спрашивается, какую роль мог играть Овсяников в книге, основное острие которой направлено против крепостного права?

Если Хорь являл собою определенно восходящую новую социальную силу, то Овсяников таковую из себя не представлял. И, однако же, образ его — человека умного, спокойного, в своем роде воспитанного — представляет собою прямую противоположность тому дворянству, которому автор «Записок охотника» поет в книге своей, в сущности говоря, настоящую отходную. Да и сам Овся-

ников, говоря о притеснениях, идущих от господ, добавляет при этом: «Но без этого обойтись, видно, нельзя. *Перемелется — авось мука будет*». В этом последнем, подчеркнутом нами, выражении осторожно, но четко высказано ощущение неизбежности предстоящих перемен в положении дворян-помещиков: «Мельницы-истории не остановить!» И каждый читатель рассказа (1847 год), конечно, читал эту фразу о *муке*, которая *будет*, как если бы слова эти были напечатаны курсивом, и понимал их так, как хотел этого автор.

Очень своеобразен язык Овсяникова. Остановимся хотя бы на одном его выражении. На слова автора: «Вы мне старое время хвалить станете», Овсяников отвечает: «Нет, старого времени мне особенно хвалить *не из чего*». Что это за выражение — *не из чего*? Оно одновременно содержит в себе два значения; одно из них — старое время хвалить *не за что*, то есть в смысле *нет причины* его хвалить, и другое — хвалить его *не из-за чего*, то есть *нет цели* его хвалить, нет надобности хвалить, незачем его хвалить: получите его таким, каково оно есть — без прикрас... Какая разница между этими двумя смыслами одного и того же выражения!

Первый из них — это как бы взгляд «холодным оком», это «точка зрения» — со стороны. Другая же «точка зрения», идущая от ощущений живой жизни, связана со вторым пониманием интересующего нас высказывания. Лука Петрович Овсяников как бы говорит: «Я могу, пожалуй, кое-что и похвалить, но мне нет никакой надобности непременно хвалить дворянское прошлое — перед дворянином». В этом мы ощущаем определенное чувство независимости этого человека и вместе с тем — общее чувство наступающей новой эпохи. Дедушке Тургенева он, глядишь, так и не сказал бы, а вот перед внуком он позволяет себе говорить это совсем независимо, так, как он чувствует, и притом даже мягко подчеркивая это свое право. В свою очередь — отметим это мимоходом — и Тургенев, называвший Хоря только по его прозвищу, здесь уважительно величает Овсяникова по имени и отчеству.

Овсяников словоохотлив: пересыпая свою речь словечком «точно», он рассказывает замечательнейшие истории о старине, но вот одна из них относится уже непосредственно к дедушке самого Тургенева: «Вот и взяли моего отца, и в вашу вотчину повели. Я тогда был маль-

чишка маленький, босиком за ним побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да поглядывает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступитья от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках».

Здесь Овсяников говорит уже определенно о том, что нет цели хвалить прошедшие времена. Это уже далеко не суждение «со стороны», и автор не может этого не сознавать. Он так и замечает при этом о себе: «Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо». Так автор «Записок охотника» своеобразно и сильно обнаруживает свою реакцию на этот рассказ.

У современного читателя может, однако, возникнуть вопрос: что же собственно скрывается за этим замечанием Тургенева о его реакции на рассказ Овсяникова? А дело в том, что вещь эта была напечатана еще при жизни матери Тургенева, по собственному его определению, «женщины своевольной и властолюбивой». Она полновластно распоряжалась всем имуществом в Спасском-Лутовинове, и сам автор-охотник, конечно, ничего не мог сделать для исправления допущенной его дедушкой несправедливости.

Мы назвали эту реакцию Тургенева «своеобразной и сильной». В самом деле: ведь среди всех других читателей в их числе должна была быть и сама Варвара Петровна Тургенева и многие ее знавшие люди. Пусть же все другие читатели подумают, что у автора «Записок охотника» просто не нашлось, что ответить Овсяникову, или даже, что в нем не возникло никакого желания исправить эту старую несправедливость, — Тургенев идет и на это, чтобы только дать ощутить своей читательнице-матери и близким ей людям (пусть еще раз об этом подумают!), как ему стыдно за нее и в какое тяжелое положение она его ставит.

Тургенев в ту пору жил за границей, и, вероятно, эти

печатные строки еще более обострили отношения матери и сына, которые и без того были близки к полному разрыву. Что же касается вообще взаимоотношений Тургенева с крестьянами, то мы ограничимся следующей коротенькой выдержкой из правдивых показаний самого писателя:

«Когда же матушка скончалась в 1850 году, я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее; но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни есть. Хвастаться ею нечего, но бесчестия она, я полагаю, принести мне не может».

Возвращаясь к приведенному нами рассказу Овсяникова, хочется отметить еще один весьма любопытный подход к слову уже не Тургенева, русского писателя, а самого русского народа. Казалось бы, название «Дубовщина» говорит о том, что на этом месте был некогда огромный дубовый лес, а вот оказывается, что здесь били человека «дубьем», то есть дубовыми палками, и отсюда именно и возникло название «Дубовщина». Конечно, Тургенев отлично все это сам понимал и ценил, но для читателя он никак этого не подчеркивал, оставляя ему «познавательную радость» — найти самому и оценить соотношение этих слов и понятий, одновременно простое и многозначительное.

«Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса, — говорит Тургенев, — также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен». Так начинает автор «Записок охотника» рисовать своего нового героя. По наружности этот крохотного роста человек, тщедушный, худой, всем видом как бы противоречит своему прозвищу: Касьян с *Красивой Мечи*. Но это так кажется лишь до тех пор, пока мы не заглянули в его внутренний мир. Там-то как раз и пребывает та страна, которая вполне гармонирует с этим названием.

Именно из этой «заповедной» страны, страны почти сказочной, однакоже существующей в творческом пред-

ставлении русского народа, мы и слышим этот голос, который так удивил Тургенева: «Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?» Бережное отношение ко всякому «дыханию жизни» лежит у Касьяна на большой глубине и является органическим его качеством.

Мы видели, как однодворец Овсяников не постеснялся рассказать молодому Тургеневу о жестокостях его родного дедушки, но и кроткий и нежный Касьян также не остерегся обратиться с прямой укоризной уже к самому молодому барину. Очень характерно, что эта черта присуща обоим, столь различным между собою представителям «простого» русского народа.

Опять-таки оказывается, что и «проза» и «поэзия» русских характеров равно неотделимы от самой живой жизни. И если создает эти характеры сам народ, то автором художественной правды о них является наш классик Тургенев. Он все это чувствовал, знал и воссоздавал, и именно это полное ощущение своего народа и питало «живою водой» его высокое мастерство.

Для нового героя «Записок охотника» — Касьяна — особенно характерна его исключительная близость к природе. Писатель в этом рассказе с каким-то особым проникновением дает и собственное ее ощущение. Вот как, например, открывает он нам красоту наших лесов:

«Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь, далеко, далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, — и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, — все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее ле-

петание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше, и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...»

Да, поистине: здесь и высота и глубина! Эти «пейзажные» строки дают нам природу во всем ее сложном, и гармоническом одновременно, движении, которое вызывает ответное движение и в человеческом сердце. Кажется, что охотник-поэт, лежащий на спине и глядящий прямо перед собою, видит одновременно и внешний мир и ответное свое творческое волнение, где также вдруг «все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетание...» Так поэтика природы — совсем как поэтика художественного творчества, не надуманного, а живого, рождающегося по общим законам жизни.

У Касьяна с Красивой Мечи добрый его взгляд на все живое не является, однако, чем-то расплывчатым, он проводит свои четкие разграничительные линии. Так, он наставляет строго различать рыбу от птицы: «У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью, — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится; рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!»

Вот здесь Тургенев справедливо почувствовал уже какую-то особую «приподнятость» речи Касьяна: «Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного». Но стоит только Касьяну перейти к непосредственным своим ощущениям, связанным с собственной жизнью, с природой, как мы снова слышим подлинную народную речь: «В болотах ночью да в залесьях, в поле ночью один, во глуши: тут кулички рассвистятся,

тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже».

Прислушаемся несколько внимательнее к этой «речи» Касьяна. Прежде всего обращает на себя внимание конструкция отдельных фраз. В них мы различим четкую повторность, назначение которой — сделать фразу предельно простой и ясной. «Ночую» — это глагол употреблен в одной и той же фразе дважды; чтобы не перегружать его дополнениями, каждый раз он сопровождается лишь двумя — одно из них впереди, другое — позади: «в болотах», «да в залесьях», и во втором случае речь построена столь же симметрично, то есть тому же глаголу сопутствуют дополнения также и впереди его и позади: «в поле», «один, во глуши». (Эти два последние слова составляют нечто единое). Повторим еще раз, как это выглядит в целом: «В болотах ночую, да в залесьях, в поле ночую, один, во глуши...»

Переходим теперь к продолжению этой же фразы. Она состоит из трех кратчайших и одинаково построенных предложений: подлежащие — «кулички», «зайцы», «селезни»; сказуемые — «рассвистятся», «кричат», «стрекочут»; каждому такому коротенькому предложению предшествует наикратчайший «повтор» — «тут». Теперь для нас не составит уже трудности заметить и строй следующей фразы: «по вечеркам», «по утречкам», «по зарям», и глаголы: «замечаю», «выслушиваю», «обсыпаю». Очень любопытно, что в последней фразе определение «жалостно» Касьян относит одинаково и к соловью и к самому себе: соловей поет «жалостно», и «жалостно даже» — самому Касьяну, хотя он и не считает нужным добавить слово «мне». Да и зачем ему добавлять это «мне», когда понятно и так...

Внутренний мир Касьяна открывается перед нами из его собственных слов. Вот как он говорит о себе, как о человеке бессемейном, «непоседе»: «А вот, как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, — трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит,

например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди рассказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости...» И далее: «И не один я грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, — вот оно что...»

Ни слова не говоря от себя, Тургенев дает нам ощутить все своеобразие этого человека с его близостью к природе, с его тоскою по справедливости. Касьян при этом и все замечает — травку, родник... Он и птиц слушает и сам поет, причем пение свое он расценивает критически, — то не совсем хорошо, а то «ладнее». Для него существует даже и идеал пения — «птица Гамаюн сладкогласная». Впрочем, здесь Касьян вступает уже в область желанной сказки, где не только «яблоки растут золотые на серебряных ветках», но и «живет всяк человек в довольстве и справедливости»: это уже не только сказочно-поэтическая страна, но и жизненно желанное будущее царство довольства и справедливости. Недаром он говорит о «хрестьянах в лаптях», которые «по миру бродят, правды ищут...»

О Касьяновой дочке Аннушке мы скажем несколько слов в следующей главе, где дан очерк и другой девочки — дочери Бирюка. А здесь, в заключение, отметим, что Тургенев не удовольствовался одним «показом» Касьяна, но дал и оценку его «со стороны». Так, кучер Тургенева Ерофей, осудив Касьяна за то, что он «чудной человек»: «такой беспокойный», — все же отдает ему должное: «Поет, однако, хорошо. Этак важно — ничего, ничего». Да и общая характеристика Касьяна весьма своеобразна: «...уж такой он человек необнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже». Особенно любопытно это последнее определение: «несоразмерный даже»...

Ясно, что для Ерофея это «чудной человек» тем глав-

ным образом и чудён, что различные стороны его характера принадлежат как бы разным людям: образования небольшого, а начнет говорить — будто как в странах каких иноземных сам побывал; крепостной, а в мечтах какой «вольный»; и дома-то своего почти нет, а везде сам у себя; и привыкнешь когда, а уж он опять будто иной. Так и выходит, что именно нет у Касьяна привычной «обнакавенности», и нет одного постоянного своего образа, и «даже» (самое странное!) нет никакой именно что «соразмерности» отдельных человеческих черт — разной у разных людей. Подобное этому ощущение и выразил кучер Тургенева, а тот запомнил его и передал во всей свежей неприкосновенности этих слов. Писатель-охотник доволен добычей: конечно, он ее оценил в полную меру, ибо слова эти характеризуют не только Касьяна, но и самого кучера Ерофея, пусть не умеющего разобраться в подробностях, почему он говорит именно так, но нашедшего тем не менее четкое «суммарное» определение.

Когда Ерофей все же пытается в чем-либо разобраться, то получается у него весьма оригинальная, ничем не прикрытая путаница. Так, относительно трав, которыми пользовал больных «лекарка» Касьян, тургеневский кучер высказался с той неподражаемой непосредственностью, которая не боится никаких противоречий: «Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть, — прибавил он, помолчав».

Говоря так, Ерофей, конечно, и не подозревал, какую правдивую характеристику нечаянно дал он тем самым и самому себе. Нельзя не выделить здесь этого простого, но весьма характерного примера высокого писательского мастерства: давая характеристику одного человека устами другого, дать тем самым характеристику и самого говорящего.

III

«БИРЮК», ДЕВОЧКИ

Мы выделили в особую главу еще один образ крепостного мужика, стоящий совершенно особняком. Писатель-охотник и встретился-то с ним при обстоятельствах необычных.

Когда Тургенев впервые приехал к Овсяникову, тот «сидел в больших кожаных креслах и читал Четьи-Минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече». Касьяна увидел он так: «По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик». Так автор с первого же раза дает нам ощутить характер будущих своих героев: ласковый, с чертами величавости — у Овсяникова и необычайный, в самой тесной связи «с землей» — у Касьяна. И вот перед нами третий характер: Бирюк. Он появляется иначе: во время дождя и грозы — внезапно, почти как привидение. И это, конечно, не зря: этот новый герой рассказа — человек совершенно особого рода.

«Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону, — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожжек». И далее, после коготкого обмена репликами — «белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой». Все это находится в самой непосредственной связи с раскрывающимся дальше образом самого Бирюка.

Исключительно интересна картина того, как Бирюк, взявши лошадь за узду, возобновил прерванное путешествие охотника-барина. Прежде всего обратим здесь внимание на точное применение глагола «проведу». «Я вас, пожалуй, в свою избу проведу...» Как будто бы можно было сказать вместо «проведу» также и «провожу». Это, конечно, даже и более употребительно. В данном случае, однако, несомненно, надо дать глагол «привести», Бирюк, сам идущий пешком, именно *ведет* лошадь, а следовательно, и повозку, а выходит, что и самого седока, по трудной и знакомой только ему дороге. Очень хорошо также, по-народному: *ведет* под уздцы *лошадь*, а говорит «*вас* проведу», в то время как вы сидите, но зато добавление «в свою избу» оправдывает это «вас проведу», ибо, конечно, в избу он приглашает не лошадь, а человека.

Отметим также, что с самого начала мы видим своеобразный характер Бирюка. В словечке «пожалуй», произнесенном к тому же в отрывистой фразе, приведенной

нами выше, звучит какое-то даже «свысока» по отношению к собеседнику-барину. Хозяин положения он, Бирюк. Такою же интонацией звучат и слова: «Извольте сидеть». Тут, с одной стороны, вежливое «извольте», а с другой — почти не допускающий ослушания приказ.

Дадим эту короткую картину прерванного путешествия, о котором мы уже упомянули выше: «Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушки дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжело шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье».

Хочется воскликнуть: «Какое же у Тургенева доверие к своему читателю! Он полагает, что будет правильно понят». А между тем тут есть над чем задуматься, чтобы составить себе точное представление о рассказанном, и притом — главным образом о Бирюке.

Что же здесь особенного сказано о Бирюке? То, что его движения даны не как движения живого существа, например лошади, которая и скользила и спотыкалась, — лесник же всего лишь «покачивался», как и самые дрожки, которые «колыхались». Дрожки колыхались ритмично («как в море челнок»), но точно так же и лесник ритмично покачивался — «направо и налево». Эти его покачивания были столь равномерны, что должны были казаться просто неестественными, и потому-то Тургенев и говорит про этого человека, возникшего «при блеске молнии», что он был «словно привиденье».

В действительности таких неестественных покачиваний, конечно, быть не могло. Автор передает здесь свое *восприятие этого явления*, в котором одновременно заложено и то, как все действительно было.

Об этом своем восприятии, правда, Тургенев не говорит: «мне казалось», но в самом тексте найдем и ключик для разгадки всего этого. Этот «ключик» заключается в словах — «перед оглоблями». Покачивалась повозка, покачивались, разумеется, и оглобли, хотя про них это и не сказано, покачивался *вместе с ними* и сам седок, и оттого *особого* ощущения, что покачиваются именно оглобли, в нем не возникало. Происходило нечто подобное тому, что происходит, когда мы смотрим из окна вагона на мелькающие перед нами деревья: мы забываем,

что это мы сами летим им навстречу, нам кажется, что наоборот — это они стремительно, едва не падая, торопятся к нам навстречу, приветствуя нас.

Итак, двигались перед глазами седока, покачиваясь, оглобли беговых дрожек, а лесник, который, казалось, ритмически покачивался, как привиденье, на самом-то деле шел именно *ровно*. Вот это и дано самым точным образом в коротенькой картине возобновленного путешествия. Все это можно было сказать и прямо, без всякого «покачивания» лесника, но Тургенев, рисуя это путешествие так, как он его нарисовал, вовсе и не задавался целью дать какую-то художественную загадку. Он просто дал насыщенный и абсолютно верный действительности рассказ, где запечатлено одновременно *и все происходившее и собственное восприятие автором того, что и как происходило*. Это надо оценить в полную меру.

Возвращаемся к Бирюку. Да, он не терял себя. Он здесь полновластный хозяин — и над лесом и над дорогой; и даже грозе, чудится, сам он сродни. Его отношение к барину сейчас уже не «свысока», барин у него в гостях, и он приглашает его к себе, но приглашает, как бы сказать, «на равных началах»: «Вот мы и дома, барин». Это сочетание «мы» и «дома», такое простое и дружеское, одновременно и чрезвычайно выразительно: это и — «будьте у меня как дома», это и — «вы такой же хозяин у меня, как я сам».

Как самого Бирюка Тургенев увидел при свете молнии, так же при свете молнии, то есть совершенно внезапно, а следовательно и особенно рельефно, увидел он и его жилище — «небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем». Это как бы вырванное из ряда деревенских домов и заброшенное в глухой лес жилище Бирюка без всяких авторских пояснений, само по себе красноречиво говорит о судьбе его хозяина: о внутренней сжатой жизни — на фоне никак не заполненного пространства его одиночества.

У Тургенева такие связи между отдельными кусочками повествования и основным его замыслом являются в высшей степени органическими, ничуть не надуманными, а напротив того — обогащающими его творчество. Это результат, если можно так выразиться, художественно настроенного ума или, если сказать по-другому, «умного художества», когда одновременно писатель *и чувствует и*

знает, какая «деталь» требуется вот именно здесь для того, чтобы подкрепить и обогатить нечто «центральное», а тем самым и все «целое». Это не просто интересная композиция, которой предшествует детально обдуманый план произведения, а именно то, что и является «гармоническим соотношением частей и целого», осуществляемым *в процессе самого творчества*. Заметим попутно, что этот последний художественный закон проявляет себя даже в построении отдельных фраз, как разговорных, так и повествовательных.

После детального описания избы лесника — «закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок», у Тургенева вырывается подлинный вздох: «Я посмотрел кругом, — сердце во мне заныло: невесело войти ночью в мужицкую избу». Здесь на короткий срок появляется девочка, дочка лесника. Это заставляет нас вспомнить и о другой девочке, которая жила вместе с Касьяном, о его «сродственнице», к образу которой мы обещали вернуться.

При сближении и сопоставлении между собою этих двух девочек мы увидим, что и они, так же как и главные мужские образы, весьма друг от друга разнятся. Одна взята в легком, живом повороте, другая почти в трагическом.

Касьян напевал свою песенку. «Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся, — говорит Тургенев, — и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее; она тотчас нырнула за дерево».

Мы прочли этот кусочек первого появления Аннушки, и нам отраженно приходит на память уже цитировавшаяся нами местечко из пейзажной картины в лесу: «Где-нибудь, далеко, далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба...» Да, вот он, этот отдельный, младший листок на кончике ветки — последнее по времени

проявление жизни у старого дерева. А ведь именно так стояла и Аннушка! Даже и самые выражения одинаковы: листок *неподвижно стоял*, и девочка также *стояла неподвижно*. Для самой манеры автора характерно также, что и листок и девочка даны не просто сами по себе, а «по-тургеневски», то есть на фоне природы: листок стоит «на голубом клочке прозрачного неба», Аннушка — «в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке». При всем том надо оговориться: то, что мы здесь анализируем, надо уметь чувствовать и полностью воспринимать и без всякого анализа. Непосредственное чувство наслаждения художественным произведением и своеобразное также наслаждение от постижения того, *как* это дано, — вещи разные, и одно не должно теснить другое.

Рассказчик-писатель хотел довести Аннушку домой: у нее был в руках прикрытый широким листом лопуха кузов с грибами. Но она «загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика». Как скупое и одновременно легко дано у Тургенева образ этой девочки! Как он дан мимолетно, и как его не забудешь... Касьян барину отказал: «Что ей... Дойдет и так... Ступай». Аннушка ушла, Касьян «потупился и усмехнулся». Автор теперь уже разглядел ее: девочке было не восемь лет, а тринадцать или четырнадцать. И дальше о Касьяне так говорится: «В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность».

Здесь может показаться, что автор сам себе противоречит, ибо по своему смыслу слова: «Дойдет и так... Ступай», — кажутся, напротив того, суровыми, строгими словами. Но дело в том, что Касьян говорит «с притворной небрежностью» и столь же, конечно, притворным «равнодушно ленивым голосом». А вот самый звук, пронизывающий слова, выдает подлинные его, непритворные чувства. Так у Тургенева это нередко бывает: «звук», то есть «музыка звука», открывает дыхание поэзии, любви.

Дальше мы Аннушку уже не видим, но кучер Ерофей, который «взял на прицел» самого Касьяна, не оставил в покое и Аннушки: «Она сирота: матери у нее нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну,

живет у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чаёт: девка хорошая».

Ежели теперь перейти к другой девочке — дочери Бирюка, то приходится сказать, что появление ее не овеяно никакой поэзией. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов за скрипел, и девочка, лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на дороге». Дальше мы видим ее качающей люльку с большим ребенком.

Разные характеры у Касьяновой Аннушки и Бирюковой Улиты, хотя и обе они возрастают без матери. У Касьяна, правда, не ясна причина его «бессемейности», Бирюк же таить не стал: «С прохожим мещанином сбежала». Но как ни различны судьбы девочек — одна живет на вольной волюшке, любима фантазером отцом, другая прикована к мрачной избе лесника, — все ж и у дочки Бирюка мы видим первые несмелые женские черточки. Улита, покачивая изредка люльку (на ней лежали обязанности уже и материнские), «робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь», — так сказывается у нее крайняя скромность и девическая застенчивость.

А с другой стороны, и Касьянова Аннушка, уже умеющая взглянуть «лукаво и доверчиво, задумчиво и пронизательно», а также способная загореться «как маков цвет», — невзирая на свои тринадцать—четырнадцать лет, в свою очередь сохраняет не только внешний облик, но и многие повадки совсем еще маленькой девочки. И говорят они обе совсем еще по-ребячьи. Эта манера удивительно живо и просто схвачена Тургеневым. В самом деле, вот коротенький разговор Касьяна со своей девочкой:

«— Что, грибы собирала? — спросил он.

— Да, грибы, — отвечала она с робкой улыбкой.

— Много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые».

Аннушка, отвечая, повторяет те же самые слова, что и отец: «грибы» — «грибы»; «много» — «много»; «белые» — «белые»; «есть» — «есть». Единственно, что себе

позволила девочка, — это добавить в одном случае от себя слово «да» и в одном случае переставить порядок слов: «И белые есть?» — «Есть и белые».

Улита не позволяет себе и этого. Вот ее «разговор» с автором:

«— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна, — произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова, — прошептала она».

Оба эти отрывка разговоров с девочками дают ощущение, что и язык, как живое выражение мысли, у них пребывает еще, так сказать, тоже «в детском возрасте», отставая при этом даже против их лет.

При сравнении этих скупых и как бы зажатых в детский кулачок ответов с относительно бойкими разговорами мальчиков в рассказе «Бежин луг» невольно чувствуешь куда более богатую речь ребятишек. Впрочем, обе девочки здесь, кроме всего прочего, стеснялись незнакомого им барина-охотника.

Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе ни Аннушки, ни Улиты, но даже и самый беглый рисунок этих юных существ, сделанный не только с большим мастерством, но и с теплым чувством, никак прямо автором не высказанным, но явственно ощутимым, заставляет нас не забыть этих двух маленьких птичек, вкрапленных в чащобу калужских лесов. Если вспомнить трагическую судьбу Лукерьи из «Живых мощей», этого совершенно несравненного по сочетанию глубины и простоты рассказа, то невольно подумаешь про себя, какие же невеселые беды могли ожидать также и Аннушку и Улиту...

Еще раз: «невесело войти ночью в мужицкую избу».

«Мужицкую избу» мы здесь невольно воспринимаем значительно шире, чем только жилище мужика: мы воспринимаем ее как всю мужицкую жизнь и обстановку, в которые невесело войти ночью, то есть когда не видно природы и ее произвольного очарования. Кто же живет в этой «тесной» обстановке?

«Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до поло-

вины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною».

В словах Бирюка, когда он приглашал путника войти в свою избу, мы уже отмечали это сочетание «мы» и «дома» — сочетание, как бы стирающее грань между бариним и мужиком. Но вот лесник и сам вошел в свое жилище, и это связующее «мы» словно «заколебалось», а налицо перед нами опять некая «очная ставка»: помещик — с одной стороны и крестьянин — с другой. Каковы же их взаимоотношения? Вот Бирюк: лицо у него — *суровое*, глаза глядят *смело*, а главное, что, остановившись перед гостем, он даже слегка *уперся руками в бока*. А как же ведет себя автор-охотник? Тургенев весьма немногословен: «Я поблагодарил его».

Все это очень характерно, и все это говорит о том, что Тургенев воспринимал в Бирюке не просто физическую его силу, а и ее потенциальную направленность.

Возвращаясь к описанию убогой обстановки в избе лесника, мы особенно ярко ощущаем этот контраст: оказывается, живет здесь почти гигант — старорусский богатырь, подобный тем богатырским фигурам, которые изображают на старинных иконах. Явное несоответствие! Трудно было передать более ощутимо это кричащее противоречие между реальной обстановкой жизни и властными требованиями внутренних сил, которые некуда девать. А между тем автор (мы не перестаем указывать на эту важную особенность тургеневской манеры) никак свою мысль не подчеркивает, предоставляя читателю возможность самому ощутить это, в конце концов основное, содержание «Бирюка».

У всех остальных героев «Записок охотника», которых мы касались, столь резко бросающегося в глаза разрыва между тою обстановкой, в которой они живут, с одной стороны, и их внутренними требованиями — с другой, по сути говоря, не было. И Хорь и Овсянников, один активный и настойчивый, другой более благодушный и спокойный, — оба они не теряются в окружающей их жизни; более того, Хорь явно прокладывает себе новую дорогу — в сторону купечества, тем самым как бы говоря «крепостному праву»: «А ну, посторонись! Ты отжило свой век!» Эта фигура была одинаково выразительна и для

защитников крепостного права и для его противников; так или иначе, а с подобной фигурой приходилось считаться. Точно так же нельзя было не считаться с Овсяниковым, напротив того — необходимо было отнестись с должным вниманием и к этой фигуре, которая действительно сохраняла нечто от первобытной «величавости» тех древних бояр, которых Овсяников сам в рассказах своих определенно поэтизировал.

Обе другие фигуры, Калиныч и несколько «загадочный» Касьян, представляют нам другую сторону русского мужика, говорящую о том, что, невзирая ни на какое крепостное право, дух поэзии, дух музыки, дух «оптимистической глубины» никогда русского человека не покидает. Оба они, пребывая в лесу, поют, а Касьян даже немножко и сочиняет. Вот что расслышал Тургенев из его протяжной песенки:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха...

Впрочем, очень может быть, что и Калиныч поет не одни только всем известные песни, а порою и что-нибудь свое.

Об этом говорит и особый, своеобразный глагол «попевал»: «беспрестанно попевал вполголоса». Теперь, вероятно, сказали бы «напевал», но напевают обычно какой-либо мотив, почему-либо понравившийся ранее и оставшийся в памяти, или даже не один только мотив, а и слова, но опять-таки не свои. *Попевать* же — указывает прежде всего на то, что совершается это повторно, и каждый раз очень коротко, а кроме того, если сказать, что человек «попевает», возникает определенное ощущение отсутствия слушателей: напевать можно и для себя и для кого-нибудь, а «попевать» можно только для самого себя. Для самого же себя, что называется, «закон не писан»: можно «попевать» все, что придет в голову, то есть и свое собственное, да и попевать-то всего лишь «вполголоса», как что-то лишь возникающее, только еще находящее само себя. Все это может кто-нибудь и слышать, пусть даже вы и доподлинно знаете, что вас слушают, но вы не обращаете на это никакого внимания. Стихию же чистого пения, как самостоятельного искусства, также глубоко родственную русскому человеку, мы найдем в рассказе «Певцы».

Но как бы то ни было, обе поэтические фигуры — Калиныча и Касьяна — открывают читателю крепостного мужика как человека с тонкою душевной организацией. Это не одна лишь рабочая сила, это не рабы, которых можно попросту и без всякого зазрения совести продавать и поштучно и целыми десятками. Это люди, с которыми и высококультурному человеку есть о чем поговорить. Узнавая их жизнь, их мысли и взгляды, их прирожденную даровитость, мы начинаем глубже их понимать и ценить. Художественное изображение этих русских людей — такой же удар по крепостному праву, как и фигуры Хоря и Овсяникова. Тургенев как бы говорит, что люди эти не только не уступают современным им дворянским «последышам», но в душевной своей организации определенно их превосходят.

То, что крепостное крестьянство таило в себе и великие художественные силы, подтверждала и сама жизнь, давшая России великих актеров и художников из среды крепостного крестьянства.

Все это так; однако где же борцы за разрушение оживляющего свой век, но продолжающего еще властвовать крепостного права? Трудно было бы требовать от Тургенева, чтобы он дал такие фигуры, даже если б и встретил на своем пути что-либо подобное: путь его перу, которое в данном случае должно было бы быть похоже на боевое копьё, несомненно был бы прегражден щитом охранительной царской цензуры. Тургенев поступает иначе.

Такую фигуру он не столько увидел, сколько почувствовал в угрюмом Бирюке, — почувствовал какие-то возможности подобного рода. Недаром в самом начале рассказа он нам говорит, что высокая фигура лесника именно ему «почудилась». Эта фигура, к тому же похожая даже на «привиденье», окутана была тьмой и открывалась лишь при отдельных вспышках молнии. При дальнейшем чтении рассказа читатели наблюдали подобные же вспышки в самом характере Бирюка.

Какой огромный диапазон в крестьянских фигурах, если, с одной стороны, назвать Касьяна, а с другой — Бирюка! Невольно вспоминается, как пел о себе Касьян и как сказал о себе Бирюк. Касьян пел: «А зовут меня Касьяном, а по прозвищу Блоха». И вот совершенно по такому же образу и подобию, только без песенной интонации, говорит о себе и Бирюк в ответ на вопрос, как

его зовут: «Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу — Бирюк».

Прозвища эти, каждое по-своему, весьма выразительны: «Блоха-Касьян» в непрерывном движении, он готов и к далеким путешествиям в поисках сказочно-обетованной земли, куда «в лаптях ходят» — «правды ищут». Касьян ищет справедливости, думая где-то ее обрести. А что же Бирюк? Сам Тургенев в сноске объясняет: «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый». Итак, Бирюк прежде всего — одиноч. «Правды ищут» — «много других хрестьян»; Бирюк же — один. Ему бы не «искать» правды, а «добыть» правду. А развернуться по-настоящему жизнь ему не давала... Отсюда и второе качество Бирюка — «угрюмый». (Верно, от этой его угрюмости и жена его «с прохожим мешанином сбежала».)

Тургенев-художник, независимо от того, как он сам относился к крестьянским восстаниям тех времен, не мог не почувствовать в своем герое человека «большого масштаба», который, быть может, смог бы стать и во главе настоящего крупного «мятежа», но на самом деле пребывал в полном одиночестве.

Образ героя рассказа показан весьма динамически — и в самых его действиях и в определяющих их внутренних движениях. Вот он поймал мужика, когда тот, пользуясь непогодой, производил порубку. Бирюк, заслышав отдаленный стук топора, которого автор рассказа совсем не слышал, отправился к месту порубки, чтобы там захватить самого порубщика: «Мы его духом поймаем». Попутно хочется обратить внимание читателя на это народно-поэтическое выражение, схваченное Тургеневым: «духом поймать» — это значит сделать намеченное с такой быстротой, что за все это время только раз и успеешь вздохнуть: «духом поймаем!»

Тургенев скуп, но оттого тем более ярко, дает сцену, как Бирюк «арестовал» бедняка крестьянина, а затем передает и весь нарочито жесткий его разговор с мужиком.

Как было цензуре не пропустить такого Бирюка, который на просьбы мужика отпустить отвечает: «Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится». И еще далее: «...сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?»

А между тем автор этими репликами дает понять, что Бирюк держит себя так, как он держит, в значительной мере потому, что здесь сидит «барин». Однако барин этот и ранее слышал, что Бирюка «все окрестные мужики боялись, как огня». Они про него говорили: «И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет».

Все это рассказчик почувствовал и на себе. Он также потихоньку предложил Бирюку, что заплатит за дерево. Бирюк не ответил даже.

Таким образом, перед нами как будто бы человек, в душе которого все молчит, — он и не думает склоняться на просьбу мужика. Но когда тот вышел окончательно из себя и лесник схватил его за плечо, а барин-охотник бросился на помощь несчастному порубщику, произошла, наконец, неожиданная разрядка накопившегося до предела напряжения. В ответ на последние восклицания отчаявшегося мужика-арестанта: «Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, не долго тебе царствовать: затянут тебе глотку, постой!» — в ответ на этот вопль Бирюк «одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон».

Что же произошло? Пока бедняк порубщик лишь молил о пощаде — это на Бирюка не производило ни малейшего впечатления: что с таким человеком считаться! Он его ощутил такую же ничтожною величиною еще и раньше, когда только его поймал: «Ну, поворачивайся, ворона!» Эта «ворона» была знаком величайшего пренебрежения: даже и своровать, дескать, не сумел.

Но вот «мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска». Он начал уже нападать на лесника, а тот, в свою очередь, стал его как бы поддразнивать, и лишь когда пленник дошел до настоящего исступления, лишь тогда Бирюк признал его не «вороной», а тою новой пробуждающейся к сопротивлению силой, которая уже имеет право на свободное существование.

Остановимся еще на двух-трех кажущихся мелочах, которые как-то не улеглись в наш общий разбор «Бирюка». Это, во-первых, обращение пойманного на порубке

мужика к Бирюку: «Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!» В этом восклицании слово «азиат» (не только здесь Тургеневым употребленное) напоминает о том, что это обобщенное название кочевников-татар, а может быть, и половцев, а может быть, и печенегов — все это было живо в народе и неразрывно связывалось с другим понятием: «кровопийца», ибо истинно море русской крови было пролито в свое время этими кочующими варварами.

Обратим также внимание на настойчивое повторение здесь слова «тебе». Это, а равно и повторения словечек «на» и «пей» во фразе, приводимой ниже, создают впечатление подлинного отчаяния: «Ну, на, ешь, на, подавись, на...» И далее: «на, душегубец окаянный, пей христианскую кровь, пей...»

Обратим внимание и еще на одну коротенькую сценку, уместившуюся всего в двух фразах. Бирюк поймал мужика-порубщика, и тот сразу понял, что он находится во власти лесника. «Топорик-то вон возьмите», — пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?» — сказал лесник и поднял топор». Здесь, опять-таки без всякого авторского нажима или указующего перста, в двух коротких фразах нам дана одна из основных черт характера русского трудового человека: что бы лично с тобой ни случилось, но вещь, нужную в хозяйстве, нельзя забыть, бросить, о ней надо позаботиться. Эти слова о «топорице» (и сказано о нем как нежно: как о друге-товарище!) были единственной фразой, которую пойманный произнес в лесу. И Бирюк, в свою очередь, тотчас же с ним согласился. Оба крестьянина даны в остром столкновении между собой, но в этом они оказались совершенно единомышленны: уважение к орудиям труда остается незыблемым.

Позволив себе, хотя и нарочито грубо, но все же «помирволить» порубщику, Бирюк обратился к баринугостю: «Не извольте только сказывать». А когда на дворе «застучали колеса мужицкой телеги», то Бирюк что называется на всякий случай — также для этого, хотя и добродушного, но все ж таки барина — пробормотал: «Вишь поплелся!», а потом добавил: «Да я его!..»

Подобного рода концовка нужна была и самому автору: ею как бы был запечатан, а следовательно, и утаен от кого следует истинный облик этой своеобразнейшей

фигуры русского мужика, и думающего и чувствующего на большой глубине, также весьма «разумеющего про себя». А до читателя это ощущение *огромной силы, не находящей себе истинного применения*, — до него ощущение это не могло не дойти.

IV

«ПЕВЦЫ», «БЕЖИН ЛУГ»

В этих двух рассказах — «Певцы» и «Бежин луг», являющихся одними из самых поэтически-проникновенных рассказов в «Записках охотника», нам открывается, можно сказать, целый мир внутренней жизни и взрослых и детей.

Бряд ли есть надобность излагать содержание «Певцов». Да оно и несложно: в невыносимую июльскую жару рассказчик зашел в деревенский кабачок и там присутствовал на состязании двух певцов. Помимо этого состязания, в рассказе также дан целый ряд образов деревенской Руси того времени. Какая-то даже для него особая, художественная собранность сопутствовала автору, когда он писал этот рассказ, где наряду с великолепными портретами людей щедро даны исключительно живые «портретные» же наброски животных. Мы помним, с каким мастерством были сделаны их «характеристики» в «Хоре и Калиныче». Добавим несколько строк этого рода также и из «Певцов».

«Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучами носились над зелеными конопляниками». И еще немного дальше: «безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы»; «овцы, едва дыша и чихая от жары, печально теснятся друг к другу и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет, наконец, этот невыносимый зной». Тургенев замечает также, как он, вместе со своей собакой, возбуждал в деревенских собаках «негодование, выразившееся

лаем, до того хриплым и злобным, что казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались».

Эти строки мастерски и художественно-проникновенно дают нам по-тургеневски сжатый и одновременно исчерпывающий облик всей этой живности, и когда художник начнет нам рисовать уже и посетителей «Притынного» кабачка, то будет делать это теми же четкими реалистическими штрихами и в той же самой манере, как бы тем самым говоря, как невыносимая жара и жажда роднила между собою все живое, но зато как тем более благородна на этом первобытном фоне высокая и возносящая сила искусства! И это искусство, как мы увидим, выступает у Тургенева как чисто народное искусство.

Не будем приводить изумительно жизненных портретов людей, присутствовавших в кабачке. О них нельзя рассказывать, этих людей надо припомнить, раскрыв подлинник. Особенно сильное и своеобразное впечатление оставляет, однако, Дикий Барин. Эта фигура, данная всего на одной страничке, являет собой человеческий тип, достойный особого места в ряду мировых типов литературы. У самого Тургенева ему сродни из помещиков разве один только Чертопханов — обедневший дворянин, отщепенец от богатого дворянства. А впрочем, Дикий Барин даже и не дворянин, он из однодворцев, как Овсяников. Но Овсяников успокоен, благополучен и в полном ладу с окружающей его жизнью; Дикий Барин, напротив того, был одинок, замкнут, «сам по себе». «Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение». Немудрено, что окружающие относились к нему с большим почтением: «Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет». Тургенев здесь говорит о внутренней силе: «...казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что, раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся...» В этом ощущении громадных сил, «угрюмо» покоившихся в нем, ему весьма близок также и Бирюк: это все те же народные силы, которые могут сокрушить *«все, до чего ни коснутся»*.

Непосредственно после приведенной нами выдержки Тургенев добавляет: «...и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного

взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах». Здесь, кроме этого весьма существенного «поворота» в характеристике Дикого Барина, очень интересно отметить тот своеобразный прием, посредством которого автор заставляет читателя верить в то, что Дикый Барин отнюдь им не выдуман, не соткан в один собирательный тип из нескольких встречавшихся ему в жизни людей, а персонально существует именно таким, как он изображен. Это делает фигуру Дикого Барина еще более «убедительной», данной как бы «курсивом», в чем автор, очевидно, был весьма заинтересован.

Тургенев достигает этого тем, что, прерывая ровную свою манеру «рассказчика», вдруг как бы непосредственно обращается к читателю или даже к самому себе со своими *мыслями вслух* по поводу собственного персонажа, и он выражает их *уже вне рамок рассказа*, а так, как говорят о действительно существующих людях: о созданных собственным воображением обычно так не говорят. Тем самым Тургенев давал понять и то, что «взрывы», о которых он упомянул, также происходят в действительной жизни.

На что же автор «Записок охотника» намекал?

Читатели понимали, конечно, что здесь речь идет не о чем-либо узко личном; это те самые подземные силы, которые производят социальные землетрясения и которые не раз проявляли себя в русской истории в восстаниях Разина, Пугачева и других менее крупных вожаков народа. Но автор отнюдь этого не подчеркивает, высказывая, однакоже, от себя следующую любопытную мысль: «Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства». Конечно, Тургеневу как художнику делает высокую честь то, что он не побоялся столь противоположные качества, как свирепость и благородство, сочетать в одном живом образе; мы при этом невольно вспоминаем в литературе пушкинского Пугачева.

Все же не это является основной темой рассказа. Основная тема рассказа — великая сила искусства.

В кабачке выступают два соперника-певца. Это сопровождается своеобразным ритуалом, кому же первому из них начинать:

«— Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..»

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иванович.

— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов».

Итак, Тургенев дает нам двух «дуэлянтов» в области пения. Один из них — рядчик, показавшийся автору «изворотливым и бойким городским мещанином». Уже одно словечко «*изворотливый*» предreshает отношение Тургенева к этому человеку, но далее он не скупится на подобную же оценку и самого искусства рядчика: голосом он *вилял*; подхватывал напев с *занозистой удалью*; лез из кожи. Он уже овладевал слушателями, у одного только Дикого Барина «выражение губ оставалось презрительным», но вот наш певец совсем *завихрился* и начал отделывать *завитушки*. Так, не высказывая никакого своего прямого суждения о пении рядчика (в своем роде виртуоза), Тургенев самым описанием этого пения выражает свое к нему отношение, никак не восторженное, ибо это было одно чистое мастерство, лишенное внутреннего огня.

Совсем иное дело — пение Якова Турка, который «был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца».

Автор рассказа прежде всего подчеркивает, что в самом голосе певца была неподдельная глубокая страсть. «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны». Видимо, песня эта — «Не одна во поле дороженька пролежала» — шла из какой-то давней исторической глубины, ибо при характеристике ее Тургенев говорит словами, естественно вызывающими в памяти древнюю Русь: внутренняя дрожь голоса — *стрелой вонзается*; он пел — и знакомая *стен* раскрывалась, уходила в бесконечную даль...

Настойчивое упоминание именно *русской* стихии в пении Якова совсем не случайно. Дело в том, что самое прозвище было дано ему оттого, что мать его была пленная турчанка, а вот вся душа Якова, вылившаяся в его пении, — вся, до дна, русская. Таким образом, здесь, рядом с темой о состязании певцов, или, вернее, «в подтексте» темы, лежит и другая бесконечно важная тема:

о силе русского народного начала, прошедшего через ряд веков и тяжелых испытаний, в столкновениях с другими народами, но сохранившего себя во всей своей чистоте.

Передавая впечатления от пения Якова, автор откровенно признается, что он не мог сдержать ответного своего волнения: «У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы». Зарыдала жена целовальника, серый мужичок в уголок тихонько всхлипывал.— «и по железному лицу Дикого Барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза». Но вот Яков кончил. «Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь», и далее Тургенев описывает, как, наконец, «все вдруг заговорили шумно, радостно».

Такова была в состязании этом победа над внешним чистым мастерством этого глубокого внутреннего и подлинно душевного творчества.

Автор «Записок охотника», однакоже, всегда «верен действительности», и он не остановился перед тем, чтобы показать нам и другого Якова. Когда некоторое время спустя, уже поспав на сеновале, он подошел к окошку, перед ним открылось совсем иное зрелище. «Я увидел, — пишет Тургенев, — невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песнь, лениво перебирал и щипал струны гитары...»

И это был тот самый Яков, который во время пения вызвал в душе Тургенева совершенно особенный поэтический образ: «Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова».

Тургенев не делает никаких выводов из этого противопоставления Якова, когда он весь пронизан высоким дыханием искусства, тому же Якову в его житейском «падении», но одновременно мы взволнованно чувствуем, что русский народ, способный подыматься на такую духовную высоту, заслуживал, конечно, *иного образа*

жизни — более культурного, ближе соответствующего его духовным богатствам. Это был тоже своеобразный протест против той крепостной неволи и той «печальной юдоли», в которых русская деревня пребывала в ту эпоху.

В какой совсем иной мир мы погружаемся после душевной атмосферы «Притынного» кабачка, когда попадаем в поэтическую обстановку «Бежина луга» — на вольный воздух, в ночную долину под шатром синего неба. Да и сами герои рассказа — ребята с их свежимдыханьем и природною непосредственностью.

«Бежин луг» начинается превосходною картиною летнего погожего дня. Особенно выделяются те строки, где говорится о наступлении вечера после захода солнца: «...на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взшло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледelec для уборки хлеба...»

Здесь все так гармонично, так естественно, реально и в то же время так воздушно-легко, что приходится сделать некоторое усилие для того, чтобы коснуться отдельных поэтических частных: вечерняя звезда не «зажжется», не «вспыхнет», не «заискрится», она, «тихо мигая», *затеплится*, — так это будет в полном соответствии со спокойным наступающим вечером, когда на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. Здесь нельзя не вспомнить Калиныча: «Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо». И тут как раз это «вечернее небо» и сопутствующий ему покой. Только звезда не стоит на месте, она, *несомая*, — движется... А с другой стороны, этот летний «зной» столь реально ощутим, что Тургенев говорит о нем как о некоей мате-

риальности, и притом достаточно «плотной», ибо ветер не только разгоняет, но он *раздвигает* накопившийся зной; также и «вихри-круговороты» *гуляют* по дорогам.

А к будущему сборищу мальчиков, выехавших «в ночное», нас как бы готовят следующие строки Тургенева, потерявшего в потемках дорогу: «Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползли туда для тайного совещания». Точно так же в углу огромной равнины, по которой протекала река, собрались деревенские ребята, но уж никак не для «тайного совещания», а чтобы пасти лошадей и поболтать на свободе у костра; с ними-то автор и провел эту короткую летнюю ночь. Тут, как и со «знюем», мы имеем то же своего рода «уплотнение темноты»: круглое красноватое отражение пламени «замирало, *упираясь в темноту*», как если бы она была чем-то твердым. Общее ощущение ночи дано также реально — через ее запахи: «Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный томительный и свежий запах — запах русской летней ночи». В этом мы снова узнаем Тургенева, хорошо знавшего за границу, но тем более глубоко любившего все русское.

О «Бежином луге» — о нем одном — можно было бы писать целое небольшое исследование, сопоставляя между собою все эти так живо и непосредственно нарисованные фигуры мальчиков и их рассказы. Здесь Тургенев и по языку и по образности порою как бы превосходит сам себя. Костер то разгорался, то потухал, вырывая из тьмы то кого-нибудь из ребят, то собаку, то внезапно налетевшего голубя. Позволим себе и мы также дать — в порядке их возникновения — отдельные замечания, которые невольно рождаются при чтении этих страничек, дающих кусочек русской действительности, похожий на старинную русскую сказку.

Тургенев в «Бежином луге» как бы сливается сам со всею этою детворой, с очарованием летней русской ночи. Он так и пишет: о лошадях — почему выгоняют их *у нас* на ночь; камыши «шуршали», как говорится *у нас*; даже в примечаниях, поясняющих отдельные орловские слова, он тоже дважды употребляет это интимное выражение *у нас*. Писатель-орловец наслаждается также и этим чистым орловским говором в устах у деревенских детей.

Вот хотя бы рассказ десятилетнего мальчика Кости, про большие черные глаза которого Тургенев говорит так: «Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов». И вот, однакож, как мальчик находит эти слова, рассказывая про слободского плотника Гаврилу:

«А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый: пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел, бог знает, куда зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал, — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светил сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои...»

Этот рассказ построен в высокой мере своеобразно: мальчик сам словно так же заблудился между слов, как заблудился в чаще лесной и плотник Гаврила. Скажет какое-нибудь словцо и повторит, и так не один раз: «он такой все невеселый» — «вот отчего он такой невеселый: пошел он раз» — «пошел он, братцы мои, в лес по орехи». И дальше повторяется снова «пошел» и опять «по орехи»... И на всем протяжении этого рассказа маленький Костя, словно орехи, ищет слова и продвигается не спеша через кустики фраз и вот, наконец, видит, как и Гаврила, такую же сказочную русалку, которая сидит на ветке... (Тут и глаголы, кстати, из прошедшего времени переходят в настоящее.) Но сидит русалка на ветке совсем не как птичка, а, к нашему удивлению, как маленькая рыбка: видимо, Костя был завзятый удильщик-рыболов. Если былины текут как большие реки, то сказки наши поблескивают как лесные озера, а здесь говорок мальчика Кости доходит до нас как поэтический лепет юного живого ручейка, бегущего из этого сказочного озера. Так и образ

самого «сказочника» как бы сливается с образами его сказки.

Это дыхание русской сказки и далее пропитывает собою всю эту русскую летнюю ночь, и мы сами вдыхаем ее «особенный, томительный и свежий запах». В этой поэтически-сказочной атмосфере проглядывают иногда и отголоски легенд, связанных с памятными народу живыми людьми. Вот как рассказывается о некоем таинственном Тришке: «В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают». Подобный же рассказ в детстве слышал я сам (также орловец) — о том, как не Тришку, а Стеньку Разина посадили в острог, а он попросил себе уголь и углем на стенке нарисовал лодочку; сел в эту лодочку и уплыл через стену на свою матушку Волгу.

А вот как рассказывает тот же Костя про утонувшего мальчика Васю и про мать его Феклисту: «И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапoнька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утoп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то все таку песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...»

На близость этого места со строками из «Слова о полку Игореве» об утонувшем в Стугне-реке юноше Ростиславе указал мне покойный тургеневед Н. П. Щекин-Кротов.

Вот это место из «Слова»:

«Плачется мати Ростиславя по уноши князи Ростиславе. Уныша цветы жалобою, и древо с тугою к земли преклонило...»

Так и здесь в древнем «плаче» изливает свою скорбь мать, потерявшая своего сына.

Следует особо приглядеться к одному из мальчиков — к Павлуше, которого, несомненно, выделяет и сам автор. Наговорившись сказок и наслушавшись их, ребята и вообще насторожились. Их испугал какой-то отдаленный и непонятный звук. «Мальчики переглянулись, вздрогнули...» Один из них прошептал: «С нами крестная

сила!», а Павлуша отозвался по-своему. «Эх вы, вороны! — крикнул Павел, — чего всполохнулись! Посмотрите-ка, картошки сварились». Вспомним, как Бирюк, поймав мужика, сурово ему промолвил: «Ну, поворачивайся, ворона!» Эта «ворона», слетевшая с уст Бирюка, через три года «перелетела» в новый тургеневский рассказ, и не зря вновь произнес ее именно Павлуша — мальчик, в каком-то смысле действительно родственник Бирюку и родственник прежде всего скрытою в нем силой.

Однако читатели могут припомнить из героев Тургенева не одного Бирюка.

Описывая «неказистую» наружность Павлуши, рассказчик говорит, однако: «А все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила». А ум, прямота, сила, звучащая даже непосредственно в голосе, и всего более *совокупность* всех этих примет — это уже черты будущего Базарова. Таким образом, мы видим по сути дела самую прямую и органическую близость, родственность этой наиболее крупной фигуры, нарисованной Тургеневым, с русской деревней, с крестьянством, вот с такою прямой крепкой фигуркой, каким дан Павлуша.

И даже это выражение: «а все-таки он мне понравился», примененное к Павлуше, необычайно точно передает и отношение романиста Тургенева к герою своего романа. Сам Тургенев — совсем не Базаров, но все же этот новый герой своего времени не мог ему не нравиться, как один из коренных русских типов. И Тургенев дал его во весь рост и в том, можно сказать, «повороте», когда через известную грубоватость его мы чувствуем прежде всего самое основное — природную, органическую и негибкую народную силу.

Так и у Павлуши его бесстрашие, твердость, решимость, самая быстрота его волевой реакции — все это обещает в будущем крупного человека. Конечно, и он поддается отчасти сказочно-поэтической стихии летней орловской ночи, но не зря Тургенев перебивает детские рассказы небольшим происшествием, которое именно житейски-реально позволяет нам ощутить особый характер этого мальчика.

Как раз после «страшного» рассказа Илюши о том, как баран, глядя Ермилу-псарю прямо в глаза, стал повторять за ним, оскаливши зубы: «бьяша, бьяша», — тот-

час после этого напряженного момента рассказа «обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались». Один Павлуша бросился вслед за собаками, а через некоторое время «раздался топот скачущей лошади»: это он вернулся уже и спрыгнул на землю.

Тургенев невольно «полюбовался» им: «Что за славный мальчик!» Он оценивал и его ответ на вопросы товарищей. «Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью». (Заметьте: *проворно дыша всей грудью*, а голос *равнодушный*; какое самообладание!) И несколько дальше: «Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалой и твердой решимостью. Без хвостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка...»

Даже когда Павлуше, ходившему за водой, самому почудилось, что утонувший Вася, которого перед тем вспоминали ребята, зовет его к себе из воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда», — даже тогда он сохранил полное присутствие духа: «Я отошел. Однако воды зачерпнул». Ему говорили, что «это тебя водяной звал, Павел», и «это примета дурная», но и это его не смутило. «Ну ничего, пушай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь».

Очень характерно, как Тургенев и это «таинственное» передает совершенно реально. И здесь, подобно случаю с Бирюком-привидением в собственном своем восприятии, он рисует все через восприятие самого Павлуши, ни звуком не обмолвившись от себя, что все это мальчугану лишь показалось. И как раз то, что тот «действительно» слышал почудившийся ему голос, поверил в него (как поверили и все вокруг) и все-таки не убежал, не закричал, а сделал то, зачем пошел, зачерпнул воды и «подошел к огню с полным котельчиком в руке», — это и рисует его настоящее мужество.

И в дальнейшей судьбе своей Павлуша обещал такую же твердую, «реалистическую» поступь, и хотя и погиб совершенно случайно, все же прочно остался в памяти автора «Бежина луга»: у Тургенева была определенная склонность к подобного рода характерам, которым было еще так тесно в тогдашней России.

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА»

Стали привычными выражения: «тургеневская девушка», «тургеневские женщины». Выражения эти вполне законны, ибо Тургенев умел необычайно проникновенно раскрыть образ тонкой и светлой женской души и ее самые интимные движения, — говоря словами Фета: «Ряд волшебных изменений милого лица». Это не исключает того, что под перо Тургенева отлично ложатся также и другие, как положительные, так и отрицательные, или даже смешные женские образы и отдельные характерные в них черточки. Но как бы то ни было, когда говорят о «тургеневских женщинах», то имеют в виду почти исключительно героинь его рассказов, повестей и романов, женский же мир в «Записках охотника» остается в значительной мере в тени. Исключением является лишь образ Лукерьи из рассказа «Живые мощи». Это и понятно, ибо Лукерья — простая русская женщина — является весьма яркою фигурой не только русской классики, но и всей мировой литературы.

Сочетание в одном человеке образа высохшей мумии, который сменил собою былую красоту, с живою судьбой этой женщины, сумевшей сохранить в себе все богатство поэтического восприятия мира, — сочетание это говорит нам очень много. Оно дает нам обобщенный образ крепостного русского народа, жизнь которого уродовалась этим его подневольным бытием: Лукерья, прикованная к своему ложу, и русский мужик, прикованный к земле своего барина.

Изумительно, однако, что эти внешние оковы — страшной болезни у Луши и крепостной неволи у крестьян — не погашают богатства и красоты внутренней духовной жизни. «Живые мощи» не есть, как некоторые думали, призыв к терпению, а следовательно и к примирению с печальной действительностью. Если бы это было так, то этому рассказу не было бы места в «Записках охотника». Да и сама Лукерья, невзирая на всю свою оторванность от жизни и, можно сказать, пребывающая в мире видений, однакоже на прощанье ничего другого не попросила, как самого простого, естественного и житей-

ского: она вспомнила о крестьянах. «А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные, — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет...»

Когда мы говорили, что Тургенев берет все из действительности, мы не думали этим утверждать, что он просто списывает с натуры все то, что видит. Один из его знакомых сохранил его признание: «Я никогда прямо не срисовываю с живых образчиков человеческой природы, я не фотограф; и это было бы недостойно художника»: Тургенев, как художник, брал из действительности лишь определенные наиболее яркие и говорящие черты, развивая их далее уже по законам своей внутренней художественной логики. Во многих местах в произведениях Тургенева, как, впрочем, и в произведениях других крупных художников, нередко можно усмотреть некоторые автобиографические истоки повествования. Так и здесь, — прежде всего Тургенев сам откровенно вспоминает: «...Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, — высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!» Дальше Лукерью называет он и просто Лушей.

Интересно с этим сопоставить следующий случай из жизни юноши Тургенева:

«Иван Сергеевич, студент Петербургского университета, приехал домой, в село Спасское-Лутовиново, на рождественские каникулы. Первую новость, какую он услышал от матери, — это продажа дворовой девушки Луши, красавицы и первой рукодельницы на дворне...

Иван Сергеевич прямо заявил матери, что торговлю крепостными он считает варварством, не совместимым с достоинством дворянства; что продажи Луши он, как законный наследник отца, ни в коем случае не допустит, и в конце концов укрыл девушку в одной надежной крестьянской семье.

Покупательница... обратилась к уездной полиции за содействием к получению купленной «крепостной девки Лукерьи», причем представила все дело в таком виде,

что-де «молодой помещик и его девка-метреска бунтуют крестьян»...

В Спасское-Лутовиново для усмирения «бунта» немедленно полетел капитан-исправник.

Однако Тургенев и исправнику заявил, что он Луши не выдаст.

Услышав такое заявление, исправник, поддерживаемый Лутовинихой, собрал из жителей окрестных селений толпу «понятых», вооруженных дубинами, и во главе ее отправился к дому, в котором укрывалась девушка.

Тургенев встретил исправника на крыльце этого дома с ружьем в руках.

— Стрелять буду! — твердо заявил Иван Сергеевич. Понятые отступили.

Исправник, пользовавшийся в Спасском-Лутовинове постоянным гостеприимством, не знал, что делать».

Когда Тургенев в 1852 году был арестован, жестокие отклики крепостного права не переставали его наступать. Рядом с той комнатой, где он проживал под арестом, была так называемая «эзекуционная»; там секли присылаемых владельцами на съезжую провинившихся крепостных слуг. В одном из воспоминаний об этом факте мы читаем: «Написавший «Записки охотника» принужден был с отвращением и содроганием слушать хлест розог и крики секомых».

Сечение розгами и вообще побои были обычным явлением; секли и женщин. Мы уже по «Хорю и Калинычу» помним, как сосед помещика Полутыкина, Пичуков, высек его же бабу на запаханной земле. В рассказе «Бурмистр» автору удалось из-за «могущественных плеч» старосты «увидеть, как бурмистрова жена в сених втихомолку колотила какую-то другую бабу». В рассказе «Контора» поминается об избияниях «беззащитной девки» Татьяны... Такова в этих отрывочных записях судьба крепостной женщины, про которую Некрасов сказал: «Доля ты русская, долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать!»

В «Записках охотника» мы видим, однако, и целый ряд независимых, самостоятельных, а порою и гордых, по-своему умных женских крестьянских образов.

Если Арина из рассказа «Ермолай и мельничиха» в результате одного «маленького анекдотца» — по выражению помещика Зверкова, полностью оправдывающего свою фамилию, — не оказав никакого активного сопротивления, покорно примирилась со своею судьбой, то история других женщин гораздо значительнее и характер их проявляется глубже, и интереснее, и много активней.

Такова, прежде всего, Матрена из рассказа «Петр Петрович Каратаев». Этот рассказ недаром сначала носил заглавие «Русак». Действительно, сам Петр Петрович выделяется среди других помещичьих фигур своею простотою и мягкостью, также и «широтой натуры», свойственной русскому человеку. Он полюбил чужую крепостную девушку и попробовал ее купить у старухи хозяйки. Дело не вышло, и Матренушку, к великому огорчению Каратаева, сослали в глухую деревню.

Сам он так об этом рассказывает: «Верите ли, ни днем, ни ночью покоя мне не было... Мучусь! за что, думал я, погубил несчастную девку! Как только, бывало, вспомню, что она в зипуне гусей гоняет, да в черном теле, по барскому приказу, содержится, да староста, мужик в дехтярных сапогах, ее ругательски ругает — холодный пот так с меня и закапает».

Матрена, как ее ни тянуло к Петру Петровичу, долго не соглашалась бежать вместе с ним. И это не потому, чтобы она робела и боялась чего-либо непосредственно за себя. Каратаев сам про нее говорит: «Характеру у ней было много...» Однако тут же он прибавляет и нечто еще уже совершенно другое: «Душа была, золотая душа!» И вот эта-то «золотая душа» и не могла сразу решиться на такое своеволие: «Да из-за меня семье моей житья не будет».

Когда, наконец, Матренушка, «отдохнула, поправилась», для нее началась совсем иная жизнь, во многом на прежнюю совсем не похожая. Так про одного из приятелей своих, Горностаева, который у них частенько бывал, сам Каратаев, изумляясь ему, говорил: «...не мне чета: человек он образованный, всего Пушкина прочел; станет, бывало, с Матреной да со мной разговаривать, так мы и уши развесим. Писать ее выучил, такой чудак!» Так постепенно Матрена находила сама себя.

Но она не всегда бывала одинакова. То «бывало, задумается, да и сидит по часам, на пол глядит, бровью не

шевелинет», а то примется смеяться, шутить, плясать. Так в ней чередовались мысли и чувства, и настоящий жар души, и талант подлинного веселья. А порою, ко всему этому, в ней просыпалась еще и самая настоящая русская удаль. Сцену о том, как зимой Матрена в санях наехала на свою барыню и опрокинула ее в снег, нельзя читать без ощущения какого-то молодого хорошего озорства. Герой рассказа об этом сам повествует так:

«Вот как-то раз выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, ветра нету... мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет? Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулась. Дай, дескать, покуражиться. А! подумал я, была не была!.. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? ведь хорошо — скажите сами? Вот мы и едем. Иноходец мой так и плывет, пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились, — вот уж и кукуевскую церковь видно; глядь, ползет по дороге старый зеленый возок и лакей на запятках торчит... Барыня, барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям; да как помчится прямо на возок! Кучер, тот-то, вы понимаете, видит: летит навстречу Алхимерэс какой-то, хотел, знаете, посторониться, да круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул. Стекло разбилось — барыня кричит: «Ай, ай, ай! ай, ай, ай!» Компаньонка пищит: «Держи, держи!» а мы, давай бог ноги, мимо».

Все мы помним так же хорошо, как Матренушка ушла от своего Петра Петровича. Она, вопреки сильному его сопротивлению, настояла на своем: «Не хочу вам больше беспокойства причинять, Петр Петрович». И ушла, А «беспокойство» заключалось, между прочим, и в том, что по требованию Матрешинной госпожи приезжал к Петру Петровичу исправник с требованием вернуть беглую. Вот эта последняя подробность — об исправнике, который хотел «освободить» девушку, опять-таки напоминает нам историю самого молодого Тургенева с Лушей. Там исправник — «восстанавливающий права», и здесь он в той же роли; там он «не знал, что делать», — и здесь в этом же роде. Он говорил: «Ответственность сильная и законы на этот счет ясные». Но выгодная мена лошадей-

ми, предложенная ему Каратаевым, это сложное положение легко прояснила!

Что наше сближение двух этих историй вполне законно, указывает и еще одна маленькая подробность. В рассказе «Живые мощи» Лукерья позвала Тургенева так: «Барин, а барин! Петр Петрович!» При этом она вспоминала, как, бывало, водила хороводы у матушки Тургенева в Спасском, а вот назвала его не Иваном Сергеевичем, а именно Петром Петровичем, как звали Каратаева — в рассказе о его любви к Матреше. Такие, кажущиеся понятными лишь им самим, пусть «мелкие», но действительно бывшие в жизни подробности писатели вообще не так редко позволяют себе в своих произведениях: это придает отдельным страницам какую-то особую интимность, как если бы это был легкий вздох, вырвавшийся из глубины души, о далеком прошлом, но полностью понятный лишь самому себе.

Мы не задаемся целью исчерпать все женские образы из «Записок охотника», но нельзя не остановиться еще на одном образе из рассказа «Конец Чертопханова». Девушку Машу, жившую у него, мы встречаем еще на последних страницах предыдущего рассказа «Чертопханов и Недопюскин». Маша — цыганка: «все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль». Она бывала то застенчива, как «дикарка», то недовольна и «зла»... А то — «принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню». Вот так-то умела и Матренушка — «и плясать и на гитаре играть...» Тургенев, видимо, сам и любил это и ценил.

Сцену о том, как цыганка Маша покинула Чертопханова и как он, нагнав ее, с нею прощался, пересказать невозможно: здесь уж поистине все достоинства «писательской речи, где не можно отыскать слово, что прибавить или что убавить к их точности и звуку»¹. Поэтому самое лучшее при чтении некоторых наших замечаний иметь

¹ Эта цитата из недавно полученного мною письма от «колхозного строителя» — плотника Василия Афанасьевича Горшкова, бывшего моего слушателя в Воскресной школе в Киеве в 1902 г. Мне захотелось привести это выражение, как образчик точности у самого этого рабочего-орловца.

перед собою полный тургеневский текст. И все же возьмем хотя бы следующие строки:

«Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица — и хоть бы слово кому промолвила — все только глазами поводила да задумывалась, да подрагивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась».

Прочитать эту фразу — менее пулуминуты, а в ней заключено целых три дня сложных, сменяющих одно другое переживаний. Мы уже не удивимся сравнению Маши с лисицей. Мы помним, как про нее же было сказано: «Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало». Или: «Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выраженье...» Всеми этими сравнениями — змея, кошка, львица — Тургенев, конечно, как бы примерял по отношению к Маше всю непосредственность и глубину инстинктов, свойственных именно животному миру. Но вот, наконец, окончательное определение найдено: Маша — лисица.

В этом коротком определении заключена уже самая характерная черта животного, обладающего прежде всего тонким умом: такова лисица в народных сказках. Но этого мало, «лисица» дана в определенных обстоятельствах: она ранена и томится, ища выхода из положения. Все в ней отражает эти ее сложные поиски в густой чаще противоречивых чувств и мыслей, все приходит в движение: глаза, брови, зубы, руки, и всем этим движениям найдется внутреннее их сопровождение, когда произойдет короткий, но жаркий разговор между этой молодой женщиной, степенно ушедшей из дому, и стремительно бросившимся в погоню за нею Чертопхановым — с пистолетом в руках.

В разговоре этом Маша открывается нам предельно ясно. Если в предыдущем рассказе мы не совсем понимали, откуда это у нее «породистые» руки или как это понять: «из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы», то теперь во всем поведении Маши вскрывается эта ее порода. В чем же дело? Можно, конечно, было бы подумать, что Тургенев хочет сказать, что Маша была незаконная дочь какого-нибудь большого барина и в ней

сказывалась эта ее дворянская «порода». Но как будто бы специально затем, чтобы у читателя не возникло подобной мысли, Чертопханов говорит у Тургенева: «Взяла платок на голову накинула — да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни...» И что же отвечает она? «Этого мне хоть бы и не надо, — перебила Маша».

Итак, дело не в дворянстве, дело в другой «породе»: в породе вольного цыганского племени. Вот это гордое самоопределение Маши-цыганки, которая и чувствует и сознает полное единство со своим народом: «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу-дальнюю сторонушку — где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни — другой такой подруги тебе не найти, — и я тебя не забуду, сокола моего; а жизнь наша с тобой кончена!»

Это целый, развернуто данный, богатый внутренний мир гордой и правдивой цыганки, верной своей «породе»: «Али наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай». Вспоминается пушкинская Земфира из «Цыган», как она объясняет отцу перемену своего отношения к Алеко: «Мне скучно; сердце воли просит...» Земфира разлюбила Алеко, а у Маши «тоска-разлучница» отзывает душеньку во чужу-дальнюю сторонушку», но «нрав» у обеих один: покорствовать только себе, своему вольному желанию. Так писатель-художник своеобразно (впрочем, в полном согласии с Пушкиным) определяет эту особую — национальную — «породистость» своей героини.

Как Тургенев дает ощутить порою очень важные вещи, ни слова не говоря специально об этом, мы уже видели не раз. Обратим внимание и здесь на одно местечко из прощального разговора Маши и Чертопханова:

«— Я тебя любил, Маша, — пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо...»

— И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеич!

— Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти...»

Что здесь обращает на себя наше внимание? Чертопханов говорит: «Я тебя любил», и Маша отвечает точно так же: «И я вас любила». Но когда он рядом с глаголом в прошедшем времени употребляет его же и в настоящем времени: «Я тебя любил, я люблю тебя», — Маша уже не отзывается. Она не говорит какими-либо словами, что

она уже не любит его, ибо она деликатна, она жалеет его, но она «говорит» это же самое своим отказом от «повтора» его слов, своим «умолчанием».

И сам Тургенев, таким образом, о том, что Маша уже разлюбила Чертопханова, читателю прямо нигде не говорит, а заключает все это в ту же «фигуру умолчания» — на фоне предыдущего полного повтора. И этот художественный «прием» говорит много больше, чем если бы все это было прямо сказано автором. То, что Маша воздержалась от «повтора» слов «я люблю тебя», говорит не только об отсутствии у нее этого чувства в настоящее время, но и о самом характере этой женщины — действительно деликатной и осторожной по отношению к другому человеку.

Мы оставляем в стороне такие фигуры, как забавная Татьяна Борисовна, которую так ловко «обошел» псевдохудожник, ее племянник, или трогательная, уже совсем не от мира сего бедная помещицья девушка, полюбившая уездного лекаря, — но нельзя совсем миновать такой женский образ как Ольга, — в рассказе «Мой сосед Радиллов»: это одна страстная жажда жизни...

Радиллов потерял свою молодую жену, и вся жизнь его ушла «на время внутрь», а с ним жила сестра покойной — Ольга: у нее было «решительное и спокойное» выражение лица. Несколько дальше, не боясь повторить самого себя, Тургенев говорит и о ее движениях: «Ее движения были решительны и свободны». «Решительность» всегда предшествует какому-либо поступку, но на что ей было решаться? Тургенев этого не говорит, заставляя нас тем самым об этом пока что догадываться.

Но вот Радиллов рассказывает о смерти горячо любимой своей жены. Тургенев взглянул и на Ольгу, также слушавшую этот рассказ: «В век мне не забыть выражения ее лица». И только позже, уже сообщив читателю о том, что Радиллов и Ольга вместе куда-то бежали, автор признается нам, что и он «только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданьем дышало оно тогда: оно пылало также ревностью».

Какая, между прочим, точность глаголов: состраданье — *дышало*, а *пылало* — ревность! И как много говорит самое сочетание столь противоположных чувств, как состраданье и ревность. Вспоминается уже отмечав-

шаяся нами смесь «врожденной свирепости» и такого же «врожденного благородства» у Дикого Барина. Автор как бы нам говорит, что напряжение противоположных чувств или даже столь же различных качеств в самом характере человека разрешается именно только в поступке, в деянии. И если у Дикого Барина эта возможность великого повторного взрыва в нем пока только таилась, то Ольга нашла томлениям своим активный исход.

В заключение хочется отметить эту общую трем женским образам «Записок охотника», нами затронутым, — Матренушке, Маше и Ольге — активность, решительность и настойчивость в достижении поставленной ими себе цели. Достаточно рядом с ними назвать Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» и Елену из «Накануне», чтобы сразу сказать, к которой из них они ближе. Да, как в «Бежином луге» Павлушины ум, прямота и сила могут заставить нас вспомнить образ Базарова, так и эта женская решительность и способность к активным житейским поступкам ведут нас не к Лизе Калитиной, а к Елене из «Накануне».

VI

ПОМЕЩИЧЬИЙ МИР В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА»

Образы помещиков в «Записках охотника» даны с меньшей щедростью, чем образы крестьян, но, странное дело: невзирая на большое их своеобразие и на то художественное внимание, которое уделяет им автор, все они как-то сами собою словно бы отходят на задний план. Наиболее яркими и неожиданными фигурами являются в «Записках охотника» прежде всего «мужики». Мир помещиков для читателя того времени был уже привычным миром, который не раз рисовали многие художники слова, и оттого он не производил впечатления чего-то совсем нового: все было в основном знакомо. Казалось, что самые художественные краски, которыми Тургенев живописал помещиков, были как бы подернуты туманом чего-то отходящего, обреченного. Именно это последнее ощущение «обреченности» помещичьей власти над живыми людьми, им подвластными, и было основным,

окончательно подсекающим этот строй общества, действительным ощущением.

Однако и среди героев из этого мира Тургенев находит сами по себе любопытнейшие фигуры своих современников. Среди них есть и люди с определенно приятными чертами характера и есть упивающиеся своею властью и возможностью проявлять ее по собственному произволу, настоящие крепостники. Про них мало, конечно, сказать, что это «отрицательные» типы: они отвратительны. Таковы в особенности два из них: уже упоминавшийся нами Зверков из рассказа «Ермолай и мельничиха» и Мардарий Аполлоныч Стегунов из рассказа «Два помещика». Обе эти фигуры, в то, как они поданы автором «Записок охотника», ведут уже непосредственно к творчеству Салтыкова-Щедрина.

В г-не Зверкове артистически смешаны самовлюбленность и обожание своей жены, про которую он говорит, что она «ангел во плоти, доброта неизъяснимая», но которую сам Тургенев живописует так: «пухляя, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое созданье». И вот про такое-то «тяжелое созданье» ее муженек, не устающий ее восхвалять, говорит еще и так: «Горничным ее девушкам не житье — просто рай воочию совершается...» А между тем одна из этих горничных позволила себе полюбить лакея Петрушку, в то время как барыня держала горничных только незамужних. Что же при этом переживает Зверков? «Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность...» А затем, когда произошло с девушкой то самое, про что «стыдливый» Зверков выразился только намеком: «Вы понимаете... я стыжусь выговорить», — этот изысканно деликатный помещик приказал виновную «остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню».

Заслуживает большого внимания та манера, в которой нарисован образ этого помещика. Он как бы деликатен, но по сути дела слащав и в то же время, несомненно, жесток и недалек. Наличие этих разнообразных черт делает образ его необычайно живым, и автор достиг бы гораздо меньшего эффекта, если бы подал его с одним лишь отрицательным пафосом. Здесь же чувство моральной тошноты возникает у читателя как бы самопроизвольно, и как раз поэтому замысел автора осуществляется

наиболее полно: не в порядке какого-либо убеждения, а в порядке естественно пробудившегося ощущения в душе самого читателя. А это читательское ощущение было тоже немалым ударом по крепостному праву.

Не уступает Зверкову ни в художественном мастерстве, ни в производимом на читателей впечатлении образ и второго упомянутого нами помещика, носящего также по-своему выразительную фамилию *Стегунов*. Посечь бы кого-нибудь, посечь! — вот высшее наслаждение для этого человека. Самый звук от ударов, а особенно от ударов розги, приводит его в сладостно-блаженное состояние. Забежали в сад «Ермила-кучера куры». Девочка, дочка Ермила; выбежала затнать их домой. Стегунов «ухмыльнулся: — Эй, Юшка! брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку». Заметим кстати, что этот Юшка был уже «лет восьмидесяти», и, однакоже, за курами он «побежал». Но вот ключница успела перехватить Наталку и несколько раз шлепнула ее по спине.

«— Вот тэк, э, вот тэк, — подхватил помещик, — те, ге, те! те, те, те! А кур-то отбери, Авдотья, — прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался».

В другом случае Мардарий слышит настоящие звуки порки, и вот как об этом рассказывает Тургенев: «Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, — но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там, по моему приказу, шалунишку наказывают... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот, что наемни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит».

А далее опять это сочетание «добрейшей улыбки» и «ясного и кроткого взора» с истинным наслаждением от самых звуков порки! «Самое лютое негодование, — добавляет при этом автор, — не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча».

Находились люди, которые видели в этой фразе, что будто бы и сам Тургенев не мог устоять против этого «взора», между тем как совершенно ясно, что этот «мазок кисти» явно иронический, рассчитанный именно на то, чтобы дать почувствовать всю органическую порочность этого человека. Если бы эта приведенная нами выше фраза выражала мнение самого автора, то зачем бы тогда Стегунову обращаться к нему с такими словами: «Что вы, молодой человек, что вы? — заговорил он, качая головой. — Что я, злодей, что ли? что вы на меня так оставились? Любая да накажет: вы сами знаете». Не ясно ли, какими глазами глядел автор рассказа на это чудище?

Но Тургенев, для неподготовленного читателя совсем неожиданно, приводит реплику самого только что высеченного буфетчика Васи, который не только не негодует на своего барина, а даже в общем его одобряет. Это краткое местечко — едва ли не самое страшное в рассказе: перед нами не только покорность, но и оправдание «законного» насилия, и притом оправдание, идущее со стороны самого пострадавшего. Этот буфетчик Вася — представитель старой, целиком покорствующей Руси. Такими именно словами и заканчивает автор свой необычайный рассказ: «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути».

Тургенев не раскрывает тех чувств, которые он вкладывает в это свое восклицание: они ясны и без того. И, несомненно, чувства эти были общими и у автора и у его читателей.

Из других фигур помещиков мы уже говорили о Полутыкине из «Хоря и Калиныча», сознательно «загнанном в угол» перед крупными фигурами двух «мужиков», а также о столь мягком и симпатичном Радилове, что сам Тургенев восклицает: «Что ж это за помещик, наконец!» Однако и рядом с ним есть «приживальщик», который забавлял на все лады своего барина, а к концу

обеда «начал было», по обычаю, даже и «славить» хозяев и гостя: обычай, идущий из глубокой старины — от времен древнего певца Бояна.

Любопытно отметить еще одно суждение автора о его «соседе Радилове»: «Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный». Самое замечательное в этой фразе — краткое противопоставление «но» и дальнейшее «все-таки». Автор только что до этого выразил свое мнение, что в Радилове, «во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, — именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его». Но как же его — помещика, степняка — полюбить, разве таких любят, разве в таких таится что-нибудь привлекательное? Казалось бы, на эти вопросы надо ответить: «Нет». Но, говорит Тургенев, вопреки тому, что «помещику и степняку», очевидно, не подобает быть «славным», он *все-таки* был славный. Это признание особенно любопытно потому, что и автор-то сам как-никак был помещиком. (А кстати, по поводу выражения «все-таки», припомним, как автор употребил его и по отношению к Павлуше из «Бежина луга».)

Очень рельефны взаимоотношения помещика из рассказа «Бурмистр» — гвардейского офицера в отставке Аркадия Павлыча Пеночкина — со своими крепостными. Этот не расплывается в «сантиментах» и остается в пределах видимой «корректности». Недаром эпизод, который мы приводим ниже, остановил на себе внимание В. И. Ленина, а сам герой рассказа послужил ему как образец для характеристики одного из его современников. Вот этот отрывок, вскрывающий «до дна» «светски воспитанного» молодого помещика.

«— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— *Parдон, mon cher,* — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — при-

бавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошел человек толстый, смуглый, черноглазый, с низким лбом и совершенно заплавленными глазами.

— Насчет Федора... распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием».

Автор и здесь не пишет о своей реакции на поступок героя рассказа, но она ясна из озабоченного вопроса хозяина, обращенного к гостю: «Да куда же вы?» Очевидно, гость тотчас же поднялся из-за стола.

Переключка этого «термина» — «распорядиться» — с поркой буфетчика Васи дает ощущение того, что порка слуг была явлением самым обыденным. Отметим при этом особо, как сказано, что камердинер, не посмеявший произнести ни одного слова, «помялся на месте, покрутил салфеткой». Это движение руки, в котором есть уже и ощущение предстоящей порки, очень точно выражает «немой» протест провинившегося.

Так же точно, увидев проезжавшего по деревне Пеночкина, «хромой старик с бородой, начинавшей под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился». За что же этот старик так жестоко расправился со своей лошадью? Это было молниеносное психологическое ощущение того, что его самого будто вот-вот ударят, и он инстинктивно перенес этот удар на бедную конягу.

Да что старик! Вот, завидев барина, «мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались».

Эта последняя «картинка», несмотря на всю свою краткость, весьма выразительно дает ощутить всю глубину той пропасти, которая лежала между барами и крестьянством, но она также весьма любопытна и по тому, как она написана: мы положительно все это видим и слышим, как если бы сами были тому свидетелями. И все это достигнуто единственно предельною точностью в передаче отдельных черточек того, что происходит.

Еще более кратко, всего одним лишь глаголом, Тургенев позволяет нам увидеть, как садился на лошадь туч-

ный староста, сын бурмистра: «Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке». Этот глагол, о котором мы говорили, — «взвалился»: так и видишь это движение, как брюхо будущего седока скользит вверх по крутому боку лошади! В звукосочетании «взвалился» мы чувствуем тот «взволок» на дороге, который приходится преодолевать путнику. И вот это-то ощущение и делает этот простой глагол столь выразительным. И у самого Тургенева после того, как это движение «наизволок» завершено, как бы с легким сердцем возникает уже движение лошади, пустившейся «рысцой».

Про этого старосту сказано еще, как тот отвечал на вопросы хозяина: «Вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал». И еще как тот же староста стоял возле жаловавшихся крестьян «с разинутым ртом и недоумевающими кулаками». Тут был барин, и тут были мужики, и его кулаки «недоумевали», почему же они все ещё в бездействии... Точно так же и сам Пеночкин, постепенно разгоревшись в разговоре с мужиком, «шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы». Несомненно, что и у него «руки чесались», и он должен был также извиниться перед своим гостем.

В этом рассказе Тургенев открывает для нас ту «служилую» прослойку, которая зверски помогала барину высасывать соки из мужика, не забывая при этом, однако, и себя. Таков и староста Пеночкина и в особенности сам бурмистр, про которого один знакомый автору мужик из другого села выразился исчерпывающе кратко и точно: «Собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдешь!» (Не просто *собака*, а *какая!*) Стоит обоим их и главный конторщик в рассказе «Контора».

У Тургенева, естественно, и помещики не все на одно лицо. Кроме упомянутых нами ранее, особо любопытно выделить своеобразнейшую фигуру «Василия Васильича», который отказался даже назвать свое имя и предложил дать ему какую-нибудь кличку, назвав сам себя «Гамлетом Щигровского уезда». Вся его судьба — это образчик некоего неустойчивого равновесия, определявшегося общественной неустойчивостью самой эпохи.

Фигура Чертопханова столь «живописна», что автору пришлось уделить ей целых два рассказа. Чертопханов —

человек с безудержными порывами, способный равно и на простое буйство и на неожиданные, по-своему мужественные и даже дерзкие выпады против крупного по сравнению с ним дворянства. То, что он сам беден, дало ему возможность, не расставаясь со всеми своими причудами и барскими прихотями, понимать, однако, положение бедняков и всячески обиженных судьбою людей.

Именно таков Чертопханов, о котором мы поминали уже, когда говорили о сцене ухода от него цыганки Маши. Но другая его история — с утратой любимой им лошади Малек-Аделя — превосходит по напряженности переживаний даже этот уход от него любимой им женщины. Как Маша «лисицей» сидела перед тем, как покинуть его, так и сам Чертопханов, убедившись, что вновь обретенный им Малек-Адель не настоящий, ходил теперь «взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке».

Особо следует помянуть также хотя и о едва намеченном, но очень выразительном очерке молодого помещика Любозвонова, про которого рассказывал однодворец Овсяников. Любозвонов пытался разговаривать с крестьянами «запросто», как сказали бы позже — «по-народнически». Этот Василий Николаич, вышедший для разговора со своими крестьянами «в плисовых панталонах, словно кучер», живо напоминает нам Нежданова из «Нови», обрядившегося для общения с народом «в истасканный желтоватый нанковый кафтан». Здесь также можно заметить маленькое зернышко будущего романа.

Мы не исчерпали, конечно, в этом кратком обзоре всех героев Тургенева из дворянской среды, но следует сказать, что все они даются вперемежку с крестьянскими образами, и, окидывая теперь одним общим взглядом всю широкую, как сама Русь, картину деревенского народного бытия, мы отчетливо видим и определенно чувствуем, что эта социальная светотень не уступает в своей выразительности той чисто художественной светотени пейзажа, которой поэтически насыщены «Записки охотника».

Тема русской деревни, тема крестьянства не покидала Тургенева, можно сказать, всю его жизнь. В издании «Записок охотника» 1880 года Иван Сергеевич присоединил к печатавшимся ранее двадцати двум очеркам еще

три: «Конец Чертопханова», «Живые мощи» и «Стучит». Именно в таком составе с тех пор и перепечатаются «Записки охотника», а между тем уже на одре болезни, в самые последние дни своей жизни, Тургенев продиктовал рассказ «Une fin» («Конец»). Это рассказ о последыше-помещике, кончившем свою жизнь трагически. Рассказ написан совершенно в духе и манере других крестьянских рассказов в «Записках охотника», более того, он носит как бы итоговый характер, и крестьянство здесь отнюдь не пассивно.

В рассказе этом, при всей его общей мрачности, как неожиданный солнечный блик, возникает нарисованный со своеобразным, чисто тургеневским юмором легкий, очаровательный образ пятнадцатилетней помещицкой девочки Настеньки, которая убежала к этому неистовому человеку — Талагаеву. И какой сугубо мрачный контраст — в заключительной сцене, где Тургенев дает конец этого «последнего крепостника».

Автор едет зимою в санях, лошадь внезапно бросилась в сторону: «Какой-то темный предмет, очертания которого я не мог отчетливо разглядеть, лежал поперек дороги». Тургенев приблизился к нему и узнал Талагаева. «Сильным ударом топора у него рассечен был лоб; внезапно показавшийся месяц отразился в крови, разлитой вокруг его головы, что создавало ей подобие красновато-золотистого сияния.

Два конца толстой веревки валялись на земле около самой его шеи, и это растерзанное, замаранное, рассеченное лицо с необыкновенной силой выделялось на нетронутой, девственной белизне снега.

Я вспомнил, как однажды, после какой-то грубой схватки, я сказал при нем:

— Прискорбно будет для Талагаева, если он погибнет в такой свалке.

И Талагаев тогда воскликнул:

— Ну, нет, Талагаевы кончают иначе!

«Вот как они кончают!» — подумал я в эту ночь, стоя над его изуродованным трупом»¹.

Так этим рассказом Тургенев как бы ставит последнюю точку над эпохой крепостного права, для которого пришла достойная его смерть. Поистине заме-

¹ Перевод О. М. Новиковой.

чательно, что последние мысли великого русского художника слова были отданы этой основной теме его жизни.

Предсмертный этот рассказ Тургенев вынужден был продиктовать по-французски, ибо по-русски некому было его записать. И, однако, он столь русский по всему его «художественному дыханию», что французский текст кажется скорее переводом с русского, а русский перевод, напротив того, — подлинным текстом оригинала. А по самой сути своей этот последний тургеневский рассказ, пусть не написанный, а продиктованный, — одновременно и высокохудожествен и исполнен горячего чувства борьбы с тем самым врагом, против которого Тургенев «решил бороться до конца» и с которым «покаялся никогда не примиряться». Мы видим, что этой клятве он остался верен до самых последних дней своей жизни. И нам кажется, что, не нарушая авторской компоновки «Записок охотника», этот «Конец» и можно и следовало бы печатать после текста всей книги в виде «приложения» с кратким объяснением, почему это делается: это — подлинный конец «Записок охотника».

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из большой любви к великому художнику слова Ивану Сергеевичу Тургеневу возникла эта работа.

Заканчивая ее, автор настоящей книги полностью почувствовал, как трудоемка подобная работа и в то же время какое она доставляет истинно художественное наслаждение. Это как бы общение с самим Тургеневым, и общение не формальное, а по самому существу писательского труда.

Это авторское «признание» делается преимущественно для писателей, в особенности для писателей старшего поколения, у которых накопился опыт и собственного самонаблюдения. Было бы очень хорошо, если бы появились подобные работы и других авторов.

Автор настоящей книжки отнюдь не считает свою работу в каком-то смысле образцом для других подобных работ. Всякий исследователь — при одном, правда, усло-

вии, что он глубоко заинтересован в избранной им теме,— найдет свой собственный подход к решению поставленной себе задачи.

Нам думается, что подобного рода «изыскания» должны появляться, конечно, и о других наших классиках; что же касается Тургенева — то и о других его жанрах. При этом последний вопрос не обязательно сводится к тому, чтобы исследовать каждый жанр в отдельности и независимо от других. Творческая жизнь Тургенева в целом по-своему была сложна и одновременно необычайно органична.

Возрастая как поэт под огромным влиянием Пушкина и Лермонтова, но будучи очень строгим к самому себе; молодой автор вдруг понял, что, вопреки видимому успеху, он не представляет собою крупной поэтической величины, а стихи его далеко не оригинальны.

Писательский кризис этот разрешается у Тургенева тем, что поэзия его вовсе не умерла, а задышала новой жизнью в прозе: именно так и родилась эта необычайно поэтическая «тургеньевская проза». Нечто подобное произошло и с Тургеневым-драматургом: он также почти «оборвал» свою драматургию, но и она не умерла, переселившись в его романы. В самом деле, кажется, нет ни одного романа Тургенева, который впоследствии не подвергся бы инсценировке.

Так художник, чрезмерно не теоретизируя, находит себя в собственном творческом опыте.

Основное в творчестве Тургенева — это, конечно, его язык, возросший и расцветший на родине самого Ивана Сергеевича: именно здесь звучала «курско-орловская» речь — тот самый курско-орловский диалект, который, по словам И. В. Сталина, «лег в основу русского национального языка». Отдельные вопросы из этой области, естественно, привлекали к себе самое пристальное мое внимание. И, главное, мне хотелось пробудить такое же живое внимание к вопросам языка и у моих читателей.

Что пронизывает собою все в творческом мире Тургенева, а в частности и в «Записках охотника», что является самым воздухом в его творениях, которые порою звучат как настоящая музыка, — это, конечно, его любовь к русскому языку, преданность ему и великое умение художе-

ственно мыслить на нем и говорить. Недаром он восклицал во время раздумий о судьбе родины: «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Русский язык Тургенева имеет глубокие и древние корни: в нем порою мы чувствуем дыхание русского языка и склада русской речи времен «Слова о полку Игореве». Кое-что в этом направлении мы и отмечали. Но столь же именно *глубоко* у Тургенева и ощущение самой родины. Даже в любимых им пейзажных кусочках мы явственно это чувствуем.

Вот хотя бы несколько строк из рассказа «Стучит!»: «То были раздольные, пространные, поемные травянистые луга, со множеством небольших лужаек, озерец, ручейков, заводей, заросших по концам ивняком и лозами, прямо русские, русским людом любимые места, подобные тем; куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц». Заметьте: не «уток», а «утиц»; и самая птица названа по-старинному — как называли ее эти самые богатыри древних былин.

Однакоже Тургенев не уходил с головой в эту старину. Его самым живым образом интересовала современность, хотя у него и на нее был исторический взгляд: он ощущал ее в движении. Есть два типа исторических художественных произведений. В одном перед нами раскрываются давно прошедшие времена, однако автор смотрит глазами современной ему эпохи и дает деятелям прошлого соответствующую этому взгляду художественную оценку. Второй тип — произведения о современности, когда автор также естественно смотрит глазами своей эпохи, но видит и с глубоким пониманием передает их историческое значение.

Примером первого является «Война и мир» Толстого. Пример второго — романы Тургенева и его «Записки охотника», где основным художественным приемом является именно *историческая светотень*. Мы видим уходящее прошлое и полное стремительного нарастания новых сил настоящее. Мало того, в осторожных (из-за цензуры) ремарках автора от себя мы чувствуем осуждение им всего «обреченного» и, путем отталкивания от него, видим стремление самого автора к лучшему будущему.

Говоря о «Записках охотника», мы невольно касались и других произведений Тургенева, но естественно при этом задуматься также и еще об одном важном вопросе:

как должна создаваться история литературы вообще. Некоторые соображения об этом мы бы и хотели сейчас высказать.

Ежели, погружаясь в детальный анализ каких-либо отдельных произведений большого писателя, нельзя не думать о том, какое место занимают они в его собственном внутреннем росте, то, с другой стороны, для настоящей истории литературы не может не представлять огромного интереса и то, что в них перекликается с произведениями его современников и как в свою очередь они влияли на этих его собратьев по перу.

По отношению к вопросу о «заимствованиях» долгое время в нашей литературе, особенно дореволюционной, господствовал такой взгляд, что весьма и весьма многое заимствовалось русскими классиками у иностранцев. Между тем дело обстояло, конечно, совершенно не так. Приведем пример. Известно, что в поле зрения Пушкина находился чрезвычайно большой круг художественных произведений мировой литературы, в которых он гениально понимал основную их сердцевину и иногда отзывался на нее сам. Но великий поэт никогда не брал *ничего чуждого*: он брал всегда *только свое* — там, где его находил. То же самое относится и к творениям других крупнейших наших писателей, в том числе, конечно, и Тургенева.

Это мы говорили о «заимствованиях». Совсем иное дело — вполне реальное «влияние» одного писателя на другого: как правило — старшего на младшего. Примером такого влияния могут служить и «Записки охотника»: хотя бы на творчество молодого Толстого.

Весьма любопытна также своеобразная переключка *тем*, по мере их выступления на литературную арену. Подробное исследование этой взаимосвязи отдельных произведений различных авторов могло бы дать весьма любопытную картину движения художественной литературы и ее роста. Да и вообще отдельные исследования литературы не должны быть слишком строго, а подчас и скрупулезно ограничены «жизнью и творчеством» того или другого классика, — настоящая полнокровная история литературы, помимо неразрывной связи ее с историей народа, должна включать в себя не только историю отдельных писателей-классиков, расположенных аккуратным рядком и воспринимаемых в целом в порядке простого *арифметического* сложения,

Нет! История литературы не есть суммарная история отдельных писателей, хотя бы и самых выдающихся, она может быть историей *литературы в целом*, где отдельные ее проявления, большие и малые, не просто «прилегают» одно к другому, а сплетаются между собою в соотношениях сложных, где порою какое-нибудь одно произведение отнюдь не просто входит в ряд других, а именно как бы *умножается*, активно воздействуя на целый ряд произведений последующих. Это как лес, где над зеленым кустарником высокоствольные деревья переплетают свои кроны под непосредственным сиянием солнечного света *поэзии* и тянут из глубин (наряду с «подседом») реальную *прозу* земли, их породившей.

Следует особо оговорить, что мы, имея дело с окончательным текстом рассказов Тургенева, не вводили в наше небольшое исследование того обычного раздела, который отводится работе исследуемого автора над своими рукописями. Объясняется это прежде всего тем, что подобные работы уже были, ненося, впрочем, исчерпывающего характера. Достаточно назвать хотя бы раздел «Работа над формой и стилем» в книге А. Е. Грузинского «И. С. Тургенев», вышедшей в Москве к столетию со дня рождения писателя.

Интересно, конечно, привести высказывания самого Тургенева вообще о манере своей работы, записанные А. Половцевым с его слов:

«Трудно сказать, как это делается. Собственно можно определить три фазиса, которые проходит поэтическое произведение. Сперва начинает носиться в воображении одно из будущих действующих лиц, в основе которых у меня почти всегда лежат реальные лица. Часто лицо, которое занимает вас, — не главное, а одно из второстепенных, без которого, однако, не было бы и главного. Задумываешься над характером, его происхождением, образованием; около первого лица группируются мало-помалу остальные. Это время, когда в воображении носятся, всячески переплетаясь, туманные образы, — самое приятное для художника. Здесь чувствуешь потребность закрепить эти образы, придать им более определенности; тогда я набрасываю обыкновенно подробную биографию каждого действующего лица и даже ближайших предков главных

лиц; впоследствии эти биографии уничтожаются. Далее слагается самая фабула рассказа; это самая неприятная часть работы, для меня по крайней мере; пишется краткий конспект романа. Наконец, я приступаю к самому писанию. Засесть бывает ужасно трудно. Иной раз сидишь над первой страницей бумаги и ничего не выходит. Перечтешь — все кажется вялым, сшитым белыми нитками. Свободно вздыхаю я только тогда, когда ставлю последнюю точку. Переписываю я свои вещи раз, много два, причем переделываю некоторые детали».

Эти высказывания Тургенева, по-своему весьма любопытные, относятся, конечно, не к «Запискам охотника», а к большим его художественным вещам, где требовалась также большая подготовительная работа. Действующие в «Записках охотника» лица возникали по-иному — в непосредственной зависимости от прямых жизненных впечатлений автора. Оттого и обработка написанного в этом случае в основном ограничивалась выбрасыванием из ряда отдельных неудачных фраз или чересчур местных орловских «словечек».

Вообще же — позволю себе высказать здесь эту мысль — исследование о работе писателей-классиков над своими рукописями, чрезвычайно важное и само по себе, представляло бы совершенно исключительный интерес, если бы произвести его по методу сравнения, как у разных писателей она протекала — у каждого по-своему. Эта и трудоемкая и весьма ответственная работа дала бы чрезвычайно много ценного для понимания самого творческого процесса: от легкой «импровизации» — через многие промежуточные стадии — до настоящих «мук творчества».

Надо также отметить и вторую особенность настоящей работы: все наблюдения и размышления над окончательным текстом «Записок охотника» мы не сочли нужным строго классифицировать, разбивая их по характеру отдельных приемов автора. Мы позволили себе большую свободу, следуя за постепенно раскрывающейся общей картиной и приступая к рассмотрению отдельных «частностей» по мере их возникновения «в поле исследовательского зрения»: здесь я имею в виду и язык, и художественную манеру автора, и самые образы, им создаваемые. Нам казалось, что так наши мысли и ощущения, храня известную «неприкосновенность», будут, как гово-

рится, «доходчивее» до читателя, сплетаясь с его собственными размышлениями и как бы сливаясь с пробуждающимися в нем ощущениями. Но это, однакоже, не путешествие по лесу совсем «без тропинки». Общий план книги все же существует, и он был указан в нашем «вступлении».

Первый рассказ «Хорь и Калиныч», представляющий собой, так сказать, своеобразный «ключ» ко всему дальнейшему, был подвергнут самостоятельному разбору, а далее повествование развивалось в соответствии с кратким названием отдельных глав нашей книги. Сами тургеневские «Записки охотника» выросли и оформлялись; повинуюсь в основном требованиям самой жизни. Автор-художник все время сам ощущал, что вот теперь время сказать то-то и то-то, дать тот или иной образ, положить, и именно здесь, такой-то дополнительный и в то же время совершенно необходимый, а порою и завершающий штрих. Мы отнюдь не хотим сказать, что все это происходит «самопроизвольно», но и само наше сознание, повинуюсь основным законам природы, как и все живое на свете, находит в здоровом процессе своего развития именно то, что ему как раз необходимо сейчас.

У Тургенева в «Записках охотника» есть даже как бы «паузы» по отношению к органическому развитию основной темы. Сюда относятся, например, такие рассказы, как «Уездный лекарь» или «Татьяна Борисовна и ее племянник»; и даже такой поэтически грустный рассказ, как «Свидание», в котором мы ощущаем теперь нечто уже значительно более позднее — «чеховское» («Егерь»). Эти «рассказы-паузы» подобны возникающим полянкам в лесу, а образы отдельных героев из других рассказов, где они вырисованы во весь свой индивидуальный рост, положительно просятся на сравнение с тем или иным деревом. Так, Хоря хочется назвать коренастым дубом, однодворца Овсяникова — старую раскидистую липой, Калиныча, естественно, калиной. Сам Тургенев, оказывается, не прочь был с улыбкой отметить подобную же родственность между людьми и деревьями. Вот что, например, писал он к мадам Виардо в письме от 14 июля 1849 года:

«Кстати, я забавлялся тем, что разыскивал в окрестностях деревья, которые имели бы физиономию — индивидуальность, так сказать, — и давал им имена. По вашему возвращении я могу показать их вам, если вы поже-

лаете. Каштановое дерево, что стоит на дворе, я прозвал *Германом* и подыскиваю ему *Доротею*. В Мозон-флере есть береза, которая очень похожа на *Гретхен*; один дуб окрещен *Гомером*, один вяз *милым негодяем*, другой — встревоженной *добродетелью...*»

Отрывочек этот как-то особенно интимно передает ответственность восприятия писателем природы и человека, а последние два вяза в их взаимоотношении — уже и сюжет: чуть иронически — о себе и о своей адресатке.

До чего бы ни коснулось перо Тургенева, под этим его верным касанием все оживает. У него мы действительно видим и слышим природу. Как раз почти именно эти самые слова употребил и сам Тургенев в рассказе «Свидание»: «Я сидел и глядел кругом и слушал». Дальше он именно точно рассказывает, как все это было; мы подчеркнем в нашей цитате те слова, которые относятся к тому, что *слушал* Тургенев. «Листья чуть *шумели* над моей головой; по одному их *шуму* можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не *веселый, смеющийся трепет* весны, не *мягкое шушуканье*, не *долгий говор* лета, не *робкое и холодное лепетанье* поздней осени, а *едва слышная, дремотная болтовня*. Слабый ветер чуть-чуть *тянул по верхушкам*».

Какое же это было время года? Оно названо в первой фразе рассказа: около половины сентября. Тургенев сидел и слушал один только лёгкий шум листвы над головой, а у него возникло великое разнообразие лесных шумов, которые могли бы быть. Зачем же об этом говорить? И что это само по себе говорит? А это говорит о том, какое богатое разнообразие жизни *могло бы быть* у героини рассказа Акулины и как вытянулась вся ее обедненная жизнь в одну грустную и тонкую нить.

Так у нашего автора человек *неотрывно* связан с природой. А природа, как и люди, весьма у него разнообразна, и можно было бы, пожалуй, *всем* этим звукам, которые возникали в листве над головою автора «Записок охотника», найти живые параллели в тех человеческих характерах, которые создавались им, возникая от встреч с живыми людьми во время блужданий по лесу с ружьем за плечами.

Самый процесс зарождения и создания Тургеневым своих «Записок охотника» чрезвычайно органичен. Они *необходимо* должны были возникнуть у молодого творца,

всей душой отталкивавшегося от злого мороза крепостной зимы. Свежие ростки художественного отражения жизни требовали своего воплощения, теснясь и соседствуя между собою. Здесь не нужно было предварительно «слагать самую фабулу рассказа», что, как мы видели, Тургенев считал для себя самую неприятной частью работы: «фабула» здесь рождалась непосредственной жизнью; здесь не надо было писать хотя бы и самый «краткий конспект романа» или набрасывать «подробную биографию каждого действующего лица»: они как бы сами начинали дышать под пером непосредственной своей жизнью, именно «тесня» друг друга в порядке своего появления на свет и гармонически «соседствуя» позже друг с другом.

Если романы Тургенева — это как *парк*, создаваемый по заранее обдуманному плану: с дорожками и деревьями, взращенными частью даже в питомниках, а ныне посаженными красивыми купами — в строгом соответствии со вкусами творца-садовника, то книга «Записки охотника» — это именно *лес*, и притом типичный для средней России «смешанный лес», возросший как бы совсем самопроизвольно, но, однакоже, покорствующий законам природы, определяющим соотношение между собой разных лесных пород, а равно и отдельно взятых деревьев.

Если *целое* создавалось в романе по собственному творческому заданию, то здесь, в «Записках охотника», это в значительной мере находилось, осознавалось и возникало к жизни в самом процессе своего созидания. Но свою последовательность, свое «течение» возраставшая книга эта находила именно *по мере развертывания основной своей темы* — можно сказать, с «автономным» ее выражением в каждом отдельном рассказе, а следовательно, каждый раз в новом и оригинальном ее воплощении. В этом между прочим, также одно из самых очаровательных и мягко себе покоряющих свойств «Записок охотника».

Надо думать, что из краткого нашего «противоположения» тургеневских романов, повестей и рассказов этим его «запискам» читатель не сделает такого вывода, что в одном случае все сопряжено с замыслом, строгою композицией, непрерывной самопроверкой — со всем тем, что относится только к мысли, уму, идее, а в другом случае — образы созданы исключительно самою жизнью и лишь умело, легко, с одним поэтическим вдохновением «зари-

сованы» так, что над ними задумываться автору будто бы вовсе и незачем. Ну, разумеется, все это не так. Как одним предварительным, строго рассчитанным замыслом живого художественного произведения никак не создать, так и самым хрустально-чистым журчанием ручейка — крепостного права не поколебать.

В создании подлинно художественного произведения содружествуют и мысль, и чувство, и творческое воображение, и самая мелодика речи, все дело в соотношении их между собою. Типы этого соотношения и комбинации их между собою, а порою и собственная изменчивая «внутренняя светотень» — весьма и весьма разнообразны, как, впрочем, и все живое на свете. Все это пока что далеко не в полную меру поддается точному анализу, но чуткий читатель воспринимает это по-своему: и умом — размышляя, и чувством — наслаждаясь поэтически.

В «Записках охотника» — настоящее богатство человеческих образов, характеров, судеб. Мы видим в этих рассказах следы сложных социальных взаимоотношений, черты уходящей эпохи и намечающиеся особенности новой жизни. Общая манера *тургеневской светотени* дает нам не какие-либо «плоскостные» изображения, а всегда настоящую глубину жизни, протекающей во времени. Здесь нельзя было только «любоваться», — рассказы Тургенева будили в душе определенные чувства, звали к поступкам. И все это автор осуществлял без всякого нажима пера: правда яркого, художественного повествования говорила сама за себя.

Тургенев полностью был верен действительности, но мы уже приводили и такие его слова: «Я никогда прямо не срисовываю с живых образчиков человеческой природы». Одно утверждение нисколько не противоречит другому. Уже одно то, что именно из действительности берет художник для своего творческого воплощения, уже одно это уводит от простого описания, в котором подряд передается все важное и неважное. Этот выбор того или иного характера, того или иного положения или столкновения уже является ответственным моментом для создания будущего художественного произведения: что бы вы ни выбрали, оно должно быть значительно, характерно, типично.

Но вот дальнейшее развитие взятого из жизни совсем не обязательно должно совпадать именно с тем, как все происходило в действительности. Совсем нет. Оно будет протекать также по законам живой жизни, но будет одновременно покорно и воле, самому замыслу художника. Оно и может и должно играть ту роль, какая ему предназначена в целом произведении, и это в руках крупного и правдивого художника никогда не будет неправдой. Напротив, в таком художественном произведении как раз и открывается та глубинная правда, которая была заключена и в действительной жизни, но не была доступна восприятию многих.

Вспомним еще раз и тургеневский лаконизм. В самых коротких словах умел он нарисовать пейзаж или же дать не только портрет кого-либо из героев повествования, а порою и целую судьбу человека. Тургенев тут «полагался» на своего читателя, к которому, впрочем, он был и требователен. Так, в статье своей «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» он говорит: «...для того, чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторою тонкостью понимания, некоторою гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздною. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом. Надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать ее благовоние». Это последнее полностью относится и к глубокому восприятию самого Тургенева — так же как, впрочем, и всех других классиков с их собственной у каждого манерою художественного творчества.

Из отдельных рассказов Тургенева получилась *единая, цельная* книга, и произошло это совершенно органично, ибо в рождавшейся книге прежде всего была *единая тема* — крепостная Русь, и у художника ее было *единство восприятия* жизни.

Устанавливая «единое восприятие» автором русской действительности, мы должны добавить еще, что было оно восприятием подлинного художника-патриота. В «Рудине» Тургенев говорит устами одного из героев романа — Лежнева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля: вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».

Этой любовью Тургенева к России, к её природе и людям, насыщена вся книга «Записки охотника». И эта великая любовь его не была любовью пассивной. Мы помним его слова о том, что именно он возненавидел и кого он считал своим врагом: «В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя; враг этот был — крепостное право». В русский же народ у Тургенева была глубокая вера. Вот что он писал в той же книге «Современника», где был напечатан «Хорь и Калиныч» — в рецензии на сочинения Даля: «В русском человеке таится и зреет зародыш великих дел, великого народного развития...»

Этим ощущением и этим предвидением светлого будущего согрета поистине неподражаемая книга Ивана Сергеевича Тургенева — «Записки охотника», книга, любимая русским народом, книга неумирающая.

Мы надеемся и рассчитываем на то, что предлагаемая нами работа о «Записках охотника» в какой-то степени разбудит у наших читателей живой интерес к собственным наблюдениям и размышлениям при чтении как Тургенева, так и других наших писателей — и классиков и современных, — а у этих последних, то есть у всех нас, у «братьев-писателей», кроме того, еще и то «святое беспокойство» по отношению к собственному творчеству, без которого вперед идти — мудрено.

*Село Покров — Москва — Абрамцево
1951—1952—1953 гг.*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ВОСПОМНАНИЯ

К возрождению	7
Варенька из Прилеп	19
Калина в палисаднике	31
Вечер в театре	100
Вор	113
Феодосия	126
Камера номер четырнадцать	219
Сын тысяцкого	226
Хитрое перо	277
Антон Павлович	292
Две встречи с А. П. Чеховым	302
В. Г. Короленко	305
Живой Толстой	310

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Аю-даг	323
Горный козел	324
Тополя	325
Первый снег	326
Рождение стиха	327
В убранстве светлой нищеты	328
Ручей	329
Голубое небо	330
Погода	331
До капли	332
Поэзия	333
Осенние дары	334

Родник	335
Мысли	336
Легкое дыхание	337
Сирень	338
Наедине с собой	339
Невероятно умереть	340
Не дано пресечь	341
Недра	342
Приход поэта	343
Тридцать три	344
Смерть вонна древней Руси	345
Краткие записи	346
СЛОВО О ПОЛЕУ ИГОРЕВЕ. Перевод в стихах	351
ТУРГЕНЕВ — ХУДОЖНИК СЛОВА. О «Записках охотника»	385

Редактор *К. Платонова*

Художник *С. Нодельман*

Технический редактор *Л. Сулина*

Корректор *Г. Фельк*

Слано в набор 20/IV-55. Подписано к печати 30/VIII-55 г. А-05103.

Бумага 84×108^{1/32}—30 печ. л.=24,6 усл.-печ. л. 23,6 уч.-изд. л.

Тираж 75 000. Зак. № 359. Цена 9 р. 10 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.

